

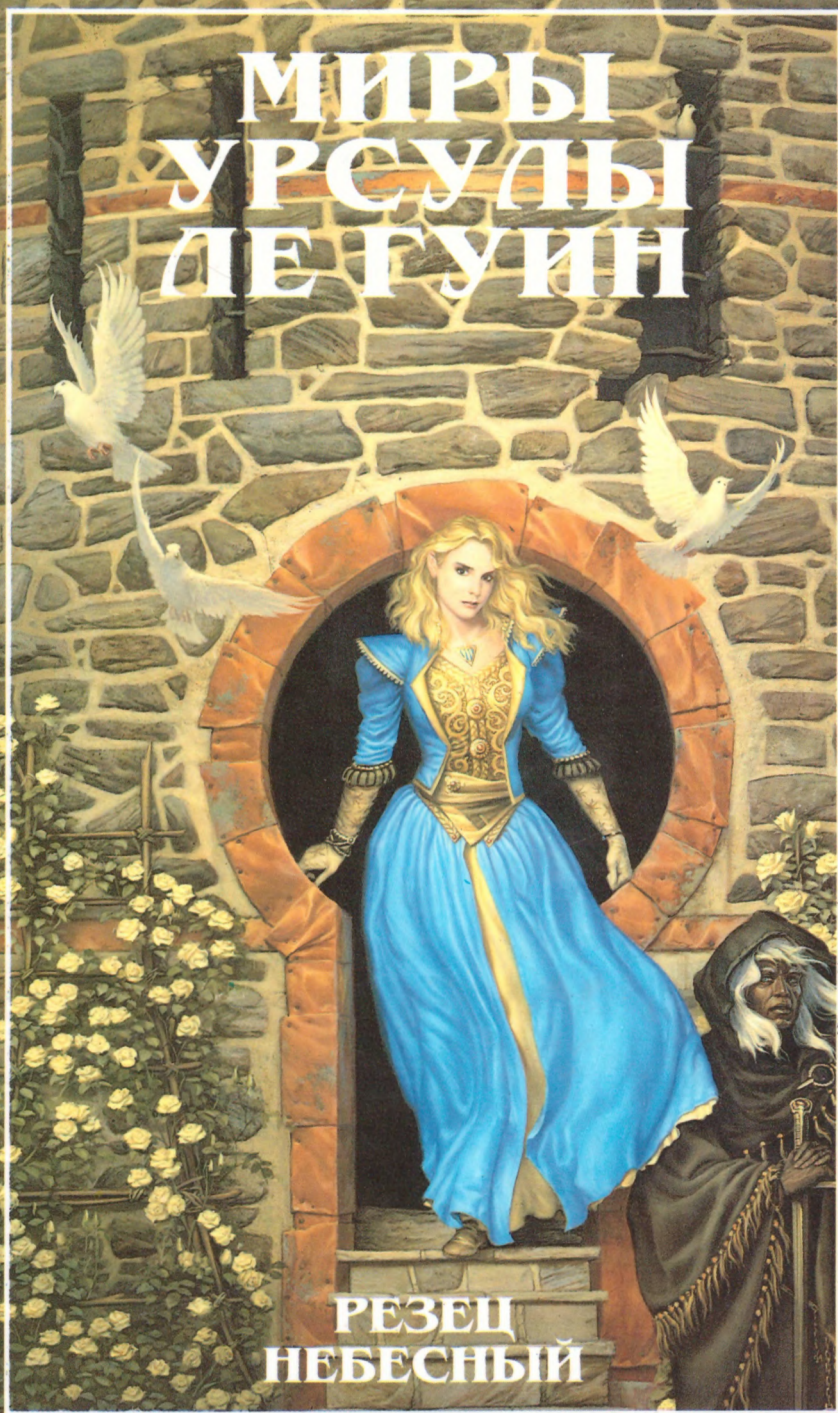


РЕЗЕЦ НЕБЕСНЫЙ

МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН

МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН

РЕЗЕЦ
НЕБЕСНЫЙ





УРСУЛА ДЕ ГУИН



WORLDS OF URSULA LE GUIN

THE LATHE OF HEAVEN THRESHOLD

**«POLARIS» PUBLISHERS
1997**

МИРЫ УРСУЛЫ ДЕ ГУИН

**РЕЗЕЦ НЕБЕСНЫЙ
ПОРОГ**

**ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997**

Миры Урсулы ле Гуин. Резец небесный / Пер. с англ. — Полярис, 1997. — 383 с.

В эту книгу вошли два небольших философских романа известной американской писательницы — сюрреалистическая фантазия «Резец небесный» и прекрасная книга о начале взрослой жизни и любви двух подростков «Порог».

Произведения, включенные в данное издание, охраняются законом об авторском праве. Перепечатка отдельных романов и всего издания в целом запрещена без разрешения издателя и переводчика. Всякое коммерческое использование данного издания возможно исключительно с письменного разрешения издателя.

Иллюстрации на обложку и форзац печатаются с разрешения художника Michael Whelan и его агентов: Glassonion Ltd. (США) и Александра Корженевского (Россия).

The Lathe of Heaven
Copyright © 1971 by Ursula K. Le Guin
Threshold
Copyright © 1980 by Ursula K. Le Guin
Резец небесный
© Издательство «Полярис», перевод, 1997
Порог
© И. Тогова, перевод, 1989
© Издательство «Полярис», оформление,
составление, название серии, 1997

ISBN 5-88132-321-1

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Эту книгу составили два, пожалуй, самых трудных романа во всем творчестве Урсулы ле Гуин.

Роман «Резец небесный» (1971), впервые публикуемый на русском языке, относится, безусловно, к программным произведениям писательницы. Написанный в психоделическом стиле Филипа Дика, роман — точнее, его первый смысловой уровень — рассказывает о человеке, чьи сны способны менять структуру реальности. Джордж Орр — обычный служащий в уродливом, перенаселенном, тоталитарном мире, чье необычное пристрастие к стимуляторам приводит его к доктору Хаберу, специалисту по сновидениям. Но любая попытка жадного до власти Хабера воспользоваться даром Орра приводит к непредсказуемым результатам. Поданные спящему гипнотические команды исполняются, но самым неожиданным образом.

Решена проблема перенаселения — страшная эпидемия выкосила семь восьмых населения планеты. Прекратились войны — до войн ли, когда за самой орбитой Луны притаились злобные инопланетяне? Нет больше расовой дискриминации — у всех людей одинаково серая кожа. И притом никто не замечает произошедших изменений, кроме самого Орра и двоих свидетелей эксперимента. «Каждый сон замечает за собой следы», как замечает Орр. В борьбу за обладание Орром, его опасным и притягательным даром вступают доктор Хабер и правительственная чиновница Хитер Лешаш. На их взаимоотношениях и строится роман, потому

что, кроме них, ничто не остается неизменным. Но постепенно становится ясно, что из всех троих самый сильный — да, пожалуй, и самый психически здоровый человек — это невротик Опп, а не неудачливый диктатор Хабер и не Лелаш, прячущая под маской «Черной Вдовы» слабость и неуверенность в себе. И в конечном итоге именно порождения его психики, черепахоподобные инопланетяне, для которых сон естественнее реальности, выводят мир на утерянную дорогу Дао — великого Пути, когда Хабер в попытке обрести дар Оппа едва не уничтожает всю Землю.

Второй роман — «Порог» (1980), вышедший также под названием «Начальное место», построен отчасти в том же ключе. Но затронутая им ирреальность куда камернее, хотя и в этом случае она затрагивает только двоих людей — юношу и девушку, нашедших проход в Тембреамбрези, туманный мир полусказки-полусна, куда они убегают от скучной, банальной, мучительной действительности. Но за пребывание в сказке приходится платить. На Тембреамбрези падает тень. И двоим пришельцам предстоит освободить мир, который они успели полюбить. А затем — вернуться домой, туда, где их место.



РЕЗЕЦ НЕБЕСНЫЙ

Конфуций и ты — вы оба с ним сновидение, да и я, утверждающий это сейчас, сам себе снюсь. В том-то и заключается весь парадокс. Завтра, может статься, появится величайший из мудрецов, способный его объяснить; но, быть может, до наступления этого самого завтра успеют смениться тысячи и тысячи поколений.

«Чжуан-цзы», II

Влекомая подводными токами, в беспокойной пучине колыхалась изрядно потрепанная штормами гигантская медуза, брошенная судьбой на милость всемогущей стихии. Ее то пронизывали бледные лучи света, то поглощала непроглядная тьма. В извечном своем стремлении из никуда в никуда зыбкий живой купол дрейфовал без руля и ветрил, вяло помавая радужными полами призрачного пенюара; жизнь едва теплилась в хрупкой обитательнице глубин — как бы бессильным откликом на еженощные гравитационные призывы далекой Луны к отзывчивой акватории. Этот эфемерный сгусток почти иллюзорного бытия, беспредельно уязвимый, насмерть стоял в поединке с безбрежным и беспощадным океаном, коему так бездумно вверил изменчивую свою судьбу и незавидную будущность.

Но вот проступили очертания земной тверди, взметнулись к небу голые закопченные скалы, исхлестанные и морскими волнами, и атомными ударами, — ужасающее зрелище предательски радиоактивной суши, отторгающей отныне все живое. И сразу же течение, упрямо подталкивая к берегу, перестало быть верным союзником; предательски разомкнув свои уютные объятия, волны выдавливали, гнали медузу вместе с пеной на гулкий прибой, где сами же и разбивались вдребезги...

Как уцелеть на раскаленном радиоактивном песке существу, сотканному из одних лишь морских флюидов, как спастись ему под палящими лучами неумолимого солнца? А как сможет сохраниться сознание, стряхнувшее поутру после столь вожделенного и вместе с тем внезапного пробуждения липкую паутину дремоты?

Наполовину обгоревшие веки не в силах были защитить глаза от беспощадного света, опалявшего, казалось, самый мозг. Повернуть голову удалось тоже далеко не сразу — ее сдавило, точно в тисках, бетонное крошево с торчащими из него арматурными стержнями. Лишь расшатав их помаленьку, сумел он высвободиться и перевести дух. Оказалось, что сидит он на единственном незаваленном клочке пыльной бетонной ступеньки; под рукой порскнул крохотными парашютиками одуванчик, пробившийся сквозь трещину в марше и невесть как уцелевший. Отдышавшись, он неловко поднялся и тут же ощутил, что ноги стали ужасающе ватными — лучевая болезнь неумолимо начинала брать свое. Но до двери рукой подать, а там рядом — к счастью, это его этаж — родная комнатуха, добрая половина которой занята пневмокроватью. Он смог сделать эти два столь необходимых теперь шага и, с великим трудом приоткрыв дверь, едва перебрался через внезапно как бы возросший порог. Дальше тянулся бесконечный линолеум коридора, в самом конце которого — в глазах снова все плыло — терялась мужская уборная. Пытаясь держаться стены, цепляясь за нее неверными пальцами, он двинулся в путь, но далеко пройти не успел — поднявшись внезапно на дыбы, пол жестоко хлопостнул по лицу...

— Полегче-полегче! Теперь заноси...

Перед глазами бумажным фонариком маячило знакомое бледное лицо, окаймленное жидкой седой бахромой, — над ним низко склонялся лифтер.

— Это радиация, — прохрипел лежащий, но Мэнни, судя по ответу: «Тихо-тихо, паря, теперь все будет в ажуре!» — ни черта не разобрал.

Под лопатками оказались родные вмятины пневмоматраца, перед глазами были знакомые трещины в потолке. Плюс как будто несколько новых.

— Ты что, набрался в стельку?

— Не-а...

— Намарафетился?

— Больно мне...

— Видать, успел все же что-то принять?

— Не сумел подобрать... — выдавил он, имея в виду скорее ключ от той двери, через которую врывались ночные видения и которую он уже давно и тщетно пытался запечатать.

— Сейчас подгребет лекаришка с пятнадцать... эта... — Голос Мэнни снова едва доносился сквозь неумолчный грохот прибора.

Отчаянно пытаясь выплыть, едва не захлебнувшись горькой морской пеной, забился он в конвульсиях. И сразу же наткнулся на незнакомца, сидящего на краешке матраца со шприцем на излете.

— Должно помочь, — заметил тот негромко. — Верное средство. По-моему, он уже приходит в себя. Что, болезный ты наш, нутро-то горит? Ну не переживай! Могло быть гораздо хуже. Неужто и вправду все это он принял зараз? — Врач зашуршал пластиковой фольгой аптечных конвертиков. — Гремучая смесь — барбитураты с декседрином. Ты что, прямиком на тот свет собирался?

Дышать было тяжело по-прежнему, но сама боль уже отступала, оставляя за собой лишь чудовищную слабость.

— Все препараты помечены датами одной недели, — задумчиво протянул эскулап, прыщавый юнец с конским хвостиком и скверными зубами. — Из этого следует, что не все они сняты с твоей фармакарты. Придется доложить о факте заимствования, ты уж извини. Не хотелось бы, да куда не денешься — присягу давал. Но ты не дрейфь, за эти препараты еще никого не сажали. Просто попадешь полиции на заметку и отправят на проверку в медцентр или в окружную клинику. А оттуда — либо в меддепартамент, либо на ДНД — добровольную наркологическую диспансеризацию. Я по твоему удостоверению уже заполнил необходимую форму, осталось только внести данные, как давно ты это зелье глотаешь в количествах сверх установленного.

— С месяц-другой...

Медик поскреб пером по бумаге на коленях.

— А с чьей фармакарты снимал?

— Друзья помогали.

— Нужны имена. — И после краткой паузы: — Хотя бы одно. Это пустая формальность, ни для кого никаких неприятностей. Уверяю, твоему дружку грозит лишь полицейский выговор да надзор за использованием фармакарты в течение года. Семечки... Одно имя.

— Не могу. Мне же помочь хотели.

— Видишь ли, если не назвать имен, это уже трактуется как сопротивление властям. Ты можешь оказаться за решеткой или угодить на ПНЛ — принудительное лечение. В весьма и весьма закрытом учреждении. Тогда ведь все равно выяснится, по чьей карте ты получал препараты, так что искренне советую не тратить даром свое и мое время. Ну давай же, не тяни резину!

Закрыв глаза от нестерпимого света ладонями:

— Не могу. Никак не могу... Обещал.

— Впиши мою карточку, — вмешался лифтер. — Мэнни Аренс, номер 247-602-6023.

Перо в руках медика отчаянно заскрипело.

— Никогда... ни разу с твоей карты не брал...

— Ну так разыграем их малость. Проверять ведь никто не станет. Фармакарты вечно в обороте, концов никому не найти. Когда моя кончается, сам занимаю у других, и наоборот. А полицейских замечаний у меня скопился вагон и маленькая тележка, стенки оклеивать можно. И ничего. Как понимаю, в ЗОБ*-контроле о них и не слыхивали. Зато ты выскочишь из воды сухим. Не бери в голову, паря!

— Не мо-гу... — прохрипел он, пытаясь высказать несогласие с рискованной затеей приятеля, беспокойство за него, а также полное свое бессилие удержать Мэнни от идиотской лжи.

— Часа через два-три тебе заметно полегчает, — заметил эскулап. — Но сегодня лучше бы из дому не выходить. Все одно через центр не пробиться — машинисты подземки снова затеяли бучу, и национальная гвардия наводит в старом городе порядок. В новостях сообщают, что там невесть что творится — просто ад крошечный. Отлежись лучше. А мне пора на службу, провались она пропадом, отсюда десять минут пешком — лечебный комплекс в центре квартала Макадам. — Матрац вздрогнул и заметно просел. — Представляешь, двести шестьдесят младенцев, погибающих от квашиоркора, и все на моей шее. Все как один — отпрыски важных шишек. А что я в силах сделать для них, черт меня подери? На мои отчаянные запросы обеспечить детей усиленным белковым рационом из любых инстанций всегда приходят одни лишь витиеватые извинения. Родители го-

* ЗОБ — здравоохранение, образование, благосостояние (в оригинале HEW — Health, Education, Welfare; как глагол имеет также значения «рубить, выполнять неприятную работу»). (Здесь и далее примеч. пер.)

товы за все заплатить, постоянно суют деньги. Но ведь купить-то негде! Гори оно все синим пламенем! Пичкаю детей инъекциями витамина С и делаю вид, что сражаюсь с обыкновенной цингой...

Хлопнула дверь. Матрац снова хрюкнул и вспучился — под весом Мэнни, занявшего место эскулапа. Едва уловимый запах, сладостный, как от свежестриженной лужайки, и голос из мрака за плотно закрытыми веками — далекий, как сквозь туманную кисею:

— Ну не кайф ли быть живым, а, Джорджи?

Глава 2

Небесные Врата — это отсутствие чего бы то ни было...

«Чжуан-цзы», XXIII

Живописный вид на Маунт-Худ отнюдь не открывался из окон кабинета доктора Уильяма Хабера, как ожидалось поначалу, когда посетитель входил в вестибюль, а затем оказывался в стремительно возносящемся лифте. Из окон вполне по-деловому обставленного офиса на шестьдесят третьем этаже небоскреба в восточном Вильяметте вообще не открывалось никаких примечательных видов. Зато одна из глухих стен блистала огромной пластиковой фотофреской, изображавшей тот же Маунт-Худ во всей красе, и взор хозяина кабинета, ведущего селекторные переговоры с секретаршей, отдыхал сейчас именно на ней.

— А что там, у этого Орра? Напомни-ка, Пенни. Симптомы истерической проказы, кажется?

Секретарша располагалась в трех шагах, сразу за стенкой, но использование офисного селектора вкупе с солидным дипломом в рамке на стене внушало пациентам чуть ли не благоговейный трепет. Впрочем, устройство это производило впечатление и на самого владельца — как элегантным дизайном, так и ценой. Да и, в конце-то концов, негоже солидному психотерапевту собственноручно распахивать дверь и драть горло криком: «Следующий!»

— Нет, доктор Хабер. Такие симптомы у мистера Грина, которому назначено на завтра, в десять. Сегодня же у нас протеже доктора Вальтера из университетского медцентра. Случай ДНД.

— Злоупотребление препаратами, точно! У меня ведь на столе лежит его досье. О'кей, как появится, пропусти сразу же.

Еще не договорив, Хабер услышал стон тормозящего на этаже лифта, тяжкий пневматический выдох его дверей, затем нетвердые шаги по коридору. После, видимо, некоторых колебаний гостя скрипнула дверь приемной. Если прислушиваться, доктор мог различить и множество других звуков: хлопанье дверьми, стрекот пишущих машинок, голоса, журчанье воды в бачке унитаза — и на их этаже, и на соседних. Но штука заключалась как раз в обратном — научить свой слух вовремя вырубаться и не замечать всей этой деловой какофонии. Устанавливать в сознании нечто вроде глухой корабельной переборки.

Сейчас, пока Пенни улаживала с посетителем обычные для начала визита формальности, доктор продолжал глазеть на фреску, дивясь, кому же это и когда удалось сделать подобную фотографию. Пронзительно синее небо над девственно-чистым снежным покровом, укутывающим Маунт-Худ от подножия до самой макушки. Может, в семидесятые или даже шестидесятые? Ведь парниковый эффект не свалился людям на голову вдруг, изменения в атмосфере накапливались исподволь, и Хабер — год рождения 1962-й — еще отчетливо помнил голубизну небосвода своего раннего детства. Теперь снежных шапок и ледников на склонах уже на Земле не увидишь — их сбросили все горные пики, включая знаменитый Эверест и даже огнедышащий Эребус в Антарктике. Но, может статься, снимок сделан не столь уж давно, попросту чуток смухлевали — небо подсинили, склон выбелили. И нет проблем!

— Добрый день, мистер Опп! — Просияв гостеприимной улыбкой, Хабер поднялся навстречу гостю, но руки не подал — слишком многие пациенты в последнее время стали остерегаться лишних физических контактов, приходили просто в ужас и напрочь замыкались при виде дружелюбно протянутой пятерни.

Посетитель слегка смешался, неловко отдернув руку, потербил цепочку на шее и неуверенно произнес:

— До... добрый день, доктор!

Его шею украшала, как отметил Хабер, незатейливое ожерельице из посеребренной нержавеющей стали. Да и сам посетитель, одетый вполне ordinarily, являл собою типичный образчик офисного клерка. Прическа стандартной длины, до плеч, аккуратная бородка. Невысокий сероглазый блондин лет тридцати, подросткового сложения, малость истощенный, но с виду здоровый и вполне привлекательный — доктор уже набрасывал себе начерно портрет визитера.

Воспитанный, толерантный, безвольный, подавленный, закомплексованный. Первые десять секунд знакомства с пациентом, любил повторять доктор Хабер и про себя, мысленно, и коллегам вслух, наиболее важны для создания доверительной атмосферы в будущем.

— Присаживайтесь, мистер Опп! Да-да, именно сюда! Не угодно ли закурить? С темным фильтром весьма крепкие, с белым — послабее. — Гость не курил. — Тогда, не теряя времени даром, попробуем разобраться в непростой вашей ситуации. ЗОБ-контроль заинтересовался, по какой причине заимствовали вы стимуляторы и снотворное с чужой фармакарты. Почему не хватило установленных вам персонально лимитов? Не так ли? И вас послали к парням с холма, а те в свою очередь, прописав добровольную наркологическую диспансеризацию, переадресовали ко мне. Пока все верно?

К собственным сердечным интонациям, призванным пробудить в собеседнике живой отклик, усыпить настороженность, доктор был весьма чуток — не хватить бы лишку! Пока, похоже, срабатывало не очень: часто мигая, гость сидел как деревянный, руки приклеены к коленям, и, как бы сглатывая в горле ком, изредка кивал — классическая иллюстрация состояния затаенной тревоги.

— Чудненько, пока что ничего из ряда вон выходящего. Вот если бы вы складывали пилюли в кучку с целью перепродажи на черном рынке или для покушения на чью-либо жизнь, тогда дело табак. Но так как вы их попросту использовали для личных нужд, то весь ваш приговор — всего лишь несколько сеансов в моем кабинете! А это не столь уж и страшно. Естественно, и меня заинтересует, на кой ляд потребовалась вам эта чертова уйма снадобий — но только затем, чтобы точнее определить стиль нашего с вами общения, вернуть вас к нормальной полноценной жизни в пределах вашей собственной фармакарты, а может статься, и вовсе без химической зависимости. Очень надеюсь на это. Согласно сему документу, — Хабер перевел взгляд на распахнутый скоросшиватель, пересланный из медцентра, — вы в течение нескольких недель принимаете барбитураты, затем на несколько дней переключаетесь на декстроамфетамины, а затем — возвращаетесь назад к снотворному. Как это началось, что вас побудило? Бессонница?

— Нет, сплю как сурок.

— Тогда, видимо, неприятные сны?

Пациент растерянно зыркнул на доктора — в глазах светился чуть ли не животный страх. Случай, похоже, не из сложных — все у больного как на ладони.

— Вроде того, — отозвался тот хрипло.

— Угадать было не так уж сложно, мистер Опп. Никакой мистики — всех своих сновидцев медцентр обычно и сбегривает мне. — Хабер заулыбался: — Я ведь специалист по сновидениям. В самом буквальном смысле. То бишь онейролог. Сон и сновидения — хлеб мой насущный. О'кей, можем еще немножко поиграть в шарады. Полагаю, от скверных сновидений вы пытались избавиться с помощью фенобарбитуратов, и сперва это срабатывало. Затем наступило привыкание, вы оказались в некоторой химической зависимости, а эффект воздействия пилюль стал снижаться, пока и вовсе не сошел на нет. Точно та же история с декседрином. Тогда вы и стали их перемежать. Все верно?

Пациент одеревенело кивнул.

— А почему же декседриновый период у вас всегда оказывался короче?

— Эта гадость делала меня таким... неуравновешенным.

— Естественно, иначе и быть не могло. А этот ваш последний коктейль из обоих препаратов — вообще нечто особое! Хотя сам по себе он и не смертелен, но вы играли в опасные игры со своим здоровьем, мистер Опп. — Сделав для вящего эффекта паузу, Хабер веско добавил: — Вы могли лишиться себя способности засыпать вообще!

Снова в ответ кивок.

— Могли бы вы обойтись без воды или пищи, мистер Опп? Никогда не пробовали перестать дышать, наконец?

Уловив в голосе доктора сдержанный сарказм, пациент выдал некое подобие улыбки, весьма далекое от оригинала жалкое подобие.

— Вы ведь прекрасно знаете, что никому на свете еще не удавалось обойтись без сна. Равно как и без пищи, воды или воздуха. Но известно ли вам, что собственно сна еще недостаточно, что человеческий организм испытывает насущную потребность именно в сновидениях? Если систематически их подавлять, ваше сознание начнет чудить, откалывать самые неожиданные коленца. Вы станете без какой-либо видимой причины раздражаться, обвинять окружающих во всех смертных грехах, утратите способность к нормальному сосредоточению — не правда ли, мистер Опп, вам знакомы эти симптомы? И дело тут уже не в одной только декседриновой зависимости — вы начинаете грезить среди бела дня,

становитесь крайне рассеянным, утрачиваете чувство ответственности, приобретая взамен склонность к параноидальным фантазиям. В конце концов вы все равно уснете и увидите сон, не суть важно какой! Ни одно лекарство на свете не убережет от сновидений, кроме разве что цианистого калия и ему подобных.

К примеру, хронический алкоголизм может привести к рассеянному склерозу, а это верная смерть. И причина ее — гибель клеток спинного мозга от нехватки именно сновидений. Отнюдь не от недосыпания! Именно от дефицита весьма специфического состояния организма, наступающего в момент сновидения, в стадии так называемых быстрых снов, или попросту сон-фазе. Но вы у нас не алкоголик, а также не вполне еще покойник. Отсюда вывод: все ваши попытки самоуничтожения пока возымели лишь частичный эффект. Тем не менее вы: а) в скверной физической форме и б) уткнулись в глухую стену. Вы в тупике. Весь вопрос, как теперь из него выбираться? Ваша фобия перед неприятными сновидениями, как я понимаю, коренится в их содержании. Не поведаете ли что-нибудь из своих кошмаров?

Орр колебался, одолевая нерешительность.

Хабер приоткрыл было рот и тут же осекся. Ему постоянно доводилось убеждаться, что для пациента настоятельно необходимо самому выговориться перед внимательным слушателем, и спешка здесь неуместна. Именно в этой стадии и должен больной делать первый самостоятельный шаг навстречу исцелению. Лучше уж немного молчания, чем риск наглухо захлопнуть калитку. Этот разговор, в конце концов, весь носит чисто предварительный характер — своего рода прелиминарии, унаследованные от первоходцев психоанализа, смысл которых — помочь врачу решить, какой тактики придерживаться в дальнейшем, какой метод терапии избрать, чтобы верней помочь пациенту.

— Думаю, что кошмары преследуют меня не больше, чем остальных, — почти прошептал наконец Орр, опустив очи долу. — Ничего необычного. Просто я... просто я боюсь снов.

— Дурных снов.

— Любых снов.

— Понимаю. Не могли бы вы припомнить, мистер Орр, когда и как это началось? А также уточнить, чего именно вы боитесь во сне, чего стремитесь избежать?

Так как пациент, не отводя взгляда от собственных кистей — короткопалых, в рыжеватых волосках, все еще на-

мертво приклеенных к коленям, — сразу не ответил, Хабер решил подбросить в огонь дровишек, немного подсуфлировать.

— Не иррациональность ли это, столь типичная для сновидений? Разнузданность? Жестокость? Может, безнравственность ваших поступков во сне, иногда даже свальный грех? Что именно причиняет вам такие неудобства, мистер Орт, что так страшит?

— Нечто вроде... Но не совсем. Моя беда в другом. Здесь нечто совершенно особенное. Понимаете, доктор, я во сне... я...

Так вот в чем загвоздка, вот где вся закавыка, соображал Хабер, не отрывая взгляда от одеревеневших рук визитера. Несчастный, исстрадавшийся ублюдок! Его мучит комплекс вины по поводу грязных, сальных и влажных снов. Подростковое недержание мочи, тайная сладость поллюций, суровый родительский диктат...

— ...Боюсь, вы не поверите мне...

А коротышка-пациент, похоже, болен серьезнее, чем показалось на первый взгляд.

— Специалисту, занятому сновидениями всерьез, не свойственно заикливаться на их правдоподобию или соответствии жизненным обстоятельствам, мистер Орт. Я редко использую в своей практике категории веры, неверия. Они здесь редко приложимы, а подчас и вовсе неуместны. Давайте забудем ваше «не поверите» и продолжим. Я, признаться, весьма заинтригован.

Не прозвучала ли последняя сентенция слишком покровительственно, свысока? Глянув на гостя, чтобы проверить впечатление, Хабер впервые встретился с ним взглядом по-настоящему. Впечатление получилось изрядным. Необыкновенные, потрясающие глаза, отметил врач и сам себе подивился — эстетические категории в его работе тоже не в великой чести. Но эти бездонные, такие ясные серо-голубые глаза буквально завораживали. Доктор даже на миг забылся, утонув в их непостижимости, но лишь на миг — наметанный взгляд профессионала обнаружил во взгляде следы невысказанной муки.

— Ладно, я скажу вам, — продолжил Орт несколько принужденным тоном. — Я вижу сны, которые как бы... как бы воздействуют... на... на окружающий мир. Изменяют реальность.

— Не вы один, мистер Орт, все мы сталкиваемся с чем-то подобным.

Орр не сводил с доктора округлившихся светлых глаз. Прямо душа нараспашку.

— Впечатления от сновидений, наступающих непосредственно перед пробуждением, — тут же дополнил Хабер, — обусловлены особым эмоционально-психическим состоянием и могут сказаться на...

Договорить не удалось — Орр поспешно его перебил:

— Нет-нет, я имел в виду нечто совсем иное! — И после краткой заминки: — Я что-то вижу во сне, что-то совершенно новое, а проснувшись, обнаруживаю, что оно стало реальностью.

— Почему вы решили, что в такое трудно поверить, мистер Орр? Я говорю с вами совершенно серьезно, без околичностей — чем дальше продвигаешься в нашей науке, тем меньше остается невероятного. И даже невозможного. Провидческие или вещие...

— Ни вещие сны, ни ясновидение здесь ни при чем, док. Я ничего не предвижу. Ничего не знаю заранее. Я попросту изменяю окружающую действительность. — Пальцы пациента судорожно сцепились.

Неудивительно, что мудрецы из медцентра перепасовали его сюда — все орешки, что им не по зубам, перепадают Хаберу.

— Не затруднит ли вас привести какой-либо конкретный пример? И лучше всего припомнить самый первый подобный сон. Сколько лет вам тогда стукнуло?

Пациент задумался и наконец, после некоторых колебаний, ответил:

— Примерно шестнадцать, по-моему. — Казалось, он рывком преодолел некое внутреннее сопротивление и как бы сдался на милость доктора; тревога по-прежнему читалась в глазах, но панцирь самозащиты был уже сброшен. — Но тогда я еще не был вполне уверен в том, на что жалуюсь...

— Расскажите о первом случае, когда были уверены.

— Это когда мне уже минуло семнадцать... Жил я тогда с родителями, и у нас гостила, вернее, загостилась моя тетка по материнской линии. После развода она потеряла работу и сидела на минимальном пособии. И, по-моему, была малость не в себе. Мы жили в обычной трехкомнатной малогабаритке, и она практически никуда из нее не выходила. Достала этим мать мою, а свою сестру, буквально до печенок. Ни с кем не считалась — тетка Этель, я хочу сказать. Свинячила в ванной — у нас тогда еще была собственная ванна. Обожала меня дразнить — в самом дурном смысле

слова. Входила в мою комнату в распахнутой пижаме и всякие такие штуки. Тетке, кстати, еще и тридцати не было. А это, понятное дело, причиняет известные неудобства. Я был тогда девственник, ну и... вы понимаете. Известно ведь, подросток. Хозяйство торчком, и на все клюешь, как пескарь. Я страшно переживал, буквально возненавидел самого себя. Она ведь была все-таки моей родной теткой...

Орр посмотрел на доктора, чтобы проверить произведенное впечатление, — и убедился, что доктор в искренности его исповеди вроде бы не сомневается, во всяком случае не выражает явно своего отношения.

С чем только не доводилось сталкиваться Хаберу в медицинской практике. И он давно пришел к выводу, что вседозволенность конца двадцатого столетия сексуальных фобий и комплексов породила ничуть не меньше, чем некогда строгий пуризм века девятнадцатого. Похоже, Орр всерьез опасается, что доктора удивит его нежелание делить постель с собственной тетушкой. Хабер постарался придать своему лицу выражение пытливой заинтересованности, и пациент продолжил:

— Ну вот, тогда и начались тревожные сны, и во всех фигурировала тетка Этель. В самых разных обликах, порой совершенно неузнаваемая, ну как это и бывает порой во сне. Как-то, например, предстала в виде белой кошки, но я почему-то все равно знал, кто она на самом деле. В конце концов, как-то раз, после посещения киношки, где тетка всячески прижималась и терлась об меня действительно как кошка, когда по возвращении домой мне не без труда удалось ее спровадить восвояси, я и увидел тот самый сон. Очень яркий и отчетливый. Мог бы пересказать его, когда проснулся, до мельчайших подробностей. Мне снилось, что тетка Этель погибла в автокатастрофе где-то под Лос-Анджелесом, а нас о несчастье оповестили телеграммой. Мать, стоя над плитой, кропила варево в кастрюле слезами, я от души сопереживал ей, соображая, чем бы утешить, и не в состоянии был абсолютно ничего придумать... Вот и все, пожалуй, если вкратце. Проснувшись поутру, выскочил из комнаты — диван в гостиной пуст. Тетки и дух простыл, никаких следов, хоть шаром покати. Родители и я, больше в квартире никого... И не то чтобы она просто вышла куда-то или внезапно уехала, никому не сказавшись. Она *никогда* у нас и не гостила. Не стоило спрашивать родителей, не было в том нужды — я и сам это *помнил* прекрасно. Я знал,

что тетка Этель погибла в автокатастрофе полтора месяца назад по пути домой после встречи с адвокатом. По поводу предстоящего развода. Скорбное известие мы получили по телеграфу сразу же после трагедии. И весь мой сон оказывался как бы простым отображением произошедшего. Только ничего такого ведь не было — до того, как я увидел свой сон. Понимаете, я ведь *одновременно помнил* также и то, что она жила у нас, спала на диване в гостиной, свинячила в ванной, флиртовала со мной — вплоть до прошлой ночи.

— Но ведь ничего в квартире на это не указывало? Доказательств никаких не осталось?

— Абсолютно никаких! Ни следа. Тетки как не бывало. И никто, кроме меня, не помнил о ее житье-бытье в нашей квартире. А я, стало быть, просто что-то перепутал. Вот так вот.

Погрузившись в задумчивость, Хабер кивнул и рассеянно потерев бородку. То, что поначалу казалось случаем легкой наркотической зависимости, на проверку оборачивалось серьезным помрачением рассудка. Доктору еще не доводилось сталкиваться со столь стройной системой галлюцинаций, изложенной к тому же вполне связно и внятно. Судя по всему, Орт не обычный шизофреник, напротив — на вид вполне разумный человек, умеющий соблюдать приличия, а его не слишком очевидные шизоидные заскоки носят, по-видимому, нерегулярный характер. Правда, для полноты диагноза в больном явно недоставало того нескрываемого внутреннего апломба, что присущ всем подобным больным, — что-то у Хабера тут пока не вполне складывалось.

— А почему вы так уверены, что родители изменения реальности не заметили?

— Но они ведь не видели моего сна. Хочу сказать, что именно он и изменил всю реальность. То есть создал иную, с иным прошлым и с памятью об этом ином прошлом. А прожив это новое прошлое, иметь воспоминания о каком-то другом родители никак не могли. А я мог, я помнил оба, так как был там... в самый момент... в момент изменения. Только так я и мог объяснить себе все. Звучит дико, понимаю, но нужно же было найти хоть какое-то объяснение, иначе выходило, что я попросту сбрендил.

Нет, решил Хабер, этот паренек определенно не кисейная барышня, не размазня.

— Не мне судить об этом, мистер Орт. Я имею дело с фактами. И все выверты сознания для меня те же факты,

можете поверить. Когда *рассматриваешь* чей-либо сон записанным черным по белому в виде ЭЭГ, то есть электроэнцефалограммы, что мне приходилось делать тысячи и тысячи раз, о его содержании уже не можешь говорить как о чем-то нереальном. Сновидения существуют, они представляют собой нормальный событийный ряд, они оставляют за собой видимый след. Ладно, поехали дальше. Полагаю, вам приходилось видеть и другие сны с тем же самым эффектом?

— Приходилось. Но не слишком часто. Только в стрессовом состоянии, когда разволнуешься. А вот сейчас, в последнее время, они как бы... стали случаться чаще. И меня это начинает беспокоить.

Хабер подался вперед:

— Почему?

Орр ошарашенно захлопал длинными ресницами:

— Почему... что?

— Почему вас это беспокоит? — уточнил вопрос доктор.

— Потому что я отнюдь не желаю менять порядок вещей! — воскликнул пациент, как бы объясняя нечто самоочевидное. — Кто я такой, чтобы решать, чему и как быть? Не мое это дело, к тому же я даже не в состоянии проконтролировать что-либо — за меня все решает во сне мое подсознание. Я пробовал заниматься самовнушением, проштудировал несколько фолиантов, но толку от этого как от козла молока. Сновидения — штука непоследовательная, личностная, иррациональная, они вне морали, наконец, как вы сами изволили утверждать только что. Они поднимаются из самых темных глубин нашего подсознания, ну, какая-то часть, во всяком случае. Я ведь вовсе не желал смерти бедняжке Этель. Просто хотел убрать ее из своей жизни, отодвинуть со своего пути. Ну а мой сон взял да нашел более радикальное решение. Сновидения всегда выбирают что попроще и поэффективней. Таким образом я и убил свою тетку. С помощью автомобильной аварии, случившейся за тысячу миль и шесть недель назад. И всецело несу за это моральную ответственность.

Хабер снова ухватился за бороду.

— Ага, — задумчиво протянул он, — тогда-то и налегли вы на лекарства, подавляющие сновидения. Чтобы в дальнейшем избежать чувства вины?

— Да. Снотворное как бы размывало мои сновидения, делало их совершенно туманными. Кроме отдельных, очень

уж интенсивных, которые все-таки... — Опп поискал подходящее слово, — ...прорывались.

— Понятно. Хорошо. Но давайте все же разберем ситуацию подробнее. Вы не женаты, работаете чертежником на гидроэнергоцентрали Бонвиль-Уматилья. Как вам ваша работа?

— Прекрасно, вполне устраивает.

— А как обстоят дела в интимной сфере?

— Разок испробовал, что такое законный брак. Стаж — два года. Прошлым летом развелся.

— По чьей инициативе развод — вашей или жены?

— Думаю, по обоюдной. Жена не хотела иметь детей. А без этого к чему брак?

— Ну а с тех пор?..

— Встречался, несколько раз, то с одной, то с другой девицей из нашей конторы. Да и вовсе не такой уж я... жеребец, что ли, понимаете?

— Вполне. А как вообще обстоит у вас с коммуникабельностью? Нашли вы свою экологическую нишу в эмоциональной среде, с людьми сходитесь без затруднений?

— По-моему, да.

— Таким образом, станем считать, что все в вашей жизни внешне обстоит благополучно. Верно? Ну и ладно. Тогда скажите мне вот что: вы хотите, вы действительно хотите освободиться от химической зависимости?

— Разумеется.

— Отлично! Значит, резюмируя вкратце, вы пользовались лекарствами, чтобы подавить сновидения. Но опасность для вас представляют далеко не все сны — только наиболее яркие и отчетливые. Тетка снилась вам в виде белой кошки, но наутро кошкой не стала, верно ведь? То есть какая-то часть ваших снов вполне приемлема, не так ли? — Хабер дождался утвердительного кивка собеседника. — Тогда предлагаю поразмыслить вот о чем. Как вы отнесетесь к предложению исследовать весь этот феномен в целом и, возможно, научить вас видеть лишь безопасные сны, сны без страхов?

Позвольте объяснить подробнее. Предмет вашего сна складывается из эмоциональных пиков в подсознании, и вас страшит именно невозможность контроля над способностью отдельных сновидений влиять на реальную действительность. В онейрологии принято рассматривать сны как весьма изысканный и метафорически многозначный язык, на котором ваше подсознание пытается сообщить

сознанию нечто как раз о реальности, вашей личностной реальности, пытается подать сигнал, воспринять который рассудком вы еще не готовы, то есть не в состоянии истолковать рационально. Но мы ведь можем воспринять метафору и буквально как метафору — на этой стадии исследования вовсе нет нужды переводить ее в рассудочные термины. И упираемся мы тогда прямо в суть вашей проблемы: вы боитесь своих снов и одновременно нуждаетесь в них. Вы пытались подавить сны лекарствами, но это не сработало.

Что ж, давайте попробуем нечто совершенно обратное. Клин клином вышибают. Давайте нарочно дадим вам поспать. Спокойно поспать и увидеть сон, яркий и отчетливый, с заранее известным содержанием, прямо здесь и сейчас. Под моим присмотром, под строгим медицинским надзором. Таким образом *вы* как бы сохраните контроль над тем, что, казалось бы, проконтролировать невозможно.

— Как же я смогу увидеть *действенный* сон по заказу? — удивился Орт не без тревоги в голосе.

— Сможете, сможете. Во Дворце Грез доктора Хабера. Доводилось ли вам раньше подвергаться гипнозу?

— Только у стоматолога.

— Отлично. Великолепно. Мой метод прост: я погружаю вас в гипнотический транс, затем приказываю заснуть и увидеть сон *определенного* содержания. Вы наденете на себя трансшлем — для вящей уверенности, что заснете под гипнозом по-настоящему, а не сомнамбулически. На протяжении всего эксперимента я буду вас наблюдать, снимать всяческие параметры и приглядывать за энцефалограммой. Потом разбужу вас, и мы обсудим результаты. Если все пройдет без сучка без задоринки, то, полагаю, все ваши страхи развеются, как утренний туман.

— Боюсь, ничего не выйдет. Один такой сон приходится у меня на несколько десятков ночей, а то и на сотню, — упирался Орт. И его довод звучал как будто резонно.

— Неважно, развлекайтесь себе сном любого типа, какой получится, зато все его содержание и эффект воздействия будут полностью зафиксированы. Я занимаюсь этим скоро уже десятилетие и уверен, что все будет в полном порядке — если, конечно, наденете трансшлем. Не приходилось еще? — Орт отрицательно помотал головой. — Но хотя бы догадываетесь, что это за штука такая?

— Вырабатывает сигнал для... для попутной мозговой стимуляции, кажется.

— Если грубо, то так оно и есть. Русские пользуются психическими трансшлемами более полусотни лет, израильтяне, как следует усовершенствовав, тоже уже порядком, наконец-то и мы спохватились и наладили выпуск собственных — для профессиональных нужд, вроде умиротворения разбушевавшихся психов, и даже для домашнего использования в качестве генератора альфа-ритмов, замены снотворному.

Скажем, года два назад я занимался одним весьма трудным случаем ПНЛ в Линтоне — женщиной в глубочайшей депрессии. Как все жертвы подобного синдрома, спала она крайне мало и практически не погружалась в сон-фазу, не видела снов. Вернее, как только та наступала, больная тут же просыпалась и подскакивала как оглашенная. Порочный круг: чем глубже депрессия, тем слабее сон, слабее сон — сильнее депрессия. Разорвать бы его. Но как? Ни одно из известных нам лекарств сон-фазу не усиливает. ЭМС — электронная мозговая стимуляция? Тогда придется имплантировать электроды, и глубоко — в участки мозга, ответственные за сон. Но всегда ведь предпочтительнее обойтись без хирургии. И я надумал воспользоваться трансшлемом.

Что произойдет, если смодулировать специальный низкочастотный сигнал, нацеленный на определенный участок мозга? Это был новый подход, и, прежде чем удалось создать портативный электронный комплект для такого рода исследований, пришлось несколько месяцев корпеть над громоздким стационарным оборудованием. За это время я успел перепробовать воздействие на мозг пациента записей ритмов здорового мозга из самых различных стадий сна. Толку было не слишком много. Сигналы эти то находили слабый отклик в больном мозгу, то нет — последнее куда чаще. Требовалось нечто обобщающее, усредненный сигнал, выработанный по результатам анализа сотен контрольных записей.

Тогда, занимаясь параллельно и другими пациентами, я надумал выделять полезные состояния и монтировать записи — когда мозг подопечного четко вырабатывал искомый здоровый сигнал, я его фиксировал, наращивал, усиливал и продлевал. В результате, воспроизводя полученную запись, я получил возможность лечить больной мозг его же собственными нормальными ритмами. Нечто вроде положительной обратной связи. Поднакопив опыта, я несколько усложнил аппаратуру — взгляните, что вышло из простой комбинации ЭЭГ плюс трансшлем. — Хабер указал на

электронную чашу за спиной Орра. Хорошая доля всей этой машинерии, дабы не шокировать наиболее пугливых посетителей, таилась за пластиковыми панелями, но и на виду оставалось предостаточно — на добрую четверть небольшого кабинета. — Это и есть мой Храм Грез, мой «сон из машины», — добавил доктор с горделивой улыбкой, — или Аугментор, если выражаться по-научному. Его функция — погрузить вас в сон со сновидениями, легкими и поверхностными или же глубокими и яркими, какие только пожелаем. Да, кстати сказать, та депрессивная дамочка из Линтона выздоровела полностью и выписалась еще прошлым летом. — Хабер кивнул на аппаратуру. — Ну как, рискнем, попробуем?

— Прямо сейчас?

— А чего еще ждать?

— Как-то не совсем обычно это — отправиться на боковую среди бела дня... — смутился Опп, а Хабер тем временем, вытянув из набитого доверху ящика бланк, уже заполнял наспех форму «Добровольное согласие на гипноз в соответствии с требованиями ЗОБ-контроля».

Приняв протянутую доктором авторучку, Опп послушно, хотя и несколько принужденно, подмахнул листок.

— Ну вот, все в полном порядке. Теперь уточним следующее, Джордж. Ваш дантист пользовался гипнозаписью или же манипулировал голосом и жестами?

— Записью. У меня тройка по шкале внушаемости.

— Ага, в точности посередке! Так-так, значит, чтобы внушить вам сон с конкретным содержанием, безусловно, следует достичь глубокого погружения в транс. Поскольку мы намерены добиться у вас, мистер Опп, не сомнамбулического состояния, а подлинных сновидений, воспользуемся моим Аугментором — как раз то что надо. А чтобы не дать промашки при входе в транс и не потерять драгоценного времени, предлагаю применить стимуляцию блуждающего нерва и сонной артерии, вагус-каротидную индукцию. Вам доводилось уже сталкиваться с подобным?

Опп отрицательно помотал головой. Он явно был малость обескуражен ворохом новых для себя сведений, но не возражал, безгранично, почти по-детски доверяя себя опыту врача. Хабер обнаружил в себе нечто вроде ростков жалости, чуть ли не зародыш отцовских чувств к этому хрупкому и податливому существу. Влиять на него оказалось столь легко и просто, что даже неинтересно — никакого сопротивления.

— Я практически постоянно пользуюсь этим приемом, и с превосходными результатами. Быстро, безопасно и надежно — думаю, лучшего способа для погружения в транс просто не существует, никаких тебе неприятных сюрпризов, ни для гипнотизера, ни для пациента...

Но Опп мог раньше слышать и какие-нибудь жуткие рассказы о замученных подопытных, погибших в результате врачебной небрежности при применении подобного метода. И хотя сомнения были здесь совершенно неуместны, Хаберу следовало позаботиться о погашении возможного предубеждения у пациента, чтобы тот полностью расслабился. Поэтому доктор не считал за лишнее углубиться в детали; бегло и непринужденно пройдясь по полувековой истории применения данного приема в сеансах гипноза, он, чтобы отвлечь внимание собеседника от скользкой темы, переключился затем на совершенно другое — снова вернулся к снам и сновидениям.

— Видите ли, Джордж, пропасть, через которую нам с вами предстоит перекинуть мостик, — это зазор между выходом из гипнотического транса и погружением в сон-фазу. У этой бездны весьма простое наименование — сон. Обычный медленный сон, предшествующий сон-фазе, — сон без сновидений. Существуют, грубо говоря, четыре ментальные стадии, на которых следует остановиться чуть подробнее: бодрствование, транс, медленный сон и быстрый, или сон-фаза. Если обратиться к сути ментальных процессов, можно утверждать, что последние три имеют нечто общее — и сон, и сновидения, и гипноз активизируют работу подсознания, подкорки. Все они вызывают к безусловным человеческим рефлексам за порогом мышления, когда бодрствование — процесс сознательный, то есть вторичный. Всмотритесь же теперь в эти энцефалограммы повнимательнее. — Хабер зашуршал распечатками. — Вот медленный сон, вот гипнотический транс, вот бодрствование. Видите, они имеют здесь немало общего. А вот график сон-фазы — уже совсем иначе, разница очевидна. И вы не можете перескочить из транса в сон-фазу напрямую — обязательно через стадию медленного сна.

У здорового человека сон-фаза наступает четыре-пять раз за ночь, с интервалом в час-другой, и всякий раз примерно на четверть часа. В остальное время вы пребываете в той или иной стадии медленного сна. И в ней можно увидеть сны, но обычно весьма бессвязные и неотчетливые; деятельность мозга в таком состоянии напоминает двига-

тель на холостом ходу, происходит нечто вроде тихого брожения потаенных мыслей и сокровенных мечтаний. Вслед за этим начинается яркое, эмоциональное и запоминающееся сновидение сон-фазы. Гипноз в сочетании с Аугментором дадут нам гарантию его получения, гарантию прыжка через нейропсихологическую пропасть и временной сдвиг из медленного сна прямо в необходимую нам сон-фазу.

Пересядьте, пожалуйста, вот на эту кушетку... Пионерами подобного рода исследований были Димент, Эзеринский, Бергер, Освальд, Хартманн и многие-многие другие, но кушетка — обязательный атрибут кабинета любого из названных — заведена еще отцом-основателем психоанализа, самим Зигмундом Фрейдом. Правда, он бы в гробу перевернулся, узнав, как мы ее нынче используем. У него-то пациенты никогда *не спали*... Теперь откиньтесь на подушку в изголовье и расслабьтесь. Да-да, именно так. Вам предстоит провести здесь какое-то время, поэтому располагайтесь как дома, устраивайтесь поудобнее. — Хабер выдержал паузу. — Вы говорили, мистер Орт, что вам доводилось заниматься самовнушением? Прекрасно! Вспомните теперь, с чего вы обычно начинали свой сеанс. С глубокого размеренного дыхания, не так ли? Вдох на счете «десять», дыхание задерживаем до пяти. Превосходно! Вас не затруднит сконцентрировать взгляд на потолке прямо над головой? Отлично!

Как только пациент повиновался и запрокинул голову, сидящий рядом Хабер, не мешкая, нагнулся и подsunул под его затылок левую ладонь, легонько прижав пальцами нервные узлы за ушами; правой рукой одновременно надавил на точки прямо под мягкой и светлой бородкой — в области блуждающего нерва и сонной артерии. Бледная кожа под пальцами удивила девичьей шелковистостью; пациент еще успел слегка дернуться как бы в знак протеста, но его ясный взгляд уже утратил осмысленное выражение, и веки вскоре смежились.

— Вы отключаетесь, вы закрываете глаза и отключаетесь, расслабьтесь, не думайте ни о чем, вас охватывает блаженная истома, и вы погружаетесь в транс, вы засыпаете... — Бормоча этот затверженный текст, Хабер не сумел подавить в себе острый спазм от наслаждения собственным искусством, своей абсолютной властью над пациентом.

Безвольно свесив правую руку с кушетки, Орт уже отключился полностью. Не снимая рук с нервных узлов пациента и

не прерывая своих заклинаний, Хабер опустился перед ним на колени.

— Вы погрузились в транс, еще не уснули, но уже находитесь в глубоком гипнотическом трансе и не выйдете из него, пока я не прикажу вам. Вы все глубже и глубже погружаетесь в него, но голос мой слышите хорошо и неукоснительно следуете всем моим наставлениям. Отныне, как только я прикоснусь к вашему горлу, как сделал только что, вы тут же погрузитесь в транс. — Хабер повторил последнюю инструкцию несколько раз. — Как только я прикажу открыть глаза, вы подчинитесь и увидите хрустальный шар, витающий прямо перед вашим носом. Я хочу, чтобы вы сосредоточили на нем все свое внимание, и это тоже поможет углубиться в транс. А сейчас откройте глаза, да, прекрасно, именно так, теперь сообщите, когда появится хрустальный шар.

Пушистые ресницы медленно разлепились, и Ортр отсутствующим светлым взором уставился куда-то сквозь Хабера.

— Вижу, — почти прошептал загипнотизированный.

— Хорошо. Не сводите с него взгляда, дышите размеренно, очень скоро вы окажетесь в настоящем глубоком трансе...

Хабер глянул на настенные часы — все дело заняло лишь несколько минут. Отлично, тратить лишнее время на промежуточных стадиях он не любил, его интересовала прежде всего конечная остановка. Хабер поднялся и, пока пациент любовался воображаемой хрустальной диковиной, аккуратно надел на него трансшлем и занялся регулировкой электродов. При этом он продолжал мягко повторять формулы внушения и контрольные вопросы, ответы на них свидетельствовали, что прочная связь с пациентом по-прежнему существует. Как только доктору удалось подогнать шлем, он щелкнул клавишей на пульте энцефалографа и некоторое время следил за его показаниями.

Восемь из множества электродов шлема обслуживали ЭЭГ, восемь самописцев внутри аппарата вели постоянную запись электрических сигналов мозга. На экране, за которым наблюдал Хабер, импульсы отображались воочию, в виде белых зигзагов на темно-сером фоне. Доктор мог выделить любой из них, увеличить, усилить, совместить с другим как только заблагорассудится. Этим зрелищем он искренне наслаждался и никогда от него не уставал — смотрел, как другие ежевечерний боевик, Хит Первого Канала.

Хабер не обнаруживал пока на экране ожидаемых зигзагов — сигмообразных, свойственных шизоидным больным определенных типов. И вообще ничего необычного пока как будто не просматривалось, за исключением некоторой избыточной пестроты наблюдаемых ритмов. Мозг обычного человека продуцирует на экран относительно несложную периодическую кривую — перед Хабером предстали сейчас ритмы отнюдь не простака. Сложные, запутанные линии на экране практически не повторялись. Разумеется, компьютер внутри Аутментора чуть погодя справится с анализом и систематизирует кривые, но пока Хаберу не удавалось на глазок выделить никаких исключительных факторов, кроме разве что самой усложненности пульсаций.

Отдав пациенту команду отвлечься от хрустального шара и закрыть глаза, Хабер практически сразу же сумел распознать мощный двенадцатицикловый альфа-ритм. Он еще немного поиграл на клавиатуре, налаживая компьютер на запись и проверяя глубину гипноза, а затем сказал:

— Теперь, Джон... — И тут же, мысленно чертыхнувшись, поправился: — Теперь, Джордж, ты заснешь ненадолго, ты будешь сладко спать и видеть сон, но заснешь только лишь после того, как я громко произнесу пароль — «Антверпен». Услыхав слово «Антверпен», ты заснешь по-настоящему и будешь крепко спать, пока не услышишь свое имя произнесенным три раза кряду. Заснув, ты должен видеть сон, приятный сон. Ясный и радостный. Не дурной сон, а как раз наоборот — сладостный и прекрасный, как детство, и видеть его ты должен очень отчетливо. Так, чтобы ничего не позабыть, когда проснешься. Ты увидишь во сне... — Хабер замешкался на миг — полагаясь на вдохновение, он обычно ничего не планировал заранее. — ...Увидишь во сне коня. Статного гнедого жеребца, гарцующего по полю. Скачущего по кругу. Возможно, ты сделаешь попытку оседлать его, возможно, просто будешь любоваться издали. Но увидишь во сне коня обязательно. Этот сон с конем будет весьма отчетливым и... — Доктор порывлся в памяти: какое там слово использовал пациент? — И действенным. Кроме сна с конем никаких иных быть не должно; как только я трижды произнесу твоё имя, ты проснешься отдохнувшим и бодрым. Сейчас же я погружаю тебя в сон произнесением парольного слова... Антверпен!

Пляска линий на экране немедленно стала изменять свой характер — ритм пульсаций замедлился, а пики резко подросли. Вскоре обозначились и длинные штрихи сна второго

уровня, и намеки на растянутый, глубокий дельта-ритм четвертого — экран энцефалографа словно налился некоей невидимой морозной тяжестью. Дыхание пациента еще больше замедлилось, лицо приобрело абсолютно отсутствующее выражение.

Аугментор предоставит Хаберу полную запись всех стадий, сейчас же встроенный в него компьютер занят анализом арабесок медленных снов пациента и готовится к расшифровке орнамента подступающей сон-фазы, выделив и записав которую сможет подпитывать спящий мозг ею же, этой записью, усиливая тем самым ментальные ритмы собственно сновидения. Похоже, решающий момент уже приближался — видимо, на пациенте сказывался долгий период подавления снов, и сон-фаза наступала на этот раз несколько раньше, чем ожидалось, даже раньше, чем явственно и полностью установился второй уровень. Плавно колышущиеся линии исполосовали весь экран, снова бешено затрепыхались, задержались мелкой дрожью, переходящей в стремительную джигу, не подчиненную никакому единому ритму. Сейчас демонстрировал возросшую активность варолиев мост, а ритмы гиппокампа приобрели пятисекундную периодичность, так называемый тэта-ритм, до сих пор у подопытного ясно не проявлявшийся. Хабер глянул на спящего: его пальцы слегка подрагивали, глаза под сомкнутыми веками бегали, как бы что-то высматривая, губы приоткрылись на глубоком вдохе — несомненно, Опп видел сон.

Хабер зафиксировал время — пять часов шесть минут.

В пять одиннадцать он нажал черную клавишу и выключил Аугментор. В пять двенадцать, наблюдая на экране возобновление рисунка медленного сна, Хабер склонился над пациентом и трижды отчетливо произнес его имя.

Опп вздохнул, вяло развел руками, открыл глаза — и проснулся. Освободив его от трансшлема двумя отработанными движениями, Хабер мягко и сердечно поинтересовался:

— Как вы себя чувствуете, мистер Опп? Все в порядке?

— Хорошо, спасибо.

— Сон вы видели — пока это все, что могу вам доложить. Вы запомнили его? Можете пересказать?

— Конь, — сипловато отозвался Опп, до конца еще не проснувшись, и опустил ноги на пол. — Сон про коня. Вот про этого. — Он жестом указал на огромную украшавшую глухую стену врачебного кабинета фотофреску — это было

изображение известного рысака по кличке Темени-Холл*, беззаботно резвящегося на сочно-зеленой лужайке.

— А что именно вам снилось про него? — довольным тоном спросил Хабер. Он вовсе не рассчитывал на успех с первого же сеанса.

— Это было... Я брел по этому полю, а конь сперва гарцевал в отдалении. Затем он поскакал ко мне, и казалось, что приближается он отнюдь не с добрыми намерениями. Но я почему-то совсем не испугался этой атаки. Наверное, рассчитывал поймать жеребца за уздечку или увернуться в последний момент. Во всяком случае был уверен, что ничто серьезное мне не угрожает — конь-то ненастоящий, с картинки из вашего кабинета. Нечто вроде игрушки из папье-маше... Мистер Хабер, а вас... вас в этой картине... ничего не удивляет? Ничто не кажется необычным?

— Ну, некоторые находят ее слишком энергичной для крохотного офиса, какой-то чересчур бодряческой. Секс-символ в натуральную величину — и прямо напротив кушетки для гипноза! — Доктор шаловливо улыбнулся.

— А что здесь у вас висело с час тому назад? Я хочу сказать, не висела ли там другая картинка, когда я к вам пришел, например фотография горы Маунт-Худ — до того, как я увидел сон про эту лошадь?

...О Господи он прав он совершенно прав здесь же висел Маунт-Худ...

...Какой такой Маунт-Худ здесь никогда не было никакого Маунт-Худа здесь всегда висел конь висел конь висел конь...

...здесь был Маунт-Худ...

...Конь здесь всегда был конь здесь всегда...

Доктор, не мигая, пялился на Джорджа Орра, не сводил с него взгляда несколько бесконечно долгих секунд — пытаясь постичь непостижимое, собрать воедино клочки мыслей и найти, дать пристойный ответ... и скрыть, скрыть, скрыть свое ошеломление. Он врач, он должен внушать почтение и трепет, он знает ответы на все вопросы...

— Стало быть, вам кажется, Джордж, что прежде здесь находилось изображение горы Маунт-Худ?

— Именно так, — заявил тот печально, но непреклонно. — Маунт-Худ. Весь в снегу. На фоне синего неба.

— Гм-гм... — скептически хмыкнул Хабер, лихорадочно взвешивая, оценивая невозможное — или немислимое? Со-суший холодок под ложечкой уже отпускал его.

* Штаб-квартира Демократической партии.

— Вы со мной не согласны?

Взгляд пациента... в этих неопределенного цвета бездонных глазах читалось искреннее разочарование и слабющий свет надежды — определенно, взгляд не вполне нормального человека.

— Боюсь, не согласен. Это знаменитый Темени-Холл, трехкратный чемпион восемьдесят девятого года. Сами скачки я тогда прозевал, хотя обожаю их и весьма стыжусь, что человечество, решая свои продовольственные проблемы, под корень изводит братьев наших меньших. Конечно, лошадь в офисе — в некотором роде анахронизм, но эта картинка мне нравится. Она передает силу, бьющую через край энергию — полную самореализацию в исконном ее биологическом смысле. Своего рода идеал, к которому стремится в работе каждый психиатр, некий вдохновляющий символ. Выбирая тему для внушения в нашем с вами сеансе, я случайно взглянул на картину и... — Хабер снова недоверчиво покосился на стену — естественно, там была лошадь, а не что-либо иное. — Но если недостаточно моих заверений, давайте спросим мисс Кроуч, она работает у меня уже полных два года.

— Мисс Кроуч ответит, что здесь всегда была именно эта картинка, — ответил Орт тихо и горестно. — Всегда лошадь, только лошадь и ничего кроме лошади. Что бы там мне ни приснилось. Я еще надеялся, что вы, подобно мне, сохраните воспоминания о предыдущей реальности, раз сами программировали мой сон. Ничего из этого не вышло, по-видимому.

Взгляд пациента вместо острого разочарования снова выражал прежнее тихое отчаяние, безнадежную мольбу о помощи, адресованную никому и в никуда.

Джордж Орт явно был нездоров и нуждался в лечении.

— Вам придется посетить меня снова, Джордж, и завтра же, если возможно.

— Но я работаю...

— Отпроситесь на часок пораньше и приходите к четверем. Вы ведь на ДНД. Стесняться тут нечего, смело скажите своему шефу правду. Не менее восьмидесяти двух процентов населения раньше или позже проходит через ДНД, не говоря уже о тридцати одном проценте, попадающем на ПНЛ. Подходите к четверем, и мы продолжим. И не сомневаюсь, что добьемся определенного результата. Вот вам пока временная карточка — это поможет вам удержать сны в размытом состоянии без полного их подавления. Вы може-

те использовать ее раз в три дня в любом аптечном автомате. Если увидите отчетливый сон или же вас встревожит что-либо иное, звоните тотчас же, днем или ночью, неважно. Но, думаю, что не придется, если станете аккуратно принимать прописанное мною средство. А если мы с вами еще как следует поработаем, нужда в каких бы то ни было лекарствах и вовсе отпадет. Все ваши проблемы рассеются, как туман, и вы вздохнете свободно и счастливо. Договорились?

Орр принял из рук доктора рецептную IBM-карту.

— Было бы здорово, — сказал он с неуверенной улыбкой, опуская ее в карман. Затем выдал нечто вроде смешка. — А знаете, я заметил еще кое-что относительно этого коня на стене...

Хабер застыл, глядя на пациента с высоты своего роста сверху вниз.

— Чем-то он неуловимо напоминает вас, — договорил Орр.

Хабер обернулся к фреске. Точно. Здоровенный, пышущий неукротимой силой, гривастый гнедой, несущийся в отчаянном галопе...

— Может, и конь, что приснился, напоминал вам меня? — спросил Хабер, не педалируя, но все же чуточку сварливо.

— Разумеется, — ответил пациент.

Когда Орр ушел, Хабер присел и с тяжелым смутным чувством уставился на фотографию Темени-Холла. Здоровущий жеребец действительно слишком велик для крохотного кабинета. И Хаберу вдруг почему-то мучительно захотелось иметь вместо него нормальное окно с видом на горы.

Глава 3

Тот, кому помогает само Небо, зовется Сыном Неба. Такому нельзя научиться — книжная премудрость здесь ни при чем. Не создают такое и упорным трудом. Такому не требуют обоснований и доказательств. Кто в познании сумеет остановиться на непознаваемом, тот и достиг совершенства. А кто не пожелает этого сделать, того ждет незавидная участь — брызнуть стружкой из-под резца небес.

«Чжуан-цзы», XXIII

Джордж Орт покинул контору ровно в полчетвертого и пешком направился к ближайшей станции метро — машины у него сроду не было. Правда, подкопив, он сумел бы обзавестись подержанным паровым «фольксвагеном», но к чему он, спрашивается? Центр города, где живет Орт, для проезда закрыт, а ездить на пикники ему просто некуда. И водительские права, полученные еще в начале восьмидесятых, так ни разу и не понадобились. Поэтому домой с работы, из Ванкувера, он возвращался именно подземкой.

Поезда курсировали битком набитые — час пик; сдавленный со всех сторон служивым людом, Джордж смело мог игнорировать поручни и свисающие ременные петли; порою, когда давление окружающих его потных тел (t) превозмогало силу тяготения (T), мог даже оторвать ноги от пола и как бы воспарить. Вот и сейчас точно та же история — сосед Орта по давке, не в состоянии опустить руку с газетой, изловчился читать спортивную колонку чуть ли не под потолком вагона. Заголовок «Мощный прорыв границы Афганистана» и под ним литерами помельче «Прямая угроза интервенции» мозолил глаза Орту первые шесть остановок. Затем газета вместе с ее владельцем устремились к выходу,

а их место тут же заступила парочка томатов на зеленой пластиковой тарелке, под которой обнаружилась пожилая леди в зеленой пластиковой же накидке. Дама прочно обосновалась на левой ноге Орра и не двигалась с места в течение трех следующих остановок.

Когда поезд остановился на станции «Восточный Бродвей», к выходу пробился и Джордж. Выйдя из метро и маленько переведа дух, он четыре квартала продирался сквозь бесконечные толпы клерков, завершивших свой трудовой день. Вконец измученный, Орт добрался до нужного ему здания в восточном Вильяметте — мрачной глыбы стекла и бетона, взметнувшейся из каменных джунглей строений поменьше — в точности так, как тянется из подлеска к свету и воздуху живое дерево. Крайне мало чистого воздуха и дневного света достигало мостовых, где, как в бане, царили духота и вечная морось. Дождик в Портленде в заводе истари, но постоянная жара — семьдесят по Фаренгейту*, это второго-то марта! — началась в результате загрязнения атмосферы не так уж давно и жителям была еще как бы в диковинку.

История борьбы с промышленными и городскими миазмами восходила к середине двадцатого века, но и теперь ей не видать ни конца ни краю — работы по очистке атмосферы, загаженной избытками углекислоты и прочих индустриальных прелестей, дадут ощутимые результаты разве что через несколько столетий. И то лишь при условии, что будут вестись упорно и непрерывно. Когда из-за парникового эффекта подтаяли полярные шапки и заметно поднялся уровень мирового океана, одной из первых серьезных его жертв стал мегаполис Нью-Йорк, а все атлантическое побережье Штатов оказалось под реальной угрозой затопления. Зато как бы в знак компенсации за потери в Атлантике воды залива Сан-Франциско схоронили под собой сотни квадратных миль городских свалок, копивших отбросы еще с 1848 года. Что же до Портленда, то, благодаря береговой гряде и удалению от побережья на восемьдесят миль, затопление ему не грозило — разве что от хлябей небесных.

Климат в западном Орегоне и раньше отличался сыростью; теперь же дождь изливался на головы орегонцев без конца, и скоро жители Портленда привыкли сравнивать

* Примерно 22 градуса по Цельсию.

себя с рыбами, обреченными на жизнь в котелке с медленно закипающей ухой.

К востоку от Каскадных гор, в местах, где еще три десятилетия назад царила бесплодная пустыня, как грибы после дождя стали возникать новые города: Уматилья, Джон-Дей, Френч-Глен и прочие — и хотя летом там по-прежнему свирепствовал зной, зато осадки выпадали в разумных пределах, всего 45 дюймов в год (при полных 114 в Портленде!). Это позволило переселенцам заняться земледелием, и пустыня вскоре всю зазеленела. Новые города разрастались быстро — население Френч-Глена, к примеру, уже достигло без малого семи миллионов, тогда как Портленд без каких бы то ни было видов на будущее застрял на трех, а за счет беженцев на новые территории начал даже несколько терять в жителях. Все в Портленде оставалось по старинке и как бы покрылось патиной безнадежности. Никаких улучшений. Недоедание, столпотворение, мусор и вонь на всех улицах стали обыденным явлением, нормой жизни. В старых кварталах свирепствовали цинга, тиф и гепатит, а в новых — насилие, бандитизм. В первых властвовали крысы, в последних жизнью людей распоряжалась всемогущая мафия. Джордж Орт в этом гадюшнике оставался лишь потому, что, проведя здесь всю свою жизнь, иной не мыслил и не верил, что где-то может быть по-другому. А также по инерции и из-за вялости своего характера.

Мисс Кроуч, безразлично улыбнувшись, жестом позволила пройти прямо к доктору. Прежде Орту казалось, что приемная психиатра, как кроличья нора, обязательно должна иметь минимум два выхода. У Хабера же был лишь один, но он как бы удваивался за счет того, что не столь уж часто принимаемые пациенты друг с другом никогда не сталкивались. В медцентре Орту рассказали, что доктор Хабер, посвятивший себя в основном научным исследованиям, практикует совсем немного. Это, впрочем, создавало Хаберу репутацию преуспевающего медика, что подтверждалось и его сердечными, радушными манерами. Но сегодня, находясь в более уравновешенном состоянии духа, Орт оказался повнимательнее к мелочам и заметил кое-что для себя новое. Кабинет Хабера не блистал хромом, не изобиловал кожаной мебелью — нет, этих обычных признаков преуспеяния не было и в помине, отсутствовал и лабораторный кавардак, характерный для ученого-фанатика. Обитые дешевым винилом стулья и кушетка, стол, фанерованный за-

мызганным пластиком под дерево, — нигде никаких натуральных материалов.

Рослый, пышногивый и темно-рыжий (точь-в-точь конь гнедой) хозяин кабинета, сияя ослепительной улыбкой, поднялся навстречу и протрубил:

— Добрый, добрый день, мистер Опп!

Его сердечность казалась вполне искренней, но все же несколько преувеличенной, точно объявление о скидке, выставленное напоказ в витрине, — результат профессиональной выучки, когда каждая интонация оттачивается и доводится до автоматизма. Опп ощутил в этом явственное желание понравиться, произвести впечатление. Похоже, мелькнула мысль, Хабер как бы не до конца уверен в реальном существовании своих пациентов и своей помощью им хочет что-то доказать сам себе. Это громогласное радушие приветствия словно предполагало, что ответить-то на него, может статься, будет вовсе некому.

Оппу захотелось вдруг произнести в ответ доктору тоже что-нибудь дружелюбное, завязать с ним эдакую непринужденную беседу, но голова была пуста, как сухая тыква.

— Здравствуйте! Похоже, Афганистан уже на самой грани войны, вот-вот начнется, — пробормотал он первое, что пришло на ум.

— Гм, может быть, но так пишут в газетах еще с прошлого августа, — усомнился Хабер.

Как и следовало ожидать, в мировой политике доктор оказался куда более сведущ. Опп же, и прежде не очень ею интересуюсь, за последние сумасшедшие недели вообще выпал из курса событий.

— Не думаю, чтобы это серьезно задело Альянс, — охотно развивал тему Хабер. — Разве что на иранской стороне выступит еще и Пакистан. Но тогда Индия окажет вполне значимую, а отнюдь не символическую, как до сих пор, помощь Израигипту. — Таким нелепым сокращением окрестили журналисты новую форму союза Египта с Израилем. — Полагаю, речь Гапта, произнесенная на днях в Дели, доказывает это со всей очевидностью.

— Все равно начнется, — сказал Опп, уже осознав всю печальную неуместность затронутой темы. — Война, я имею в виду.

— Вас это всерьез беспокоит?

— А вас разве нет?

— Пока как-то не очень. — Доктор расплылся в своей широкой улыбке, точно некий добрый медвежий божок.

И все же за ширмой веселости угадывалась толика его вчерашней настороженности.

— Ну а меня беспокоит, — сказал Опп, но Хабер вроде как пропустил его слова мимо ушей. Оппа это даже слегка задело — задаешь вопрос, так уж не отрешивайся, — но досаду он проглотил и смолчал. Врачу виднее, как и что.

Опп вообще частенько ловил себя на сомнительном убеждении, что все вокруг лучше его знают, что делать, — может, оттого, что в собственных поступках подобной уверенности зачастую отнюдь не испытывал.

— Спалось нормально? — любезно справился Хабер, присев под реющим по ветру хвостом Темени-Холла.

— Спасибо, хорошо.

— Как насчет еще одного путешествия в Царство Грез имени Хабера? — В глазах доктора будто затаились буравчики.

— Вроде бы для того я сюда и пришел.

Опп видел, как доктор поднялся и обогнул стол, успел заметить, как широченная ладонь потянулась к его горлу — затем наступило ничто...

— ...Джордж! Джордж...

«Мое имя», — спохватился Опп. А кто позвал? Голос вроде бы незнакомый. Сухой мир, иссушающий легкие воздух, а в ушах — тягостный звон, эхо чужого возгласа. Яркий дневной свет и никаких пространственных координат. И возврата нет. Опп проснулся.

Смутно знакомые стены вокруг, смутно знакомый массивный мужчина в свободной рыжеватой хламиде, с каштановой бородкой, белозубой улыбкой и непроницаемым взглядом темных глаз.

— Судя по показаниям энцефалографа, сон был краткий, но весьма оживленный, — ударил по ушам низкий голос. — Давайте-ка его сразу же и обсудим. Чем раньше припомнишь, тем полнее картинка.

Опп уселся, преодолев острый приступ головокружения. Сидел он на кушетке — как он на ней оказался?

— Дав... давайте, — прочистив кашлем горло, выдавил он. — Сделать это недолго. Снова конь. Вы что, опять внушали мне лошадиный сон?

Не ответив, Хабер неопределенно покачал головой — ждал продолжения, — и Джордж не стал его зря томить.

— Ну, дело было в конюшне. И в то же время здесь, в этой вот комнате. Солома, ясли, в углу вилы и так далее. И конь. Он...

Безмолвное внимание доктора экивоков не допускало.

— ...Он и наложил эту чудовищную кучу. Коричневую и смрадную. Грудю навоза, чем-то смахивающую на Маунт-Худ, с характерным выступом на северном склоне и так далее. Это было нечто вроде оскорбления, как бы вызов мне, и тогда я сказал сам себе: «Но это всего лишь картинка, шутовское изображение горы». Сразу же затем, по-моему, и проснулся.

Орр поднял взгляд на фотофреску за спиной доктора Хабера — на ней снова красовался Маунт-Худ, только на сей раз запечатленный в приглушенных, как бы акварельных тонах: небо сероватое, сам склон нежно-коричневого, почти рыжего цвета, с вкраплениями белых пятнышек возле вершины, передний план подернут дымкой размытой листвы деревьев, выступающих снизу, из-за кадра.

Хабер оборачиваться не стал, он не сводил с пациента внимательного взгляда агатово-черных глаз. Когда Орр, не выдержав игры в гляделки, потупился первым, доктор рассмеялся — коротко, но весьма экзальтированно:

— Похоже, Джордж, тележка наша сдвинулась-таки с места!

— И куда же нас теперь вывезет?

Орр чувствовал себя совершенно по-дурачки, сидя с полным разбродом в мыслях на нелепой этой продавленной кушетке, где ему, беспомощному, аки младенцу, пришлось только что дрыхнуть напоказ — возможно, с отвисшей челюстью и громким храпом, — пока эскулап изучал свои таинственные узоры на экране, внушая пациенту содержание сна. Над ним как будто надругались, попросту поимели и неясно для чего, с какой такой целью. Где результат, где хотя бы сдвиги?

По всей видимости, никаких воспоминаний о фотографии Темени-Холла на стене и связанных с нею разговорах Хабер не сохранил, он всецело принадлежал теперь новой действительности, и все его мысли о прошлом тоже соответствовали новым реалиям. Ждать помощи от него бесполезно. Сейчас доктор возбужденно мерил шагами кабинет, громогласно подытоживая свои собственные первые впечатления:

— Отлично! Первое: вы прекрасно поддаетесь внушению и можете засыпать по заказу. Второе: вы наилучшим образом соответствуете задаче, ради решения которой я и сконструировал свой Аугментор. Таким образом мы сможем работать быстро и эффективно без всякого наркоза.

Ненавижу наркотики и всегда предпочитаю обходиться без них. То, на что мозг способен сам по себе, куда предпочтительнее и похлеще его реакций на химические стимуляторы. Для того и создан Аугментор, чтобы подстегнуть мозг к самостимуляции. Созидательные и восстановительные ресурсы сознания — бодрствующего ли, спящего ли — практически оценке не поддаются, они совершенно неисчерпаемы. Если бы только нам еще удалось подобрать ключик к каждому замку! Полагаю, мощь собственно сновидения — это нечто такое, что никому и во сне-то не привидится!

Хабер хохотнул — чувствовалось, что этот незатейливый каламбур произносит он далеко не впервые. Но Опп мигнул и улыбнулся растерянно — случайный выстрел доктора пришелся чуть ли не в самое яблочко.

— Теперь я ничуть не сомневаюсь, — продолжил Хабер, — что ваше исцеление лежит именно в этом направлении — использовать сновидения, вместо того чтобы их подавлять. Материализовать страхи, дать вам возможность смело взглянуть им в лицо и, с моей помощью, сквозь них. Вы, Джордж, боитесь собственного сознания. С этим страхом человек жить не может. Вам предстоит от него избавиться. И помощь вы получите с неожиданной стороны — помощь собственного мозга, помощь животворящую и действенную. Все, что для этого требуется, — не заглушать энергию сознания, не подавлять ментальные процессы, наоборот — высвободить их. Это мы и сумеем сделать при помощи Аугментора. Вам не приходит в голову, Джордж, чем именно предстоит заняться на ближайшем этапе?

— Понятия не имею, — буркнул Опп.

Когда Хабер заговорил об использовании ментальной энергии, Опп поверил было на миг, что речь идет о его способности изменять реальность. Но почему бы не сказать об этом прямо, без экивоков? Зная, как отчаянно нуждается пациент в подтверждении, и будучи в силах оказать подобную помощь, врач не стал бы юлить, продолжать увертки, во всяком случае, без основательной на то причины.

Отчаяние снова захлестнуло Орра, и пуще прежнего. Наркотики и стимуляторы тоже лишали рассудительности, но тогда он знал об этом заранее и мог хотя бы попытаться совладать со своими эмоциями. Нынешнее же разочарование не укладывалось ни в какие рамки. Рассчитывая на доктора, Опп расслабился и позволил себе малую толику надежды. Ведь только вчера еще он был почти уверен, что Хабер ясно *осознал* переход от горы к лошади. Попытка

доктора скрыть свой шок и взять себя в руки Орра ничуть не удивила и не встревожила — наверняка, полностью утратив ориентацию, Хабер в смятении поначалу ничего не соображал. И у самого Орра вначале были те же проблемы, он далеко не сразу признал и принял за факт свою способность совершать нечто немыслимое. И все же он позволил себе сейчас смутную тень надежды, допустил, что знающий содержание сна и принимающий участие в процедуре, в самом ее эпицентре, Хабер сможет заметить и запомнить перемену в окружающей действительности.

Ни черта не получилось. И выхода никакого нет. Орт отброшен туда же, где и провел последние месяцы, — назад, в полное свое одиночество. В одинокое постижение своего отчаянного безумия-небезумия. Достаточно, чтобы и впрямь рехнуться.

— Может, вы могли бы, — добавил Орт неуверенно, — внушить мне сновидения, не воздействующие на... ну, неэффективные? Раз уж можете внушать, что я должен делать во сне... Тогда я смог бы отдохнуть от лекарств, пусть даже ненадолго.

Усевшись, массивный Хабер навалился на письменный стол, по-медвежьи сторбившись.

— Очень сомневаюсь, что это поможет. Даже на одну ночь, — ответил он тихо и просто. Затем снова загудел басом: — Разве это не то самое тупиковое направление, в котором вы, Джордж, пытались самостоятельно двигаться, а вернее, буксовать? Химия или гипноз — все едино, все это попытка подавления. От собственного сознания никому не убежать. Вы понимаете это, только вот признаться себе пока не смеете. Оно и понятно. Но давайте взглянем на дело под другим углом — вы уже дважды видели сны прямо здесь, на этой кушетке. И что же, это причинило кому-нибудь вред?

Слишком обескураженный, чтобы отвечать вслух, Орт просто помотал головой. Хабер принялся развивать мысль, и пациент, стараясь не потерять нить его рассуждений, напряг внимание. А доктор между тем перешел уже к теме грёз наяву, к их сродству со сновидениями и с полутора-часовыми ночными циклами, к несомненной пользе и значимости грёз и так далее. Он поинтересовался, не свойствен ли Орру какой-либо определенный тип фантазий.

— Ну, к примеру, я сам, — иллюстрировал Хабер. — Я часенько грежу о героических поступках. Будто бы я настоящий герой. Вытаскиваю, скажем, из проруби девушку,

помогаю задыхающемуся астронавту, прорываю осаду города или даже выручаю из беды обреченную на гибель планету. Такие вот мессианские грезы, мечты о благодеяниях в космических масштабах. Хабер — спаситель человечества! Все это чертовски забавно — пока удерживаешь фантазии там, где им место. Глубоко внутри себя. Всем нам необходим подъем самооценки, который и приносят подобные мечты, но стоит только начать полагаться на них в реальности — и пиши пропало... Существуют еще грезы типа «острова в океане», к ним склонно большинство администраторов среднего возраста. Есть тип «благородного мученика-страдальца», романтические подростковые грезы, фантазии садомазохистов и прочая, и прочая. Большинству из нас знакомы чуть ли не все эти типы. Практически каждый хотя бы раз в мечтах представлял на арене лицом к лицу с разъяренными львами, или швырял во врагов гранаты, или спасал недотрогу-девственницу с тонущего лайнера, или помогал Бетховену сочинить Десятую симфонию. Вам что больше по душе?

— Э-э... Бегство, — ответил Опп. С усилием сосредоточившись на затронутой теме, он хотел быть до конца откровенным с человеком, который вроде бы искренне пытается ему помочь. — Убежать. Скрыться. Уйти от всех и вся.

— От нудной работы, повседневной суеты — так, что ли?

Казалось, у Хабера просто не укладывается в голове, что Опп может стремиться избегать работы. Человек амбициозный, доктор видел в своем труде путь к сияющим высотам всемирного признания и не мог до конца уверовать, что другие мыслят себе это как-то иначе.

— От этого тоже. Хотя сама работа меня пока устраивает. Больше от городской давки, бесконечной толчеи. Слишком много людей вокруг. Очереди повсюду. И все такое.

— Куда-нибудь поближе к теплым морям? — уточнил Хабер со своей медвежьей ухмылкой.

— Нет. Прямо здесь. У меня не очень-то с фантазией. Иметь бы простенькое бунгало! Где-нибудь за городом, например, за береговой грядой, где еще сохранилось нечто вроде девственного леса.

— А просто купить себе такое местечко — не думали разве?

— Дачные участки тянут минимум тридцать восемь тысяч за акр, и это еще в самых захудалых местах, в дебрях

южного Орегона. С видом на море цена доходит до четырехсот штук за лот.

Хабер присвистнул:

— Вижу, что думали. И в результате вернулись к мечтам. Благодарение Господу, хоть они пока даются нам даром. Да. Ладно... Может, предпримем еще одну ходку? В запасе у нас добрых полтора часа.

— А не могли бы вы... не могли бы...

— Что именно, Джордж?

— ...Сказать заранее, о чем будет сон? И позволить сохранить воспоминания о процедуре?

Хабер опять пустился в бесконечные разглагольствования, по сути сводившиеся к завуалированному отказу:

— Как вы теперь уже знаете, Джордж, все переживаемое вами в течение сеанса гипноза, включая мои команды, при пробуждении обычно блокируется механизмом сознания, тождественным тому, какой стирает девяносто девять процентов наших воспоминаний о снах. Отменить этот запрет равносильно провокации, слишком уж велик риск столкнуть внутри вас взаимоисключающие посылки и возбудить в сознании конфликт весьма деликатных материй — небезопасно знать содержание сна до того, как вы сами его увидите. Сам сон я вправе приказать вам запомнить. Но следует избегать опасности смешения воспоминаний о приемах внушения с содержанием собственно сновидения. Мне нужен чистый пересказ сна, а не то, что вы могли бы напридумывать по поводу гипнотического задания. Понимаете? Вам следует довериться мне, я ведь желаю вам только добра. И не столь уж многого от вас требую. То есть по сути я, конечно, оказываю на вас давление, но мягко и без лишней суеты. Стараясь уберечь вас при этом от каких бы то ни было кошмаров. Поверьте, я не меньше вашего стремлюсь разобратся в феномене, с которым столкнулся впервые. Вы человек интеллигентный, притом весьма покладисты, а мужества вам не занимать — какой груз несли до сих пор в одиночку! Мы раскусим ваш орешек, Джордж, смело можете на меня положиться.

Не то чтобы Опп все сказанное так уж легко принял за чистую монету, но Хабер был красноречив и убедителен, как завзятый телепроповедник. А помимо всего прочего, Опп так нуждался в чьем-либо участии, так хотелось ему хоть во что-то верить. Не упорствуя более, он улегся на кушетку и приготовился к прикосновению великанской ладони к своему горлу...

— О'кей! Вот и вернулись мы в действительность! Что снилось на сей раз, Джордж? Поделитесь-ка свеженьким, с пылу с жару!

Голова шла у Орра крутом, в мозг впились тупые ржавые иглы, он чувствовал себя так, будто вот-вот расхворается.

— Что-то о южных морях... с кокосовыми пальмами... не могу отчетливо припомнить. — Он помассировал виски, поскреб подбородок, глубоко вздохнул. Затем попросил поток холодной воды. — Значит, так. После этого сна, с пальмами, приснилось, что вы идете вдвоем с Джоном Кеннеди, президентом, вниз по Элдер-стрит — так, по-моему. Я был в свите кем-то из сопровождающих, даже нес, кажется, какой-то багаж одного из вас. Кеннеди шагал под открытым зонтом, я видел его в профиль, как на старом полтиннике, а вы сказали: «Это вам больше не понадобится, мистер президент» — и выдернули зонт из его руки. Он, казалось, был недоволен, вроде бы пытался возражать, но его слова я как следует не расслышал. Дождь вдруг прекратился, выглянуло солнышко, и тогда президент сказал: «Похоже, вы были правы»... Вот и все. А дождю и в самом деле конец...

— Почему вы так считаете?

Орр вздохнул:

— Выйдите на улицу и убедитесь сами. На сегодня это у нас все?

— Я готов продолжать. Куй железо, как говорится.

— Но я чертовски устал.

— Ладно, тогда на сегодня все. Послушайте, а не перенести ли наши встречи на поздний вечер? Вам-то какая разница, какой сон смотреть, простой или внушенный, лишь бы выспаться. К тому же это позволило бы не прихватывать ваше рабочее время, для меня же ночь — самая продуктивная пора, я и прежде просиживал на работе ночи напролет. Ночной сон — как раз то единственное, что его исследователи могут позволить себе крайне редко. Лечение наше продвинулось бы несравнимо с традиционным режимом, а о депрессантах вы бы и думать позабыли. Давайте попробуем. Как насчет вечера в пятницу?

— У меня свидание, — сказал Орр и поразился собственной лжи.

— Тогда в субботу.

— Ладно.

Орр вышел от врача, перекинув влажный плащ через плечо и слегка пошатываясь. Надевать его было уже ни к чему — сон с Кеннеди оказался весьма эффективным — что называется *в руку*. Орр уже научился распознавать их — *такие* сны. Даже еще не проснувшись. А после, спустя даже время, вспоминал их с потрясающей ясностью, независимо от содержания, пусть и абсолютно нейтрального. И чувствовал себя по пробуждении разбитым и измотанным, как после тяжелого физического труда — точно пытался остановить экспресс голыми руками. Спонтанно подобные сны посещали Орра не чаще одного раза в четыре-шесть недель. Возможно, по причине неосознанного *страха*, что однажды может наступить сон, возврата из которого уже не будет. Теперь же, под воздействием гипноза и Аугментора, три из четырех его снов за последние два дня оказались именно такими. А если исключить кокосовые пальмы, которые, по мнению Хабера, были простой абберацией, всплеском воображения, то три из трех. Орр изнемогал.

Действительно, дождем и не пахло. Когда он вышел на мостовую из-под сводов портика Вильяметтской башни, высоко над каньонами улиц голубело чистое мартовское небо. Теплый ветерок резвился с разбросанными обертками, гулял вдоль тротуаров, сухой ветерок с восточной равнины, который прежде крайне редко оживлял унылую душную промозглость долины Вильяметты.

Славная погодка слегка взбодрила Орра. Распрямив плечи и глубоко вдохнув свежего воздуха, он постарался подавить тягостное томление под ложечкой, вызванное как напряженной лабораторной дремотой в непривычное время, так и быстрым спуском с шестьдесят третьего этажа небоскреба.

Внушал ли Хабер сон, отменяющий дождь? Внушал ли увидеть во сне Кеннеди, лицо которого, как отчетливо припомнилось теперь, почему-то украшала куца борода, точно позаимствованная с портрета Авраама Линкольна? А увидеть в компании с президентом самого Хабера — это тоже входило в гипнотическое задание? Орр терялся в догадках. Эффективная часть сновидения вполне могла быть связана с прекращением дождя, но это абсолютно ничего не доказывало. Зачастую срабатывал именно самый неприметный элемент подобного сновидения. Орр подозревал, например, что Кеннеди был изобретением его собственного подсознания, своеобразным необъяснимым довеском, но уверен в том не был. Уверенности, впрочем, не было уже ни в чем.

В неиссякаемом потоке прохожих Орт бодро продвигался к центру, к станции «Восточный Бродвей». Опустив пятидолларовый жетон в автомат и выудив из лотка билет, отыскал нужную платформу и вскоре уже с головой окунулся в непроглядную тьму под рекой.

Тут с ним снова случился приступ слабости, отчаянно закружилась голова.

Нырнуть под реку — есть в этом нечто жутковато необратимое, воистину это дьявольская, чуть ли не загробная идея.

Пересечь реку — перейти ее вброд, переплыть, воспользоваться при этом лодкой, паромом, мостом, самолетом, спуститься к устью реки, подняться к живительным истокам — в этом есть смысл, все это в порядке вещей. Но нырнуть «под» — навевает могильный холодок, напоминает некое извращение. Какое-то тридесатое чувство, какие-то неведомые рефлексy и даже вполне очевидные приметы окружающего пространства как бы сигнализируют — нельзя, запрещено входить в то, из чего нет возврата. Назад! — вопиет селезенка.

Девять железнодорожных и автомобильных туннелей в границах Портленда ныряли под Вильяметту, и шестнадцать мостов пересекали поверху могучий водный поток, упрятанный на протяжении двадцати семи миль в прочные бетонные набережные. Паводковый контроль на Вильяметте, как и аналогичная служба чуть ниже по течению, на месте слияния с великим притоком Колумбией, столь ловко управлялись со своими обязанностями, что уровень воды даже в период проливных дождей не поднимался более чем на пяток-другой дюймов. Река, точно некое огромное, но относительно спокойное выючное животное, опутанное и стреноженное на всякий случай тьмой-тьмущей уздечек, удил, хомутов, седел, поводьев и подпруг, с практической точки зрения являла собой весьма полезный элемент окружающего ландшафта. Будь дело иначе, кто бы стал лезть из кожи вон, окаймляя дорогостоящими дамбами бесконечные ее берега? Закатали бы под асфальт, как множество ручейков, текущих теперь по трубам под улицами, — и вся недолга. Но без Вильяметты Портленд не стал бы портом и утратил добрую половину своего значения. Реку постоянно бороздили океанские сухогрузы, длинными стрелами водную гладь рассекали грузовые баржи, бесконечными вереницами плотов по ней сплавлялся лес. Так что для поездов,

грузовиков и немногочисленных теперь легковушек оставался путь либо под рекой, либо над нею, по мостам.

Над головами пассажиров, трясущихся вместе с Орром в вагоне поезда, громыхавшего сей момент по Бродвейскому туннелю, тяжело нависли тысячи тонн скального грунта, тысячи тонн стремительно бегущей воды, штабеля на причалах и кили круизных лайнеров, массивные бетонные опоры мостов и эстакад, колонна до отказа набитых мороженой курятиной грузовиков, реактивный самолет на высоте в тридцать четыре тысячи футов и звезды на удалении в 4,3 и более световых лет. Кислотно-бледный во флюоресцентных сполохах вагонных ламп, изнемогавших в битве с пещерной тьмой, Орт болтался в кожаной петле с истертой стальной рукояткой среди тысяч подобных ему одиночеств. Физически ощущал он навалившуюся сверху тяжесть, весь беспредельно давящий ее гнет. «Я живу в настоящем кошмаре, — думал он, — и вынырываю из него лишь время от времени, когда отхожу ко сну. Лишь засыпая, я пробуждаюсь...»

Мгновенный переполох и толкотня, взвихрившие пассажиров на остановке «Все вокзалы», выдавили из Орра эти тоскливые мысли разом и до капли — пришлось как следует поднапрячься, чтобы не выпустить из рук спасительный поручень и не выпасть наружу. Все еще испытывая сильное головокружение, Орт был почему-то уверен: стоит только ослабить хватку и покориться чудовищному напору потных тел (*t*) вкуче с неумолимым *T*, и он по-настоящему захворает, спятит окончательно.

Наконец, испустив глухой стон, финальный аккорд которого утонул в тупом абразивном скрежете и буравящем мозжечок визге рессор, локомотив тронулся снова.

Вообще-то компании ЕТС — Единой транспортной системы — от роду было всего пятнадцать лет, но создавалась она запоздало и второпях, когда из соображений экономии использование личных автомобилей упало катастрофически, поэтому ее матчасть страдала всеми мыслимыми изъятиями. Вагоны собирались в Детройте в самом спешном порядке — оттого они и грохотали, и дребезжали, и постоянно ломались. Но, как завзятый горожанин, четверть жизни проводящий в подземке, Орт не обращал внимания на всю эту устрашающую какофонию. Его слуховые рецепторы, несмотря на относительную молодость организма, уже притупились и утратили былую чувствительность, а тот шум, что все-таки сознания достигал, воспринимался как естественный фон кошмарного сновидения. Поэтому, утвердившись в

отвоеванной у бесноватой толпы ременной подвеске, Орт снова глубоко погрузился в себя.

После первого же гипнотического сеанса Орра начали беспокоить провалы в памяти. Мало сказать, начали беспокоить, — приводили в смятение. Деятельность подсознания, будь то во младенчестве или во сне, запоминанию не поддается, это верно, тут никаких сомнений. Но так ли уж отключалось его сознание во время гипнотического внушения? Отнюдь нет — ведь до самого приказа уснуть он должен был бодрствовать. «Почему же я ничего не запомнил?» — хмурился Орт. Он отчаянно хотел знать, что именно проделывает с ним Хабер во время гипноза. К примеру, первый сегодняшний сон — неужели доктор просто снова заказал сон про лошадь и все на этом? А фортель с навозом — экая неловкость! — мозг Орра выкинул самостоятельно? Если же кучу дерьма придумал все-таки доктор, это смущало Орра ничуть не меньше, но уже по иной причине. Возможно, Хаберу еще повезло, что дело не закончилось большой смачной пирамидкой прямо на столе или на цветастой кабинетной дорожке. Строго говоря, тем оно и закончилось, правда, в переносном смысле — дерьмо отпечаталось на стене кабинета в виде горы Маунт-Худ.

Под астматический хрип тормозных букс на остановке Элдер-стрит Орт дернулся как ошпаренный и покрылся липким холодным потом. «Гора, гора...» — лихорадочно соображал он, пока добрая сотня пассажиров пробивалась мимо него, а то и чуть ли не прямо сквозь него к выходу на перрон. Маунт-Худ. Ну разумеется! «Он велел мне вернуть гору на место. Потому-то и заставил я Темени-Холла испражняться Маунт-Худом. Но если доктор велел вернуть пейзаж на место, стало быть, *знал, что здесь висело прежде*. Хабер знал! Он уловил вчерашнее изменение реальности. Он его заметил. Стало быть, верит мне! И я вовсе не псих!»

Радость, озарившая Орра, была столь велика, что нескольких ближайших к нему пассажиров отчетливо коснулось мягкое дуновение некоей неземной благодати. Пухлую изнемогающую матрону, уже отчаявшуюся вырвать из хватки Орра его подвеску, отпустила вдруг острая колика в печени. Мрачный сосед, притиснутый к Орру слева, неожиданно просветлел, вспомнив, как однажды в детстве встречал в лесу рассвет. Старик, скорчившийся на сиденье прямо напротив, позабыл на минуту о муках голода.

Особой сообразительностью Орт обычно не блистал и уж во всяком случае быстротой мышления не отличался.

Новые идеи проникали в его сознание с превеликим трудом, ползком преодолевая крутые ступеньки логической лесенки, строго по порядку и никогда — вспорхнув над тяжкими глыбами умозаключений на стремительных крылах интуиции. Умом Опп и вовсе мог не обнаружить тонких связей между явлениями, то есть не выказывал примет подлинного интеллекта. Однако умел как бы *чувствовать* наличие подобных связей — нутром, как отыскивают воду лозоходцы. И назвать Оппа круглым дураком было бы явным перебором, просто возможности своего мыслительного аппарата он умел использовать едва ли на треть.

Он еще долго радовался своему открытию, вертел его и так и сяк, пока выбирался из метро на остановке «Западный мост Росс-Айленда», пока несколько кварталов шагал в гору, пока поднимался в лифте на свой восемнадцатый в жалкой кооперативной двадцатизэтажке, где в комнатухе 8,5 на 11 футов («Наши цены за жизнь в самом центре устроят всякого!») запихнул жестянку бобов в электродуховку и извлек из встроенного в стену холодильника пиво. Опп успел еще подойти с початой бутылкой к оконцу, чтобы полюбоваться видом на Западные холмы, склоны которых перемигивались мириадами городских огней (он прилично доплачивал за возможность наслаждаться этим ежевечерним фейерверком), когда его наконец осенило: «Почему же доктор Хабер ни словом *не обмолвился*, что верит в действительность моих снов?»

Некоторое время Опп мусолил новую заваыку, ходил вокруг да около, точно возле увесистого камня в поисках местечка, где бы сподручнее за него ухватиться, и в результате нашел груз совершенно неподъемным.

Опп рассуждал так: «Теперь Хабер знает, точно знает, что фотография изменялась дважды. Почему же он об этом даже не обмолвился? Он ведь врач и должен понимать, как близок я к сумасшествию! А еще уверяет, гад, что жаждет мне помочь. Чем же еще мог бы он помочь, если только не подтвердить, что происходящее со мною вовсе не галлюцинация? Что он видит то же самое, что и я?»

Хабер знает к тому же, — продолжил Опп рассуждать, отхлебнув как следует из бутылки, — что мое сновидение остановило дождь наяву. Почему же он не отозвался на предложение выйти или хотя бы не подошел к окну, чтобы убедиться в моей правоте? Может, просто испугался? Такое вполне вероятно. Он боится признаться в своем открытии даже самому себе. А может, прежде чем поделиться

выводами, хочет вникнуть в дело поглубже, преодолеть собственные страхи? За это его винить никак нельзя. Вот если бы он совсем не испугался, именно тогда выходило бы черт знает что!

Желал бы я знать, — размышлял Опп, — что теперь собирается он предпринять — раз уж кое-что понял. Хотелось бы знать, как собирается прекратить эти мои сны, удержать меня от изменений реальности. Их-то уж точно следовало бы остановить, а то ведь занесет невесть куда!..»

Опп решительно потрянул головой и отвел взгляд от переливающегося всеми цветами рукотворной радуги пейзажа за окном.

Ничто не вечно, нет никаких застывших форм, не существует ничего конкретного и точного (кроме как в рассуждениях завязатого педанта), и любая мало-мальская завершенность — очевидное отречение от неизбежной пограничной неопределенности, каковая является неотъемлемым и загадочным свойством самого Бытия.

Г. Дж. Уэллс. «Новая утопия»

Юридическая контора «Форман, Изербек, Гудхью и Ратти» располагалась на одном из этажей едва ли приспособленного для людей здания бывшей автомобильной парковки, сооруженного еще в самом начале семидесятых, а позднее реконструированного. У большинства окружающих построек постарше в этой части города точно такая же родословная. Некогда чуть ли не весь центр Портленда был превращен в одну гигантскую автостоянку. Сперва машинам еще хватало асфальта, поделенного на платные ячейки с таксометрами, но позднее, с ростом населения, как грибы стали возникать многоэтажные парковки.

Сама идея подобного гаража, снабженного системой грузовых лифтов, витала в воздухе чуть ли не с начала двадцатого века, но лишь незадолго до того, как автомобильный бум сам по себе начал захлебываться и вдруг резко пошел на спад, на десятки этажей к небу взметнулись бесчисленные парковки. Когда в восьмидесятые нужда в них отпала полностью, не все они уступили место новой застройке — пережив капитальный ремонт, значительная часть уцелела. И здание, где располагалась упомянутая адвокатская фирма, юго-западный Берн-сайд, 209, все еще разило неистребимым душком газаolina, бетонные полы были испещрены выделениями бесчисленных автомобильных клоак, черные

мазки шин, точно следы лап вымерших динозавров, навечно впечатались в окаменелую пыль гулких пролетов. Сами же полы, как и потолки, имели существенный, но довольно забавный изъян, которым были обязаны первоначальному назначению здания, точнее, спиралевидной его конструкции — это неисправимый никакими капремонтами легкий уклон, покатость. И когда в контору «Форман и компания» приходил посетитель-новичок, ему стоило определенных трудов увериться в том, что стоит он прямо и падение ему вовсе не угрожает.

Мисс Лелаш, сидевшая за перегородкой, составленной из сотенgrossбухов и скоросшивателей и как бы отделявшей ее полукабинет от такой же, чуть побольше, ячейки мистера Пирла, предавалась излюбленному своему занятию — воображала себя Черной Вдовой.

Вот притаилась она, смертельно ядовитая, хитиново-элегантная и безжалостная, в засаде — и выжидает, выжидает...

Вот приближается очередная сладостная жертва, вот она уже совсем рядом...

Пальчики оближешь, а не жертва, обреченность у таких написана на роду и буквально на лбу отпечатана — белокурые, почти по-девичьи шелковистые волосы, аккуратная светлая борода, кожа мягкая и светлая, точно рыбье подбрюшье, нрав кроткий, к тому же заика. Дерьмо! На такого наступи — даже не хрустнет.

— Видите ли... Мне ка... Я полагаю, что... Что это вроде... вроде как нарушение прав индивидуума, — мямлил посетитель. — Вторжение в личную жизнь, то есть. Но не уверен. Вот почему я и прошу у вас совета.

— Понятно, понятно. Выкладывайте, говорите дело и не тяните волынку! — резко бросила мисс Лелаш.

Но клиент, похоже, уже иссяк полностью — он судорожно переводил дух, в точности как упомянутая волынка.

— По представлению ЗОБ-департамента вы проходите сейчас курс ДНД, — заполнила затянувшуюся паузу мисс Лелаш, сверившись с листком, полученным ранее от мистера Изербека, — назначенный за нарушение федеральных правил распределения медикаментов в аптеках самообслуживания.

— Да, — вновь прорезался слабый голосок посетителя. — Я согласился на добровольную психотерапию, чтобы избежать судебного преследования.

— Разумеется, в том-то и суть ДНД, — сухо заметила юристка.

Клиент уставился ошарашенно — не то чтобы имбецил, но тоже достаточно мерзкое зрелище. Мисс Лелаш откашлялась.

Откашлялся и собеседник. Обезьянничает, решила юристка. Естественно — видок как у обезьяны, обезьяны же и повадки.

Постепенно, со множеством повторов, экивоков и заиканий, клиенту удалось прояснить картину. Он посещает сеансы ДНД, включающие в себя гипнотическое усыпление и последующий сон со сновидениями. И подозревает, что психиатр, доктор Хабер, внушая ему определенное содержание снов, нарушает право неприкосновенности личности, установленное новым Основным федеральным законом от 1984 года.

— Знакомая картинка. С прецедентом вроде вашего мы имели дело прошлым летом в Аризоне, — прокомментировала исповедь гостя мисс Лелаш. — Клиент под ДНД возбудил дело против своего терапевта о насаждении в его подсознание гомосексуальных наклонностей. Разумеется, применявшийся бандаж оказался стандартной медикотехнической процедурой, а сам истец — скрытым, глубоко подавленным геем; прежде чем дело успели передать в суд, он среди бела дня попался на попытке соращения малолетнего в самом центре Феникс-парка. Сейчас мотает срок на принудилровке в Техачапи. Ну да ладно. Я просто имела в виду, что в исках подобного рода следует соблюдать особую осторожность, чтобы не оказаться голословным. Ведь психиатры, удостоенные правительственного заказа, обычно люди весьма предусмотрительные, профессионалы высшего класса, само воплощение респектабельности. Сейчас постарайтесь-ка припомнить конкретные детали, такие действия вашего психиатра, которые могут послужить реальными уликами, но только имейте в виду — явный криминал не прокатит. Вас запросто могут сослать на принудилровку, к примеру в линтонскую нейроклинику или даже упечь за решетку.

— А перевести... перевести меня под наблюдение другого врача разве нельзя?

— Как сказать. Нужна достаточно веская причина, без нее навряд ли. Медцентр направил вас к Хаберу — они же там наверху все до последнего доки, им видней. Если вы затеваете против Хабера иск, ваша жалоба первым делом

попадает к тем же, кто к нему и направил, — может статься, именно к тому специалисту, который вас там тестировал. Сомневаюсь, чтобы свидетельство пациента для них перевесило мнение аттестованного доктора, во всяком случае без убедительных доказательств. И, боюсь, отнюдь не в вашем случае.

— Из-за того, что я считаюсь больным с не вполне здоровой психикой? — печально поинтересовался клиент.

— Увы, именно поэтому.

Гость умолк надолго. Наконец он поднял на хозяйку кабинета глаза — чистые и светлые, взгляд без досады и тени надежды, — виновато улыбнулся и, поднимаясь, сказал:

— Весьма благодарен вам за разъяснение, мисс Лелаш. Простите, что понапрасну отнял у вас столько времени.

— Э-э... Погодите! — бросила юристка вслед откланявшемуся клиенту. Может, он и простак, но определенно не чокнутый. Даже на невротика не похож. Просто одинокий, предельно отчаявшийся тип. — Не стоит так быстро сдаваться! Я ведь не сказала, что ваш случай — полная безнадега. Присаживайтесь... Ну, садитесь же! Вы говорили, что хотите избавиться от химической зависимости, а доктор Хабер прописывает фенobarбитураты в дозах даже больших, чем вы их принимали прежде сами. Это может стать зацепкой. Хотя я и сильно в том сомневаюсь. Но защита права неприкосновенности — моя узкая специальность, и в вашем случае я тоже не прочь копнуть поглубже. И попробовать обнаружить нарушение. Я ведь только хотела подчеркнуть, что вы даже *не растолковали* мне ваше дело как следует — если таковое у вас все же имеется. А вы сразу в бутылку! В чем все-таки конкретно вы усматриваете криминал в действиях Хабера?

— Если я отвечу напрямик, — заметил клиент тоном скорбного бесчувствия, — вы объявите меня сумасшедшим.

— Как знать! А вдруг все же нет?

Сама мисс Лелаш к внушению любого рода была совершенно невосприимчива — качество, казалось бы, как раз для юриста, — но, как она сама же и считала, все хорошее — благо, когда оно до определенных пределов.

— Если, допустим, я скажу, — продолжал клиент тем же кладбищенским тоном, — что некоторые из моих сновидений влияют на реальность, а доктор Хабер, обнаружив это, использует в своих целях... мой талант, не испрашивая на то согласия, — вы ведь определенно решите, что я свихнулся. Разве нет?

Подперев кулачками подбородок, мисс Лелаш таращилась на собеседника.

— Ну а дальше что? — выпалила она наконец. Клиент правильно угадал ее первую реакцию, но — «Чтоб мне сдохнуть, если признаюсь!» Ну и что, даже если он и псих! Разве в этом ублюдочном мире можно прожить тридцать лет и не спятить?

Гость потупился, собираясь с мыслями.

— Видите ли, — сказал он, — у Хабера есть некое устройство — аппарат вроде энцефалографа, только он не просто записывает энцефалограммы — он расшифровывает ритмы мозга и подпитывает их же результатом своего декодирования.

— Вы хотите сказать, что Хабер — вроде того ученого-маньяка с адской машинкой?

Гость слабо усмехнулся:

— Разумеется, нет — просто я, видимо, неудачно выразился. Нисколько не сомневаюсь, что Хабер подлинный исследователь и искренне посвятил себя служению человечеству, мечтает о благе для всех. Я уверен, что он и не помышляет причинить вред мне или кому-то еще. Доктор движим лишь самыми благородными намерениями. — Обескураживающий взгляд Черной Вдовы заставил клиента снова занервничать. — Это... Ну, это самое устройство, Аугментор, как доктор его величает. Само собой, я не сумею внятно объяснить, как там оно действует, но с его помощью доктор удерживает меня в так называемой сон-фазе — эдакая разновидность сна, когда спишь со сновидениями. На этих наших сеансах все совсем иначе, чем при обычном засыпании. Хабер гипнотизирует меня, затем включает свою машинку. И я сразу же начинаю видеть сны — без его агрегата со мной подобного никогда еще не бывало. Так я думаю. Показания на экране дают доктору гарантию, что я вижу сон, и тогда он с помощью своей машины еще и усиливает сон-фазу. А вижу я во сне именно то, что под гипнозом задает мне Хабер.

— Должна отметить, внешне все это выглядит как давно апробированный и вполне безопасный метод психоанализа. С одной лишь только разницей — там изучают *ваши* собственные сновидения. А доктор Хабер, стало быть, программирует сны. И не без причины, я полагаю. Общеизвестно, что под гипнозом человек может натворить такое, на что никогда бы не пошел в здравом рассудке, то бишь в ясном сознании. Врачи утверждали это еще с середины

позапрошлого столетия, юридический же прецедент впервые имел место сравнительно недавно, в 1988-м, в процессе «Сомервилль versus Проянски». Отсюда вопрос — есть ли у вас веские основания подозревать, что доктор заставлял вас под гипнозом совершать некие опасные или же морально нечистоплотные поступки?

Клиент замешкался с ответом.

— Опасные? Пожалуй, да... Если исходить из не вполне привычного допущения, что сны могут представлять собою опасность. Но доктор не заставлял меня ничего *совершать*. Разве что именно во сне.

— Ага, стало быть, внушал вам нечистоплотные сны?

— Он не... он не развратник. Его помыслы чисты. Мне лишь не нравится, что меня используют как инструмент — даже с благими намерениями. Мне трудно осудить поведение доктора, ведь всему виной мои собственные сны. Вот почему я и травил себя прежде наркотиками до бесчувствия, вот почему и влип во всю эту катавасию. А сейчас, когда у меня появился шанс, очень хотел бы выкарабкаться. И навсегда забыть про лекарства. Но Хабер же меня не лечит. Лишь *подстрекает*.

После краткой паузы мисс Лелаш подкинула наводящий вопрос:

— К чему?

— К изменению реальности. Путем внушения мне сновидений об иной реальности, — терпеливо пояснил клиент без тени надежды в голосе.

Снова утопив в кулачки свой острый подбородок, мисс Лелаш в смущении перевела взгляд на спасительный голубой футлярчик со скрепками — ничего иного на столе в поле ее зрения не обнаружилось. Поразмыслив, зыркнула украдкой на клиента — тот сидел тихий, как и прежде. «Пожалуй, — решила она, — действительно, на такого наступишь — не хрустнет. Потому как даже не прогнется. Тот еще орешек».

Обычно люди, посещающие юридическую консультацию, если не агрессивны, то напрочь замкнуты в себе и постоянно готовы к обороне. Как правило, они чем-то обделены и удручены — если не разделом наследства, то несправедливым приговором по делу, или изменой супруги, или еще чем-нибудь вроде этого. Но сегодняшнего клиента, такого безобидного и мирного, мисс Лелаш никак не могла раскусить — чего он приперся, собственно? В его объясне-

ниях не просто напрочь отсутствовали логика и здравый смысл, а отсутствовали, похоже, вполне *намеренно*.

— Вот оно как, — раздельно выговаривая слова, ответила мисс Лелаш. — И какой же именно ущерб нанес вам доктор этими снами?

— Я не считаю себя вправе изменять существующий порядок вещей. А Хабер не вправе заставлять меня делать это.

«Господи, да он же совершенно искренен, он свято верит в собственный бред, он погряз в нем с головой!» И все же мисс Лелаш была чем-то задета, даже тронута — возможно, толика его безумной убежденности передалась и ей.

— Как это — изменять порядок вещей? Каких таких вещей? Приведите хотя бы один пример!

Юристы не ведают милосердия — с чего бы это ей вдруг делать исключение для параноика, страдающего бредовыми галлюцинациями? Перед нею явный случай так называемых «прочих потерь нашего времени, подвергающего суровому испытанию людские души» — цитата из ежегодного послания президента Мердли, обладающего счастливым даром переживать известное последнему двоечнику. Мисс Лелаш невольно вообразила, как из головы сидящего перед ней жалкого человечка сочатся кровавой каплейю сквозь многочисленные отверстия эти самые «прочие потери». Бр-р-р! И все же цацкаться с ним она не обязана. Пусть лучше усечет это сразу.

— Бунгало, — ответил клиент, малость поразмыслив. — Во время второго сеанса доктор интересовался моими фантазиями, и я признался, что иногда мечтаю обладать избушкой в лесу, знаете, в местности вроде той, что описана в старинных легендах — чтобы быть там настоящим затворником. Разумеется, ничего подобного я никогда не смог бы себе позволить. А кто может? Но на прошлой неделе Хабер, видимо, заказал мне сон, в котором я являлся бы обладателем подобной роскоши, — и я увидел это во сне. И теперь у меня есть бунгало. Тридцатитрехлетняя аренда домика на правительственном участке, в дальнем конце Национального заповедника Сисло, поблизости от Несковина. В воскресенье, взяв напрокат машину, я съездил посмотреть — не домик, а просто чудо. Однако же...

— Интересно, чем это вы, собственно, недовольны? Разве иметь бунгало безнравственно? Тысячи, десятки тысяч людей мечтают выиграть там участок с тех самых пор, как правительство отменило в прошлом году запрет и проводит розыгрыш. Вам просто дьявольски повезло!

— Но у меня же не было бунгало, — ответил клиент. — Да и ни у кого там не было. Лесопарки, вернее, то, что от них еще оставалось, были строго-настроено закрыты как государственный заповедник. Пикники и то разрешалось устраивать лишь на опушке. И никакой госаренды не было и в помине. Вплоть до прошлой пятницы. Когда я увидел во сне, что аренда существует.

— Но, видите ли, мистер Орт, насколько мне помнится...

— Я знаю, что вам помнится, — мягко перебил он. — Мне тоже это известно. Мне известно, что прошлой весной было принято правительственное решение сдавать в аренду часть Национального заповедника. Известно также, как я подал в срок заявление и попал в число немногих счастливых, выигравших лотерею. И так далее. Но я знаю также и то, что до прошлой пятницы ничего этого и в помине не было. И доктор Хабер тоже это знает.

— Стало быть, ваш сон в прошлую пятницу, — хмыкнув, ядовито заметила мисс Лелаш, — изменил прошлое всего штата Орегон и даже повлиял на прошлогоднее решение Вашингтона? А также стер воспоминания у всех, за исключением вас и вашего доктора? Простой сон? Вы хотя бы его запомнили?

— Запомнил, — ответил Орт угрюмо, но твердо. — Мне приснилось живописное бунгало на берегу шумно журчащего ручья. А уже в воскресенье картинка полностью подтвердилась. Я понимаю, мисс Лелаш, поверить в такое трудно. Сомневаюсь, что даже доктор Хабер полностью осознал случившееся. Но он просто не мог ждать, пока поймет все до конца. Возможно, разобравшись, с чем столкнулся, он проникнется серьезностью ситуации и станет вести себя осторожнее.

Видите ли, сама схема чрезвычайно проста. К примеру, вы гипнотизируете меня и приказываете увидеть во сне... допустим, розовую собаку на полу этой самой комнаты. Я выполняю заказ. Но вы же понимаете, что розовая собака не появится здесь, пока их не существует в природе, пока они не станут неотъемлемой частью окружающей реальности. Может статься, мой сон попросту возьмет белого пуделя, окунет моими руками в розовую краску, придумав для этого предлог, благовидный и убедительный. Но если, формулируя задание, вы настаиваете, что розовый — натуральный окрас упоминаемой собаки, то моему сну придется включить розовую масть собак в эволюционное древо маюшки природы. Повсеместно. Начиная с плейстоцена или

когда бы там первые собаки ни появились. Получится, что они всегда были не только черные, коричневые, желтые, белые, какие-то там еще — но и розовые.

И вот уже одна из таких розовых симпатяшек заглядывает в комнату, и конечно же, это ваша давняя любимица колли, или пекинес вашего коллеги, или еще что-нибудь в том же роде. Никакой магии. Ничего сверхъестественного. Каждый сон замечает за собой следы абсолютно. Просто, когда я просыпаюсь, в комнате по какой-то вполне убедительной причине дрыхнет самая что ни на есть заурядная розовая псина. И, естественно, никто не усматривает в этом ничего чрезвычайного — кроме меня и автора сценария моего сна. То есть доктора Хабера. Я помню иную реальность, и он тоже. Доктор находится рядом в самый момент перемены, к тому же зная содержание моего сна заранее. Он не признается, что понимает, но я уже раскусил его. Для кого-либо еще розовые собаки — дело житейское, обыкновенное, они водились всегда, но только не для нас с доктором. Для нас они и были, и одновременно их как бы не было.

— Двойственность пространства-времени, альтернативные вселенные, — язвительно прокомментировала мисс Лелаш. — Вы не грешны, часом, мистер Опп, пристрастием к ночным повторам старинных телешоу?

— Отнюдь нет, — сухо, в тон ей, бросил клиент. — Мисс Лелаш, я не прошу вас верить мне. Во всяком случае без доказательств...

— Ну слава те, Господи!

Клиент улыбнулся почти что весело. Он смотрел на хозяйку кабинета весьма приязненно, даже чересчур — мисс Лелаш поняла вдруг, что, похоже, приглянулась ему как женщина.

— Мистер Опп, ну признайтесь же, что пошутили. Какие, к дьяволу, доказательства можно извлечь из сновидений! В особенности если ваши сны при малейшем изменении стирают все улики вплоть до плейстоцена?

— А не могли бы вы... — спросил Опп с неожиданным напором, как бы осененный некоей новой надеждой, — не могли бы вы, действуя как мой адвокат, принять участие в одном из сеансов доктора Хабера? Если согласитесь, конечно.

— Да. Это вполне осуществимо. Такое можно устроить, придумав какой-нибудь благовидный предлог. Но, видите ли, использование в таком деле адвоката в качестве свидетеля возможных нарушений прав личности может взорвать

установившиеся между врачом и пациентом взаимоотношения. Не знаю уж, каковы они там у вас на самом деле — извне судить трудно. Знаю только, что обычно пациент должен доверять своему врачу и наоборот. Если же вы натравите на Хабера адвоката, чтобы тот добился замены врача, о каком доверии дальше может идти речь? Вся работа на-марку. А вдруг он все-таки искренне пытается вам помочь?

— Да, конечно. Но он использует меня в своих экспериментальных... — Опп не договорил, заметив, как окаменело темное лицо Лелаш — Черная Вдова узрела наконец свою настоящую жертву.

— В экспериментальных целях? Вы не шутите? Этот агрегат, о котором шла речь, — он что, на самом деле экспериментальный? А одобрен ли такой эксперимент ЗОБ-контролем? Что вы подписывали, какие бланки, кроме форм ДНД и добровольного согласия на гипноз? Ничего? Похоже, у нас возник прекрасный повод для вмешательства, мистер Опп.

— Значит, вы сможете присутствовать на сеансе?

— Вполне возможно. Но дело пойдет уже о защите ваших гражданских прав, а не просто личной неприкосновенности.

— Вы, надеюсь, понимаете, что никаких серьезных неприятностей доктору Хаберу я не желал бы причинять? — забеспокоился Опп. — Очень не хотелось бы. Я ведь чувствую, что мыслит он правильно. Единственное, что тревожит, — он не столько лечит меня, сколько использует.

— Если Хабер ведет опыты на людях с благими, так сказать, намерениями, то примет свою судьбу как должное, без стенаний. А если оборудование зарегистрировано и одобрено, то ничто ему и не угрожает. У меня уже было два схожих случая. По просьбе ЗОБ-департамента я наблюдала в медцентре иллюзион новичка-гипнотизера — явное надувательство, — а также вывела на чистую воду одного типа из института «Лесная дубрава», который внушал людям агорафобию, чтобы те в самой жуткой давке чувствовали себя как рыба в воде. Мы пришли к выводу, что в таких действиях кроется элемент нарушения закона о промывке мозгов. В общем, я без труда смогу получить ордер ЗОБ-контроля на проверку этой — как бишь там ее? — техники доктора Хабера. Вы при этом, кстати, останетесь за рамками — доктор и не узнает, что я ваш адвокат. Сделаем вид, будто вообще незнакомы. Я заявлюсь как официально аккредитованный наблюда-

тель АСДС*, приглашенный ЗОБ-контролем. Тогда, если дело у нас не выгорит, ваши с доктором отношения ничуть не пострадают. Это единственный приемлемый способ присутствовать на одном из ваших сеансов.

— Я, кстати, единственный пациент, которого доктор Хабер пользуется своим Аугментором — он сам так говорил. Аппарат еще в стадии доработки.

— Стало быть, независимо от намерений, это явный эксперимент на человеке. Хорошо. Посмотрим, что мне удастся сделать. Должна предупредить — одни формальности займут никак не меньше недели.

Орр выглядел явно разочарованным.

— Постарайтесь не стереть меня из реальности вашими снами за предстоящую неделю, мистер Орр, — посоветовала Лелаш, отчетливо расслышав в собственном голосе хитиновое клцанье жвал.

— Разве что нечаянно, — ответил тот с искренней благодарностью — да нет, Господи Боже мой, в его голосе звучала не просто благодарность — нескрываемая приязнь! Орр явно симпатизировал ей!

Бедный маленький псих, сидящий чуть ли не на игле, похоже, втрескался в нее по уши. Но и ее саму это почему-то не оставило равнодушной. Их руки встретились на мгновение — шоколадная Лелаш и молочно-белая Орра, — прямо как на том чертовом значке из детства, из бисерной коробки ее матери, значке, отштампованном одной из великого множества примирительных комиссий середины прошлого, двадцатого века: черно-белое рукопожатие — «Дружба навек». О Господи!

* Американский союз борьбы за демократические свободы (в оригинале — ACLU).

Глава 5

*Лишь утратив Великое Дао, обретаем мы
подлинные праведность и милосердие.*

«Лао-цзы», XVIII

Весело улыбаясь, доктор Хабер стремительно взлетел по ступенькам Орегонского онейрологического института и, толкнув высокие двери из поляризованного стекла, шагнул в сумерки холла, где шелестели спасительные кондиционеры. Только двадцать четвертое марта, а какое уже пекло! Зато здесь, внутри — прохладно, стерильно, безмятежно. Мраморный пол, разумная мебелировка, сияющая хромом административная стойка, вышколенный вахтер.

— Здравия желаю, господин директор!

Из глубины холла навстречу выскочил Этвуд, коллега, только что сменившийся с ночного дежурства, весь взъерошенный, глаза воспалены после многочасового бдения за ЭЭГ-экранами. Хотя теперь компьютеры и переняли значительную часть нагрузки по присмотру за спящими пациентами, еще нередко возникала необходимость вмешательства непрограммируемого человеческого сознания.

— Утречко-то какое, шеф, а! — не слишком бодро бормотнул Этвуд, семена следом.

Куда живее и сердечнее в личной приемной доктора Хабера прозвучало приветствие мисс Крауч, секретарши:

— Доброе утро, док!

Нет, не зря доктор Хабер, получив в прошлом году новое назначение, захватил с собой Пенни Крауч, незаменимую свою тень. Умная и преданная, она вполне соответствовала своему месту, служа надежным форпостом на подходах к самому главному начальнику, где как раз и требовались все ее сообразительность и лояльность.

Доктор прошел в святая святых — в свой кабинет.

Швырнув кейс и папки на кушетку, Хабер первым делом с наслаждением потянулся, размял плечи и спину, а затем, как уже повелось, подошел к окну. Кабинет располагался в самом углу здания, и два огромных окна открывали великолепный вид сразу на восток и на север: исчерканный темными поперечинами мостов голубой изгиб Вильяметты у самого подножия холмов, по берегам бесчисленные городские шпили, тонущие в легкой весенней дымке, предместья, теряющиеся в далеких холмах, и высоко надо всем этим — горы, седые и незабываемые вершины. Маунт-Худ, огромный даже на таком удалении, служил как бы пастбищем для бесчисленных облачных барашков, чуть севернее обломанным клыком незримого чудовища вздымался пик Адамс, за ним темнел пологий правильный конус Святой Елены, над долгим северным отрогом которого в свою очередь возносился к облакам самый главный — Маунт-Рейнир, словно полотняная юбка скрытой за облаками мамыши, скликающей разгулявшихся деток.

Этот потрясающий вид никогда не приедался, Хабер черпал в нем вдохновение и свежие силы. Кроме того, только сегодня после долгой дождливой недели подскочил барометр, и вновь выглянуло весеннее солнце, поднимая над рекой белесый туман. Прочитавший за свою жизнь тысячи и тысячи энцефалограмм, доктор прекрасно сознавал связь между атмосферным давлением и мозговыми ритмами — и в себе самом он тоже почти физически ощущал сейчас прилив бодрости, психосоматические перемены, навеянные сухим и теплым ветерком.

«Придерживаться этой линии, совершенствовать климат и в дальнейшем», — отметил он мельком, почти машинально. Обычно Хабер умел одновременно обдумывать несколько разных дел, но эта мысленная помета как-то не укладывалась ни на один из уровней его мышления. Она оказалась столь мимолетной, что, когда доктор сгреб со стола диктофон, чтобы наговорить очередную казенную эпистолу, уже бесследно канула в Лету.

Переписка с официальными инстанциями была в тягость и отнимала чертову уйму времени, но куда денешься — ведь он добровольно взвалил эту ношу на свои пусть и нехилые плечи. И Хабер не ныл, не уклонялся, научным поиском занимаясь в результате чуть ли не урывками. Максимум пять-шесть часов в неделю мог посвятить он теперь собственной лаборатории, поэтому полностью вел только

одного пациента, а еще нескольких, закрепленных за ассистентами, курировал.

Однако за последнего своего пациента Хабер держался крепко. В конце концов, прежде всего он ведь психиатр. И в научный поиск в области онейрологии доктор тоже пустился в первую очередь ради исцеления конкретных людей. Не приемля разглагольствований о башне из слоновой кости, он не признавал науку ради науки — какой вообще толк в исследованиях, если они не приносят никакой практической пользы? Применимость — вот главный критерий, пробный камень любого научного результата. И последний числившийся за ним пациент служил своеобразным напоминанием об этом, помогал сохранить связь между абстракцией на экране и нарушенной психикой конкретного пациента. Для доктора нет ничего важнее собственно больного. И значимость врача как личности определяется исключительно мерой его конкретного влияния на людей, то бишь прямой и обратной связью с окружающим миром. Нравственность теряет весь и всяческий смысл, если не трактовать ее как пользу, приносимую людям, как самореализацию каждого на благо всех.

Сегодня пациенту доктора Хабера, некоему Джорджу Ору, в последний раз было назначено на дневное время — четыре пополудни, — в дальнейшем доктор предполагал отводить для сеансов только ночные часы. Как перед ленчем напомнила мисс Крауч, на нынешнем сеансе предполагалось присутствие инспектора из ЗОБ-контроля, желающего удостовериться, что Аугментор и связанные с ним процедуры ничем противозаконным не являются, то бишь не противоречат морали, не угрожают здоровью пациентов, не отдают садизмом, мазохизмом и прочими «измами». Чтоб им пусто было, этим шпикам казенным!

Доктор малость лукавил сам с собой — подобные мелкие неприятности всегда сопутствуют настоящему успеху, они вроде своеобразного гарнира к лакомому блюду. В тот же ряд Хабер ставил и шумную известность, и настырных корреспондентов, и зависть коллег, и публичные подначки конкурентов. Оставайся он до сих пор независимым исследователем и корпи в заштатной лаборатории да в занюханном своем офисе в восточном Вильяметте, его Аугментор скорее всего остался бы никем незамечен вплоть до полной доводки и выставления на продажу, а сам он, совершенствуя свое детище, мог бы тихо и спокойно добавлять к нему по винтику в день. Теперь же самую сокровенную и дели-

катную часть работы, отработку метода на пациенте-невротике, приходилось вести здесь, в институте, то есть вполне публично — чего уж тут удивляться тому, что правительство посылает одного из своих законников сунуть нос в дела, половину из которых он едва понимает, а в остальных вообще ни уха ни рыла.

Адвокат предусмотрительно явился на четверть часа раньше пациента, и Хабер вышел в приемную встретить гостя — гостью, как оказалось, — чтобы, как водится, произвести впечатление радушного хозяина. Выходит куда лучше, когда ревизор видит, что ты отнюдь ничем не напуган, готов к сотрудничеству и проявляешь искреннюю доброжелательность. А тем докторам, которые при визитах инспекторов ЗОБ-контроля не в силах скрыть свое благородное негодование, правительственные гранты отламываются не часто.

Проявлять радушие к этой ревизорше, холодной и колючей, оказалось не столь уж легко. Все в ней брякало, лязгало да цокало — и тяжелая латунная застежка на сумочке, и увесистые медные браслеты на запястьях, и туфли на непомерной платформе, и толстая серебряная цепь с жуткой африканской маской-кулоном, и даже громкий скрипучий голос. В первый же десяток секунд общения Хаберу почудилось, что ее визит не что иное, как загадочная инсценировка, маска на цепи словно сигнализировала — за напором и внешним видом затаившейся фурии кроется чуть ли не детская робость. Впрочем, это вовсе не его дело, ему не детей крестить с этой дамой, нацепившей отвратительную маску, у него лишь одна цель — произвести благоприятное впечатление на мисс Лелаш, блюстителя закона.

Если сценка с демонстрацией радушия и не задалась вполне, то остальное прошло не столь уж скверно — гостья неожиданно оказалась достаточно компетентной, не чуждой предмета и старательно выполнившей свое домашнее задание. Она знала, какие задавать вопросы, и умела слушать.

— Этот ваш пациент, Джордж Опп, он ведь не завзятый наркоман, не правда ли? — поинтересовалась гостья. — Может, психопат или невротик? Какой диагноз вы поставили ему после трехнедельной терапии?

— Пожалуй, невротик — именно в том смысле, в каком принято трактовать этот термин в нашем департаменте здравоохранения. Глубокий невротик со смещением представлений о реальности, но вполне излечимый с помощью новой моей терапии.

Адвокат записывала все подряд, каждое слово; диктофон через каждые пять секунд, строго в соответствии с требованием закона, издавал отчетливый негромкий писк.

— Вас не затруднит описать применяемые методы лечения и — *би-и-ип* — объяснить, какую роль в них играет данное оборудование? Только не надо рассказывать, как оно — *би-и-ип* — действует: ваше сообщение я читала. Поясните только, для чего применяется на практике, — *би-и-ип* — например, отличается ли принципиально его использование от стандартных установок электросна, трансшлемов и тому подобных — *би-и-ип* — устройств? И если да, то чем именно?

— Как известно, упомянутая вами техника генерирует обычные низкочастотные импульсы, которые воздействуют на клетки коры головного мозга. Такие сигналы смело можно назвать просто-напросто фоном — ведь весь их эффект заключается в том, что они как бы задают общий режим сознанию, подобно огонькам стробоскопа в критическом ритме или барабанному бою, если прибегнуть к звуковой аналогии. Мой же Аугментор вырабатывает особый сигнал, который способен воздействовать строго избирательно. Например, может постепенно приучить пациента вырабатывать собственный здоровый альфа-ритм. Но не только. С помощью Аугментора больного можно погрузить в нормальный сон без всякой предварительной тренировки. Через легко подгоняемые электроды мозг подпитывается девятицикловым альфа-ритмом, и уже спустя считанные мгновения кора пациента откликается и начинает вырабатывать свой собственный — стабильно, как дзен-буддист в глубоком трансе. Точно так же, и это в моем приборе самое замечательное, можно погружать пациента в любые фазы сна с типичной только для них активностью и циклами.

— А может ли ваш аппарат воздействовать на центры наслаждения или, допустим, речи?

Ох уж эти мне моралисты из АСДС! Повсюду и всегда вынюхивают следы содомии и свального греха! Проглотив колкость, уже готовую сорваться с языка, Хабер ответил как только мог дружелюбнее:

— Ну что вы, разумеется, нет! Это ведь не электростимулятор, даже сходства с ним никакого не имеет. Мой Аугментор отнюдь не предназначен для стимуляции — ни электрической, ни химической — нервных узлов, его конструкция просто не предусмотрена для подобного грубого вторжения в какие бы то ни было конкретные участки мозга. С его помощью мозг просто побуждается к изменению режи-

ма собственной активности, смене одного естественного состояния на другое. Вроде неотвязного мотивчика, заставляющего вас невольно вторить, подпрыгивать или покачивать ногой. Таким образом сознание больного приходит в состояние, необходимое для обследования и терапии, и удерживается в нем, сколько вам заблагорассудится. Я назвал свой прибор Аугментором*, чтобы подчеркнуть его вспомогательную функцию. И только вспомогательную — ничего более. Сон, поддерживаемый Аугментором, в точности — по циклам и по глубине — соответствует тому, в какой погрузился бы данный мозг и сам, будь обладатель его абсолютно здоров. Разница с установкой электросна примерно та же, что между костюмом от кутюр и барахлом из супермаркета. Поставить мой аппарат рядом с варварской имплантацией электродов, ха-ха! И еще раз ха! Все равно что вместо скальпеля использовать отбойный молоток.

— Но каким образом задаете вы начальные ритмы стимуляции? Не приходится ли — *би-и-ип* — вам, к примеру, для лечения одного больного использовать записи ритмов мозга другого человека, — *би-и-ип* — здорового?

На этот вопрос доктор предпочел дать уклончивый ответ. Нет, до прямой лжи он, разумеется, никогда не опустился бы, просто что толку посвящать неспециалиста в профессиональные детали не вполне законченного исследования? Зачем ему инспекторские глаза навывкат и Бог весть какие впечатления за стенками ее черепной коробки? Хабер пустился в пространные экивоки, наслаждаясь звуками своего авторитетного голоса и довольный тем, что не слышит более ее бряканья, клацанья и диктофонных присвистов; удивительно, но тихий писк аппарата из ее сумки он почему-то слышал, лишь когда говорила она сама.

— Сперва приходилось пользоваться обобщенным сигналом — обработанной компьютером суммой записей мозговых ритмов множества подопытных. И уже этим суррогатом, как я упоминал в своем докладе, мне удалось исцелить пациента, страдавшего глубочайшей депрессией. Но меня никак не покидало острое чувство незавершенности, едва ли не случайности первого успеха. И я принялся экспериментировать. Разумеется, на животных. На кошках. Любимое животное всех онейрологов. Они, видите ли, чуть ли не круглые сутки готовы дрыхнуть и без нашего вмешательства...

* Аугмент — приращение, приставка (*лат.*).

Так вот, экспериментируя на кошках, мне удалось установить, что наиболее перспективным направлением, чуть ли не единственным, обещающим серьезное продвижение, станет использование записей пульсаций того же мозга, на который мы и хотим воздействовать — ритмов, выделенных и очищенных от шелухи, разумеется. Это своего рода самоподдержка, саморегуляция сознания посредством записи его же здоровых сигналов, обратная связь. Универсальный ключ к любому замку — вот к чему стремился я в моем поиске! На свой собственный альфа-ритм мозг откликается мгновенно и без каких-либо затруднений. И здесь открывается целый океан терапевтических приложений. Появляется возможность вносить в узор собственных ритмов больного постоянные малозаметные улучшения, ведущие к полному исцелению. Изменения, списанные с его же, а возможно, и другого, более здорового мозга.

Последнее крайне необходимо в случаях механических повреждений коры. Пострадавший мозг сможет скорее образовывать новые нейронные связи взамен разорванных — ведь обычно такой процесс затягивается, порою даже на долгие годы. Это может быть использовано для внедрения в мозг элементов здравого рассудка взамен искаженного шизофренией. *Et cetera, et cetera*. Однако пока что все это лишь мечты, но когда я приду к конкретным результатам — а я обязательно к ним вскоре приду, — то, разумеется, тут же зарегистрирую Аугментор в ЗОБ-контроле. — Здесь лукавить особой нужды у доктора уже не было. Хотя упоминать о достигнутых в данной области результатах тоже вроде бы незачем — кто знает, какое впечатление это может произвести на дилетанта? — Та форма автостимуляции посредством записи и синхронного воспроизведения, которую я предполагаю использовать в психотерапии, может стать, самая безвредная для пациента из всех ныне существующих, она воздействует на больного лишь в ходе машинного сеанса, то есть всего каких-то пять—десять минут, не более — и никаких устойчивых побочных последствий, как это часто случается при использовании других методов.

Похоже, в работе юристов ЗОБ-контроля Хабер разобрался куда лучше, чем его визави в работе психотерапевта; мисс Лелаш согласно кивнула в ответ на последнее замечание доктора, оно вроде бы угодило в самое яблочко. И все же гостя не преминула поинтересоваться:

— Так что же, собственно, вы делаете тогда с... — Она сверилась с записью. — С этим мистером Орром?

— Так я же как раз к этому-то и веду! — досадливо поморщился Хабер, но тут же, спохватившись, упрятал проравшееся было раздражение куда подальше. — Что мы, собственно, имеем в случае с мистером Орром? Мы имеем пациента, который боится заснуть и увидеть сон — наиредчайший случай подлинной онейрофобии. Моя терапия в данном случае всецело основана на устоявшихся в современной психологии методах и традициях.

Пациент погружается в полностью контролируемый сон, содержание сновидения и его влияние на состояние больного задаются гипнотическим внушением. Больному объясняется под гипнозом, что спать совершенно безопасно, приятно и тому подобное — все то позитивное, что только может содействовать преодолению страха перед сном. И Аугментор идеально подходит для подобной цели.

Помогая пациенту заснуть, он затем усиливает чувство безопасности, поддерживая и усиливая активность, типичную для нормальной сон-фазы. За час-полтора мой прибор может провести пациента по всему спектру нормального ночного цикла, от медленных снов к быстрым и обратно. Такая продолжительность не вполне обычна для дневных сеансов, более того — в течение столь долгого и глубокого сна сила гипнотического внушения, задающего сценарий сновидения, в обычных условиях несколько падает. А это уже крайне нежелательно — ведь в нашем деле главное избегать дурных снов, кошмаров. И лишь Аугментор позволяет мне решить здесь одновременно две проблемы: и сэкономить время, и соблюсти полную безопасность пациента. Того же результата добиться можно, разумеется, и средствами обычной терапии, но тогда лечение затянется на долгие месяцы, а вот Аугментор позволяет уложиться в считанные недели. Он может продвинуть наши методы лечения так же радикально, как в свое время гипноз сдвинул с мертвой точки весь психоанализ.

«*Би-и-и*», — снова пискнул диктофон мисс Лелаш; «*бо-о-о*», — веско прогудел вслед за ним настольный селектор. Наконец-то, слава те, Господи!

— А вот и пациент наш явился, мисс Лелаш! Для начала предлагаю с ним познакомиться и чуток пообщаться, если угодно. Затем, полагаю, вы займете вон то креслице в уголке и малость стусуетесь, не имеется возражений? Не то чтобы ваше присутствие могло бы всерьез помешать, но все-таки лучше, когда пациент поскорее перестанет замечать все постороннее и сможет сосредоточиться на сеансе.

Мы имеем дело с весьма трудной фобией, а наш больной склонен трактовать как угрозу для себя лично порой самые неожиданные вещи. И, как вы сами убедитесь немного позднее, создавать мощные оборонительные галлюцинации. Ах да, чуть не забыл — будьте так добры, отключите ваш диктофон! Во время сеанса он уж точно помешал бы. Согласны? Вот и ладно... Алло, Джордж, прошу вас, входите, входите же... Мисс Лелаш — мистер Джордж Опп. Мисс Лелаш — сотрудник ЗОБ-контроля. Она здесь с целью ознакомления с действием моего Аутментора.

Адвокат и мистер Опп обменялись весьма неловким рукопожатием. «Клак-бряк!» — саккомпанировали процедуре медные браслеты. Хабер невольно отметил разительный контраст меж ними — порывистая и колкая негритянка и молочно-белый бесхарактерный тьюфак. Ну просто абсолютно ничего общего!

— А сейчас, — начал доктор, наслаждаясь своей ролью шоумена, — предлагаю непосредственно перейти к нашему делу, если, конечно, у вас, дамы и господа, нет никаких возражений. Может, вы, Джордж, хотите сперва чем-то поделиться? — Неприметными жестами он уже успел рассортировать свою немногочисленную публику — ЗОБ-инспектора в угол, Орра на кушетку. — Нет? Ну и ладно. Тогда начинаем. Переходим прямиком ко сну, который между делом уверит ЗОБ-контроль в том, что от моего Аутментора не выпадают ногти, не известкуются сосуды, не случается инсультов и не просыпается жажда младенческой крови — вообще нет никаких побочных явлений, кроме разве что некоторой вялости спросонья сразу после процедуры и возможности подольше почитать в постели сегодня вечером. — С последними словами доктор протянул руку, намереваясь как бы невзначай коснуться горла пациента.

Опп вздрогнул и отклонился.

— Простите, — тут же извинился он. — Так неожиданно...

К сожалению, быстро погрузить Орра в гипноз по-настоящему глубокий можно было, лишь используя вагус-каротидную индукцию — метод вполне легальный, но, увы, весьма драматичный для зрителей. Особенно когда среди них есть наблюдатели из ЗОБ-контроля. Воспользоваться им незаметно не удалось. Испытав легкое раздражение на пациента, растущее сопротивление которого Хабер ощущал уже на протяжении последних пяти-шести сеансов, он все же решил не искушать судьбу и, проделав наспех неизбежные неприметные манипуляции, обратился затем к

магнитофону. Поставив на воспроизведение им же самим смонтированную кассету — «Вам удобно, вы расслабляетесь, вы погружаетесь...» и так далее, — доктор вернулся за стол и, игнорируя мисс Лелаш, с отрешенным лицом принялся перебирать бумаги. Наблюдательница вела себя тихо; как бы сознавая важность момента, она даже отвернулась к окну, делая вид, что любит гористым ландшафтом.

Наконец Хабер остановил ленту и, точно корону, возложил на голову пациента трансшлем.

— Теперь, Джордж, пока мы с тобой еще в контакте, давай-ка поговорим о содержании сновидения. Какой сон тебе хотелось бы увидеть сегодня? Ты не прочь поговорить со мной об этом?

Замедленный, как в кино, кивок в ответ.

— В прошлую нашу встречу мы беседовали о том, что тебя беспокоит. Ты говорил, что сама по себе работа тебя вроде бы устраивает, не нравится лишь добираться до нее в переполненной электричке. Тебя измучила толпа, утомила давка, тяготит не вполне изысканный аромат потных тел. Ты ощущаешь себя в толпе как будто спрессованным, несвободным. Все верно?

Доктор выдержал паузу. Наконец пациент, не слишком-то разговорчивый и без гипноза, пробормотал одно-единственное слово:

— Перенаселение...

— Гм, это сказал ты, не я. Перенаселение. Вот, стало быть, в чем твоя проблема, вот то словцо, которым ты метафорически отображаешь собственное ощущение несвободы. Что ж, давай-ка его обсудим. Как известно, первым панику на данную тему посеял своей теорией Мальтус в начале девятнадцатого столетия, а когда лет тридцать—сорок назад демографический бум повторился, у него нашлись убежденные последователи и в прошлом, двадцатом. Население тем временем росло неуклонно, а мрачные прогнозы все не сбывались и не сбывались. И даже сегодня не все так скверно, как в пророчествах Мальтуса и его почитателей. Америка процветает, а если за последнее время уровень нашей жизни в чем-то немного и понизился, то в чем-то другом он по-прежнему превосходит тот, что был у прошлых поколений.

Возможно, ты тоже несколько сгущаешь краски и твой чрезмерный страх перед перенаселенностью, перед толпой вызван скорее внутренними, чем внешними причинами. Если не сдавленный на самом деле толпой, ты чувствуешь

себя именно так — что это может означать? Не контактный ли это страх — боязнь сблизиться с кем-то, страх соприкосновения? Не таким ли образом приходишь ты к оправданию своего стремления держаться подальше от окружающей тебя реальности? — Энцефалограф трудился вовсю; продолжая говорить, Хабер щелкнул клавишей Аугментора, подкрутил винт регулировки. — Теперь, Джордж, мы еще немного поговорим с тобой, а когда я произнесу пароль «Антверпен», ты сразу погрузишься в сон, по пробуждении же почувствуешь себя свеженьким и бодрым. Вспомнить этот наш разговор ты не сможешь, зато прекрасно запомнишь самый сон, который должен быть отчетливым и ярким, приятным и весьма эффективным.

И темой сна станет как раз то, что так волнует тебя — перенаселение. Ты поймешь во сне, что твои страхи напрасны, что в реальности им нет оснований, что они беспочвенны. Не могут же люди существовать в полном одиночестве, в конце концов! Одиночество для человека — самый страшный вид наказания. Мы *нуждаемся* в окружающих нас людях, в их помощи нам, в нашей помощи им, мы состязаемся с ними, мы оттачиваем на них остроту своих мыслей...

Доктор уселся на своего излюбленного конька, и даже присутствие безгласного свидетеля не могло здесь всерьез помешать ему — правда, несколько раз он ловил себя на использовании чересчур уж абстрактных понятий, да и пора было уже, пожалуй, переходить собственно к сценарию. Хабер не собирался кривить душой и выдумывать специально для инспектора нечто особенное. Поскольку метод был еще нов и до конца не отработан, ему так или иначе приходилось от сеанса к сеансу варьировать сюжеты, следя лишь за тем, чтобы продвигаться в нужном направлении, и постоянно преодолевая сопротивление пациента — порой подсознательное, порой, казалось, вполне осознанное. Как бы там ни было, в результате сами сны редко отклонялись от намеченного Хабером сценария, и сегодняшний велеречивый набросок сновидения мог сработать не хуже иных прочих — возможно, он даже успешнее преодолеет бессознательное сопротивление Орра.

Заметив, что мисс Лелаш шуруется на экран энцефалографа из своего угла, и жестом позволив ей приблизиться, Хабер продолжил:

— Сегодня ты увидишь сон, где будет просторно, никакого столпотворения, никаких очередей, никаких потных

соседей по вагону. Наоборот, весь простор земных пространств, вся необходимая тебе свобода. Антверпен!

Произнеся пароль, Хабер тут же указал мисс Лелаш на перемену в характере пульсаций на экране:

— Приглядитесь, ритм плавно замедляется. Вот этот скачок и этот тоже — лучи сна. Пациент уже во второй стадии нормального цикла, в фазе медленного сна, занимающего обычно большую часть ночи, то есть не видит пока ярких и отчетливых сновидений, которые начинаются лишь с наступлением краткой сон-фазы, то бишь фазы быстрого сна, отмечаемого легким подергиванием век. Но мы можем зафиксировать пациента в ней, воспользовавшись моим Аугментором... Следите за экраном, мисс Лелаш, включаю.

— Выглядит так, будто он просыпается, — неуверенно пробормотала гостья.

— Точно! Но пациент вовсе не просыпается, убедитесь сами!

Безразличный ко всему окружающему, Опп лежал плашмя, уставив бороденку в потолок, в уголках губ прорезались резкие напряженные складки, но дышал он глубоко и размеренно.

— Видите, веки у пациента слегка подрагивают. Это свидетельствует о движениях под ними глазных яблок, именно так в тридцатые годы впервые и зафиксировали феномен быстрого сна, или сон-фазы, как называют его для краткости. Долгие годы сновидение считалось всего лишь разновидностью обычного сна — я же вижу в сновидении значительно больше. Значительно. Это вообще иная форма существования человека. Все его внутренние системы полностью мобилизованы, как это бывает лишь при чудесном феномене зарождения новой жизни, но мышечная рефлексия на нуле, все мышцы расслаблены и расслаблены глубже, чем даже в стадии медленного сна. Кора, подкорка, гиппокамп, средний мозг — все в отличие от медленного сна активизировано, как при доподлинном бодрствовании. А частота дыхания и давление крови могут даже превысить показатели, нормальные для бодрствующего. Пощупайте пульс — убедитесь сами! — Хабер приложил пальчики Лелаш к запястью Оппа. — Восемьдесят—восемьдесят пять, полагаю. Паренек в полном порядке, уже поплыл вовсю...

— Вы хотите сказать, что пациент уже видит сон? — почтительно, чуть ли не благоговейным тоном уточнила мисс Лелаш.

— Именно!

— И все эти его реакции соответствуют норме?

— Абсолютно! Все мы еженощно проходим через подобный спектакль по четыре-пять раз и всякий раз минимум по десять минут. На экране у нас сейчас совершенно адекватное отображение сон-фазы. Единственная особенность, с какой до Орра мне не доводилось сталкиваться, вот эти вроде бы случайные пики, показатель своего рода мозгового шторма. Но они все же напоминают мне кое-что, почти так же выглядит энцефалограмма человека, озадаченного неразрешимой загадкой, или ритмы мозга людей определенных творческих профессий: артистов, художников, стихотворцев, даже просто читающих Шекспира, наконец. Что происходит с мозгом в такие моменты, пока нам неизвестно. Надеюсь, с помощью моего Аугментора мы сможем приблизиться к разгадке этой тайны природы.

— Нет ли каких-либо оснований полагать, что причиной подобного эффекта может являться сам прибор?

— Ну что вы! Это исключено.

Собственно говоря, если начистоту, Хабер пытался однажды поиграть этими пиками с помощью Аугментора, но полученный результат в виде каши из предыдущего сна, когда был записан исходный узор, и задания на текущий отбил охоту экспериментировать в этом направлении. Стоит ли упоминать сейчас об этой мелкой неудаче?

— Пожалуйста — теперь, когда наш пациент уже видит свой сон, я могу даже отключить Аугментор. Следите за экраном, попытайтесь засечь момент отключения. — Гостья не заметила никаких перемен. — Видите, получается, что Орт сам генерирует эти штормовые пики; присмотритесь теперь к ним повнимательнее. Сперва их ошибочно можно принять за тэта-ритм гиппокампа. Возможно, для иного пациента ошибкой это как раз бы не было, весьма схожие ритмы мне ведь далеко не в диковинку. Понять бы еще, что там внутри, разобраться в механизмах, тогда я мог бы куда точнее диагностировать пациентов, дифференцировать их проблемы по типам. Видите, для чего необходим мой Аугментор? Оцениваете по заслугам его исследовательские возможности? Никаких побочных последствий для пациента, лишь мгновенное погружение его мозга в одно из естественных состояний, столь необходимое исследователю... Взгляните сюда, скорее же!

Естественно, мисс Лелаш прозевала все на свете — чтение энцефалограмм искусство не из самых простых и требует некоторой предварительной подготовки.

— Настоящий протуберанец... И он все еще видит свой сон... Скоро мы все, все узнаем... — Хабер не мог продолжать более — в горле внезапно пересохло. Он почувствовал *это* — толчок, вокзал, приехали.

Что-то, видимо, ощутила и безгласная свидетельница — на лице ее читалась целая гамма эмоций. Прижав тяжелый медный браслет, точно талисман-оберег, к своей хрупкой шейке, мисс Лелаш таращилась на пейзаж за окном — в растерянности, в панике, в шоке, в онемении.

Это явилось полной и весьма неприятной неожиданностью для Хабера. Он-то надеялся остаться единственным, способным осознать перемену.

Но гостья ведь видела и слышала всю процедуру, знала, о чем будет сон Орра, да и находилась совсем рядом со спящим — практически в самом эпицентре событий, как и доктор. И подобно доктору обернулась к окну, чтобы успеть заметить гонимые ветерком и бесследно растворяющиеся в небесной голубизне миражи небоскребов, исчезающие в зыбком мареве бесконечные мили предместий... Портленда, города с населением почти в миллион до Великого Мора, а теперь, в дни Возрождения, всего около сотни тысяч — типичного для Америки грязного и бестолково спланированного городишка, отличающегося от других лишь живописными холмами да вечно туманной рекой о семи мостах, да еще зданием Первого национального банка — сорокаэтажной башней, нависшей над центром, — за которым в голубой дымке плыли над облаками седые горные пики...

Определенно она тоже заметила это. Лишь теперь Хабер отчетливо осознал, что никак не ожидал подобной прыти от заурядного ЗОБ-контролера. Даже мысли такой не допускал. И лишь теперь понял, что и сам-то верил Орру не до конца, верил и в то же время как бы не верил. Хотя и видел, и ощущал *это* с неизменным содроганием уже с десятков раз, хотя и помнил превращение жеребца в гору (если как следует постараться и волевым усилием совместить две реальности, точно два рисунка на кальке), хотя вот уже с месяц беззастенчиво пользовался фантастическим даром Орра в своих целях — происходящее все еще не укладывалось в сознании.

За весь этот день, начиная с самого пробуждения, Хаберу как-то ни разу не вспомнилось, что всего лишь с неделю назад он и не помышлял вдруг сделаться директором Орегонского онейрологического — собственно, мечтать тогда

не о чем было, институтом таким еще и не пахло. Но только до прошлой пятницы. В пятницу институт существовал уже добрых полтора года, слава о нем летела по свету, а доктор Хабер, как главный основатель, естественно, занимал директорский пост. И такой порядок вещей был нормой для всех — для него самого, для всего персонала вплоть до последнего вахтера, для коллег из медцентра, для спонсоров из правительственных инстанций. Таков был порядок вещей, и Хабер принимал его вместе со всеми как единственно возможный и неизменный. Он подавил в себе, загнал вглубь тревожные мысли о том, что до прошлой пятницы порядок вещей, возможно, мог быть *иным*.

Тот сон Орра оказался, пожалуй, самым действенным. Он начался в старом офисе за рекой, под приснопамятной фреской с дерьмоватым Маунт-Худом, а закончился уже здесь... И все перемены, все волшебные превращения обстановки происходили прямо на глазах, Хабер успел понять, что увидел подлинный сдвиг реальности, остолбенел — и тут же забыл об этом. Забыл, видно, начисто, иначе бы уж наверняка постарался избежать присутствия посторонних при повторе эксперимента столь сомнительного свойства.

Что могла понять невольная свидетельница? И что предпримет, если только вконец не свихнется? Сумеет ли сохранить, подобно ему самому, двойную память — о реальности настоящей и реальности новой, или же, наоборот, одной старой, а другой истинной?

Этого никак нельзя допустить. Инспектор может помешать, может вызвать дополнительных наблюдателей, сказав тем самым эксперимент, и окончательно расстроить все его планы.

Любой ценой следует ее остановить. Сжав могучие кулаки, Хабер повернулся к женщине, готовый решительно на все.

Она стояла в прежней позе — с посеревшим лицом и отвисшей челюстью. В ошеломлении. Женщина отказывалась верить своим глазам. Просто не могла. Просто не верила.

Хабер слегка расслабился. Он не сомневался, глядя теперь на мисс Лелаш, был совершенно уверен, что от повреждения рассудка ее отделяет неуловимо зыбкая грань. И тем не менее следует действовать, незамедлительно придется что-либо предпринять.

— Пусть пациент поспит еще малость, — сказал доктор обычным своим голосом, сглотнув войлочный комочек в горле. Не имея представления, о чем теперь говорить, он от-

важно пустился в импровизацию — что-нибудь да придет на ум. Главное говорить непрерывно и тем самым развеять чары, разрушить магию случившегося. — Я подержу его еще какое-то время в фазе медленных снов. Совсем недолго, иначе воспоминания о сновидении могут потускнеть. Прекрасный вид за окном, не правда ли? Эти наши орегонские восточные ветры — воистину дар Божий. Осенью и зимой я не вижу гор долгими и скучными месяцами. Но лишь только разойдутся облака, как вот они, буквально рукой подать. Восхитительное местечко наш родной Орегон. Самый нетронутый штат в Союзе. Разграбление недр прекратилось здесь задолго до Катастрофы. И новый промышленный рост начался потихоньку лишь в самом конце семидесятых. А вы сами, мисс Лелаш, вы из местных, родились в Орегоне?

После бесконечно затянувшейся паузы женщина оглушенно кивнула. Непререкаемые докторские интонации — как если бы ничего особенного не случилось — достучались наконец до сознания мисс Лелаш.

— Вообще-то я родом из Нью-Джерси, — хрипловато говорила она. — Провела там совершенно ужасное детство, даже вспоминать не хочется. Сплошное вырождение кругом, крысы, беженцы из Нью-Йорка, расчистка руин после Катастрофы, их на восточном побережье жуть сколько, тянется до сих пор, конца и краю не видать. А здесь у вас опасностью перенаселения и распада пока даже и не пахнет, разве что чуть-чуть в Калифорнии. Экосистема Орегона практически не пострадала...

Разговор скользнул к опасному краю, прямиком на грань того, что случилось на глазах у обоих, но Хабер не в силах был сменить тему, вставить какую-нибудь отвлекающую реплику, он как будто поплыл. Голова разбухала от памяти сразу двух уровней, от двух систем информации — одной реальной о мире (не существующем более) с населением порядка семи миллиардов человек, продолжающем расти чуть ли не в геометрической прогрессии, и второй, тоже вполне реальной (более чем реальной — существующей наяву!) о мире, население которого сократилось до миллиарда и убывать все еще не перестало.

«Господи Боже мой, — ужаснулся Хабер, — что же такое этот Орт натворил?»

Шесть миллиардов человек.

Где все они теперь?

Но инспектор ничего не должна знать. Ничего.

— Вам приходилось бывать на востоке, мисс Лелаш?

Быстрый оторопелый взгляд:

— Нет.

— Ничего особенного и не потеряли. Нью-Йорк обречен, так же как и Бостон; в любом случае будущее Америки здесь, на западе. Здесь залог нашего процветания. Что есть, то есть, и не пробуй отнять — так выражались здесь во времена моего детства. Кстати, вы, по всей видимости, знакомы с Диви Ферт из управления ЗОБ-контроля?

— Да, — подтвердила женщина, все еще как будто чуток подшофе, но уже начинающая отходить и вести себя почти как ни в чем не бывало.

Хабер испытал столь пронзительное чувство облегчения, что даже коленки подогнулись. Присесть бы теперь да отдышаться. Первая опасность вроде бы миновала. Дисциплинированный мозг адвоката отверг невозможное. Сейчас она спрашивала саму себя, а все ли в порядке у нее с психикой. Не перетрудилась ли? Почему вдруг ожидала увидеть за окном трехмиллионный город? Не признак ли это подступающего безумия?

Естественно, рассудил Хабер, человек, увидев мираж, глазам своим не поверит, если те, кто находится рядом, не разделяют его галлюцинаций.

— Что-то душновато здесь, — озабоченно проронил он и подошел к стенному термостату. — Приходится ставить на тепло — старая онейрологическая привычка. Температура тела во сне несколько падает, а возиться с сопливым пациентом радости мало. Как и толку. Но этот мой электрокамин слишком уж мощный, от его жара я точно пьяный хожу... Наш пациент вот-вот должен проснуться. — Хаберу не хотелось бы выслушивать полный пересказ сновидения при свидетеле, давая тем самым лишнее подтверждение возможным подозрениям. — Дадим-ка ему еще немного поспать, точный пересказ меня сегодня не слишком волнует, а пациент сейчас как раз в третьей стадии. Пусть еще подремлет, мы же тем временем завершим нашу с вами беседу. Может быть, у вас еще остались какие-то неясности?

— Нет. Не думаю. — Медные кастаньеты клацнули при этом как-то весьма неуверенно. Мисс Лелаш на миг зажмурилась, пытаясь сосредоточиться. — Если вы вышлете в офис мисс Ферт полное описание оборудования, принципов его действия и применения, результаты лечения и все такое прочее, дело будет закрыто... Вы уже успели получить патент на свой прибор?

— Подал заявку.

Женщина кивнула:

— Должно быть, еще рассматривают. — Мягко позвякивая, мисс Лелаш склонилась над спящим, затем выпрямилась со странным выражением на своем птичьем личике. — И все же у вас весьма сомнительная профессия, док, — выпалила она вдруг. — Эфемерные сновидения, наблюдения за деятельностью сознания, гипноз и прочее... Полагаю, значительная часть вашей работы приходится на ночные часы?

— Приходится, куда тут денешься!.. Надеюсь, Аугментор и в этом тоже сможет помочь. С его помощью можно усыпить пациента, где угодно и когда угодно, как только возникнет необходимость использования аппарата. Но пару лет назад у меня случился весьма продолжительный период, более года, когда я ни разу не ложился до шести утра. — Хабер улыбнулся. — Теперь я этим даже горжусь, мой личный рекорд. Зато сегодня персонал института практически свободен от ночных смен и ведет совершенно нормальный образ жизни. Достижения технического прогресса.

— Спящий человек так далек от нас, — задумчиво произнесла адвокат, не сводя взгляда с пациента. — Где он может находиться сейчас, сию минуту?

— Вот где! — Доктор решительно ткнул в экран энцефалографа. — Именно здесь, но без всякой возможности откликнуться. В этом-то и кроются все страхи людские перед сном — в отсутствии связи. В полной и абсолютной приватности. Спящий поворачивается спиной ко всем людям разом. «Загадка личности стократ во сне крепчает», — чеканно изрек поэт. И загадку эту нам только предстоит разрешить... Но пора уже будить нашего соню... Джордж... Джордж! Просыпайтесь, Джордж!

Пациент проснулся, как обычно — без зевков, без потягиваний, без попыток перевернуться на бок, чтобы подремать еще чуток. Он немедленно уселся, глянул украдкой на мисс Лелаш, затем перевел взгляд на доктора, снимавшего тем временем с его головы трансшлем. Сойдя с кушетки, Орт малость размял застывшие члены, помотал головой и неуверенно побрел к окну. И замер подле него как вкопанный.

Было в его осанке нечто такое, едва ли не монументальность — в позе этого-то замухрышки. Словно он, безмолвствуя, продолжал находиться в самом центре чего-то совершенно непостижимого, в центре некоего абсолюта, в универсальной точке подвеса. Затаив дыхание, молчали и доктор с юристом.

Наконец Опп обернулся.

— Где они? — спросил он. — Куда все они подевались?

Хабер заметил медленно расширяющиеся зрачки женщины, уловил растущее внутри ее напряжение. Опасность! Говорить, ни в коем случае не молчать, говорить без умолку!

— Судя по показаниям энцефалографа, — зачастил он в ответ Оппу самым бархатистым из своих басков, — вы только что видели один из ваших так называемых высокоактивных снов, Джордж. Нечто не совсем желательное, боюсь, даже весьма близкое к кошмару. Первый дурной сон из всех, что довелось увидеть на моей кушетке, не так ли, Джордж?

— Мне снилась пандемия, Великий Мор, — ответил пациент, побледнев, и затрясся мелкой дрожью.

Деловито кивнув, Хабер уселся за письменный стол. Опп тоже, в свойственной ему манере всегда и всюду быть послушным, в чужой монастырь со своим уставом не соваться, взял себя в руки и уселся в кресло напротив.

— Вам досталась сегодня тяжелая ноша, юноша, и нести ее оказалось, соответственно, весьма нелегко. Но пришлось. Не так ли? Это ведь у нас с вами первый и единственный случай, когда обуздать ваши тревоги полностью не удалось. Дело в том, что на сей раз под моим гипнотическим руководством мы приблизились к одному из сокровеннейших элементов вашего недомогания, копнули почти до самого корня. Тут уж ни удовольствий, ни развлечений ожидать не приходится. Сущий ад, не так ли?

— Вы помните времена Великого Мора, доктор? — спросился пациент без явного напора, лишь чуток подпустив в голос петушка. Не крылся ли в его вопросе сарказм? Затем Опп покосился на мисс Лелаш, вновь тихо присевшую в уголке.

— Естественно, — ответил Хабер. — Я ведь был уже в зрелых летах, когда разразилась первая эпидемия. Лет в двадцать я впервые услышал вести об этом из России, где ядовитые выбросы в атмосферу способствовали образованию новой вирулентной формы канцерогенов. На следующий же день была обнародована ужасающая медицинская статистика из мексиканской столицы. Только тогда ученые сумели установить длительность инкубационного периода, и все поголовно ударились в роковые расчеты. И стали ждать конца. Вспыхнули мятежи, расцвело движение пофигистов, возникла секта Судного дня, набрали силу Бдительные. В тот же год я потерял родителей. На следующий — жену. Потом двух сестер вместе с племянниками. Практи-

чески всех родных. — Хабер развел руками. — Да, я хорошо помню те годы, — уронил он мрачно. — Разве такое забудешь?

— Но ведь Великий Мор разрешил проблему перенаселенности планеты, не правда ли? — возразил Опп с определенным нажимом. И тихо добавил: — Мы с вами сделали это.

— Да, разрешил, — с готовностью подхватил доктор. — Теперь такой проблемы не существует. Кроме, пожалуй, тотальной ядерной войны, только мор мог стать естественным ее разрешением. Нет больше миллиардов голодающих в Южной Америке, Африке, Азии. А когда полностью восстановятся нарушенные коммуникации, остатки голода будут преодолены и в самых отдаленных, недоступных пока уголках планеты. Говорят, что и сегодня примерно треть человечества спать ложится на пустой желудок — но в 1980-м владеть подобным существованием приходилось почти всем. Затопы из трупов людей, погибших от недоедания, больше не становятся причиной разливов Ганга. Дети рабочих в Портленде не страдают более от квашиоркора, не болеют рахитом, как до Катастрофы.

— До Великого Мора, — уточнил пациент.

Хабер тяжело навалился на стол:

— Скажите мне, Джордж. Скажите только одно. Сейчас, сегодня, наш мир перенаселен?

— Нет, — ответил Опп и потупился.

Хабер заподозрил, что тот смеется украдкой, затем заметил слезы, капающие из лучистых глаз пациента. Только этого еще недоставало — пациент чуть ли не в истерике. Если не подавить ее в зародыше, дела пойдут из рук вон плохо. Опп сорвется, а Лелаш, подозрения которой едва удалось усыпить, снова может вспомнить...

— Но всего полчаса тому назад, Джордж, вы были всерьез озабочены угрозой перенаселения. Вы верили, что именно в этом кроется самая страшная опасность для всей нашей цивилизации, неотвратимая угроза земной экологии. Я не рассчитываю, что вы уже избавились от всех своих страхов, мой опыт не позволяет тешиться подобными иллюзиями. Но я надеюсь, что ваших тревог все же поубавилось после сегодняшнего сна. Вы осознали теперь, что некоторым из них нет места в реальной жизни. Ваши тревоги все еще не утратили силы, но уже с небольшой поправкой — вы постигли их иррациональность, вы прозреваете в них теперь воплощение ваших подавленных бессознательных желаний, вы научились отличать их от подлинных ваших

забот. И это всего лишь начало. Отличное начало. Чертовски удачное для одного-единственного сеанса, для одного лишь краткого сна. Вы понимаете это, Джордж? Вы уже берете верх над самим собой. Вы уже почти стряхнули с себя липкую паутину тревожных иллюзий, запеленавшую ваше сознание. И впредь бороться станет легче, так как теперь вы уже несколько свободнее, Джордж. Вы согласны со мной? Разве не чувствуете вы себя, в этом мире и прямо сейчас, чуть менее сдавленным, менее зажатым?

Орр взглянул доктору прямо в глаза, затем перевел печальный взгляд на Лелаш в углу. И не вымолвил ни единого слова.

Повисла томительно долгая пауза.

— Глядите же на вещи повеселей! — воскликнул Хабер, пытаясь приободрить взгрустнувшего собеседника. Орра во что бы то ни стало следовало как-то успокоить, вернуть в прежнее приторможенное состояние, в котором он никогда не решился бы откровенничать о своем снотворческом даре перед третьими лицами. Не то придется объявить его подлинным психопатом. Наконец Хабер нашелся: — Если бы не наблюдатель от всесильного ЗОБ-контроля здесь у нас в утолке, я бы рискнул предложить сейчас вам, Джордж, глоток виски. Но при ней опасаясь превращать наш сеанс в попойку.

— Вы не хотите узнать, о чем был сон?

— Только если вы сами желаете этого, Джордж.

— Я хоронил мертвецов. Сбрасывал в огромный ров... Служил в похоронной команде, когда мне стукнуло шестнадцать, а родители подцепили заразу... Правда, во сне все трупы были почему-то обнажены и выглядели как умершие с голоду. Холмы, горы трупов. И я должен был закопать их все. Я пытался отыскать среди них вас, но вас там не было.

— Естественно, не было, — чуть смущенно протянул Хабер. — Мое время стать персонажем ваших сновидений пока еще не настало, Джордж...

— А как же сон с Кеннеди? Или с Темени-Холлом?

— Да, верно, — растерялся Хабер. — Пожалуй, это было рановато для грамотной терапии... Стало быть, сегодняшней сон позаимствовал кое-что из вашей подлинной биографии...

— Нет. Я никогда не служил могильщиком. И никто не умирал от мора. Никакого мора вовсе не было. Это все мои фантазии. Просто дурной сон.

Разрази гром этого маленького тупого ублюдка! Он выходит из-под контроля. Укоризненно качая головой, Хабер хранил безразличное молчание — теперь только держись, чуть что, и инспектор заподозрит неладное. Пациент тем временем продолжал:

— Вы говорили, доктор, что помните Великий Мор, но не помните ли вы также и то, что никакого мора и в помине не было? Что от вирулентного рака никто и никогда не умирал? Что планета перенаселена, а люди продолжают размножаться, точно кролики? Нет? Вы такого не помните, док? А вы, мисс Лелаш, вам не кажется, что справедливы обе системы воспоминаний?

Тут уже Хабер принужден был вмешаться:

— Простите меня, Джордж, но я категорически против. Не втягивайте в наши взаимоотношения мисс Лелаш. Она для этого должным образом не подготовлена. И ее мнение было бы здесь абсолютно неуместно. У нас психотерапевтический сеанс, а не заседание Конгресса, и пришла она сюда для наблюдения за Аугментором — ничего кроме этого. Я вынужден настаивать на этом. Точка.

Орр сидел совершенно белый, лицо болезненно обострилось. Сидел, молча глаза на Хабера.

— Боюсь, у нас проблема, — продолжил Хабер после паузы, — и я вижу лишь один-единственный способ разобраться с ней. Разрубить гордиев узел. Не обижайтесь, мисс Лелаш, но, как вы уже могли понять, проблема заключается именно в вас. Мы дошли до той стадии, когда беседа не может продолжаться при постороннем, пусть даже безгласном свидетеле. Нам придется прервать сеанс, перенести его окончание. Продолжим завтра в четыре, о'кей, Джордж?

Орр поднялся, но не тронулся с места.

— А вам не приходило в голову, доктор Хабер, — произнес он спокойным тоном, почти не заикаясь, — что могут... могут быть и другие, подобные мне? И реальность, подобно мокрому плотику, выскальзывает из-под наших ног ежедневно, ежеминутно, обновляясь постоянно и непрерывно — только мы всего этого не знаем и не замечаем. Замечает лишь тот, кто видит сон, да еще тот, кто заранее знает сон. И если это действительно так, то наше счастье, что мы ничего не помним. Иначе какие могли бы возникнуть затруднения!

Мягко подталкивая и тихонько увещевая напоследок, Хабер поспешил выпроводить Орра за дверь.

— Вам посчастливилось увидеть провальный сеанс, такое у нас величайшая редкость, — обратился Хабер к мисс Лелащ, прикрыв плотно дверь. Он потер лоб и подпустил выражению своего лица толику задумчивой озабоченности. — Фу-у-у! Ну и денек мне сегодня выпал, и как нарочно в присутствии контролера!

— То, что я видела, показалось мне весьма любопытным, — светским тоном отозвалась дама, легонько брякнув браслетами.

— Не подумайте лишнего, мой пациент далеко не безнадежен, — сказал Хабер. — Сеанс вроде сегодняшнего и на меня, будь я не подготовлен, произвел бы весьма обескураживающее впечатление. Но у Орра есть шанс, и неплохой шанс, избавиться от наваждений, от страхов перед сном. Беда в том, что случай весьма запущенный. Дураком пациента, пожалуй, не назовешь, но ум тоже подводит его, постоянно сплетая новые тенета для собственного сознания... Эх, попался бы он мне лет эдак с десяток тому назад, семнадцатилетним — правда, тогда и Возрождение едва началось. Ну хотя бы с год назад, прежде чем он начал деформировать свои представления о реальности лекарствами, глушить себя наркотиками. Но и сегодня еще не поздно, к тому же пациент весьма дисциплинированный, старается всюю — рано или поздно мы вернем его к реальности.

— Но вы ведь говорили прежде, что он вовсе не психопат! — заметила мисс Лелащ с легкой тенью подозрительности.

— Верно. Я называл пациента невротиком. Однако если уж он свихнется, то свихнется окончательно и бесповоротно. Возможно, он уже и сейчас на грани кататонической шизофрении. Ведь невротик склонен к психозу ничуть *не менее*, чем нормальный.

Хабер больше не мог говорить — в горле пересохло окончательно, и фразы шершавыми обрывками лжи царапали язык, словно после долгих часов бессодержательного словоизвержения и бессмысленных препирательств. К счастью, гостье хватило и этого — звякнув, брякнув и кляцнув, она потрясла руку доктора и откланялась.

Проводив гостью до двери, Хабер первым делом бросился к скрытому в стене возле кушетки магнитофону, на который записывал все свои сеансы. Бесшумная звукозаписывающая техника была специальной привилегией психотерапевтов и разведслужб. Он тщательно стер запись разговоров последнего часа.

Усевшись затем за свой письменный стол мореного дуба, Хабер извлек из нижнего ящика стакан с бутылкой и плеснул себе добрую порцию ароматного бурбона. Бог мой! — час назад никакого бурбона здесь не было. И быть не могло! Урожая зерновых и так не хватало, чтобы прокормить семь миллиардов голодных ртов, где там еще переводить его на спиртное. Не выпускалось ничего кроме синтетического пива, ну и некоторого количества спирта для медиков. И у него в столе полтора часа назад стояла колба именно со смрадным ректификатом.

Отхлебнув сразу добрую половину, Хабер перевел дух. И снова выглянул в окно. Затем встал и, подойдя к окну вплотную, устремил взгляд поверх редких крыш среди сплошной зелени. Сто тысяч душ. Вечер уже начинал поднимать над рекой пелену тумана, но вершины гор стояли все еще освещенные ярким солнцем, безразличные, как и прежде.

— За лучший мир! — провозгласил он тост и, подняв свой бокал навстречу собственному творению, одним долгим глотком прикончил виски.

Остается только понять... что наш урок и наша цель — лишь самое начало пути, и, не ожидая ни от кого даже тени какой-либо помощи, следует прибегнуть к непостижимому и невообразимому — к помощи самого Времени. Нам предстоит усвоить, что извечное бурление рождений и смертей, от которых никому никуда не деться, — дело наших собственных рук, результат собственных устремлений, что силы, соединяющие миры воедино, — плод ошибок Прошлого, а неизменная печаль наша — не что иное, как вечный глад неутолимых желаний, и что свет выгорающих солнц питается негасимыми страстями душ, уходящих в Ничто...

Лафкадио Хирн. «С Востока»

Апартаменты Орра — большая трехкомнатная квартира с глубокой старинной ванной на львиных лапах — располагались теперь в верхнем этаже ветхого каркасного дома по Корбетт-авеню, немного выше в холмы, чем прежде, в самом обшарпанном районе Портленда, где возраст подавляющего большинства жилых строений превосходил вековую отметку. Из окон гостиной поверх соседних крыш открывался прекрасный вид на реку с величаво проплывающими по водной глади кораблями, с беспорядочно снующими прогулочными лодчонками, с редкими теперь вереницами плотов с верховьев и неизменно мельтешащими в воздухе стаями суматошных голубей и крикливых голодных чаек.

Джордж прекрасно помнил прежнее свое жилье — комнатушку 8,5 на 11 футов со встроенной плитой, надувным матрасом и общей душевой в конце бесконечного коридора

на восемнадцатом этаже жалкого корбеттского кооператива, о строительстве которого в этой реальности никто даже и не помышлял.

Покинув трамвай на Уайтэкер-стрит, вскарабкавшись затем на крутой холм и пересчитав напоследок широкие ступени мрачной лестницы, он оказался дома, где с ходу отшвырнул портфель к стене, рухнул на кровать и разрыдался. Джордж изнемогал, он испытывал мучительный страх, его захлестывало неодолимое отчаяние. «Надо что-то делать, *так* дальше нельзя!» — повторял он, всхлипывая. Но что? Этого он никогда не знал. Всю свою жизнь он делал только то, что было велено, и так, как велено, — не задавая вопросов и без излишнего рвения. И никогда не тревожился за конечный результат. Но такая философия потерпела нынче крах, кончилась, испарилась, иссякла вместе с наркотиками на его фармакарте. Опп чувствовал себя потерянным, заблудшим в промозглом тумане. Но он должен *действовать*, просто обязан что-то предпринять. Недопустимо и впредь позволять Хаберу использовать себя как безмозглое, тупое орудие. Давно пора взять судьбу в собственные руки.

Глянув мельком на свои мягкие ненатруженные ладони, Джордж снова спрятал в них лицо, слезы струились сквозь пальцы. «О дьявол! О Господи! — мучительно и горько всхлипывал он. — Что же я за человек такой? Плакса и размазня. Не удивительно, что Хабер меня поимел. Разве мог он помочь такому, как я? Разве стал бы? Я бессилен, я ничтожество, слизняк я бесхребетный — прирожденный инструмент для обделывания чужих делишек. Даже собственной судьбы и то лишен. Единственное, чего хватало прежде с избытком и что оставалось исключительно моим, — это сны. Так теперь отняли и последнее».

От Хабера придется как-то отделаться, рассуждал Опп, понуждая себя быть решительным и твердым хотя бы в мыслях, и сразу же понял, что ни черта из этого не получится. Он прочно на крючке у Хабера, и далеко не на одном.

Конфигурация энцефалограмм Орра столь необычна, даже уникальна, что, как утверждает Хабер, он просто обязан участвовать в нейробиологических исследованиях. Мол, вклад Орра в сокровищницу человеческого знания может оказаться воистину бесценным. В этом Опп Хаберу верил — он понимал, что поставлено на карту, и в необычности своего дара-проклятия тоже не сомневался. К тому же научный аспект экспериментов Хабера казался ему единственной

соломинкой надежды, единственным их оправданием. Может, хотя бы с помощью мудреных научных гитик удастся извлечь толику пользы из его фантастически устрашающего дара, получить хоть какую-то компенсацию за кошмарный ущерб, причиненный этим же даром.

Убийство шести миллиардов человек, никогда на Земле не рождавшихся.

Голова раскалывалась. Опп набуровил в обшарпанную раковину холодной воды, окунул лицо и держал так с полминуты, пока хватало дыхания. Выпрямился красный, мокрый и ослепший, точно новорожденный.

Хабер имел над ним моральное превосходство, но чем доктор действительно подсек и держал неумолимо цепко — так это силой закона. Попробуй уклонись только от добровольной диспансеризации — сразу подпадешь под обвинение в незаконном использовании препаратов и увидишь небо в клеточку. Или, того хуже, утонишь в специзолятор, откуда, поговаривают, вообще нет возврата. Если же не уклоняться, а просто не помогать в ходе сеансов, сопротивляться пассивно, Хабер пустит в ход весьма действенный инструмент принуждения — те же наркотики, которые Опп может теперь получать лишь по предписанию своего лечащего врача. Жизнь без них казалась Оппу невозможной, куда менее приемлемой, чем сумасшедшая мысль плюнуть на все и отдать себя во власть неконтролируемых сновидений.

Даже сейчас, принуждаемый видеть *эффективные* сны на каждом очередном сеансе, Опп боялся представить себе, какая судьба уготована человечеству, если он увидит сон без гипнотически заданного сюжета. Все-таки хоть какие-то рамки. Вдруг увидишь кошмар хуже прежнего — того, например, что привиделся на последнем сеансе. Опп так мучительно переживал, так сильно этого страшился, что сам себя уверил — беды не миновать. Лучше уж по-прежнему глушить себя депрессантами, решил он твердо. И это было единственным непреклонным его решением. Но именно в нем Опп целиком и полностью зависел от Хабера, потому и вынужден во всем ему подчиняться. Круг замкнулся. Крыса в ловушке. И носится теперь по лабиринту на потребу ученому-маньяку. А выхода нет. Нет выхода. Нет. Проложить забыли.

«Но Хабер ведь отнюдь не маньяк, — печально отметил Опп, — у доктора вполне рассудительный ум — или же он обладал таковым прежде. Похоже, именно от моих снов он

и мог рехнуться. Теперь доктор точно персонаж из шекспировской драмы, а уж роль-то ему досталась — нарочно не придумаешь, из самых что ни на есть заглавных. Отелло, Гамлет и Ричард II в одном лице. Или совсем наоборот — роль играет им самим, а он этого уже не осознает... Но ведь намерения у доктора самые благие, разве не так? Он тшится разом изменить к лучшему жизнь всего человечества. Ну а вдруг получится?»

Снова жутко разболелась голова. На сей раз Опп сунул ее прямоком под леденящую колючую струю, только потому и услышал телефонную трель из гостиной. Утираясь на ходу полотенцем, он нырнул в сумрак комнаты, вслепую сорвал трубку:

— Алло... Алло, Опп слушает!

— Мистер Опп, это Хитер Лелаш, — донесся далекий скрипучий альт.

Жаркая неодолимая волна, не очень-то уместная после всех только что пролитых слез, пронизала Оппа снизу доверху — точно внезапно выросшее и тут же расцветшее деревце, корешками в паху, а цветочками в мыслях.

— Слушаю вас, — машинально повторил он в полной растерянности.

— Не могли бы мы встретиться, потолковать кое о чем?

— Само собой... Разумеется, можем встретиться.

— Отлично. Не хотелось бы водить вас за нос — сразу же скажу: к этой машине, Аугментору, нам с вами не придраться. Все в рамках закона, обычное лабораторное оборудование, несколько усиливающее эффект терапии. Прошло необходимые тесты, соответствует всем установленным стандартам, а теперь зарегистрировано еще и в ЗОБ-контроле. Ваш доктор — настоящий профи. Я сперва не совсем точно поняла из ваших слов, с кем предстоит иметь дело. Откровенно порочных людей на подобные посты обычно ведь не назначают.

— На какие еще посты?

— Ну, ведь он все же директор Государственного онейрологического института... как-никак.

Почему-то Оппу весьма импонировала манера собеседницы начинать любую саркастическую сентенцию с вяловато примирительного «ну». Видимо, как юрист она привыкла тем самым как бы выбивать из-под потенциального противника стул, а затем, как бы поддерживая на лету, подсунуть «спасительную» соломинку необходимого в споре

аргумента. Похоже, и по части мужества энергичная Лелаш ему, жалкому слизню, могла дать солидную фору.

— Ах да, помню, разумеется! — смешался он.

Доктор Хабер получил свое назначение на следующий же день после того, как Опп обрел новое лесное обиталище. Дачный сон длился тогда всю ночь напролет, и больше доктор даже не пытался повторять подобную всенощную, в таком самоистязании не выявилось особенного смысла, так как на столь продолжительный сеанс никак не хватало одного гипнотического задания. А в тот единственный раз Хабер вскоре принужден был сдаться и, подключив к пациенту Аугментор, способный удерживать того в заданном режиме сна, позволил расслабиться рядышком в кресле и себе самому.

Однако сон, который посетил Оппа на следующем же дневном сеансе, оказался столь глубоким, долгим и затейливым, что по пробуждении пациента оба они так и не сумели до конца разобраться, в чем все-таки заключаются перемены, что именно удалось Хаберу улучшить на сей раз. Засыпал Опп еще в старом кабинете, а проснулся уже в стенах ООИ — стало быть, Хабер сам себе устроил протекцию. Но, видимо, одним этим последствием сна не исчерпывались — погода тоже вроде бы стала посуше, возможно, изменилось и еще что-нибудь существенное. Уверенности не было. Ни в чем не было уверенности.

Опп еще попытался тогда возражать против столь радикальных перемен в столь сжатые сроки, и Хабер, мгновенно с ним согласившись, перенес следующий сеанс почти на неделю, дабы дать пациенту возможность прийти в себя. Все же Хабер — человек вполне благожелательный. А кроме всего прочего, к чему ему резать гуся, несущего золотые яйца.

Гусь. Вот точное слово. «Точное мое определение, — констатировал Опп. — Тупо гогочущий белый гусак». Забывшись, Опп прослушал последнюю реплику собеседницы.

— Простите, — извинился он. — Я что-то недослышал. Боюсь, сейчас у меня с головой не все в порядке. В переносном смысле, разумеется.

— Вы не больны? — встревожилась Лелаш.

— Нет, вполне здоров. Просто зверски устал.

— Оно и понятно, вы же видели столь удручающий сон, про Великий Мор и всякие связанные с ним огорчительные подробности. Видок после него был у вас тот еще. Эти сеансы всегда так на вас действуют?

— Нет, не всегда. Сегодня как раз выдался не самый удачный. Полагаю, вы могли *заметить* это... Так когда же мы все-таки встретимся?

— Да-да... Ну, скажем, за ленчем в понедельник. Вы ведь работаете в центре, в мастерских Бредфорда?

Не без изумления Опп вспомнил, что это действительно так. Грандиозный гидротехнический проект Бонвилль-Уматилья, призванный обеспечить растущие потребности в воде и энергии гигантских несуществующих ныне городов Джон-Дей и Френч-Глен, истаял как дым. В Орегоне вообще осталось всего лишь одно более или менее крупное поселение, гордо претендующее на звание города, — Портленд. А сам Опп не служил более чертежником в большой государственной компании. Теперь он работал на частника в конструкторском бюро небольшого инструментального производства по Старк-стрит. Ну конечно же.

— Годится, — ответил он, промешкав чуть дольше, чем следует. — Перерыв на ленч у меня с часу до двух. Можем встретиться у Дейва, на Энкени.

— С часу до двух. Стало быть, у Дейва. Тогда до встречи в понедельник!

— Погодите-ка! — воскликнул Опп. — Послушайте. Не могли бы вы... Не могли бы пересказать, что говорил доктор Хабер? Я имею в виду, что именно внушал он мне под гипнозом? Вы ведь все это слышали, мисс Лелаш, не так ли?

— Да, слышала, разумеется, но, боюсь, мистер Опп, рассказать не смогу, уж простите. Это ведь может повредить вашему исцелению. Если бы пациенту полагалось знать, доктор сам бы и рассказал. Боюсь, это не вполне этично.

— Наверное, вы правы.

— Весьма сожалею. Итак, до понедельника?

— До понедельника, — глухо откликнулся он в полном отчаянии и бросил трубку.

Она не поможет. Ей не занимать ни мужества, ни напора, но силы ее, увы, совсем не те. Возможно, Лелаш и заметила *это*, но отмахнулась, как от наваждения, как от мушек в глазах. Да и как ее можно винить за это? Опп на собственной шкуре испытал тяжесть раздвоения памяти — а ей к чему это лишнее бремя? С чего бы это ей верить слюнявому психу, который, бессвязно бормоча и брызгаясь во все стороны, несет при том невесть что?

Завтра, в субботу, очередной сеанс у Хабера, с четырех до шести, а то и дольше — уж как выйдет. А выхода нет.

Пора было что-нибудь съесть, но голода Оорр не ощущал. Он не стал включать свет ни в спальне, ни в просторной гостиной, которую за полных три года жизни в этой квартире так и не удосужился обставить приличной новой мебелью. И сейчас в потемках почему-то обратил на это внимание. В воздухе висел запах пыли, смешанный с летучими ароматами ранней весны за окном. Древний резной камин, дряхлое пианино, ощерившееся в слабых отблесках фонарей шербатой (без восьми клавиш) клавиатурой, груда линялых траченных молью ковров возле очага да ветхий бамбуковый столик, очевидно, японского происхождения, не выше десяти дюймов. Давно некрашенный да и немывтый дощатый пол утопал в чернильном мраке.

Джордж Оорр рухнул, где стоял, уткнулся носом в пыльный пол, ощутил его жесткость всеми ребрами. Джордж лежал так молча, но не засыпал — он пребывал сейчас где-то неизмеримо дальше, в местах, куда не залетают даже вездесущие сны. Уже не впервые заглянул он в этот далекий край — или за край?

Когда Оорр поднялся, настала пора принять таблетку хлорпромазина и отправиться на боковую. Всю последнюю неделю Хабер пользовал его фенотиазинами, те действовали вполне исправно, позволяя при необходимости погружать Оорра в сон-фазу, но снижая до вполне безопасного уровня интенсивность сновидений. Оорр в душе ликовал, но Хабер охладил его пыл, объявив, что эффективность этого препарата, как прежде и прочих, вскоре начнет снижаться, покуда вовсе не сойдет на нет. Ничто не может уберечь человека от сновидений, повторял доктор, разве одна костлявая.

Этой ночью Оорр наконец выспался как следует, а если и видел какие-то сны, то лишь мельком и неотчетливо. Пробудившись около полудня, заглянул в холодильник и обомлел. Такого изобилия и разнообразия он еще в жизни не видывал. В другой жизни. Тот, прежний Оорр, жил в окружении семи миллиардов голодных ртов, и еды вечно не хватало. Обыкновенное яйцо становилось праздником, именинами сердца; «Сегодня мы овулируем!», — восклицала супруга, бережно выкладывая на стол пакет с месячным пайком... Примечательно, но в этой жизни они с Донной даже не устраивали пробного брака. Во времена Великого Мора этот общественный институт тоже претерпел немалые изменения, и допустимым считалось теперь лишь офи-

циальное венчание. Более того, в Юте, где уровень смертности все еще превышал рождаемость, из патриотических и религиозных побуждений пытались узаконить полигамию. Но они с Донной решили не вмешивать в свои личные взаимоотношения государство — просто зажили вместе и все. Впрочем, надолго это и здесь не затянулось... Внимание Оorra вновь вернулось к содержимому холодильника.

Сам он тоже не был более тем востроносеньким, худощавым замухрышкой, каким довелось существовать в голодном семимиллиардном мире — Оорр изрядно прибавил в весе, округлился. И насыщался теперь отнятым у *тех самых* голодающих — роскошной, но несправедливой пищей: яйца вкрутую, тосты с натуральным маслом, анчоусы, вяленая говядина, зелень, сыр, орешки, палтус под майонезом и в маринаде, шоколадные пирожные — всем, что только нашлось на полках. После гастрономической оргии он почувствовал себя куда лучше, правда, только физически. Прихлебывая самый настоящий кофе — не эрзац! — и грустно улыбаясь, он вновь погрузился в бесконечные свои размышления.

«В *той* жизни я видел вчера эффективный сон, — рассуждал Оорр, — и сон этот, изменив историю за последние как минимум четверть века, унес шесть миллиардов жизней. Но в *этой* жизни, которую я тогда создал, вчерашний мой сон вовсе *не был* эффективным. Я пришел к Хаберу, как обычно, и заснул, но ничего не изменилось. А ведь снилось мне то же самое, но получился лишь заурядный кошмар, воспоминание о временах Мора. Тогда, может статься, со мной все в норме, и я вовсе не нуждаюсь в лечении?»

Оорр никогда еще не пытался взглянуть на дело с такой стороны и улыбнулся удивленно, однако не слишком-то весело.

Он знал, что следующего сна не избежать.

Часы показывали начало третьего. Оорр умылся, отыскал на вешалке плащ (чистый хлопок, нечто немыслимое в предыдущей жизни) и отправился в институт пешком. Вместо двухмильной прогулки, маршрут которой пролегал мимо медцентра и далее через Вашингтон-парк, Оорр мог воспользоваться трамваем, но ждать ближайшего в выходные пришлось бы невесть сколько, да и шел тот вкрутую. Стоило ли зря трястись? Лучше неспешно прогуляться под теплым мартовским дождиком по пустынным улицам, любуясь распускающейся листвой — каштаны всюю уже готовились запалить свои свечки.

Катастрофа, раковый мор, унесший за пять лет пять миллиардов жизней и еще миллиард в последующие десять, потряс цивилизацию до основания и в конце концов оставил ее в покое. В принципе, кроме численности населения, на планете радикально ничто не переменялось.

Атмосфера по-прежнему оставалась безнадежно загрязненной; вредные выбросы, предшествовавшие Мору десятилетиями и ставшие одной из главных его причин, и сегодня никого особо не тревожили. Кроме разве что умирающих новорожденных. Лейкемическая разновидность мора, действуя избирательно, до сих пор уносила одного из каждого четверых младенцев до полугода. Уцелевшие приобретали иммунитет.

Но случились и другие горестные перемены.

Не дымили вдоль реки заводы, не сновали по дорогам бесчисленные автомобили, а те немногие, что еще оставались, работали на паре или от аккумуляторов.

Из буйной зелени более не доносились птичьи трели, певчие пичуги исчезли как здесь, так и повсеместно.

Следы Катастрофы читались во всем окружающем, а сама эпидемия приобрела вялотекущий эндемический характер.

Самое страшное — Великий Мор отнюдь не предотвратил всемирную бойню. Напротив, бои на Ближнем Востоке приобрели куда большую ожесточенность, чем в предыдущем варианте реальности. Соединенные Штаты втянулись в конфликт, решительно помогая израильско-египетскому альянсу новейшим вооружением и «военными советниками» в немалом числе. Ситуацию уравновесил Китай, выступивший на ирано-иракской стороне. Правда, своих солдат Китай пока берег, но во множестве отправлял в зону боев новобранцев из Тибета, Северной Кореи, Вьетнама и Монголии. Россия вместе с Индией с превеликим трудом держивались пока нейтралитета, но нынче, после вмешательства в конфликт на стороне Ирана афганцев и далекой Бразилии, когда израильтяне со дня на день ожидали подмоги от Пакистана, перепуганная Индия могла не устоять и объединиться с Китаем. В свою очередь СССР вынужден был бы тогда выступить на стороне США. Это создало бы своеобразный ядерный паритет — по шесть ядерных держав на каждой из противостоящих сторон. Предугадать исход возможным не представлялось. Тем временем Иерусалим уже лежал в руинах, гражданское население Ирака и Саудовской Аравии пряталось в землянках от танков и само-

летов, сеющих в воздухе огонь, а в воде холеру, чудом же уцелевшие детишки выбирались из разрушенных нор, ослепленные напалмом.

«Резня в Йоханнесбурге не прекращается!» — заметил Орт аршинный заголовок на угловой газетной витрине. Уже годы минули со времен Переворота, а в Южной Африке все никак не уймется. До чего все-таки кровожаден человек...

Теплый кислотоватый дождик увлажнял шевелюру, пока Орт одолевал холмистую часть своего маршрута.

В кабинете с распахнутым в теплую сырость большим угловым окном Орт взмолился:

— Прошу вас, доктор Хабер, не пользуйтесь больше моими снами! Ведь все равно ни черта путного не выходит. Все становится только хуже и хуже. И я хочу *выздороветь*, наконец!

— Чудесно, Джордж! Главная предпосылка выздоровления — горячее *желание* пациента.

— Вы не ответили мне.

Хабер, здоровенный такой мужик, выскальзывал, точно луковица из-под ножа новичка-кулинара, сопротивляясь слой за слоем: слой характера, слой убеждений, слой аргументов и так без конца и края — до сердцевины не добравшись. Зацепиться не за что, нигде остановиться и сказать: вот оно! Здесь! Одни только осклизлые защитные оболочки...

— Вы используете мои эффективные сны, чтобы изменять реальность. И не хотите признаться. Почему?

— Это вам, Джордж, следует признать, что вопросы, которые вы задаете, резонны лишь с одной точки зрения — вашей, а не моей. С моей — на них и вовсе нет ответа. Мы с вами не можем воспринимать реальность одинаково.

— Но ведь кое-что все же совпадает? Иначе вообще — мы не смогли бы и разговаривать.

— К счастью, да. Но этого подобия для ответов на все ваши вопросы недостаточно. Пока недостаточно.

— Почему-то на ваши я отвечать могу... И отвечаю... В любом случае послушайте! Вы не можете продолжать это, так нельзя, вы не вправе вмешиваться в ход вещей.

— Джордж, вы произносите это прямо-таки как некий нравственный императив, тоном проповедника. — Теребя бородку, доктор одарил собеседника преувеличенно сердечной улыбкой. — Но взгляните фактам в лицо, Джордж, разве не главная цель мужчины испокон веков — созидать вещи, изменять вещи, управлять ходом вещей? И улучшать в результате мир вокруг себя?

— Нет! Неправда!

— Так в чем же тогда цель, по-вашему?

— Не знаю. У вещей нет предназначения, и Вселенную нельзя разъять, как труп, как механизм, каждая деталь которого имеет определенную функцию. В чем, по-вашему, функция галактик? Не знаю, имеет ли какую-то цель вся наша жизнь, но думаю, что это не столь уж важно. А вот что действительно важно, так это то, что мы в ней, мы являемся частью жизни. Словно нитка в одежде, словно былинка в поле. Есть жизнь, и в ней есть мы. И все, что ни делает человек, — это лишь легкий ветерок по траве.

Возникла непродолжительная пауза, и когда Хабер сформулировал наконец свой ответный аргумент, тон его несколько переменялся. Сердечность увещаний уступила место прохладе, близкой к презрению:

— Даже странно слышать такое, столь пассивную точку зрения, из уст человека, выросшего в условиях прагматичного иудейско-христианского Запада. Прямо-таки настоящий буддизм. Может, вам доводилось штудировать восточную эзотику, Джордж? Или увлекаться мистическими учениями? — В финальном вопросе, насквозь риторическом, звучал уже неприкрытый сарказм.

— Нет. И ничего в них не смыслю. Зато знаю, что неразумно испытывать на прочность порядок вещей, насиловать природу. Не поможет. Человечество совершает эту ошибку, все время одну и ту же, уже сотни лет. Вы видели... видели, что стряслось вчера?

Непроницаемо темный взгляд в упор:

— А что же такое стряслось вчера, Джордж?

Нет выхода. Выхода нет.

На сей раз, чтобы снизить у пациента сопротивление гипнозу, Хабер избрал пентотал натрия. И снова Орр покорился, вяло наблюдая за иглой, жалящей его в вену. А что оставалось? Какой выбор? Выбирать самому Орру никогда и ничего не доводилось. Разве что во сне?

Хабер выскочил, чтобы уладить кой-какие дела, пока не подействует препарат; обернувшись за четверть часа, он был оживлен и порывист:

— Все в порядке? Ну что ж, приступим, Джордж!

С мрачной ясностью Орр предвосхитил тему сегодняшнего сна — война. О ней кричали все газеты, и даже сопротивляющееся информации сознание Орра наполнилось этим — ширящимся конфликтом на Ближнем Востоке. Миротворец Хабер хочет разделаться с войной. А заодно прекратить

и южноафриканскую резню. Он ведь само благородство и мечтает лишь о счастье для всех, для всего человечества разом.

Говорят, цель оправдывает средства. Но ведь этому никогда не будет конца. И все, что у нас есть, — это одни средства. Орт откинулся на кушетке и зажмурил глаза. Тяжелая ладонь привычно легла на горло.

— Сейчас ты погрузишься в транс, Джордж, — бархатный голос Хабера, — ты уже погрузи...

темнота

Во тьме.

Еще не ночь, только поздние сумерки, на краю пшеничного поля. Впереди роща, влажная и мрачная. Путь под ногами едва виден в последних отблесках гаснущего заката — давно заброшенный потрескавшийся хайвей. Впереди, футах в десяти, смутное белое пятно — это шествует здоровенный гусак. Оборачиваясь порой, он грозно шипит.

Белыми маргаритками вспыхивают на небе звезды. Одна, крупнее прочих, трепетно-яркая, распускается прямо впереди, над темным горизонтом. Следующий взгляд — она все больше, все ярче. Звезда расти не может! — мысль. Светляк в небе, раздуваясь и разгораясь, наливается зловещим багрянцем. Звезда не может быть красной! — следующая мысль. Уже слезятся глаза. Яркие зеленовато-голубые волоски молний жадно тянутся к звезде с разных сторон и гаснут, упираясь в невидимую сферу. Вот уже вокруг звезды разгорается и пульсирует огромное кремовое гало. Молнии продолжают неустанно жалить. О Боже, только не это! — когда звезда вдруг исчезает в слепящей ВСПЫШКЕ. Упасть плашмя, прикрыть затылок ладонями! Но отвернуться нет сил, не отвести глаз от неба, исполосованного смертоносными блицами. Чудовищное содрогание земной коры приводит в сознание. О Господи, спаси меня! — отчаянный вопль в полыхающие небеса... и пробуждение.

Рывком усевшись на кушетке, Орт спрятал лицо в потных трясущихся ладонях.

Тяжелая рука на плече:

— Снова скверный сон? Черт, я думал, будет все же полегче! Ведь внушал вполне безобидный сценарий, на тему «миру — мир».

— Так и вышло.

— Тогда почему вы так взволнованы?

— Я стал свидетелем жуткой схватки в космосе.

— Свидетелем? А где же находились сами?

— На Земле. — Орр вкратце изложил сновидение, опустив лишь единственно гусака. — Только вот не знаю, то ли они сбили одного из наших, то ли наоборот.

Хабер рассмеялся:

— Да уж, жаль, что ваш сон нельзя записать визуально. Вот бы вышло захватывающее зрелище! Ведь на самом-то деле столкновения эти происходят на таких скоростях и на таком удалении, что человеческое зрение тут просто бесполезно. Несомненно, ваша версия куда красочнее реальности. Звучит, как пересказ доброго старого боевика семидесятых. Сколько я перевидал их пацаном... И все же, отчето вам привиделась батальная сцена? Внушение-то было на мирную тему.

— Мирную? Увидеть сон про мир на планете — именно так вы велели?

Хабер, занятый переключением клавиш на пульте Аугментора, ответил не сразу.

— Порядок, — сказал он наконец. — Что ж, давайте на сей раз, в порядке эксперимента, сравним внушение с содержанием сна. Может, прояснится причина негативного результата. Я сказал... нет, лучше поставить запись. — Хаббер сдвинул панель на стене.

— Вы записывали весь сеанс?

— Естественно. Обычное в психиатрии дело. Вы не знали?

«Откуда мне знать? — ответил про себя Орр. — Откуда, если магнитофон скрыт, сигналов не издает, а вы и словом не обмолвились?» Но ничего не сказал. Может быть, так у них принято, может, и нарушение, продиктованное высокомерием доктора — в любом случае ничего не попишешь.

«...Вот мы близко, мы почти у цели, мы уже в трансе, Джордж. Погружаемся...» — Мягко щелкнув, магнитофон смолк.

— ...Э-эй, Джордж, не отключайтесь! Ну-ка очнитесь!

Орр тряхнул головой и усиленно замигал. Конечно, это всего лишь запись, но ведь он под завязку набит депрессантами.

— Все в порядке, малость промотаем.

И снова голос Хабера в записи: — «...мирную жизнь. Никакого более массового истребления людьми себе подобных. Конец кровопролитным сражениям в Ираке, прочих арабских халифатах и эмиратах. Мир на священной для всех народов планеты земле Израиля. Конец геноциду в Африке. Нет — грудам ядерного и биологического оружия, способного уничтожить все живое на Земле. Нет — разра-

боткам новых средств и способов уничтожения людей. Миру — мир! Мирное сосуществование как единственно возможное на Земле. Все названное должно присутствовать во сне. А сейчас переходим непосредственно к засыпанию. Когда я произнесу...»

Хабер резко оборвал воспроизведение, чтобы Опп, услышав пароль, не отключился снова.

Опп задумчиво потер лоб.

— Что ж, — процедил он. — Я в точности исполнил вашу инструкцию.

— Не думаю. К чему же тогда эта битва в прилунном простра... — Хабер умолк так же внезапно, как только что его голос в записи.

— Окололунном, — поправил Опп, даже немного сочувствуя Хаберу. — Когда я засыпал, «прилунном» еще не говорили. А как там сейчас обстоят дела в Израгипте?

Искусственное словечко из предыдущей реальности, прозвучав в новой, произвело едва ли не магическое действие — оба физически ощутили вокруг него некую зыбь, смысловую аберрацию, столь же явственную, как на картинах Дали.

Теребя знакомым Оппу жестом курчавую каштановую бородку, Хабер нервно зашагал по огромному кабинету. Такое обычно предшествовало очередному выбросу из неиссякаемых импровизационных источников, но, заговорив, он на сей раз не торопился и взвешивал каждое слово:

— Любопытное использование «космического зонта» как символа или метафоры мирной жизни, как своеобразной антитезы войне. Недурно, весьма недурно. И весьма деликатно. Собственно, сны ведь всегда деликатны. Бесконечно деликатны. Чем же в действительности *обернулась* для нас эта угроза, эта внезапная опасность вторжения враждебно настроенных и крайне неразговорчивых пришельцев? Первое — заставила прекратить все и всяческие междоусобицы и обратить военные приготовления вовне. Второе — напрячь все силы объединенного человечества, обрушить всю его техническую мощь лишь на космического супостата. Если бы не пришельцы, то кто знает? Может, мы до сих пор кромсали бы друг друга на Ближнем Востоке.

— Из огня да в полымя, — горько вздохнул Опп. — Неужели вы не видите, док, что это единственное, чего вам удалось от меня добиться? Не подумайте только, что я в чем-то помешал, что затевал расстроить ваши планы. Прекратить войну как раз хорошая мысль, тут я полностью согласен, обеими руками за. Кстати, на прошлых выборах я

голосовал за изоляционистов и лишь потому, что Харрис обещал вытащить нас из кровавой ближневосточной каши. Тем не менее ваша затея провалилась — видимо, мое подсознание не в силах вообразить мир без войны. Лучшее, что сумело оно предложить, — заменить один вид войны другим. Вы просили прекратить истребление людьми себе подобных? Пожалуйста, вот вам пришельцы взамен! Ваши идеи мне нравятся, представляются вполне разумными, но дело-то приходится иметь не со мной — с моим подсознанием. На уровне рассудка я, может статься, и сумел бы воспринять картину, в которой все человеческие расы отказались от взаимоистребления; рассудком воспринять такое даже легче, чем уразуметь причины войн, зачастую весьма загадочные. Вам же приходится оперировать чем-то, рассудку вовсе неподвластным. Вы пытаетесь достичь благих, гуманных целей при помощи инструмента, для того не предназначенного. Кто знает, могут ли вообще сны быть гуманными?

Явной охоты отвечать Хабер пока не показывал, и Опп продолжил:

— А может быть, дело не только в подсознании, не в одной лишь моей иррациональной подкладке, но в самом моем существе, моей планиде, неподходящей для важной миссии. Я ведь в душе пораженец, как вы изволили однажды заметить, слишком пассивен по сути своей, не спору — что верно, то верно. Постоянно умеряю и одергиваю сам себя в желаниях и запросах. Может быть, вам и удастся извлечь что-либо из моего дара, из этих проклятых эффективных снов, если же нет — должны ведь найтись и другие, умеющие то же самое. Возможно, с ними у вас получится лучше. Надо поискать, не могу же я быть единственным и уникальным. Может статься, я лишь первый, кто осознал свой дар. Но я ведь *не хочу* заниматься этим — можете вы понять? Я хочу соскочить с крючка, всем нутром своим жажду этого. Смотрите, док, — хорошо, война на Ближнем Востоке уже шесть лет как закончилась, замечательно! Но взамен мы получили оккупацию Луны пришельцами. А что, если оттуда они предпримут вторжение? Только тогда выяснится, какого сорта монстров и страшилищ вычудили вы из моего подсознания во имя мира на Земле. Ведь даже я не знаю, на что они могут оказаться похожи.

— Никто из нас пока не ведает, как выглядят пришельцы, Джордж, — сказал Хабер мягким увещающим тоном. — Но все мы видим их в наших ночных кошмарах,

Господь тому свидетель! Однако, как вы сами только что заметили, прошло уже полных шесть лет с момента их высадки на Луну, а попытку вторжения на Землю они пока так и не предприняли. Теперь же, после шести лет колоссальных усилий, наш ракетный щит практически непроницаем, и нет никаких оснований полагать, что вторжение вот-вот начнется. Что-то же заставляло их выжидать целых шесть лет. Настоящую опасность представляли, пожалуй, лишь первые несколько месяцев после нападения на Луну, пока человечество еще не успело мобилизоваться полностью.

Орр сидел, ссутулясь, и мысленно вопил: «Лжец! Немедленно прекрати вешать лапшу на уши!» — но вслух не произнес ни слова. Ни к чему это. Судя по всему, Хабер просто не способен на искренность, так как лжет в первую очередь самому себе. Возможно, ему удалось разделить свое сознание как бы на две отдельные полочки, на одной из которых сведения о феномене Орра и осознанное намерение его использовать, а на другой — чистосердечная вера в то, что он лечит гипнотерапией и контролируемые сны настоящего шизофреника, помешавшегося на собственных сновидениях.

И все же Орр не мог до конца поверить в подобное раздвоение личности доктора, был не в силах ясно представить себе Хабера не в ладу с самим собой. Собственное сознание Орра столь упорно противилось раздвоению, что допустить этот синдром у другого он не спешил. И допускал подобную возможность скорее теоретически. Но все же допускал, потому что вырос в мире двоемыслия, в стране, где государственные мужи частенько посылали отважных летчиков убивать невинных детей, чтобы сделать мир более безопасным — для детей же.

Но все это происходило в той, прошлой реальности, а не в дивном новом мире.

— С ума схожу, — пожаловался Орр. — Вы как психиатр должны это понимать. Неужто не видите, как я разрываюсь на части? Пришельцы из далекого космоса, атакующие Землю! Как вы думаете, если позволить мне и впредь видеть сны, какие еще нас ждут чудеса? Может, продуктом безумного мозга станет весь мир, слетевший с катушек? Монстры, призраки, ведьмы, драконы, трансформеры — весь этот накопившийся внутри нас сор, арсенал детских ужасов, ночные страхи, кошмары! Как вы сможете удержать их в узде? Уж я так точно не смогу. Нет у меня над собой такого контроля.

— Не беспокойтесь о контроле, Джордж! Свобода — вот наш девиз и наша главная цель! — Похоже, Хабера вновь потянуло на патетику. — Свобода! Ваше подсознание отнюдь не сток для умственных нечистот, не прибежище грязного порока и прочих мерзостей. Оставьте эту викторианскую ересь дряхлому старичью! Они и так уже извратили до неузнаваемости достижения светлейших умов позапрошлого века и подрезали поджилки всему психоанализу первой половины двадцатого! Не бойтесь вашего подсознания! Оно вовсе не бездонная черная яма, набитая кошмарами. Ничего подобного! Оно источник здоровья, воображения, творческой активности. А все, что мы называем грехом, — продукт цивилизации, ее запретов и условностей, деформирующих и подавляющих в человеке свободу самовыражения, все его спонтанные реакции. И величайшую задачу психотерапии я вижу как раз в том, чтобы устранить эти беспочвенные страхи и кошмары, вывести содержимое подсознания на ясный свет рассудка, рассмотреть его под микроскопом и обнаружить, что *бояться-то нечего!*

— Увы, доктор, есть, — мягко возразил Опп.

В конце концов Хабер отпустил его домой. Выйдя в весенние сумерки, Опп еще с минуту постоял на ступенях института, руки в карманах, покачиваясь на носках и любуясь сполохами городских огней внизу, смутных и призрачных в туманной дымке, словно фитильки глубоководных тропических рыб в затемненном аквариуме. Оглушительно дребезжа, к институту подкатил трамвай, совершающий свой дежурный объезд вокруг Вашингтон-парка. Опп ссыпался с крыльца и запрыгнул в вагон на крутом повороте. Чуть не сорвался — ноги едва подчинялись ему, двигаясь, как у лунатика, как у непослушной марионетки.

Мечты и грезы для рассудка, точно туманность для звезды, они граничат со сновидением, соотносясь с ним, как некое его предвестие. Атмосфера грез изобилует эфемеридами — здесь-то и кроется начало Непознанного, из-за пределов которого открывает самый свой краешек бескрайнее Вероятие. Иные существа и иные сущности. Ничего сверхъестественного, ничего запредельного — лишь сокровенное продолжение колыбельных сказов матушки природы, воистину прихотливой в своих фантазиях... Сон по сути — лишь соприкосновение с тем же Вероятием, принимаемым подчас за нечто невозможное. Мир ночи — та же реальность. Ночь сама по себе иной мир и иная Вселенная. Мрачные обитатели тех неведомых сфер навязываются человеку в соседи, проскальзывая в наши мысли украдкой — то посредством некоего сродства с реальностью, то искусно имитируя решительный и бесповоротный исход из темных провалов глухой бездны... А сновидец тем временем недреманным внутренним оком и лишь отчасти дремлющим сознанием отмечает эфемерность и мимолетность неопишимо странных существ, фантастически причудливой флоры, пугающих бледных огней, мрачных теней, плянется на жуткие маски, размытые силуэты, звериные оскалы — на все это дикое мельтешение в лунном свете безлунной ночи, на тусклый распад зыбких миражей, влекущихся из мрачных расселин и тут же исчезающих, на витающие кругом бледные контуры, на всю эту мистерию, которая именуется Сновидением и которая ничем

иным, кроме как шагом к постижению невидимой и неведомой Сущности, быть не может. Сновидение — аквариум Ночи.

V. Hugo. «Travailleurs de la Mer»*

Тридцатого марта в четверть третьего пополудни Хитер Лелаш, одетая в красную дождевую накидку и как всегда оснащенная, если только не вооруженная, тяжелой черной сумкой с острыми латунными уголками, стремглав вылетела из закусочной «Дейв — пальчики оближешь!» и по Энкени-стрит заспешила к югу, в сторону авеню 4-го июля. Сейчас ее следовало остерегаться — взбешенная фурия представляет собой особенную угрозу для окружающих.

Не то чтобы Хитер так уж ностальгировала по этому окаянному шизίκу, пропади он пропадом, но она терпеть не могла выглядеть круглой душой, в особенности перед официантами. Полчаса занимать столик посреди обеденной суеты и давки — «Извините, занято!», «Сожалею, но я кое-кого жду!» — когда никто так и не появляется и ей все же приходится сделать заказ, а затем давиться жратвой в одиночку! И после того еще страдать от изжоги! О, чтоб ему пусто было, чтобы заснул и больше никогда не проснулся!

В запале Лелаш свернула налево по Моррисон и застыла как вкопанная. С чего это она вдруг? Разве этот маршрут ведет в контору «Форман, Изербек и Ратти»? Развернувшись, она поспешно прошагала несколько кварталов к северу, пересекла Энкени, добралась до Бернсайд и замерла снова. Что за дьявол такой вселился в нее сегодня? Куда ее несет?

Разумеется, к зданию перестроенной автопарковки, 209, Юго-западный Бернсайд... Какой такой автопарковки?! Ее контора находится в Пендлетон-билдинг, первом построенном после Катастрофы офисном здании, что на Моррисон-стрит. Пятнадцать этажей, современный декор под древних инков. Какая еще автопарковка, что за идиот согласится работать в стенах перестроенной автопарковки?

Лелаш прошла по Бернсайд, дабы удостовериться. Вот оно, разумеется — в запустении, с заколоченными окнами, чуть ли не руины.

* Виктор Гюго. «Труженики моря» (фр.).

Но ведь у нее здесь был офис, наверху, на третьей рампе.

Женщину, замеревшую на тротуаре возле заброшенного здания с эксцентричным наклоном этажей и узкими бойницами окон, посетило вдруг странное чувство. Что же на самом деле *случилось* во время гипнотического сеанса в минувшую пятницу?

Во что бы то ни стало надо встретиться с этим маленьким ублюдком! С мистером Как-его-там Орром. Пусть он и подвел ее с ленчем, ну так что! Все вопросы остались при ней. И их непременно нужно задать.

Отчаянно цокая каблуками и даже как бы клацая в нетерпении жвалами, Лелаш заспешила к себе в Пендлтон-билдинг, чтобы позвонить. Сперва в мастерские Бредфорда («Нет, мистера Орра сегодня нет на месте, и, увы, он не звонил!»), затем на квартиру (бип-бип-бип).

Может быть, стоит побеспокоить доктора Хабера? Но он ведь такая важная шишка, начальник целого Храма Грез в парке наверху. А главное — ему не следует знать о ее знакомстве с Орром. Паучок запутался в собственных тенетах.

В этот вечер Орт не отвечал на звонки ни в семь, ни в девять, ни даже в одиннадцать. Не явился он на работу и во вторник утром, не показывался там и после полудня. В полпятого Хитер не выдержала, выскочила из конторы «Форман, Изербек и Ратти» и, догнав попутный трамвай, отправилась на Корбетт-авеню. Отыскав нужный дом, долго давила кнопку звонка, одну из шести чуть не дочиста изглоданных кнопок, встроенных в косяк застекленной парадной двери дома — таким особняком на заре прошлого века могли, очевидно, гордиться его хозяева. С тех пор дому довелось пережить весьма трудные времена, но переживал он их с аристократическим достоинством и по сей день еще не обратился окончательно в руины. И даже мог похвастать определенной пышностью, пусть и несколько подзамазанной безжалостным временем. Орт снова не отзывался. Тогда Хитер позвонила «М. Аренсу, управляющему». Дважды. Управляющий, приоткрыв дверь, сперва на контакт не пошел. Но если уж в чем Черная Вдова и не имела себе равных, так это в запугивании всяких крохотных букашек. И вскоре М. Аренс, управляющий, уже послушно провожал Х. Лелаш, присяжного поверенного, к двери Орра. Искать ключи не потребовалось — уходя, тот даже не запер квартиру.

Лелаш отшатнулась было — первой же ее мыслью был труп внутри. А такие сюрпризы вовсе не по ее части. К тому же — неприкосновенность жилища!

Управляющий, не столь отягощенный игрой воображения и доскональным знанием статей гражданского кодекса, распахнул дверь и беззаботно зашел вовнутрь. Лелаш неохотно проследовала за ним.

В просторных запущенных комнатах ничего такого не обнаружилось, никаких тебе покойников. Здесь даже сама мысль о смерти представлялась нелепой и неуместной. Похоже, Орт мало занимался своим хозяйством — квартира, пусть и не захламленная по-холостяцки, как это частенько бывает, особой чистотой все же отнюдь не блистала. Крайне мало примет, дающих представление о личности хозяина. Однако Хитер сумела мысленно поместить Орта в окружающий интерьер — эдакая неприметно живущая тихая букашка, человек-нелюдимка. На столике в спальне даже обнаружился стакан с веточкой белого вереска. Воды в стакане оставалось всего на полпальца.

— Шерт-те жнает, где этот хмырь ошивается! — сварливо пробурчал управляющий и с опаской зыркнул на визитершу. — Думаете, слушилось шего? Нешастный случай, штоль? — Беззубый старик, облаченный в истрепанную кожанку времен его молодости, кулончик-Водолей на заскользящей шее, растерянно потряхивал нечесаной гривой и всюю благоухал марихуаной. И даже блял под Дилана. Старые хиппи не сдаются, они живут вечно.

Хитер разглядывала старика благосклонно — густой дух травки напоминал ей собственное детство, запах родной матери. Наконец ответила:

— Может, перебрался в бунгало на побережье. Дело в том, что у Орта не все ладно, он проходит сейчас ДНД, госдиспансеризацию. И если не объявится в ближайшие дни, может хлебнуть лиха под завязку. Вы не подскажете, где находится его бунгало — или телефончик, если он там есть?

— Штоп мне лопнуть, ешли жнаю!

— А позвонить от вас можно?

— Жвоните, — пожал плечами управляющий.

Хитер, набрав номер приятеля из управления по охране парков и насаждений, попросила отыскать адреса всех тридцати четырех бунгало в Национальном заповеднике Сисло, которые были разыграны в лотерею. Аренд слонялся поблизости и, когда Хитер повесила трубку, хитро прищурившись, поинтересовался:

— Не иначе как кореша наверху, а?

— А то! — выкатив глаза и лихо присвистнув, отбрила Черная Вдова.

— Надеюсь, што откопаешь Жоржа. Этот шувак мне по нутру. Даже фармакарту швою давал ему, жапросто. — Завершив признание, старик хохотнул и тут же опасливо приумолк.

Пока Лелаш не удалилась, хипповый управляющий стоял с мрачным видом, подперев сутулым плечом обшарпанный косяк парадного — своеобразный тандем, некий симбиоз руин архитектурных и биологических, — и провожал гостью немигающим взглядом.

В центре, в бюро Герца, куда долго пришлось трястись на трамвае, Хитер арендовала паровой «форд» и сразу — с места в карьер. По шоссе 99. Она упивалась собою — Черная Вдова вышла наконец на тропу охоты. Почему бы и в самом деле ей не стать детективом и не отсиживать задницу в занюханной конторе по гражданским делам? Она ведь терпеть не может эту чертову юриспруденцию. Для подобной службы, кроме усидчивости, требуется напор и наглость, каких у нее и в помине нет. Увертливость, лукавство, застенчивость да хрупкий хитиновый покров — вот и вся ее защита и ее же оружие. Да еще злобный червячок, французская хвороба души, неумоимо гложащий изнутри.

Юркий паромобиль глотал милю за милей, и ввиду нынешнего отсутствия у Портленда предместий, заполнявших прежде все окрестности западных шоссе, город очень скоро остался далеко позади. За моровые восьмидесятые, когда в отдельных поселениях выживал один из двадцати, жизнь в предместьях заглохла окончательно. Многие мили до ближайших торговых точек, дефицит горючего, а все ранчо в округе, независимо от социального положения хозяев, дышат на ладан и разят ладаном. Ни еды тебе, ни подмоги. Стаи одичавших псов некогда популярных в Орегоне крупных пород — афганских борзых, восточноевропейских овчарок, огромных датских догов, — отошавших до невероятия, правят бал на полях, поросших лопухом да бурьяном. Пустые глазницы окон. Кому теперь дело до замены в них стекол? Уцелевшие давно рванули обратно в город, а предместья позднее выгорели дотла, как Москва после Бородина. То ли промысел Божий, то ли снова дело рук неуловимых поджигателей. Разбушевавшийся следом степной пожар, пожрав акр за акром поля и луга, лучшие в стране медоносы, добрался вскоре до угодьев Западного Кенсингтона и до имения Дубравы, безжалостно поглотив по пути знаменитый парк-аттракцион «Долина Аллей».

Солнце уже кануло за горизонт, когда Лелаш проехала мост через Туалатин, блеснувший атласом меж крутых лесистых берегов. Дорога вильнула к югу, вскоре в левое окно машины тусклым молочным оком заглянула полнеющая луна. Ее любопытствующий взгляд через плечо почему-то встревожил Хитер. Играть с ней в гляделки, как случалось в романтической юности, не тянуло. Луна больше не была для людей ни символом Недосягаемого, как многие тысячелетия прежде, ни символом Покорения — результат успехов времен не столь давних. Она стала олицетворением Утраты. Украденная монета, зловещее жерло фантастического орудия, белая прореха в черном бархате небес. На Луне теперь хозяйничали пришельцы. Первым актом агрессии — и первым же проявлением их присутствия в Солнечной системе — стала атака на лунную базу, злодейское удушение сорока землян под вдребезги разбитым куполом. В тот же день, практически одновременно с базой, погибла и советская орбитальная станция — фантастически прекрасная конструкция, изящная, как громадный парашютчик чертополоха, — парившая над Землей и служившая русским ступенью для предстоящего рывка к Марсу. Всего лишь десять лет прошло, как после отступления Мора рухнувшая было цивилизация, словно птица Феникс, начала возрождаться из пепла — промышленность, орбитальные полеты, Луна, на очереди Марс — и на тебе! Бессмысленная, беспрецедентная, ни на что не похожая дикость, воплощение слепой ненависти к людям самой Вселенной.

За дорогами здесь тоже давно уже никто не присматривал, как в былые времена, когда всем на свете заправлял его величество хайвей, — в растрескавшемся асфальте зияли жуткие выбоины. Но упрямица Хитер, почти не отрывая стрелку спидометра от красной риски — 45 миль в час, — нещадно гнала автомобиль по просторной залитой мрачным лунным светом долине реки Ямсхил. Мосты, мосты, один за другим, пять или шесть, затем мелькнули деревушки Данди и Гран-Рондо — в одной еще чуть теплится жизнь, вторая давно заброшена, в руинах, мертвая, как и Карнак за ней следом. Наконец дорога запетляла среди лесистых холмов — «Лесной коридор Ван Дазера», гласил ветхий дорожный указатель, сохранившийся еще с тех времен, когда в округе вовсю хозяйничали лесозаготовители. Не все леса в Америке, к счастью, пошли на тару, щепу и на Дика Трейси из «Санди-монинг». Кое-что уцелело. Указатель поворота направо: «Национальный заповедник Сисло». Никаких

тебе чертовых лесопилок, никаких пеньков да гнилых сучьев — нетронутый девственный бор. Гигантские тсути своими развесистыми кронами окончательно укрыли землю от зловещей лунной радиации.

Указатель, который выискивала Лелаш среди хмурого подлеска, в жидких лучах фар углядеть удалось буквально чудом. Новый поворот, с милую тряски по корням и буеракам проселка и, наконец, первое бунгало, в лунном свете матово отсвечивающее дранкой. Хитер глянула на часы — самое начало девятого.

Домики стояли вразброд, тридцать—сорок футов между соседними; заметив первый, Лелаш легко угадала по блеску крыш остальные, немалая часть за ручьем. Местность была вычищена от подлеска, при строительстве пришлось, видимо, пожертвовать и двумя-тремя вековыми соснами. Светилось лишь одно окно — понятное дело, конец марта, вторник, кто поедет? Распахнув дверцу, Лелаш поразилась звукам ручья — эдакий несмолкаемый водный грай, многоголосые рулады на фоне оглушительной тишины уснувшего леса. Вечный гимн матушке природе.

Разок-другой запнувшись в потемках, Лелаш добралась до единственной обжитой хижины и проверила припаркованную рядом тачку — от Герца, на аккумуляторах. Ничего другого она и не ожидала. Но вдруг там все же не Опп, а кто-то другой? Ну и черт с ним, не съедят же ее, в конце концов! Хитер постучала.

Полминуты спустя, тихо ругнувшись, забарабанила снова.

Оглушительное журчание ручья, более ни звука.

И вдруг дверь, скрежетнув, отворилась. На пороге стоял Опп, всклокоченный, с пересохшими губами, сонно мигая запавшими воспаленными глазами. Своим видом больного и надломленного он перепугал Хитер.

— Вы что, захворали? — ахнула она.

— Нет, э-э... как бы это сказать... Да вы проходите...

Пришлось зайти. Наметанный взгляд сразу же обнаружил кочергу при деревенской печурке — в случае чего можно оборониться. Если, разумеется, Опп не завладеет орудием первым.

Господи, ради всего святого, она ведь практически не уступает ему в весе, да и куда свежее теперь этого заморыша. Трусиха! Чего ей бояться?

— Нализались, что ли?

— Нет, я не...

— Что вы не? Что еще тут стряслось с вами такое?

— Не могу заснуть.

Крохотное бунгало восхитительно пахло печным жаром и свежеструганной сосной. Всю его обстановку составляли деревенская плита с двумя конфорками, картонная коробка, доверху набитая ольховыми сучьями, полушкаф-полу-буфет, стол, табурет и армейская раскладушка.

— Присядьте, — велела Хитер. — У вас ужасный вид. Вам обязательно нужно к врачу. Выпить хотите? У меня в машине есть немного бренди. Но лучше бы вам поехать со мной, мы можем отыскать доктора в Линкольне, неподалеку отсюда.

— Я в полном порядке. Просто глаза слипаются.

— Вы же сказали, что не можете заснуть!

Орр сфокусировал на госте мутный воспаленный взгляд:

— Не могу позволить себе. Боюсь.

— О Господи! И как давно?

— М-м-м... с воскресенья.

— Вы не засыпали с воскресенья?

— А может, с субботы, — пробормотал Орр неуверенно.

— Что-нибудь принимали? Стимуляторы, например?

Джордж помотал головой.

— Я немного спал урывками, совсем по чуть-чуть, — произнес он неожиданно бодрым голосом и тут же, как дряхлый старик, клюнул носом. Но прежде чем Хитер успела смерить его недоверчивым взглядом, очнулся и внятно выговорил: — Вы приехали сюда специально из-за меня?

— Ну а из-за чего же еще! Бог ты мой, ну не за елкой же к Рождеству меня сюда занесло! Вы вчера не явились на ленч.

— Ох! — Джордж поднял глаза, старательно фиксируя взгляд на собеседнице. — Весьма, весьма сожалею. Помоему, я вчера был не в себе.

Произнося это, он неожиданно, с поправкой на прическу и сомнамбулический взгляд, снова на мгновение стал самим собой — человеком с врожденным чувством собственного достоинства, упрятым, впрочем, столь глубоко, что поди еще угадай!

— Ладно-ладно! Проехали, — смешалась Хитер. — Мне-то что? Но вот вы, вы просачковали вчера сеанс — думаете, сойдет с рук?

Орр печально кивнул.

— Разрешите угостить вас чашечкой кофе? — любезно осведомился он.

Это уже не просто достоинство, подумала Хитер, нечто большее — чистота? цельность? нетронутость? Как у неизвестного полена благородной породы, что по случаю досталось папе Карло. Как у глыбы каррарского мрамора.

Беспредельность таящихся внутри образов, ничем не ограниченная, ярко выраженная целостность бытия, не тронутого еще резцом скульптора — доподлинная вещь в себе, черный ящик.

Таким интуитивно увидела она Орра теперь и более всего поразила в нем — сила. Ей еще не доводилось встречать личность сильнее — Орд был непоколебим, как скала, как краеугольный камень самого бытия. Вот почему он так приглянулся с первой же встречи, сообразила Хитер. Мощь манила ее, она стремилась к силе, как мотылек на свет. У Хитер был немалый сексуальный опыт, сводившийся по сути к постоянным изменам, но ни разу еще не доводилось столкнуться с подлинно сильной личностью, даже просто опереться — для всех мужиков, этих хлюпиков, опорой становилась как раз она сама. Тридцать лет ждала она встречи с кем-нибудь, способным подставить плечо и не жаждущим ответных презентов...

Вот он, здесь, этот психованный заморыш с красными глазами — ее башня Давидова, ее твердыня.

Жизнь — несуетная карусель, думала Хитер. *Никогда* не знаешь, что ждет тебя за углом.

Пока Орд занимался у плиты незатейливой готовкой, она сняла плащ и бросила его на койку. Джордж расстарался — сварганил динамит, не кофе: 97 процентов кофеина, 3 — всего остального.

— А себе?

— Уже из ушей течет, боюсь, сердце не выдержит.

Сердце Хитер тоже рвалось из груди, но по иной причине.

— Может, сходить все-таки за бренди?

Джордж поморщился.

— Глоточек не повредит — наоборот, поможет взбодриться. Так я сбегаяю?

Джордж с порога посветил ей крохотным фонариком. Голосил ручей, лес вокруг стоял онемелый, в небесах корчила злобные рожи чужая луна.

Плеснув в стакан весьма скромную порцию, Орд подозрительно принюхался, пригубил и заметно содрогнулся.

— Круто, — выдохнул он, прикончив дозу залпом.

Хитер одарила его поощрительным взглядом.

— Всегда таскаю с собой фляжку, — сообщила она. — Ровно пинта*. В машине прячу в бардачок, чтобы бобиков не дразнить, когда придется доставать из сумки лицензию. Но обычно фляжка всегда при мне. Удивительно, но разок-другой за год бренди приходится как нельзя более кстати, просто-напросто выручает.

— Так вот почему у вас с собой такая сум... сумища, — заметил Орт слегка проспиртованным голосом.

— В яблочко! Пожалуй, я тоже плесну себе малость, прямо в кофе. Чтобы разжижить немного. Уж больно он крепкий... Скажите, Джордж, как это вам удалось высидеть чуть ли не... чуть ли не семьдесят часов без сна?

— Ну, не совсем так. Я не ложился, это верно. Но можно ведь вздремнуть и сидя — пусть и не по-настоящему, без снов. Чтобы увидеть сон, надо обязательно лечь. Расслабить главные мышцы. Вычитал в книжке. Действует, и неплохо, до сих пор мне вполне удавалось дремать без сновидений. Когда совсем невмоготу — встанешь, походишь. Правда, под конец начинается нечто вроде галлюцинаций. У меня, к примеру, стали ерзать вдоль стен разные вещи.

— Вы должны немедленно прекратить это самоистязание!

— Да, знаю. Просто хотелось продержаться подольше. И подальше. От Хабера.

Пауза. Казалось, Джордж снова поплыл. Наконец раздался нервический смешок.

— Единственный выход, что приходит в голову, — сказал Орт печально, — это самоубийство. Но не хочется ведь. И пока не кажется единственно верным.

— Разумеется, это неверно! Абсурд, полный бред!

— Должен же я как-то прекратить это. Остановить себя.

Хитер не могла поддерживать подобную скользкую тему. И не хотела.

— Чудное местечко, — нашлась она. — Аромат какой! Уже лет двадцать не сидела я у растопленной печки.

— Тяга так себе, — слабо улыбнулся Джордж.

Снова он, казалось, куда-то провалился. Но, как заметила Хитер, Джордж, сидя на койке, не откидывался к стене, держался старательно прямо, как оловянный солдатик на ответственном посту. Наконец он снова захлопал своими пушистыми ресницами.

* В США 0,47 литра для жидкостей.

— Когда вы постучались, — сказал Опп, — я решил, что сплю. Вот почему сперва отвечал невпопад.

— Джордж, вы утверждали, что сотворили эту хижину во сне. Что-то слишком скромненько для сна у вас получилось. Почему бы не заказать себе в следующий раз настоящее пляжное шале на Селишане или на худой конец родовой замок где-нибудь на мысе Перпетуа?

Опп, чуток поморщившись, качнул головой:

— Все, как я хотел. — Мигнув разок-другой, добавил: — Что случилось. Что было с вами тогда. В пятницу. В кабинете Хабера. Во время сеанса.

— Так ведь я и примчалась сюда, чтобы спросить вас об этом!

Такая новость пробудила Оппа.

— Вы... Вы *запомнили*?

— Вроде того. То есть поняла, что случилось *нечто*. С тех пор меня не покидает ощущение, будто колея жизни как бы раздвоилась. Представьте себе, в воскресенье в своей квартире поцеловалась со стенкой. Взгляните! — Отмахнув челку, Хитер продемонстрировала кровоподтек на лбу, заметный даже под шоколадной кожей. — Стена *была* там, где ей никак не место... Как вы справляетесь, как только можете жить с этим? Что стоит запутаться!

— Справляюсь? — удивился Джордж. — Да ведь у меня в котелке сплошная каша. Полагаю, если этой моей беде и суждено было случиться, то навряд ли провидение предполагало терзать меня с такой частотой. Тут уж явный перебор. Я затрудняюсь решить порой, то ли действительно уже рехнулся, то ли просто запутался в противоречиях различных вариантов. Мне... Как бы это... Но вы и в самом деле мне верите?

— А что остается? Я же видела, как весь чертов Портленд провалился в тартарары! Я смотрела тогда в окно! Только не подумайте, что мне хочется верить. Наоборот, пытаюсь отмахнуться, как от наваждения. Это просто ужасно! А этот ваш доктор, он ведь не хотел, чтобы я поняла — разве не так? Попытался меня заболтать. Но ваши слова после пробуждения, да малоприятный поцелуй со стенкой, да еще дурацкая прогулка к несуществующему более офису... Затем мне представилось вдруг, что после пятницы вы снова увидели сон, и снова все вокруг переменялось, а я и не заметила, и принялась гадать, что именно, и усомнилась — осталось ли вообще вокруг хоть что-то подлинное... Жуть просто!

— Я и говорю. Скажите, а вы знаете о войне, о войне на Ближнем Востоке?

— Как не знать! Ведь там погиб мой муж.

— Ваш муж? — ужаснулся Джордж. — Когда?

— Ровно за три дня до дембеля. Или за два до Тегеранской конференции и Американо-китайского пакта. На другой же день после нападения пришельцев на нашу лунную станцию.

Джордж молчал потрясенный.

— Что с вами? О, успокойтесь, это старая рана! Уже шесть лет, скоро семь. К тому же, останься он в живых, мы бы давно разошлись. Из нашего брака ни черта не получилось. Послушайте, это вовсе не ваша вина!

— Я уж и не знаю, в чем только нет моей вины.

— Ну, в гибели Джима точно нет. Он был такой здоровенный смазливый негритос, с детства обожал всякие военные игрушки, в двадцать шесть стал капитаном ВВС, а год спустя погиб — не взваливайте все лишь на себя, такое случилось тысячи и тысячи раз задолго до вас. Точно то же с ним случилось и в другом варианте... До пятницы, то бишь когда мир был набит людьми как бочка селедкой. Без перемен. Правда, тогда это произошло в самом начале войны... а? — Она осеклась и округлила глаза. — Боже мой! Самое начало — вместо немедленного перемирия! Война все тянулась и не кончалась, гроыхала по сей день... Но ведь не было... А! Не было ведь никаких пришельцев! И в помине не было! Или все же были?

Джордж отрицательно помотал головой.

— Они *тоже* из вашего сна?

— Хабер заказал мне сон о мире. Мир, согласие, добрая воля — среди всех людей планеты. Вот я и создал пришельцев. Чтоб было с кем сражаться.

— Это не вы! Это все машина Хабера, чертов Аугментор!

— Нет — к сожалению, я прекрасно управляюсь и без машины, мисс Лелаш. Все, на что способен Аугментор, — экономить Хаберу время, погружая меня прямо в сон со сновидениями. Хотя доктор все еще над ним трудится, совершенствует, пытается улучшить. О, Хабер — великий улучшитель, это его конек.

— Пожалуйста, зови меня Хитер!

— Чудесное имя.

— А я, если можно, буду называть тебя Джорджем. Этот Хабер во время сеанса тоже называл тебя по имени и на ты, но так, точно обращался к подопытной собачке, эдакому

умному пуделю или макаке-резус. Лежать, Джордж! Апорт, Джордж, апорт! Принеси-ка мне вон тот сон! К ноге!

Орр от души рассмеялся, впервые за все время знакомства. Несмотря на все его заботы и тяготы, несмотря на нездоровый вид и страшное переутомление, смех оказался вполне мелодичным, а зубы — удивительно белыми.

— Видишь ли, он обращался не ко мне. К моему подсознанию. А оно уж точно напоминает своего рода собачонку, во всяком случае в представлении доктора. Подсознание мыслить не умеет, но его запросто можно выдрессировать, подготовить для циркового шоу.

Какие бы жестокие вещи ни говорил Орр, он произносил их без аффектации, без желчи. Неужели еще встречаются на Земле люди без скрытой в душе ненависти и злобы? — дивилась Хитер. Люди без внутреннего разлада, не идущие поперек Вселенной. Способные распознать лукавого, воспротивиться ему и сохранить белизну своих одежд?

Разумеется, есть. Были и есть. И несть им числа среди здравствующих ныне и давно ушедших. Это те, кто через милосердие и сострадание вернулся к живительным истокам, те, кто сознательно или бессознательно следует своему предназначению — жена издольщика из Алабамы и тибетский лама, и перуанский энтомолог, и безвестный биндюжник из Одессы, и лондонский лавочник-зеленщик, и нигерийский пастух, и дряхлый австралийский абориген, заостряющий о дно вади наконечник копья где-нибудь в совершенной глуши, и многие, многие другие. Никто не станет, не осмелится отрицать это. Таких людей множество, их должно быть достаточно много, иначе просто не выжить. Иначе, возможно, незачем и жить.

— А теперь, Джордж, скажи-ка мне вот что: ведь все это началось лишь после визитов к Хаберу, ну, эти самые сны?

— Эффективные сны, я бы так сказал. Нет, конечно, задолго до. Потому-то я и угодил к нему. Страшась своих снов и стремясь заглушить их, я начал злоупотреблять снотворным и нарушил закон. Просто не знал, что делать, как мне выкрутиться.

— А почему бы тебе сейчас, чтобы не мучиться и не губить здоровье, не принять чего-то в том же роде, какие-нибудь пилюли?

— В пятницу вечером прикончил последние. А новыми здесь не разживешься. Но я просто обязан выкарабкаться, соскочить с крючка. Должен избавиться от власти Хабера. Все ведь куда сложнее и серьезнее, чем ему представляется,

чем он даже в состоянии вообразить. Доктор считает, что порядок вещей можно запросто выправить. И используя меня как инструмент для этого, он даже не желает в том признаваться. Он лжет, потому что боится взглянуть фактам в лицо, боится узнать настоящую правду и не признает ничего, кроме собственных идей, кроме своих представлений о том, какой следует быть человеческой цивилизации.

— Вот оно как. Боюсь, ничем не смогу помочь тебе как юрист, — сказала Хитер, внутренне споря с собой, и отхлебнула кофе, от которого вылезла бы шерсть даже у чихуахуа. — К гипнотическим инструкциям Хабера не придраться, он просто давал наставления расслабиться, не тревожиться по поводу перенаселенности и прочего. И если только сам он не признается, что пользовался твоими снами в каких-то там своих целях, с него и взятки гладки. А при свидетелях он, пользуясь полной свободой выбора темы для твоего сна под гипнозом, проведет свой сеанс так, что ничего и не заметишь. Удивляюсь только, как это со мной умудрился он так опростоволоситься! А ты уверен, что Хабер действительно все шарит? Тогда в том, что он допустил меня на сеанс, есть какая-то нестыковка. Но в любом случае вмешаться в отношения между врачом и пациентом весьма непросто, особенно когда эскулап — важная шишка, а больной — псих, возомнивший себя чудотворцем. Не хотелось бы выступать с подобным делом перед присяжными. Неужели же нет иного способа уберечься от Хабера? Может, транквилизаторы?

— На весь период ДНД я остался без фармакарты. И лишь Хабер вправе выдавать мне временные. К тому же Аугментор заставит увидеть сон даже после лекарств...

— Черт, налицо вопиющее нарушение прав личности, а дела не завести... Послушай-ка, а что, если тебе увидеть сон, который шарахнет по самому Хаберу, изменит его к лучшему?

Орр таращился на гостью сквозь туман, навешанный недосыпом и сгущенный добрым глотком бренди.

— Сделать его благороднее, что ли, — помню, помню, ты уже толковал мне о сказочных добродетелях Хабера, об исключительной чистоте его помыслов! Но ведь он неудержим в этих своих помыслах, не считается с людьми! Обнаружил себе удобный способ управлять Вселенной, целиком избегая личной ответственности — и вперед! Давай-ка сделаем его пофлегматичнее, что ли, не таким уж живчиком.

Пусть Хабер приснится тебе *по-настоящему* хорошим человеком. Пусть лечит тебя, а не использует.

— Но я не волен в своих снах. Никто не волен.

Воодушевление Хитер как рукой сняло.

— Напрочь вылетело из головы. Видно, если уж допустить самую возможность подобного дара, подсознательно хочется сохранять над ним и контроль. Совсем позабыла, что ты не волен. Что просто *делаешь* это.

— Ни черта я не делаю, — упрямо откликнулся Джордж. — И никогда не делал. Я всего-навсего сплю. Оно все как бы само по себе.

— Слушай, — снова загорелась Хитер, — а давай-ка я тебя загипнотизирую!

Единожды допустив мысль о возможности невозможного, Хитер уже не могла остановиться. К тому же с полудня у нее не было и маковой росинки во рту, и термоядерный кофе, смешанный с таким же бренди, крепко ударил в голову.

Джордж недоверчиво хмыкнул.

— Мне приходилось, клянусь! Я целый год изучала психологию в колледже, перед юрфаком. И нам всем довелось пройти там курс гипноза. С практическими занятиями. Выяснилось, что сама я внушению поддаюсь плохо, но других погружаю в транс запросто. Давай я загипнотизирую тебя и задам сон про Хабера, доброго и безвредного, как доктор Айболит. Только про это и ничего больше. Согласен? Абсолютно безопасно! Тем более что иного выхода все равно ведь нет.

— Но я тоже невосприимчив к внушению. Как оказалось. Так объяснил Хабер.

— Так вот почему он применяет вагус-каротидную индукцию! Бр-р-р! Никогда бы не смогла, даже смотреть страшно — типичное удушение. Хотя я не медик, разумеется.

— Мой стоматолог пользовался обычной гипнозаписью, и она прекрасно действовала. По крайней мере мне так кажется, я так думаю... — Опп снова засыпал с открытыми глазами и мог бормотать так до бесконечности.

Хитер мягко перебила его:

— Сдается, что невосприимчив ты именно к гипнотизеру, а не к гипнозу... Во всяком случае можем попробовать, что нам терять? Если сработает, дам тебе задание увидеть один маленький... как бишь ты говорил? Эффективный, да-да, эффективный сон про Хабера, где он перестанет морочить тебе голову и возьмется наконец за лечение. Как думаешь, получится? Доверишься мне?

— Звучит заманчиво... — сказал Опп. — В любом случае мне... мне надо хоть немного поспать. Думаю, что еще одну бессонную ночь просто не потяну. Если ты считаешь, что справишься, то что ж...

— Справлюсь, справлюсь, не сомневайся! Слушай, а пожевать у тебя здесь ничего не найдется?

— Да, конечно, — ответил Джордж, снова проваливаясь в сон. — То есть нет... Ой, прости! Ты, кажется, сказала, что хочешь есть? Вроде что-то еще оставалось... Вон полбуханки хлеба...

Сомнамбулически прошествовав к буфету, Опп порылся на полке и выложил на стол хлеб, маргарин, пяток яиц вкрутую, банку тунца и початую упаковку латука. Хитер занялась нехитрой сервировкой: пара жестяных мисочек, три разнокалиберные вилки и источенный кухонный ножик.

— А сам-то ты хоть что-нибудь ел? — заботливо спросилась она.

Джордж не помнил. Тогда Хитер заставила его принять участие в трапезе: она — сидя на табурете, он — а-ля фуршет. Вертикальное положение маленько оживило Джорджа — выяснилось, что он тоже зверски голоден. Они все разделили по-братски поровну, включая последнее пятое яйцо.

— Как это мило, что ты приехала меня навестить, — сообщил вдруг Джордж.

— Еще бы, черт подери, а ты разве не приехал бы, окажись на моем месте? Я ведь жутко перепугалась. В одно мгновение весь мир бац — и вверх тормашками! С таким в голове запросто можно рехнуться. Знаешь, куда именно смотрела я в момент изменения, в пятницу? На больницу за рекой, в которой *родилась*. В один миг ее не стало и как бы никогда даже не было!

— Мне почему-то казалось, что ты родом с Востока, — отозвался Опп. Он снова поплыл, уже стоя, судя по реплике невпопад.

— Нет. — Хитер выскребла жестянку дочиста, облизав даже нож. — Местная уроженка. А теперь так даже дважды. Два разных роддома. Господи! Тут рожденная, там родившаяся — ну и бутерброд! Как, впрочем, и мои родители. Отец черный, мать белая. Причем довольно любопытная парочка. Он — настоящий боец, эдакий черный гладиатор, типаж, популярный в семидесятые, если помнишь, она — хиппи. Он — отпрыск состоятельной фамилии из Альбины, безотцовщина. Она — блудная дочь муниципального портлендского адвоката, с холмов. Спала с кем попало,

кололась и все прочее, что тогда только было в заводе. Познакомились на каком-то политическом шоу, возможно, на митинге — тогда они еще разрешались, всякие политические сборища. Поженились. Но отец не мог долго усидеть на одном месте, я имею в виду вообще, а не в отношении семейной жизни.

Когда мне исполнилось восемь, он подался в Африку. Полагаю, в Гану. Втемяшилось, что его призывает историческая родина, земля предков. Хотя, насколько удалось проследить, все предки отца жили в Луизиане, а фамилия «Лелаш» им досталась, по-видимому, от рабовладельца-француза. По-французски «лелаш» означает «трус». Благодаря своей мильенской фамилии я и выбрала французский для изучения в школе. — Хитер хихикнула: — Короче, папашка нас бросил. Бедняжка Ева, моя мать, переживала ужасно. Кстати, она не позволяла называть ее мамой, мамочкой, мамулей — это, мол, все буржуазные пережитки — только по имени.

А жили мы с ней в некоем подобии коммуны высоко на склоне Маунт-Худа. Господи, до чего же там было холодно зимой! К счастью, вскоре до нас добрались копы и, объявив существование коммуны делом противозаконным, а идеологию ее — антиамериканской, всех разогнали. После этого мать долго перебивалась чуть ли не подаянием, когда удавалось пристроиться где-нибудь к гончарному круту, выпекала обалденную керамику, но по большей части не брезговала прибираться в лавчонках да забегаловках. Их хозяева, сами едва сводящие концы с концами, помогали нам больше других. Порой просто спасали. К несчастью, мать так и не сумела избавиться от вредных привычек, крепко сидела на игле. И неизбежное не замедлило случиться. Уцелев в жуткие моровые годы, мать загнулась от какой-то паршивой недостерилизованной иглы. Еще до сорока.

Тут вмешалась ее чертова семейка, с которой я даже не была знакома. Меня определили в колледж, затем оплатили юрфак. И ежегодно в сочельник приглашали к обеду. Я была для них как бы рождественской сироткой, своего рода ниггером для милостыньки. Но что достает меня сильнее всего — до сих пор не могу решить, какого я цвета кожи. Видишь ли, мой отец был настоящим черномазым, то есть в его жилах могла бы течь, да и текла всякая кровь, но оставался он *черным*. Мать белая, ну а я — черт-те что и с боку бантик. Отец даже возненавидел мать за белый цвет кожи. Любил и вместе с тем ненавидел. Мне кажется теперь, что она и полюбила его именно за это. Больше чем за что-либо

другое. Не наложила ли ее страсть и на меня некий генетический отпечаток? Теперь уже не угадать.

— Как шоколадка, — любезно предположил Джордж, покачиваясь на носках возле буфета.

— Дерьмовое словцо!

— Тогда цвета земли, — поправился он.

— А сам-то из Портленда будешь? Давай, равный счет.

— Да.

— Черт, из-за ручья тебя почти не слышать! Вот не думала, что и в глуши может быть так шумно. Ну давай же, рассказывай дальше!

— Что именно? У меня теперь столько биографий на выбор, — засомневался Джордж. — И ни одной интересной... В первой я потерял родителей в самом начале мора. Во второй мора вовсе не было. Не знаю... Рассказывать особенно нечего. Что объединяет различные варианты, так это то, что во всех я выжил.

— Не так уж и мало. Ведь это главное.

— И с каждым поворотом сюжета это становится все мудренее. Сначала мор, теперь вот пришельцы... — Джордж вяло хихикнул; обернувшись, Хитер не усмотрела в его лице ничего, кроме сдержанной муки.

— Никак не могу поверить, что вся эта небесная мерзость — твоих рук дело. Просто в голове не укладывается. Трястись от страха шесть лет — и вдруг на тебе! В то же время я как будто знаю, что это именно так, что их не было в другой... колее времен, или как ты там ее обозвал. Но ведь, послушай, на самом-то деле они ненамного хуже того, что мы имели в предыдущем варианте, — всей этой гребанной давки, жуткого столпотворения и дикой нищеты. Только представь себе — я жила в кооперативе для деловых женщин в комнатухе на четверых, не приведи Господи! Ездила в битком набитой электричке, только ребра хрустели! Зубы все в дуплах, жрать нечего — весила я тогда сто один фунт! А сегодня — сто двадцать два. Даже смешно подумать, с пятницы располнела на двадцать с лишним фунтов!

— Точно, — заметил Джордж. — В первый раз, в конторе, я едва не принял тебя за моши. Кого-нибудь из корифеев римского права.

— Ты тоже выглядел не ого-го, краше в гроб кладут. Но все вокруг тогда были одна кожа да кости, так что в глаза не бросалось. Сейчас, несмотря на недосып, смотришься куда как солиднее.

Джордж от комментария воздержался.

— Если вникнуть да разобраться, любой выглядит теперь лучше прежнего. Сам посуди. Ты ведь не можешь совладать с тем, что делаешь, но оно приводит как будто не к самым плохим результатам. Так стоит ли так терзаться чувством вины? Может статься, твои сны — это просто своеобразный виток эволюции, и все тут. Горячая телефонная линия Вселенной. Предохранительный клапан на случай большой катастрофы.

— Ох, боюсь, как бы не хуже, — отозвался Джордж далеким, тусклым голосом — он снова присел на краешек койки. — Ты помнишь... — Он сглотнул комок в горле. — Помнишь апрель девяносто восьмого, четыре года тому назад?

— Апрель? Нет, ничего особенного. Апрель как апрель.

— А ведь тогда и наступил конец света, — изрек Опп. Мучительная гримаса исказила его лицо, он задыхался. — Но никто ничего не заметил.

— Что ты имеешь в виду? — опасливо переспросила Хитер. «Апрель, апрель 1998-го, — лихорадочно рылась она в памяти, — что я помню о том апреле?» Ничего не приходило в голову, но Хитер знала, что должна вспомнить, во что бы то ни стало должна, она испугалась — себя? Его? За него?

— Это вовсе не эволюция. Скорее нечто вроде домашнего консервирования... Не могу... Все, все было тогда гораздо хуже. Много хуже, чем в твоих воспоминаниях. Мир был примерно таким же гадким, как ты его помнишь — семь миллиардов и прочее, — только куда, куда мерзостнее. Никто, кроме отдельных вовремя опомнившихся стран Европы, не заботился об экологии, не контролировал рождаемость и все такое. А когда спохватились и попытались налечь на производство продуктов питания, дело зашло уже слишком далеко, начался голод, мафия прибрала к рукам черный рынок, и все до единого, чтобы попросту не подохнуть, платили. А многие, кому цены черного рынка пришлось не по зубам, и впрямь протянули ноги. В 1984-м приняли Конституцию, примерно такую, как ты помнишь, но все стало только еще хуже — демократией уже и не пытались прикрываться, ввели чуть ли не осадное положение. Это тоже не подействовало, все распадалось прямо на глазах. Когда мне стукнуло пятнадцать, закрылись школы. Великого Мора, правда, не случилось, но вспыхивали локальные эпидемии, одна за другой — гепатит, дизинтерия, даже бубонная чума. И голод, постоянное и повсеместное недоедание.

А в девяносто третьем на Ближнем Востоке разразилась война, но протекала она совсем по иному сценарию. Израиль противостоял всем арабским странам, включая Египет, а вскоре уже к участию в войне подключились и другие большие страны. Одно из африканских государств, выступавшее на стороне арабов, нанесло ядерный удар по двум городам Израиля, в ответ мы совершили акт возмездия, а потом... — Джордж помолчал и как будто не заметил бреши в своем рассказе. — Я пытался удрать из горящего города, скрыться где-нибудь в Форест-парке. Облученный радиацией, я изнемогал, еле передвигал ноги и присел перевести дух на ступеньках дома в Западных холмах. Собственно, дома уже не было, везде одни лишь руины, но цементное крыльцо уцелело, я помню даже одуванчики в его трещинах. Я сидел и не мог прийти в себя, и знал, что уже никогда не смогу. Мне казалось, что я все же собрался с силами и куда-то бреду, как в тумане, но это был именно бред, настоящий делирий. Я как будто куда-то пришел и снова увидел одуванчики, и понял тогда, что умираю. И все вокруг меня — тоже смерть. И тогда я увидел сон — этот самый сон... — Голос Джорджа охрип и пресекался, он мучительно закашлялся.

Все было в полном порядке, — продолжил он наконец. — Мне снилось, будто я дома и вокруг все в порядке. Затем я проснулся, и действительно все оказалось в полном порядке. Я лежал в собственной постели. Только это оказалась не моя кровать, не та кровать и не тот дом, что были у меня в прежней ужасающей реальности. Господи, как бы я хотел позабыть о ней! Но не мог, был не в силах. Пытался уговорить себя, убедить, что просто увидел скверный, очень скверный сон. Что *то* был всего-навсего сон! Но то не был сон. То была реальность, жуткая, но реальность. А вот это, что стало, — это сон. Этот новый мир попросту невозможен. Вот в чем правда. Вот что случилось тогда. Все мы умерли, а перед смертью успели напоследок искалечить наш мир так, что от него ничего не осталось. Ничего, кроме сна.

Хитер поверила сказанному, не могла не поверить, но в ней тут же встрепенулась задремавшая было стервозность. Черная Вдова показала жало:

— Фигня все это! Значит, всегда так было! Что ни случись, как говорится, все катит, все к лучшему. Ты что — думаешь, мог бы вытворять, что вздумается, не будь так предначертано свыше? Да кем только ты себя возомнил? Заруби на носу — ничто и никогда не происходит без ведо-

ма Провидения. И чему быть, того не миновать. Какая, к чертям собачьим, разница, назовешь ты это сном или реальностью? Все это один фиг, и не спорь со мной!

— Не знаю, не уверен... — прошептал Орт со смертельным надсадом. И жалость, неодолимая ее вспышка, бросила вдруг, притянула Хитер к нему; она обняла Джорджа и стала ласкать, баюкать — как мать дитя, как девушка утасяющего возлюбленного.

Джордж уронил голову на ее мягкое плечико, его левая ладонь с аккуратными изящными пальцами вяло примостилась на ее коленке.

— Ты засыпаешь, — подергала его Хитер. Джордж не реагировал. Пришлось тряхнуть пожестче.

— Нет, я не спю... — выдавил Орт, пытаясь выпрямить спину. — То есть не сплю... — И поник снова.

— Джордж! — Имя помогло, он разлепил ресницы, всматриваясь в Хитер, как в окно. — Не спи! Не засыпай, потерпи еще немного! Прежде мы должны успеть с гипнозом. Тогда и сможешь выспаться. — Хитер еще надеялась согласовать с Джорджем содержание сна, обсудить детали, но он пребывал уже в дали, для нее недостижимой. — Слушай, Джордж! Сядь ровно на койке, выпрямись и всмотришься в огонек лампы! Смотри на лампу, но не смей пока засыпать! — Хитер быстро передвинула керосиновый светильник на середину стола, в самый ворох яичной скорлупы и прочих обломков гастрономического кораблекрушения. — Сосредоточь взгляд на лампе и ни в коем случае не засыпай. Ты почувствуешь сейчас приятное томление и упоительную легкость, но не заснешь, пока я не скамандую «Спать!». Только по команде! Ты расслабляешься, тебе начинает становиться легко и приятно... — Ощущая некую театральную условность, Хитер разворачивала свой гипнотический спектакль. И результат сказался немедленно. Не доверяя собственным глазам, она решила в том убедиться. — Ты не в силах поднять левую руку, ты пытаешься, напрягаешься что есть мочи, но рука точно налилась свинцом... А теперь снова вдруг полегчала, и ты с ней совладал... Отлично! Через минуту ты заснешь и будешь видеть сны, обычные сны, какие видят все, ничем особым не выделяющиеся, не... не эффективные — все, кроме одного. Один сон окажется эффективным. И в нем...

Хитер осеклась. Сердце пронизал жгучий холод, на лбу выступила испарина, к горлу подкатил липкий желчный комок. Что она творит такое? Это уже не игра, не спектакль,

не детские проказы. Джордж в ее власти теперь, а его мощь не поддается даже примерной оценке. Что за неимоверный груз ответственности решила она взвалить на хрупкие свои плечи?

Тот, кто уверовал в предопределенность бытия, как она, и ни на йоту не сомневается, что существует нечто целое, часть которого он сам и любой другой, а каждая отдельная частица, в свою очередь, тоже целое — тот не станет, никогда не посмеет играть в подобные игры, не осмелится изображать из себя всемогущего Творца. Лишь отрицающий достоверность собственного бытия рискнет пойти на такое...

Но события неумолимо влекли ее за собой. Захваченная выпавшей на ее долю судьбоносной ролью, Хитер уже не могла пойти на попятный.

— В этом единственном сне ты увидишь доктора Хаберра... Он будет теперь действительно благородным, больше не станет пытаться причинить тебе вред и ничего от тебя не будет скрывать. — Хитер терялась в догадках, что бы еще сказать и *как* говорить, зная, что любое неосторожное слово может отозваться неисчислимыми бедствиями. — И пусть тебе еще приснится Луна, вновь свободная от пришельцев, — добавила она скороговоркой, уж такой-то груз ей наверняка по плечу. — Утром ты проснешься вполне отдохнувшим, свеженьким, и все будет в полном ажуре. А теперь — спать!

Ох, дьявол, она же позабыла сперва велеть Джорджу улечься!

Орр мгновенно обмяк, плечи подались вперед, затем поплыли в сторону, и он бесчувственной теплой грудой мягко осел на пол.

Джордж весил не более ста пятидесяти фунтов, но показался Хитер не легче рухнувшего слона. Забросив на койку сперва одну ногу уснувшего, она взгромоздила затем неимоверным усилием его плечи, едва не опрокинув при этом шаткое ложе. После попыталась выдернуть из-под него спальный мешок. Койка вновь едва устояла. Отчаявшись, Хитер прикрыла бесчувственное тело лишь краешком спальника и оставила Орра так, безмятежно спящим. Пот струился по лицу, она задыхалась от непривычных усилий, а Джордж спал себе как сурок.

Сев за стол и переведя дух, Хитер задумалась, чем же ей занять себя дальше. Для начала, решив прибраться, нагрела на плите воды и вымыла посуду. Затем, подбросив в печку дров, порылась на полке с книгами и брошюрками — чтивом, которым Джордж, видимо, предусмотрительно запас-

ся, чтобы веселее коротать свою беспримерную вахту. Черт, никаких детективов — бойкий кровопролитный «дефективчик» сейчас пришелся бы как нельзя более кстати. Под руку подвернулся роман о России, еще одно из последствий Пакта о защите космических рубежей, американские власти более не делали вид, что в промежутке между Иерусалимом и Филиппинами ничего не существует — как прежде, когда усматривали в этом регионе лишь угрозу американскому образу жизни. В последние несколько лет на каждом углу вы могли приобрести себе японский бумажный зонтик, набор индийских благовоний или русский роман. Как вещал с экранов этот краснобай Мердли, всемирное братство людей реально становилось новым образом жизни.

Потрепанный томик, принадлежавший перу автора с совершенно непроизносимой фамилией — что-то там на «евски» — повествовал о жизни в маленьком закавказском городке в самые страшные моровые годы. Весьма грустная история, но почему-то она взяла Хитер за живое, захватила полностью — начав читать ровно в десять, Хитер не отвлеклась до полтретьего. Все это время Джордж дышал легко и размеренно. Отрываясь изредка от перипетий жизни и смерти в кавказской деревушке, Хитер ясно видела его лицо, в дымчатом свете керосиновой лампы как бы удрученное некоей виной. Если и видел он сейчас какие-то сны, то лишь спокойные и мимолетные. Когда все в горном селении, кроме лишь одного деревенского юродивого (чье равнодушие перед лицом неизбежного живо напомнило ей Орра), отошли в мир иной, Хитер потянулась к кастрюльке с остатками остывшего кофе, но тот оказался горьким, как ложь. Тогда она поднялась и постояла немного на пороге хижины, вслушиваясь в лесное безмолвие. Пенный ручей возбужденно выкрикивал свой вечный урок славословия. Казалось неправдоподобным, что этот неумолчный гам раздавался здесь за века до ее рождения и будет звучать после ее смерти, что ручей продолжит свой гомон, пока не рухнут сами горы. Странно, но в этот поздний час в многоголосом контрапункте ручья на фоне гробового молчания леса Хитер почудились новые необычные ноты — будто где-то далеко вверх по течению нестройные рулады выводил хоро-вод резвящихся детишек.

Хитер пробрала мелкая дрожь; наглухо отрезав себя дверью от призрачных голосов нерожденных еще детей, она вернулась в тепло и покой, к своему спящему подопечному. Подобрал книгу с крышки ящика с плотничьим

инструментом, купленного Орром, видимо, тоже чтобы не сидеть сложа руки, она попыталась вернуться к кавказской жизни. Но сразу же стала клевать носом. Черт возьми, почему бы и самой не поспать? У нее-то что за вахта? Вот только где?

Надо было устроить Орра дрыхнуть на полу — он ничего бы и не заметил. Несправедливо выходит, однако, — у него и спальный мешок, и раскладушка.

Поколебавшись, Хитер рывком выдернула из-под Джорджа спальник и прислушалась — он не издал ни звука. Накрыв его взамен сразу двумя дождевиками, она юркнула в мешок. Боже, до чего твердый и холодный здесь пол! Гасить лампу она не стала. Забыла. «Почему ты не прикрутила фитиль? Ты постоянно забываешь это сделать!» — всплыли воспоминания из коммунального детства. Она всегда побивалась темноты. О дьявол, как же все-таки холодно здесь на полу, бр-р-р!

Зябко... стыло... жестко... свет. Яркий свет. Невыносимо яркий. Уже рассвет, так скоро? Солнце сквозь кроны? Зайчики над кроватью... Глухо содрогнулась земля. Глухим ропотом отозвались спящие холмы и, заворчав, увидали во сне осуществление извечной своей мечты о купании в океане, а высоко над холмами, душераздирающе-тонкий все висел, висел, висел стон... вой далеких сирен.

Хитер села. Волчий этот вой предвещал скорый и неизбежный конец света.

Восходящее солнце, брызнув сквозь единственное окно, скрыло все, что не попало под его ослепляющий взгляд. Отчаянно жмурясь, Хитер разглядела, что сновидец, уткнувшись носом в подушку, продолжает себе посапывать как ни в чем не бывало.

— Джордж, просыпайся! О, Джордж, проснись, ну, пожалуйста, Джордж! Стряслось что-то страшное!

Он проснулся. И проснулся с улыбкой.

— Джордж, что-то *не так*! Слышишь сирены? Что это, Джордж?

Еще не отряхнув до конца пелену сна, безучастно:

— Они приземлились.

Он все сделал, как хотела Хитер. Именно так. Ведь велела же она ему очистить во сне от пришельцев Луну, все так и вышло.

Ни Небу, ни Земле милосердие неведомо...

«Лао-цзы», V

Единственной частью американской территории, пострадавшей от прямых атак во второй мировой войне, оказался штат Орегон. Японские аэростаты сожгли тогда здесь львиную долю прибрежных лесов. И все тот же злополучный Орегон подвергся вторжению в ходе Первой межзвездной. Возможно, кто-то возложит вину за это на его политиков — ведь историческая миссия здешнего сенатора испокон веку заключалась в доведении остальных членов Верхней палаты до истерики упорными отказами приправить пышную оregonскую сдобу пряным военным маслом. Никто здесь сроду не видывал никаких ангаров, кроме сенных амбаров, не проваливался ни в какие ракетные шахты, не натывался, отправляясь по грибы, на базу НАСА. В результате штат и оказался удручающе уязвимым перед внезапным вторжением. И баллистические ракеты первой волны «космического зонта», назначенные защитить жителей Орегона от пришельцев, прилетели из колоссальных подземных бункеров Валла-Валла, штат Вашингтон, и Раунд-Велли, Калифорния. С аэродромов в штате Айдахо, значительная часть территории которого с некоторых пор принадлежала воздушным силам США, снялись и, терзая барабанные перепонки оглушительным воем и грохотом всем от Бойса до Сан-Велли, направились на запад гигантские сверхзвуковые-невидимки ХХТТ-9900 — засекать возможные прорывы инопланетян сквозь непроницаемые сети противоракетного «космического зонта» и противостоять им.

Ракеты первой волны, отраженные защитными полями кораблей пришельцев, закувыркались в стратосфере с выведенными из строя навигационными системами и посыпались

затем на злосчастный Орегон, повсюду сея разрушение и смерть. Настоящий огненный шторм обрушился на сухие восточные склоны Каскадного хребта. Шальные удары в мгновение ока стерли с лица земли Голд-Бич и Даллес. Портленд, к счастью, избежал прямых попаданий, но одна из боеголовок, разорвавшись на склоне Маунт-Худа возле старого кратера, пробудила дремлющего исполина. Он сразу же ответил гигантским столбом пара и глухими подземными толчками, а к полудню первого апреля — первого дня Вторжения — устроил невеселый розыгрыш: страшным выбросом камней и неистово жаркой поллюцией вулкан отверз для себя новую форточку на северо-западном склоне. Первыми жертвами на пути пылающего потока лавы оказались коммуны «Зигзаг» и «Рододендрон». Вулкан быстро сформировал новый шлаковый конус, а гигантский пепельный шлейф, без труда преодолев сорокамильное расстояние, удушливой волной накрыл Портленд. Ближе к вечеру ветер, переменив направление, чуть облегчил положение жителей города, приоткрыв их взгляду зловещие зарницы в облаках к востоку от Портленда.

Невидимые самолеты слежения в тщетных попытках обнаружить противника по-прежнему с ужасающим ревом бороздили небеса, полные дождя и пепла. На подходе уже были армады бомбардировщиков и истребителей восточных штатов и ближайших союзных государств; в неразберихе, вызванной паникой, они, сближаясь, то и дело лупили друг по другу. Земля содрогалась от близких бомбовых ударов и дальней канонады. Одно из летающих блюдц приземлилось всего в восьми милях от границ города, в итоге юго-западная окраина оказалась стерта в порошок — реактивная авиация получила приказ накрыть ковром сплошного бомбометания круг радиусом в одиннадцать миль от точки посадки. Собственно, в ходе операции вдруг выяснилось, что корабли пришельцев в установленном месте уже и нет, но маховик уничтожения успел набрать обороты, да и сверху требовали немедленных победных реляций. Как всегда при ковровом бомбометании, пострадали многие другие районы, и не только от ударных волн, не пощадивших ни единого стекла во всем городе. Уцелевшие от прямых попаданий улицы сплошь устилал слой стеклянного крошева толщиной до двух дюймов. Беженцы с юго-западных окраин брели чуть ли не по щиколотку в этом стеклян-

ном снегу, женщины, волоча визжащих детишек и рыдая взхлеб сами, оставляли за собой бесконечный кровавый след.

Уильям Хабер стоял возле огромного окна своих директорских апартаментов в Орегонском онейрологическом, разглядывая фейерверк в доках внизу и кровавые сполохи в облаках над Маунт-Худом. Стекло в его окне уцелело — ничего пока еще не падало и не разрывалось поблизости от Вашингтон-парка, — а чудовищные спазмы земной коры, на глазах доктора обрушивающие в реку целиком массивные береговые постройки, отзывались здесь, в холмах, лишь громким дребезжанием стекол в металлических рамах. Приглушенный двойными рамами, доносился трубный глас перепуганных слонов из соседнего зоопарка. Непонятные фиолетовые молнии пронизывали порой горизонт на севере, где сливались воды Вильяметты и Колумбии — сквозь витающий в вечеряющем небе пепел точнее не определить. Целые городские кварталы, обесточенные, зияли черными провалами в ранних сумерках, остальные слабо мерцали огнями, хотя включить сегодня вовремя уличное освещение было, пожалуй, некому.

Кроме директора, во всем здании института не оставалось ни души.

Весь этот тревожный и суматошный день Хабер посвятил попыткам разыскать своего строптивого подопечного, Джорджа Орра. Когда истерия и распад в городе перешагнули критическую черту, он вернулся в институт несолоно хлебавши. Большую часть пути назад Хаберу пришлось проделать пешком, и он нашел этот новый для себя опыт весьма утомительным. Человек в его положении, занятой, как он, даже самой приятной прогулке предпочтет, разумеется, электромобиль, но выбора не оставалось — напрочь сели аккумуляторы, а добраться сквозь обезумевшие толпы до станции перезарядки представлялось затеей нереальной. Пришлось бросить машину и идти против людского течения, навстречу гулу и канонаде. Обезмысленные встречные лица усугубляли утомление. Хабер вообще не выносил людных мест, давки и всего прочего, что диктуют стадные инстинкты. Но вскоре встречный поток иссяк, и Хабер вдруг оказался один в своем стремлении миновать лужайки, аллеи и дубравы Вашингтон-парка, остался в полном

и абсолютном одиночестве — и вдруг понял, что это даже хуже, чем толкаться посреди обезумевших толп.

Всю жизнь Хабер воображал себя эдаким матерым волком-одиночкой, избегал брачных уз и даже просто устойчивых связей, вообще опасался слишком сближаться с людьми. Его добровольное послушничество — проводить в интенсивной работе те часы, которые обычно посвящаются развлечениям или сну, — отлично помогало избегать примитивных матримониальных силков. Свою сексуальную жизнь доктор свел к несчастным и кратким связям с особами фривольного образа жизни, порой даже с юношами; Хабер прекрасно знал, где именно можно их повстречать, в каких барах, кинотеатрах и саунах они завсегдатаи. Хабер получал что хотел и исчезал с чистой совестью и легким сердцем прежде, чем могли бы завязаться какие-либо более серьезные отношения. Он чрезвычайно дорожил своей независимостью, свободой воли.

И вот сейчас, торопливо шагая по безлюдному и безразличному парку, чуть ли не переходя на мелкую рысь, Хабер вдруг поймал себя на жутком страхе одиночества. Он шел в институт — а куда еще ему деваться? Добравшись наконец, он нашел свое детище всеми покинутым, заброшенным.

Мисс Крауч держала у себя в столе портативный приемник, и сейчас Хабер включил его на ползвук, чтобы следить за последними сообщениями, да и попросту слышать живые человеческие голоса.

Здесь, в институте, имелось все, что только могло понадобиться: кровати (в количестве спи-не хочу) и пища (автоматы с сэндвичами и колой для ночных смен). Но, хотя доктор давно ничего не ел, голода он не чувствовал. На него вдруг накатила неодолимая апатия. Он слышал по радио голоса, но его самого услышать не мог никто. Хабер был один, и все ему казалось нереальным в этом беспредельном, невозможном одиночестве. Он нуждался в ком-нибудь, в ком угодно — хотя бы словечком перемолвиться, ощущал потребность высказать свои чувства любому встречному-поперечному, лишь бы убедиться, что у него сохранились еще эти самые чувства. Ужас одиночества едва не погнал доктора обратно к паническим толпам, но апатия возоблдала, взяла над страхами верх. Он остался у окна недвижим, и пала ночь.

Багровый бутон над Маунт-Худом то распускался, то опадал, роняя свои смертоносные лепестки. Что-то огромное, некое великанское било садануло оземь вне поля зре-

ния, где-то в юго-западных кварталах, и вскоре небеса оза-рились мертвенно-сиреневым сиянием, исходившим вроде как раз оттуда. Прихватив транзистор, доктор вышел в коридор поискать другое окно — на лестнице, ведущей из холла, оказались люди, двое, он их не слышал; бесконечно долгое мгновение доктор только изумленно на них таращился.

— Доктор Хабер? — раздался оклик.

Джордж Орт, тотчас же узнал он.

— Как вы вовремя! — с горькой ехидцей отозвался Хабер. — Где только вас черти носили весь день? Идемте же скорее!

Прихрамывая, Орт вскарабкался по ступенькам, левая щека у него набрякла и кровоточила, меж распухших разбитых губ зиял провал на месте переднего резца. Цепляющаяся за Орта женщина выглядела менее пострадавшей, но совершенно изнеможенной — глаза остекленело блестели, ноги не держали. Не без труда Орт дотащил ее до кушетки в кабинете.

— У нее что, контузия? — справился Хабер отрывистым профессиональным тоном.

— Нет. Просто денек выдался чересчур долгим.

— Со мной порядок, — слабо шевельнувшись, хрипло выдавила женщина.

Орт поспешил поукаживать за ней: стащив с ног донель-зя изгаженные туфли, заботливо прикрыл подружку кушим верблюжьим одеялом, снятым с изножья кушетки. Хабер успел еще подивиться, кем бы эта чумазая могла доводиться Орту, но тут же переключил свое внимание на иное. В нем снова проснулся профессионал.

— Оставим ее здесь, пусть отдыхает, ничего ей не делается. Займемся лучше вами, вам срочно надо умыться. Я весь день потерял на ваши поиски, где вы болтались?

— Пытался вернуться в город. Нас утораздило заехать в самую гущу бомбежки, прямо перед нашим капотом на-прочь разворотило дорогу. Но Хитер затормозила вовремя. Вроде бы так. И автомобиль практически не пострадал. Однако пришлось тащиться в объезд, по Сансет-хайвей — Девяносто девятое уже разбомбили. Затем застряли в глухой пробке возле птичьего заповедника. Машину пришлось бросить. И хромать через весь парк пешком.

— Но на кой же ляд вас вообще понесло из города? И куда? — Хабер уже наполнил горячей водой свою личную ванну и протягивал Орту влажное полотенце отереть кровь.

— На дачу ездил. Возле Береговой гряды.

— А с ногой что?

— Зашиб в машине, кажется. Скажите, доктор, а *они* еще здесь, в городе?

— Если военные и знают что-то, то не спешат сообщать. Все, что я слышал, — сплошной повтор утренних известий о приземлении, о том, что, снижаясь, большие корабли разделялись, вместо каждого возникал рой, состоящий из мелких единиц вроде наших вертолетов, затем рои рассеялись. Большей частью над западными территориями. Еще передавали, что движутся эти штуковины как будто не слишком быстро, но об успехах в воздушных боях, если они и имели место, народ известить позабыли.

— Одну мы, похоже, видели. — Лицо Орра в фиолетовых кровоподтеках вынырнуло из-под полотенца, уже без корки спекшейся крови и грязи. — Небольшой серебристый объект, футаж в тридцати над лужайкой, неподалеку от Северной пустоши. Передвигался как бы толчками. Совершенно не по-земному. А пришельцы и вправду атаковали наших? Сбивали самолеты?

— Радио не сообщает. Говорили лишь о потерях среди гражданского населения. Пойдемте, надо немедленно влить в вас чашку-другую кофе и чем-нибудь подкрепить. А затем, с Божьей помощью, проведем наш лечебный сеанс прямо посреди ада крошечного и расхлебав всю эту дерьмовую кашу, что заварилась не без вашего, кстати, участия. — Набрав в шприц пентотала натрия, Хабер без всяких предупреждений и реверансов всадил иглу Орру в вену.

— За этим я... ой! ... за этим и приехал. Но уже и не знаю...

— Не знаете, получится ли? Получится, не сомневайтесь. Следуйте за мной! — Орр на ходу поправил на женщине одеяло. — Не трогайте ее, выпится и вполне оклемается. Пошли!

Хабер привел Орра к пищевым автоматам, выдоил из них несколько сандвичей с ростбифом и томатами, яйцо, несколько яблок, четыре плитки шоколада и пару чашек кофе — одну для себя. Они устроились за столом в лаборатории сновидений номер один, опустевшей после панической, под заполошный вой сирен, утренней эвакуации пациентов.

— Порядок. Ешьте на здоровье! Теперь, если вы возомнили, что расхлебывать заварившуюся кашу ваша святая обязанность, напрочь выбросьте эту чушь из головы сию же

секунду. Моему детищу, Аугментору, сегодня предстоит потрудиться за вас. Я уже выделил искомый ритм, создал своего рода лекало ваших эффективных снов. В чем я действительно заблуждался, долгие месяцы пытаясь докопаться до сути, — так это в омега-пульсациях. Они оказались на порядок сложнее, чем представлялось. Их рисунок складывается из комбинации других, более тонких гармоник, и окончательно выделить их я сумел только позавчера, однако все же прежде, чем вокруг завертелась вся эта безумная карусель. Я вычислил главную пружину феномена. Это цикл в девяносто семь секунд. Вам это, разумеется, ни о чем не говорит, хотя именно ваш чертов мозг его и вырабатывает. Примите на веру — когда вы видите эффективный сон, весь ваш мозг втягивается в сложнейшим образом синхронизированные пульсации с периодом в девяносто семь секунд, в эдакий своего рода контрапункт всех отделов и подразделов мозга. Такой эффект соотносится с рисунком обычной сон-фазы, как fuga Бетховена с песенкой «У Мэри жил барашек, бе-е-е»! Это невероятно сложный контрапункт, но абсолютно устойчивый и воспроизводимый. И сегодня я погружу вас прямо в него, а с помощью Аугментора еще и усилю эффект.

Аппарат давно настроен, ждет вас, сегодня он, пожалуй, впервые по-настоящему пригнан к вашей голове. Сегодня вам предстоит увидеть великий сон, дитя мое! Достаточно важный, чтобы остановить все это окружающее безумие и перенести нас в иной континуум, где мы сможем начать все сызнова. Вот что делаете вы на самом деле, черт вас возьми! Вы не размениваетесь на какие-то там мелочи, вроде исправления порядка вещей, вы сдвигаете континуумы целиком, жонглируете вселенными!

— Хотелось бы как-нибудь выкроить время, чтобы побеседовать с вами обо всем этом подробнее, — сказал Ортэ или нечто вроде этого — его рот, невзирая на расквашенные губы и сломанный зуб, был набит хлебом с говядиной, а он пытался запихнуть следом еще и шоколадку. Похоже, в его словах могла таиться ирония, но Хабер был слишком занят теперь, чтобы беспокоиться по поводу подобных пустяков.

— Послушайте, Джордж, как сами вы полагаете — нашествие случилось само собой или все же в результате того, что вы не явились на очередной сеанс?

— Оно мне приснилось.

— Вы позволили себе увидеть неконтролируемый сон? — В голосе Хабера звенел неприкрытый гнев. Он был слишком мягок прежде с этим мозгляком. Чертов неслух стал виновником гибели великого множества ничего не подозревающих людей, причиной разрушения чуть не целого города! И должен понимать это.

— Не совсем так... — Опп только начал отвечать, как за окном ахнуло, и на сей раз по-настоящему. Здание подпрыгнуло, все в нем задребезжало, затрещало, стойки с электронной начинкой отвесили низкий поклон длинному ряду пустых коек, кофе брызнул из чашек. — Это что, вулкан или снова бомбят? — спокойно поинтересовался Опп.

Невольно присев от страха, Хабер заметил, что на Оппа жуткий удар должного впечатления не произвел. Его реакции показались доктору явно аномальными. Еще в пятницу этот заморыш убивался по ничтожному моральному поводу, буквально расклеился от чувства вины, а сегодня, в среду, среди настоящего армагеддона сохраняет полнейшее хладнокровие, точно напрочь лишенный инстинкта самосохранения. У здорового человека такого просто быть не может! Если уж трясется он, Хабер, должен трястись и Опп. Сопляк просто искусно маскирует свой страх. Или же он возомнил, неожиданно мелькнула мысль, что раз уж вторжение привиделось ему во сне, то и фактически оно лишь сон, игра воображения?

А вдруг это *действительно* так?

Тогда чей же это сон?

— Лучше бы нам побыстрее вернуться назад, в мой кабинет, — бросил Хабер, нетерпеливо поднимаясь из-за стола. Затянувшийся страх излился вспышкой раздражения. — Что еще за шлюшку вы приволокли с собой?

— Это мисс Лелаш, — ответил Опп рассеянно. — Адвокат. Вы не узнали? Она была здесь в пятницу.

— Как вас утормозило оказаться с ней вместе?

— Она так же, как и вы, разыскивала меня и сама приехала в заповедник.

— Ладно, сейчас не до того, разберемся позже, — резко бросил Хабер. Следовало спешить, пока еще оставался шанс выбраться из этого дерьмового агонизирующего континуума.

Едва они успели открыть дверь в кабинет, как огромное оконное двойное стекло лопнуло с оглушительным пением и ужасающим чмоканьем; обоих от порога швырнуло впе-

ред, точно к жерлу гигантского пылесоса. Все вокруг обернулось белым — все. Оба врезались в стену.

И мир постигла немота.

Когда Хабер снова оказался в состоянии что-либо видеть, он, цепляясь за стол, поднялся на ватные ноги. Орт уже успел склониться над кушеткой, успокаивая ошеломленную женщину. В комнате резко похолодало, промозглый весенний воздух мигом принес в разбитые окна запахи горящего леса, паленой изоляции, озона, серы и смерти.

— Не следует ли нам перебраться куда-нибудь в подвал, как вы считаете? — вдруг объявила дрожащая мисс Лелаш неожиданно рассудительным тоном.

— Перебирайтесь, — буркнул Хабер. — Никто вас не держит. А мы еще немного задержимся.

— Здесь?!

— Здесь Аутментор! Его ведь не засунешь под мышку, как портативный телик. Спускайтесь в подвал, мы присоединимся к вам, как только сможем.

— Вы хотите провести сеанс прямо *сейчас*? — изумилась женщина, и как бы в ответ ей кроны у самого подножия холма вздулись огромным янтарным чирьем и затянулись густой пеленой. Представлению, которое устраивал для людей вулкан, явно мешали более близкие аттракционы, и обиженный исполин дал знать о своем недовольстве легким потряхиванием окрестностей.

— Вы чертовски правы! Именно сейчас! Уходите же, живо! Убирайтесь в свой чертов подвал, мне нужна кушетка! Ложитесь, Джордж... Послушайте, вы, как вас там, внизу возле дворницкой есть дверь с надписью «Аварийный генератор». Войдете туда, отыщете рубильник! Держите руку на нем, и как только погаснет свет — врубайте! И жмите крепко, он тугой. Вперед!

Хитер ушла. Все еще дрожа, она вместе с тем чему-то странно улыбалась, а проходя мимо Орра, коснулась его руки:

— Приятных сновидений, Джордж!

— Не тревожься, — улыбнулся в ответ Джордж. — Все будет в полном порядке.

— Заткнитесь, вы, оба! — рявкнул Хабер. Он уже включил гипнозапись, но за грохотом разрывов и ревом лесного пожара сам не услышал ни слова. — Закройте глаза! — скомандовал доктор и, прижав ручищу к кадыку пациента, повернул регулятор звука на максимум. — РАССЛАБЛЯЕТЕСЬ, — произнес его собственный, чудовищно усиленный голос. —

ЧУВСТВУЕТЕ ПРИЯТНОЕ ТЕПЛО И ТОМЛЕНИЕ... ЛЕГКОСТЬ... ПОГРУЖАЕТЕСЬ... — Здание подпрыгнуло, точно резвящийся барашек, и удивленно осело на место. Из грязновато-алого слепящего блеска за оконным проемом вынырнуло нечто — огромный обтекаемый объект, передвигающийся замысловатыми рывками. И, похоже, курсом прямо на них. — Вот дерьмо, придется смываться! — перекричал Хабер свой собственный усиленный голос и обнаружил, что Орт уже в трансе. Рванув шнур магнитофона, доктор склонился над ухом пациента. — Останови вторжение! — заорал он. — Мир, мир, пусть приснится, что мы со *всеми* в мире! А сейчас — спать! Антверпен!

Времени, чтобы следить за экраном энцефалографа, уже не оставалось. Гигантское серебристое яйцо зависло прямо за окном, и его тупое рыло, подкрашенное заревом догорающего города, в упор уставилось на Хабера. Чувствуя ужасающую слабость и полную незащищенность, Хабер скорчился подле кушетки, инстинктивно пытаясь рукой, хрупкой человеческой плотью, прикрыть самое дорогое — любимый Аугментор. Оглянулся через плечо — ОНО приближалось. Маслянисто поблескивающее жуткое рыло сунулось в окно, раздался жуткий хруст и скрежет раздавленной металлической рамы, брызнула бетонная крошка; Хабер обреченно всхрипнул, но гибельный свой пост между пришельцами и Аугментором так и не оставил.

Замерев в разmozженном окне, рыло выпустило тонкое щупальце, закачавшееся в воздухе как бы в поисках жертвы. Кончик щупальца, вздыбившись коброй, потыкался в разные стороны и потянулся к Хаберу. Футак в десяти замер, как бы принохиваясь, и вдруг втянулся назад со свистом плотницкой рулетки. Инопланетный корабль оглушительно загудел и, кроша остатки проема и ошметки рамы, ввернулся вовнутрь. Плавно коснулся рылом пола. Из развершейся сбоку дыры возникло НЕЧТО.

Гигантская черепаха, отметил Хабер остатками оцепеневшего рассудка. Но затем сообразил, что облик стоящей на задних лапах гигантской морской черепахи существу придает костюм — бронированный скафандр темно-зеленого цвета.

ОНО застыло возле письменного стола. Затем медленно, очень плавно воздело левую верхнюю конечность, направляя на доктора металлическое дуло.

В глаза Хаберу заглянула костлявая.

Плоский безжизненный голос донесся вдруг откуда-то из-под локтя существа, из-под сгиба той же левой конечности:

— Да не желать сотворить другим того чего не желать сотворить тебе самому.

У Хабера екнуло сердце.

Тяжелая металлическая десница зашевелилась снова.

— Мы прибыть к вам самые мирные исключительно намерения, — поведал локоть на той же единственной механической ноте. — Пожалуйста известить остальные мы не замыслить ничего дурное. Мы не есть вооружены. Необоснованный страх вызвать среди вас великое саморазрушение и самоистребление. Пожалуйста остановить уничтожение себя и остальное. Мы не есть вооружены. Мы представлять дружественная мирная раса.

— Я не... Я не м-м-могу отдавать п-п-приказы воздушным силам... — От волнения Хабер начал заикаться.

— Индивидуальные лица в летающие суда постоянно вести переговоры, — откликнулся локтевой сгиб существа. — Есть это военные приготовления.

Порядок слов подсказал Хаберу, что к нему, возможно, обратились с вопросом.

— Нет, — ответил он, — что вы, ничего подобного...

— Пожалуйста тогда простить непреднамеренное вторжение. — Огромный бронированный силуэт мягко шевельнулся, как бы в сомнении. — Что есть это устройство? — поинтересовалось существо, указывая сгибом правого локтя на провода, ведущие от спящего Орра к приборам.

— Простой электроэнцефалограф, такой аппарат, записывает на пленку электрическую активность мозга...

— Достойный, — заметил пришелец, делая шаг к спящему и как бы приглядываясь. — Эта индивидуальная личность есть йах'хлу. Аппарат записать это возможно. Может все личности ваша раса есть йах'хлу?

— Не понимаю... мне не знаком термин, не могли бы вы объяснить?..

Скафандр зажужжал, левый локоть поднялся к голове (она в точности как у черепахи едва выступала над покатыми плечами огромного панциря), и механический голос произнес:

— Пожалуйста опять простить. Непонятливость машинатоммуникатор есть причина весьма опрометчиво настроен. Очень пожалуйста простить. Необходимость продолжать обратиться крайне быстро к иные ответственные индивидуальные личности вовлекать в паника и разрушать себя и

другое. Вас очень спасибо. — И существо снова скрылось на борту корабля.

Хабер проводил взглядом исчезающие последними в темном провале люка нижние конечности пришельца.

Нэс корабля снова приподнялся и повернулся вдоль оси, в точности повторяя все прежние манипуляции, только в обратной последовательности — у Хабера возникло отчетливое ощущение, что он смотрит фрагмент кинофильма, запущенный от конца к началу. Вновь встряхнув здание и с пронзительным скрежетом увлекая за собой останки фрамуги, инопланетный корабль ретировался и мгновенно растворился в мертвенном законном мраке.

Только теперь доктор осознал, что крещендо разрывов в городе неожиданно кончилось, заглохло. Над миром нависла мертвая тишина, если не считать легких содроганий почвы от остывающего гнева Маунт-Худа да очень далекого подвывания сирен.

Джордж Орт недвижно лежал на кушетке и прерывисто дышал, со спокойствием на его бледном лице чудовищно контрастировали кровоподтеки. Вместе с холодом ветер по-прежнему задувал в окно удушающие пепел и копоть. Ничего не изменилось. Орт ничего не сделал. Может быть, все еще впереди? Но глаза под веками подрагивали, он определенно видел сон — иначе и быть не могло в сочетании с Аугментором, подпитывающим сейчас пациента сигналами его собственного мозга. Почему же Орт не поменял континуум, почему не перенес их в безопасный мир, как велел Хабер? Похоже, гипнотическое внушение оказалось недостаточно чистым или устойчивым. Придется все повторить. Выключив Аугментор, Хабер трижды назвал имя Орта.

— Не поднимайся, не шевелись, все провода еще на тебе. О чем был сон?

Орт заговорил шепотом и медленно, постепенно приходя в себя:

— Э-э... Пришелец. Здесь был пришелец. Прямо здесь, в кабинете. Он появился из носовой части одного из этих прыгающих кораблей. В окне. И вы с ним общались.

— Но это вовсе не сон! Так оно и было! Черт возьми, придется начинать все заново. Всего несколько минут назад где-то неподалеку грохнул атомный взрыв, надо срочно сменить континуум, иначе все мы подохнем от радиации, а может, и уже...

— Ох, только, ради Бога, не сейчас! — простонал Орт и, усевшись, принялся сдирать с себя электроды, точно насо-

савшихся пиявок. — Разумеется, так оно и было, доктор, ведь эффективный сон это и есть реальность.

У Хабера отвисла челюсть.

— Похоже, ваш Аугментор действительно ускоряет наступление нужной фазы, — объявил Опп с прежним хладнокровием и на мгновение задумался. — Послушайте, док, связаться с Вашингтоном отсюда можно?

— Зачем?

— Ну, полагаю, они хотя бы выслушают знаменитого ученого, которого угораздило оказаться в самом эпицентре событий. Думаю, в Вашингтоне все сейчас с ума посходили в поисках объяснений случившемуся. Есть ли в Кабинете кто-то, кого вы хорошо знаете, кому могли бы позвонить запросто? Скажем, министр ЗОБ-контроля? Вы могли бы растолковать ему, что случившееся — чистойшей воды недоразумение, что визит инопланетян носит исключительно мирный характер и что они никого не собираются атаковать. Просто, пока не приземлились, и не подозревали, что люди целиком полагаются на *вербальные* способы обмена информацией. И уж никак не ожидали, что человечество полагает, будто находится в состоянии войны с ними... Вам бы потолковать с кем-то, у кого выход на президента. Чем раньше Вашингтон отзовет армию, тем больше народу здесь уцелеет. Практически все жертвы до сих пор из мирного населения, гражданские. Пришельцы не причиняли никому никакого вреда, не сбивали самолетов, не бомбили, они безоружны и, сдается к тому же, в своей броне просто неуязвимы для земного оружия. Но если не остановить воздушные силы, от города вскоре камня на камне не останется. Попробуйте, доктор Хабер! Вас в Белом доме должны выслушать!

Хабер чувствовал, что Опп говорит дело. Правота его не имела под собой никаких оснований, строилась на шаткой логике безумия, но это действительно был их последний и единственный шанс. Опп не говорил, а буквально вещал — с той неоспоримой убежденностью, каковая могла зародиться лишь во сне, где нет места свободе выбора: сделай, велит тебе сон, и ты слушаешься, и веришь, что так и следует поступать.

Но почему, почему такой дар достался ничтожеству, безумцу, жалкому подобию человека? Почему этот Опп так уверен в себе и ведь прав же, а он, умный, сильный, энергичный и пробивной мужик, бессилен и вынужден подчиняться тупому орудью? Досада подобного рода возникала у

Хабер далеко не впервые, но на сей раз, не успев вкусить ее горечь сполна, он уже сел за телефон. Набрав код прямой связи с офисом ЗОБ-контроля в Вашингтоне, Хабер принялся ждать, пока сигнал, пройдя через федеральный коммутатор в Юте, дальше уже напрямую соединит с министром здравоохранения, образования и благосостояния, с которым доктор издавна был накоротке.

— А почему вы, Джордж, просто не переместили нас в иной континуум, где всего этого дерьма и в помине бы не было? Ведь это куда легче. И все остались бы целы и невредимы. Почему вы просто не *устранили* пришельцев?

— Я ведь не выбираю, — ответил Опп. — Вы еще не поняли этого? Я следую.

— Разумеется, вы следуете моему заданию, это понятно, но никогда полностью, без затей, никогда — прямо и просто...

— Я имею в виду совсем другое, — начал было Опп, но на линии уже прорезался голос личного секретаря, и, пока Хабер беседовал, Опп выскользнул из кабинета — без сомнения, за своей кралей. Ну и черт с ними обоими!

В ходе беседы сперва с секретарем, затем с самим Ренто-вом к Хаберу стала возвращаться привычная бывшая уверенность, чувство, что все идет на лад, что космические чужаки действительно прирожденные пацифисты и что он вполне способен убедить в том Рентова, а через него и президента вместе со всем Генеральным штабом. И Опп тут действительно ни к чему. Хабер уже *видел*, что следует сделать, он вполне мог вытащить свою страну из дерьма и сам, без помощи слизняков.

Глава 9

Кому снятся пиры, те проснутся в стенаниях.

«Чжуан-цзы», II

Шла третья неделя апреля. Еще на прошлой Джордж договорился с Хитер о свидании в нынешний четверг, в перерыве на ленч и снова у Дейва, но, уже покидая на перерыв свой офис, понял, что снова ничего путного из этого не получится.

В памяти Орра царил такая неразбериха, такая мешанина из множества клубков различных его жизней, что припомнить что-либо отчетливо и вовремя представлялось уже совсем невероятным. И, махнув на все рукой, Орт зажил единственно текущим мгном. Словно дитя малое, обретающееся в мире сиюминутных потребностей, лишь среди «здесь и сейчас», Орт дивился всему и ничему уже не удивлялся.

Нынешний его офис располагался на третьем этаже бюро гражданского проектирования, а пост, который он здесь занимал, был куда солиднее всех прежних должностей — руководитель группы проектирования парков юго-восточного предместья в составе комиссии городского планирования. Но службу свою теперь он не любил, душа к ней отнюдь не лежала.

Во всех прежних воплощениях Орру удавалось сохранить работу, неотъемлемую от рейсшины с кульманом. Вплоть до сна в минувший понедельник, когда Хабер, затеяв настоящий государственный переворот, столь радикально перетряхнул общественную систему, что Орт против воли пополнил собой ряды муниципальной номенклатуры. Джордж никогда, ни в одном из прежних вариантов, не искал себе бюрократической синекуры, не его это стиль;

все, что он умел и любил, — это дизайн, поиск совершенных очертаний вещей и скрытой в них формы, но пока еще этот его талант ни разу не нашел себе истинного применения. А нынешняя должность, которую он занял пять лет назад, вообще уже выходила за все и всяческие рамки. И Орра это весьма тревожило.

До прошлой недели в снотворческих перевоплощениях Орра хотя бы прослеживалась преемственность, некая связность, неразрывность основных жизненных линий. Всегда Орр стоял с карандашом за кульманом, всегда жил на Корбетт-авеню. Даже в той жизни, что так печально завершилась на бетонных ступеньках догорающего дома, в мертвом городе посреди разрушенного агонизирующего мира, даже в той ужасающей реальности, прежде чем окончательно утратили свой смысл слова «работа» и «дом», преемственность соблюдалась. И после всех остальных снов, во всех жизнях, сохранялись неизменными и куда более важные вещи. Орр изменял микроклимат, но незначительно, парниковый эффект всегда сохранялся как неотъемлемое наследие середины прошлого века. Незыблемостью отличалась и география — все континенты всегда оставались на положенных местах. Это относилось и к границам государств, натуре человека и многому, многому другому. Если Хабер и пытался облагородить человеческую расу, то пока, видимо, потерпел фиаско.

Но доктор, похоже, чему-то с тех пор все-таки научился — последние два сеанса изменили мир куда радикальней, чем прежде. Орр по-прежнему проживал на Корбетт-авеню, в тех же трех комнатах, слабо припахивающих марихуаной «М. Аренса, управляющего», но стал уже чистой воды бюрократом, служа в высотном здании в самом центре города, который тоже переменялся до неузнаваемости. Выглядел он теперь столь же величественно, как в одном из прежних вариантов, в том, где человечество не извело прелестей Великого Мора, но стал при этом куда основательнее и уютнее. Претерпела кардинальные изменения и политическая система.

Как это ни удивительно, Альберт М. Мердли по-прежнему, подобно незыблемым очертаниям материков, оставался президентом Соединенных Штатов. Но зато сами Штаты утратили свою прежнюю ведущую роль в мире. Впрочем, роль эта не перешла к какой-либо другой державе.

Портленд с населением в два миллиона стал ныне вотчиной Центра мирового планирования, главного органа надна-

циональной Федерации всех людей планеты. Надпись на любой сувенирной открытке гласила: «Портленд — столица мира». Всю центральную часть города заполнили циклопические сооружения Цемирплана, каждое построено не более двенадцати лет назад и тогда же любовно окружено ухоженными парками и тенистыми аллеями. Тысячи и тысячи людей, в большинстве своем сотрудники Федплана и Цемирплана, деловито сновали по этим аллеям; стайки зевак из Улан-Батора и Сантьяго-де-Чили, задрав голову, вытаращив глаза и прислушиваясь к нацепленным на ухо автогидам, шатались по широким проспектам. Великолепие грандиозных построек, аккуратная зелень лужаек и нарядные толпы действительно впечатляли. Джорджу Орру все это представлялось как бы урбанистическим пейзажем из фантастической утопии.

Отыскать забегаловку Дейва, естественно, не удалось. Не обнаружилась даже Энкени-стрит. Опп столь отчетливо помнил ее по другим своим воплощениям, что, покуда не явился на место, где она прежде была, не соглашался принять уверений в этой огорчительной лакуне, упорно подсываемых нынешней его памятью. Это место целиком занял возносящийся к облакам архитектурный комплекс Координационного центра мирового научного поиска со всеми положенными по рангу лужайками да клумбами. На поиски Пендлетон-билдинг Опп и вовсе махнул рукой — на Моррисон-стрит, обратившейся ныне в пешеходную зону, посаженную вплоть до центра города цитрусовыми деревьями, просто не могло находиться здание, оформленное в стиле неонка. И никогда прежде не находилось.

Джордж даже не мог припомнить точное название фирмы, где служила Хитер: то ли «Форман, Изербек и Ратти», то ли «Форман, Изербек, Гудхью и Ратти». Наткнувшись на телефонную будку, без особой надежды полистал справочник. Ничего похожего, самое близкое: «П. Изербек, присяжный поверенный». Опп позвонил и убедился, что ни о какой мисс Лелаш там не знают. Собравшись с духом, искал на букву «Л». Ни единой Лелаш в книге не значилось.

Может быть, Хитер живет под другим именем? Может, ее мать после бегства супруга в Африку вернула себе девичью фамилию? Или же сама Хитер во вдовстве могла сохранить фамилию мужа. Но Опп не знал этих фамилий, это тоже заводило в тупик. К тому же вряд ли Хитер, выйдя замуж, стала бы менять фамилию — с некоторых пор, в знак протеста против многовекового женского порабощения,

это вышло из моды. Но что пользы теряться в догадках? Может статься, Хитер и вовсе нет, не существует, не рождалась такая вообще — в этом времени.

Похолодев от новой мысли, Орт тут же осознал и другую горькую возможность. «Что, если Хитер проходит сейчас мимо, — думал он, — ищет меня, с ног сбилась — а я в упор ее не замечаю?»

Хитер ведь была темной. По-настоящему темной, как кусок балтийского янтаря, как стакан цейлонского чая. Но мимо не шли люди с темным цветом кожи. Не было больше ни черных, ни белых, ни желтых, ни красных. Прохожие — сотрудники Цемирплана или просто туристы, понаехавшие сюда со всех концов света, от Таиланда до Лихтенштейна, все одинаково пестро одетые, — под одеждой были все как один лишь одного оттенка кожи. Серого. Грязновато-молочного.

Когда случилась эта перемена — на сеансе в минувшую субботу, после почти недельного перерыва, — доктор Хабер был буквально не в себе, на седьмом небе от радости. Минут пять, невнятно кудахча и обмирая от восторга, разглядывал он себя в зеркале ванной; на Орра же глядел с умилением на грани обожания.

— Ну, угодили мне, Джордж! Главное, на сей раз быстро, без обычных проволочек. Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, похоже, ваш мозг перестал упираться! А знаете, что я внушал вам увидеть во сне, а?

Теперь Хабер стал куда откровеннее с Орром, честно делился с пациентом всеми своими чаяниями и опасениями. Но навряд ли дела от этого пошли на лад.

Джордж перевел взгляд на свои бледно-серые пальцы с коротко стриженными серыми ногтями.

— Наверное, чтобы проблем с цветом кожи больше не было, — вяло откликнулся он. — Решение расового вопроса.

— Угадали! Но я, естественно, предполагал лишь политическое и этическое решения такой серьезной проблемы. А ваши первичные мыслительные процессы снова совершили неожиданный выверт. Обычно такое оборачивалось своего рода лавированием, увертками, отклонением в сторону, но сейчас вы, Джордж, превзошли самого себя, заглянули в самый что ни на есть корень. Изменить человека биологически! Человечество никогда не сталкивалось с расовой проблемой! Не было такой проблемы — и баста! Мы с вами, Джордж, единственные на Земле знаем, что на самом-то деле это не так! Вы способны прочувствовать это?

Никаких каст в Индии, никаких линчеваний в Алабаме, никакой резни в Йоханнесбурге! С войнами мы покончили, а расовых проблем не было и вовсе! Никто во всей истории человеческой цивилизации не пострадал из-за цвета своей кожи! Вы прогрессируете, Джордж! Вопреки своей воле можете угодить в список величайших благодетелей рода людского. Сколько времени и сил отдали люди попыткам отыскать религиозное решение проблемы человеческого страдания, а тут приходите вы, и все будды с иисусами выглядят отныне жалкими балаганными факирами, каковыми, впрочем, и являются. Они ведь просто старались оградить нас от зла — мы же с вами, Джордж, искореним его подчистую, ломтик за ломтиком, часть за частью!

Триумфальные песнопения Хабера действовали на Орра удручающе, и, перестав в них вслушиваться, он погрузился в себя. Покопавшись в памяти, Джордж обнаружил, что в ней нет более места битве при Геттисберге и никто в мире не знает теперь человека по имени Мартин Лютер Кинг. Но подобные пустяки показались тогда Орру столь ничтожной платой за полное искоренение всех расовых предрассудков из человеческой истории, что он счел за благо промолчать.

Теперь же мысль, что он никогда не встречал женщину с янтарной кожей и курчавыми черными волосами, мальчишковой стрижкой, подчеркивающей лепные формы изящного черепа, мало сказать не радовала. Это неправильно, невозможно. Миллиарды людей на планете, и все серые, точно эскадренные миноносцы на параде — нет, такое просто невыносимо!

Вот почему ему не удастся отыскать Хитер здесь, в этом жутковато однообразном мире. Она не могла родиться серой. Цвет кожи, напоминающий о янтаре и чае — существенная ее часть, и не случайно. Стервозность и робость, дерзость и нежность — все это слагаемые ее бытия, противоречивой ее натуры, темной и прозрачной одновременно, как драгоценный балтийский янтарь. Хитер не могла существовать в мире серых людей. Она здесь попросту не рождалась.

А сам он — он-то ведь появился на свет. Он, Джордж Орт, мог родиться в любом, даже самом говенном из миров. Нет в нем стержня, нет в его характере твердости. Ком вязкой глины он, медуза дрожащая.

А доктор Хабер — вот уж тот уродился, разумеется! Такого, как он, ничто не остановит. Все только здорoveет и

здоровеет, становясь еще нахрапистей с каждой очередной реинкарнацией.

Тогда, в день памятной поездки из заповедника в гибнущий под ударами авиации Портленд, когда они вдвоем тряслись в дребезжащем паровике Герца по разбитым проселкам, Хитер успела рассказать, что пыталась внушить ему сон, в котором, как они и договорились, Хабер станет лучше, честнее. С тех самых пор доктор искренне делился с пациентом подробностями всех своих манипуляций. Хотя искренность здесь, пожалуй, не вполне уместное слово — столь сложно организованной личности, как Хабер, вряд ли ведомы полная прямота и бесхитрость. Ложь за ложью могли слоями сползать с него, как оболочки с луковицы, но и под ними не открылось бы что-то еще, кроме все той же луковой горечи.

Этот отказ от наружной оболочки двоемыслия оказался в докторе единственной переменной, да и та могла быть во все не результатом эффективного сна, а лишь следствием изменившихся обстоятельств. Хабер теперь настолько был уверен в себе, что просто не видел нужды скрывать что-либо от Орра или морочить ему голову. Он просто использовал, насиловал своего пациента — грубо и неприкрыто. Шансов отделаться от Хабера в этом варианте действительности у Орра стало даже меньше, чем прежде. Место добровольной наркологической диспансеризации заступил здесь КЛБ, колибла, контроль личного благополучия, зубки которого оказались даже острее прежнего, и за дело «пациент против доктора Уильяма Хабера» не рискнул бы теперь взяться ни один адвокат в мире. Хабер был в нем важной персоной, важнее некуда — директор Центра исследования вариантов эволюции человека, знаменитого ЦИВЭЧ, одного из главных подразделений Цемирплана, где принимались самые судьбоносные решения. Доктор всегда мечтал о настоящей, масштабной возможности творить добро. Сейчас он обладал ею как никто иной.

При всем при том нынешний Хабер оставался верен себе — тому деликатному, улыбчивому и общительному Хаберу, с каким Орт впервые столкнулся в жалком офисе восточного Вильяметта, под фреской с Маунт-Худом. Хабер не менялся, он просто рос.

Ведь именно достижение, жажда новых горизонтов власти, новых вершин могущества и есть для него рост. Достигнутый же результат зачеркивает самый процесс. Поэтому, чтобы существовать, жажда силы и энергии в нем долж-

на возрастать с каждым новым этапом, каждым следующим переосуществлением, делая то просто очередной ступенью, новым витком бесконечной спирали. И чем больше в нем будет этой силы, тем неумнее разрастутся его аппетиты. А с помощью сновидений Орра для Хабера нет никаких пределов, нет границ его неодолимой жажде совершенствовать человечество.

Проходящий мимо пришелец ненароком задел Орра в толпе и тут же, слегка приподняв левый локоть, почтительно извинился. Сметливые инопланетяне быстро научились говорить, не направляя коммуникатор на людей, — некоторых землян это до сих пор изрядно обескураживало. Тем не менее Орт остолбенел, как турист из какого-нибудь Занзибара: со времени минувшего невеселого Дня смеха он успел напрочь позабыть о пришельцах.

Но тут же припомнил, что в действующем срезе реальности — или континууме, на этом термине настаивал Хаббер — приземление инопланетян вызвало куда меньше хлопот и бедствий для Орегона, НАСА и военно-воздушных сил. Вместо опрометчивых попыток пустить в ход коммуникаторы под градом бомб и дождем напалма на сей раз пришельцы приземлились далеко не вдруг. Захватив с Луны свой главный аналитический киберкомп, они долго кружили по земной орбите, сообщая землянам о своих мирных намерениях, многословно извиняясь за конфликт в космосе и запрашивая посадочные инструкции. Тревога все же была объявлена, но, к счастью, на сей раз обошлось без паники. Достаточно было лишь тронуть приемник, чтобы услышать эти механические голоса — они заняли все диапазоны, заглушили все земные телеканалы, повторяя вновь и вновь, что гибель лунного купола и русской орбитальной станции не более чем трагическое недоразумение, результат их собственного вопиющего невежества и фатальной неосторожности при попытке наладить контакт и что точно так же трактуют факт запуска с Земли ядерных ракет, что чрезвычайно сожалеют о случившемся и надеются, установив дружественные отношения, попытаться загладить вину перед человечеством или хотя бы возместить причиненный материальный ущерб.

Цемирплан, основанный в Портленде на исходе моровой эпохи, приняв руководство событиями на себя, сумел умиротворить население и остудить горячие пентагоновские головы. Все это случилось, как только теперь сообразил Орт, вовсе не две недели назад в День смеха, а в феврале

прошлого года — целых четырнадцать месяцев назад. Инопланетянам разрешили посадку; после длительных переговоров позволили выйти и за пределы тщательно охраняемой зоны приземления — в орегонской пустыне неподалеку от Стеновых гор — и передвигаться свободно. Они быстро освоились среди людей. Несколько инопланетян принимали теперь участие в восстановлении силами Федплана лунной базы, около двух тысяч остались на Земле. Этим числом будто бы и исчерпывалось общее их количество во Вселенной, а может, лишь состав экспедиции — очень немногие из подробностей такого рода доводились до сведения широкой общественности.

Уроженцы закутанной в метановую оболочку планеты, спутника далекой звезды Альдебаран, они и на Земле, и на Луне постоянно носили свои черепахообразные панцири, ничуть этим не тяготясь. Никто не знал в точности, как выглядят они без своих оболочек, а самим инопланетянам и на ум не приходило сделать по этому поводу какие-то разъяснения, хотя бы в виде рисунков. И вообще информационный обмен с ними, ограниченный косноязычными портативными коммуникаторами, выходил весьма однобоким — земляне до сих пор ведают не ведали, как те устроены биологически, могут ли, например, видеть, то есть обладают ли органом зрения в привычном понимании — действующим в диапазоне видимого спектра. В общении с ними оставались зияющие лакуны, где взаимопонимание вовсе не складывалось — как с дельфинами, только на порядок сложнее. Однако миролюбие пришельцев было признано и официально провозглашено с высокой трибуны Цемирплана, а скромное их число позволило земному социуму принять гостей почти без недоразумений и неловкостей. Оказалось, что даже приятно остановить взгляд на ком-нибудь, отличным от однообразно серых соотечественников-землян.

Инопланетяне выразили намерение остаться, если будет дозволено; некоторые из них, проявив прыть, уже занялись мелким предпринимательством, и небезуспешно — пришельцы выказали врожденную деловую сметку и явное тяготение к мелочной торговле. Не меньшее, пожалуй, чем к межзвездным перелетам, подробными сведениями о которых они не преминули поделиться с земными учеными. Однако от инопланетян зачастую не удавалось добиться ответа даже на самый простой вопрос — например, чем сможет человечество рассчитаться с ними за помощь и бесценный вклад в земную науку. И на совсем уж элементарный —

зачем они вообще прилетели? Казалось, им здесь просто очень нравится. А уж вели себя пришельцы столь смиренно и лояльно, оказались такими трудолюбивыми и благонамеренными, что слухи о «внеземной пятой колонне» и «вражеской инфильтрации» остались уделом лишь самых бесноватых политиков, представляющих осколки национал-радикалистских группировок, да тех еще чудаков, которым довелось пообщаться с истинными инопланетянами из *подлинных* летающих тарелок.

Похоже, единственным признаком, роднившим настоящее с тем сумасшедшим первоапрельским денечком, оставался дым, постоянно курившийся теперь над пробудившимся Маунт-Худом. Но это отнюдь не результат шальной бомбардировки, ведь в этой реальности никто никаких бомб на Орегон не сбрасывал. Просто очнулся от векового сна сам по себе, случаются же такие совпадения. Мохнатый серо-багровый плюмаж тянулся от вершины вулкана далеко на север, а беззаботные общины «Зигзаг» и «Рододендрон» постигла печальная судьба Помпеи и Геркуланума. И когда уже совсем недавно по-соседству с крохотным древним кратером на территории парка Маунт-Табор вдруг вырвался мощный газовый гейзер, жителей одноименного поселения как ветром сдуло — они эвакуировались в самом спешном порядке в ближайшие развивающиеся предместья Вест-Истмонт, Имение Каштановые Холмы и Участки на Солнечных Склонах. Жить с видом на дымящийся на горизонте вулкан еще куда ни шло, с этим они как-то свыклись, но когда прямо под ногами разверзается преисподняя и оттуда бьют раскаленные фонтаны — это уж чересчур.

В переполненной забегаловке Опп взял порцию жареной рыбы с чипсами под африканским арахисовым соусом и, механически пережевывая безвкусный ленч, грустно констатировал, что сегодня Хитер удалось сравнять счет, по квитаться за срыв прошлой встречи у Дейва.

Он не в силах был постичь свою беду до конца, признать утрату, воспринимая ее как бы сквозь флер своих снов. Можно ли потерять любовь, которая никогда и не рождалась? Разглядывая соседей по стойке, Джордж пытался обнаружить вкус хотя бы в еде, но напрасно — вкуса в еде не было и людей вокруг не было тоже, одни лишь бледно-серые маски.

Поток прохожих за стеклянными дверями забегаловки вдруг стал гуще — народ спешил по набережной во дворец спорта, настоящий портлендский колизей, на ежедневное

послеполуденное представление. Теперь люди куда меньше времени проводили дома у телевизоров — Федплан ограничил работу всех телеканалов двумя часами в сутки, и новым стилем жизни общества стала соборность, людей объединил дух коллективизма. Сегодня четверг, значит, рукопашные схватки — самый захватывающий вид зрелища после ежесубботного футбола. В схватках прольется немало кровишки, но им все же не сравниться по драматизму с футбольным побоищем, когда опилки арены орошают алым сразу сто сорок четыре атлета. Искусство отдельных бойцов тоже порой достойно всяческого восхищения, однако впечатлениям от схваток никогда не превзойти подлинный катарсис массового взаимоистребления в ходе футбольного сражения.

«Наплевать, воевать», — сказал вдруг себе Джордж, подбирая на тарелке последние ломтики размякшего картофеля. «Наплевать, наплевать... та-та-та-та воевать», — повторил он, выходя в толпу. Вроде бы какая-то песня. Что-то очень древнее. Забытая старая песня. «Наплевать, наплевать...» Как же там дальше? Не ходите воевать? Как будто подходит. А дальше как? Вылетело начисто...

В глубокой задумчивости Орр наткнулся на спину вдруг остановившегося прохожего. Впереди что-то стряслось — Орр прислушался. Ничего необычного, заурядный гражданский арест. Верзила с мятым серым лицом, ухватив за грудки, не отпускал тунику невзрачного пухлого коротышки. Толпа в основном обтекала парочку, некоторые останавливались поглазеть, но большинство спешили в коллизей занять место поближе к арене.

— Это гражданский арест, прошу не проходить мимо! — сверлящим фальцетом возопил долговязый. — Этот человек, Харви Т. Гонно, неизлечимо болен — злокачественная опухоль брюшной полости, но скрывает свое местопребывание от властей и продолжает сожительство с женой, подвергая ее риску забеременеть. Мое имя Эрнест Ринго Марин, личный номер 2624287, Южный проезд Вест-Ист-вуда, Участки на Солнечных Склонах, Большой Портленд. Мне срочно нужны десять свидетелей!

Один из доброхотов уже помогал удерживать слабо отбивающегося уголовника, Эрнест Р. Марин тем временем пересчитывал очевидцев по головам. Орру, мигом нырнувшему в толпу, удалось избежать участия в малоприятной процедуре эйтаназии, которую при помощи личного иньекторного оружия мог провести любой, дослужившийся до

вручения ему «сертификата личной гражданской ответственности». Орд и сам носил подобный пистолет не снимая — так требовал закон, — правда, сейчас разряженный. Как пациента, проходящего психотерапевтические процедуры по линии колибла, его временно лишили права проводить эйтаназию самостоятельно, но пистолет оставили, дабы временное поражение в правах не бросалось в глаза окружающим и Орд не подвергался этим дополнительному незаслуженному унижению. Легкое помрачение рассудка, от которого он теперь лечится, как популярно разъяснили ему эскулапы, никак нельзя смешивать с уголовщиной вроде инфекционных или генетических заболеваний. Поэтому он не должен чувствовать себя ущербным и представляющим опасность для Рода или для граждан второго класса, а пистолет его доктор Хабер перезарядит, как только сочтет лечение благополучно завершенным.

Опухоли, опухоли... Разве не было Великого Мора, истребившего всех, предрасположенных к раку, включая новорожденных, и выработавшего иммунитет у уцелевших? Был, но, похоже, в каком-то другом сновидении. Не в этом. В этом рак прорывался снова, подобно гейзерам на Маунт-Таборе или Маунт-Худе.

Надоело. Вот оно, это позабытое слово. «Наплевать, наплевать, надоело воевать...»

Дошагав до линии фуникулера на углу Четвертого июля и Элдер, Орд взмыл над зеленью и серостью города к башне ЦИВЭЧ, венчающей Западные холмы вместо старого дворца Питток, украшавшего Вашингтон-парк прежде.

Комплекс ЦИВЭЧ, доминирующий над городом, просматривался отовсюду — из центра, от реки, из туманных долин к западу, с далеких лесистых холмов северного Форест-парка. Надпись над внушительным дорическим портиком, строгий антаблемент которого мог облагородить даже самое бессмысленное изречение, гласила: «РАДИ ВСЕОБЩЕГО БЛАГА».

Огромное отделанное черным мрамором фойе, точная копия римского Пантеона, встречало еще одной сентенцией, бегущей золотыми литерами по фризу главного купола: «ЕДИНСТВЕННАЯ НАУКА, ДОСТОЙНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, — САМ ЧЕЛОВЕК. А. ПОУП (1688—1744)».

Орд слышал, что здание превосходит габаритами Британский музей, как в основании, так и по высоте. Ввиду близости действующего вулкана возводилось оно с солидным

запасом сейсмостойкости. Против бомб, впрочем, вряд ли ему устоять, но ведь бомбить в этом мире некому, да и незачем. Собственно, и бомб-то на Земле уже не оставалось. После приснопамятных битв в *прилунном* пространстве остатки ядерных арсеналов перебазировали к поясу астероидов и взорвали в серии любопытных астрофизических экспериментов. Так что зданию не угрожало ничто, и ему суждено простоять здесь века, пока на Земле вообще останется хоть что-нибудь. Впрочем, если Маунт-Худ не возьмется за дело всерьез. Или Ору не привидится дурной сон.

Ступив на бегущую дорожку, Джордж оказался в западном крыле, где перебрался на спиральный эскалатор и вскоре уже вознесся на самый верх.

Доктор Хабер сохранил у себя в офисе кушетку — своего рода напоминание самому себе о временах, когда он имел дело лишь с отдельными пациентами и не вершил судьбами миллионов, эдакая показуха, смирение паче гордыни. Но чтобы добраться теперь до этой самой кушетки, шагать приходилось достаточно долго — апартаменты доктора о семи комнатах занимали минимум пол-акра*. Подойдя к киберсекретарю в дверях приемной, Орд назвал ее, затем поприветствовал неизменную мисс Крауч, подкармливающую в следующей комнате свой компьютер свеженькими данными, миновал помещение для официальных приемов — настоящий тронный зал без трона, где директор чествовал послов иностранных держав и нобелевских лауреатов, — и добрался наконец до скромного кабинета с кушеткой и окном во всю стену. Скромного по размерам, не по антуражу — противоположная стена кабинета, забранная подвижными панелями из уникальных древесных пород, скрывала современнейшую и не менее уникальную исследовательскую аппаратуру. Сейчас, впрочем, не скрывала, Хабер наполовину погрузился в чрево Аугментора, своего излюбленного детища.

— Хелло, Джордж, — приветливо прогудел доктор, не оглядываясь. — Одну секунду. Вот только вставлю нашему беби в ротик новую пустышку, и все... Думаю, сегодня мы сможем обойтись без гипноза. Присаживайтесь, я сейчас, осталось разок-другой тронуть паяльником... А пока слушайте. Вы не запамятовали еще всю ту пачку тестов, что заполняли, когда впервые явились в медхран? Личностные

* Акр — единица площади, примерно 0,4047 га,

наклонности, «ай-кью», Роршах и так далее, и тому подобное. Затем я подбросил вам «Раскрути торнадо» и несколько искусно смоделированных конфликтных ситуаций, где-то в районе третьего сеанса. Припоминаете? Еще сомневались, как со всем этим управитесь. — Серое, обрамленное со всех сторон черными курчавыми волосами лицо доктора вынырнуло на миг из-под полуоткинутого кожуха, глаза тускло блеснули в свете окна.

— Как будто да, — ответил Опп, хотя на самом деле давно выкинул все это из головы.

— Пришла пора вам узнать, что в рамках применимости стандартных тестов — а я, невзирая на повсеместную распространенность и доступность, считаю их чрезвычайно тонким и весьма, подчеркиваю, весьма точным инструментом психоанализа, — так вот, пора вам знать, что согласно всем этим тестам вы здоровы до неприличия, просто аномально нормальны. Естественно, я пользуюсь словами «здоровы» и «нормальны», которые лишены объективного смысла, с некоторой натяжкой. Если же перейти к терминам количественным, то вы, Джордж — воплощенная медиана, серединка на половинку. По шкале «экстравертность-интровертность», например, у вас 49,1. То есть всего девять десятых балла в сторону интровертности. Само по себе это бы еще куда ни шло, но ведь точно та же картина и со всеми прочими параметрами. А это уже явный перебор.

Если все ваши результаты совместить в один, мысленно перевести на один график, общая точка угодит аккурат в полтинник. К примеру, результат теста на лидерские качества, точно не помню, но готов биться об заклад, где-то возле сорока восьми и восьми десятых. Ни пастырь, ни овца. «Зависимость-независимость» — то же самое. Созидательно-разрушительные тенденции по шкале Рамиреса — тот же результат. Ни то ни се, короче говоря. Там, где анализ идет по паре полярных признаков, вы в точности между, где по одной координате — в самой что ни на есть средней точке. Решительно все результаты тестов вы, грубо говоря, сводите на нет, так что и измерять, собственно, нечего.

Доктор Вальтерс из медхрана, трактующий ваши результаты несколько иначе, чем я, считает, что дефицит показателей по социальным шкалам можно объяснить вашей феноменальной социоадаптивностью, а то, что я скорее назвал бы самопогашением, именует специальной точкой баланса, или точкой внутренней гармонизации. Но, как вы сами, пожалуй, заметили, старина Вальтерс — фанатичный

фрейдист, так и не вырос из коротких штанишек мистицизма семидесятых, но мыслит, правда, порой весьма толково... Так или иначе, вы то, что вы есть — человек из абсолютной серединки... Ага, сейчас уже перейдем к делу, осталось всего ничего — приспособить одну маленькую куздру к другой бокре побольше, и можно начинать... А, черт! — Подпрыгнув, Хабер стукнулся головой о крышку Аугментора и, оставив кожух нараспашку, отодвинулся от аппарата. — Вы эксцентричная личность, Джордж, и самое в вас эксцентрическое, что вы буквально центр во плоти. — Вновь нырнув за кожух, он грохнул над собственной шуткой. — Поэтому сегодня мы сменим тактику. Не будет никакого гипноза и никаких снов. Вам предстоит пообщаться с Аугментором в бодрствующем состоянии.

У Орра отчего-то защемило сердце.

— Зачем? — поинтересовался он.

— В принципе, чтобы получить запись нормальных дневных ритмов вашего мозга в процессе аугментирования. Мы уже проделывали нечто подобное на одном из самых первых наших сеансов, но возможности Аугментора тогда были куда как скромнее, а сегодня с его помощью я надеюсь получить более определенные характеристики отдельных участков вашего мозга. В особенности интересует меня неумовимо-кумулятивный эффект гиппокампа. Затем я сравню результаты с узорами сон-фазы, вашей и других испытуемых, из контрольной группы. Я хочу разобраться, Джордж, что там у вас внутри тикает, где пружинка, заставляющая ваши сны *действовать*.

— Зачем? — настырно повторил Опп.

— Зачем? — удивился Хабер. — Затем же, для чего вы здесь, собственно, и оказались.

— Меня прислали сюда, чтобы вылечить. Научить спать нормально.

— Ну, если бы это было так же просто, как дважды два, вас ведь не направили бы ко мне в ЦИВЭЧ, не так ли?

Опп спрятал лицо в ладони и промолчал.

— Я ведь не смогу помочь вам, Джордж, пока сам не разберусь, что к чему.

— А когда разберетесь, *поможете*?

Прищелкнув каблуками, Хабер выпрямился.

— Почему вы так боитесь самого себя, Джордж?

— Не себя, — ответил Опп. Ладони у него покрылись испариной. — Я боюсь... — Он не осмеливался выдать вертевшееся на языке местоимение.

— Изменя-ять поря-ядок веще-ей, — подсобил Хабер, на учительский манер растягивая ударные гласные. — Да, знаю, мы с вами уже проходили это. И не раз. Но *почему*, Джордж? Почему? Спросите-ка сами себя! Что такого страшного в изменении порядка вещей? Уж не ваше ли самопогашение, не ваша ли *концентричность* заставляют вас относиться к делу с подобной опаской, желал бы я знать. Я же, наоборот, стремлюсь извлечь вас из собственной раковины и дать возможность взглянуть на себя со стороны, беспристрастно. Тогда вы убедитесь, что это всего лишь страх *потерять равновесие*. Но метаморфозам вовсе нет нужды выводить вас из равновесия, жизнь изменчива сама по себе, она ведь не статичный объект. Процесс! Ничего застывшего. Рассудком вы понимаете это, а на уровне эмоций принять отказываетесь. Ничто не остается без перемен от мгновения к мгновению, все течет, и нельзя войти в одну реку дважды. Жизнь, эволюция, Вселенная с ее пространственно-временными континуумами, материя плюс энергия, само Бытие — все постоянно обновляется.

— Это лишь один аспект, — возразил Опп. — Другой же — неизменность.

— Если вещи перестанут меняться, наступит победа энтропии, тепловая смерть Вселенной. Чем больше движения, пересечений, столкновений, трансформаций, чем меньше статики — тем больше жизни. Я обеими руками за жизнь, Джордж. Жизнь — это гигантская рулетка, рискованная азартная игра, игра против Хаоса, против любой энтропии. Вы просто не можете обезопасить себя от этой игры, не существует такого понятия, как безопасность от жизни. Высуньте же голову из-под панциря, Джордж, живите *полной*, настоящей жизнью! Не знаю, как и когда, но вы неизбежно и сами пришли бы к тем же выводам. Пуще всего сейчас вы боитесь осознать, боитесь признать и принять, что мы вместе с вами, Джордж, вы и я, вовлечены в грандиозный, космический эксперимент. Что мы буквально на грани открытия и подчинения — ради блага всего человечества — неведомой новой энергии, совершенно новой области борьбы с безжалостной энтропией, подлинной жизненной силы, могучей воли действовать, вершить, творить!

— Все это так, доктор. Однако есть еще и...

— Что есть еще, Джордж? — Голос доктора снова исполнился бесконечного отеческого участия и терпения. Чтобы

продолжать, Орру пришлось совершить над собой усилие — он понял уже, что разговоры ни к чему не приведут.

— Мы же находимся в мире, доктор, а не где-то еще, через дорогу напротив. И не выйдет отстраниться от него, чтобы управлять откуда-то извне. Ни черта не получится, это идет вразрез с самой жизнью. Существует *Путь*, и ему приходится следовать. Существует мир, и он не зависит от наших о нем представлений. И вы обязаны быть в нем. И вы обязаны позволить быть также и ему.

Хабер зашагал по комнате кругами, приостанавливаясь всякий раз подле обрамленного оконной фрамугой пейзажа с видом на конус Святой Елены, необезображенный в отличие от Маунт-Худа дымовой гримасой извращения. Затем, не замедляя шага, задумчиво покивал.

— Понимаю, — сказал он на очередном витке. — Полностью вас понимаю. Но позвольте, Джордж, привести только один умозрительный пример — возможно, тогда станет яснее и моя позиция. Представьте себя в девственных джунглях, где-нибудь на Мато Гроссо, например. Вы бредете в одиночестве звериной тропой и вдруг натываетесь на очаровательную туземку, умирающую от укуса гремучей змеи. А в ранце у вас сыворотка, много сыворотки, хватит, чтобы исцелить хоть тысячу ужаленных. Скажите, Джордж, честно — разве вы пройдете мимо, чтобы все шло своим чередом? Позвольте туземке, выражаясь по-вашему, «быть», то есть оставите на съедение муравьям?

— Ну, это в зависимости... — нерешительно протянул Орр.

— В зависимости от *чего*?

— Ну... даже не знаю. Если верить в реинкарнацию в исконном ее смысле, то такая помощь, сохранив жертве жизнь посреди окружающей мерзости, может лишить ее лучшей доли в ином воплощении и на поверку обернется медвежьей услугой. А возможно, исцелившись, наша красотка пойдет да запросто вдруг зарежет шесть безобидных старушек из своего же племени. Знаю-знаю, вы обязательно вкололи бы ей сыворотку, уже из одного сострадания. И все же никому не дано предугадать, добрый ли совершает он поступок или злой, либо добрый и злой одновременно...

— Браво! Бурные аплодисменты! Мы понимаем, как действует сыворотка, но не ведаем, что творим с нею сами — продано! Покупается именно такая формулировка. Ну и что же проистекает отсюда, какая, к чертям собачьим, разница? Охотно допускаю, что в девяти случаях из десяти я

даже представления не имею, как именно действует эта ваша причуда, что там вытворяет этот ваш таракан в голове, разбираюсь, если честно, не больше вашего, то есть точно как свинья в апельсинах, но ведь все же мы *делаем* что-то, только так, методом тыка, и продвигаемся. Или, может, тоже нельзя, не одобрям? — Перепопнявшее Хабера веселье вылилось в приступ хохота, такого задорного и заразительного, что Опп поймал себя на невольной слабой улыбке.

Однако, пока доктор прилаживал и подгонял электроды, Опп сделал последнюю попытку до него достучаться:

— По пути сюда мне довелось стать очевидцем гражданского ареста с последующей эйтаназией.

— За что? — сразу посерьезнел Хабер.

— Как обычно, евгеника. Наследственный рак.

Хабер хмуро кивнул:

— Неудивительно теперь, Джордж, что вы так приуныли. Вы все еще не осознали до конца необходимость контролируемого разумными законами социального насилия во имя общественного же блага. Не лежит у вас душа к грубым методам, и это вполне понятно. Но мир, окружающий нас с вами, — это грубый мир. Реальный мир, Джордж! Жизнь, как я уже имел честь докладывать, абсолютно безопасной быть просто не может. Из года в год она становится все жестче, все грубей. Но будущее за все нас оправдает. Здоровый генофонд куда важнее страданий отдельной личности. Не место в обществе неизлечимым вырожденцам, неспособным к нормальному воспроизводству и плодящим генетических уродцев, у социума на бесполезное сострадание попросту нет ни сил, ни времени.

Защищая окружающую действительность, Хабер в своем пафосе поднялся до такого накала, что Опп невольно засомневался, уж не достиг ли доктор в *миротворчестве* желанной конечной цели.

— А сейчас я хочу, чтобы вы уселись прямо и не расслаблялись, Джордж, — сменил пластинку доктор, — иначе заснете просто в силу привычки. Вот так, отлично! Придется чуток поскучать. Глаза не закрывайте, думайте, о чем заблагорассудится, а я тем временем соберу разбросанные игрушки и подотру нашему беби попochку. Начинаем, поехали. — Хабер утопил пусковую клавишу на пульте Аугментора, в изголовье кушетки.

Инопланетянин, проходящий по бульвару, в толчее вновь легонько пихнул Оппа в бок и немедленно поднял в извинительном жесте свой левый локоть, Джордж в ответ

пробормотал на ходу извинение. Но существо заступило путь. Орт застыл, изумленный — бесстрастие зеленоватой бронированной громады, возникшей перед ним, впечатляло. И даже гротескное сходство пришельца с гигантской морской черепахой забавным отнюдь не казалось — как и извечный обитатель Галапагосов, существо обладало некоей экзотической магией, странноватой красотой, своеобразным причудливым совершенством, никому более в подлунном мире не присущими.

Из-под левого локтя прошелестел безжизненный механический голос:

— Йор Йор...

Далеко не сразу, лишь с трудом разобрав в этих звуках чудовищную фонетику собственного имени, Джордж откликнулся:

— Да, меня зовут Орт, это именно я.

— Пожалуйста простить предумышленное вмешательство вы есть личность способный *йах хлу* замечаться раньше. Источник все эти неприятности есть твоя самость.

— Я не... Вы думаете, что я...

— Мы также быть очень встревоженный. Концепции нарушаться в туман. Различение затруднять. Вулканы огнедышать. Предложение помощь отвергаться. Змеиный сыворотка не хватать для каждый. Прежде следовать ведущие неверное направление указания дополнительные силы должны быть сложенные следующий образ — *вэй'р'перенну!*

— Вэй'р'перенну, — машинально повторил Орт, мучительно пытаясь сообразить, о чем же толкует пришелец.

— Если желательно. Слово есть серебро, молчание есть золото. Самость есть космос. Пожалуйста опять простить предумышленное вмешательство пересекаться в туман. — Пришелец, лишенный даже какого-то подобия шеи или талии, сумел, однако, создать впечатление вежливого поклона и стал удаляться, возвышаясь над сероликой толпой безучастных прохожих.

Орт таращился вслед, пока не услышал оклик Хабера:

— Джордж! Джо-о-ордж!

— А? Что? — Хлопая ресницами, Орт удивленно озибался по сторонам.

— Что за чертовщина с вами творится? Что вы такое там делали?

— Ничего, — ответил Орт. Он по-прежнему сидел на кушетке с головой, утыканной электродами.

Выключив Аугментор, Хабер обошел кушетку и заглянул Орру в глаза. Затем снова покосился на экран. Распахнул кофуж и проверил самописцы.

— Решил было, что неверно истолковал картинку на экране, — прокомментировал Хабер свои действия и нервно хохотнул. — Какая-то чертовщина у вас в коре, Джордж, а я коры сегодня даже не касался, настроил Аугментор на легкую стимуляцию варолиева моста... Что за черт! Тут добрых полтораста милливольт! — Он резко обернулся. — Ну-ка, живо вспоминайте, о чем думали!

Странное нежелание отвечать, смешанное с ощущением близящейся опасности, посетило вдруг Орра.

— Я подумал... мне вспоминались пришельцы.

— Альдебаранцы? Ну и?..

— Просто вспомнил одного, с которым столкнулся по пути сюда.

— И это восстановило, сознательно или бессознательно, ту печальную уличную сценку с эйтаназией? Верно? Пожалуй, только так можно объяснить весь этот необычный концерт, который ваши эмоциональные центры закатили, а Аугментор выделил и усилил. Но вы же должны были почувствовать... А что-нибудь совсем необычное в голову разве не пришло?

— Нет, — совершенно искренне ответил Орт. Ведь существо не вызвало в нем никаких необычных *ощущений*.

— Ладно. На тот случай, если вас всполошила такая моя реакция, поясню — несколько сот раз я испытывал Аугментор на самом себе и еще на сорока пяти добровольцах. И абсолютно уверен, что он не причинит вам ни малейшего вреда. Просто последняя запись для взрослого весьма необычна, и захотелось проверить, не ощутили ли вы и сами в этот момент что-либо необычное.

Доктор скорее успокаивал самого себя, а не Орра. Впрочем, особой роли это не играло — пациент в увещеваниях на сей раз не нуждался.

— Ну что ж, продолжим с места, где прервались, — объявил Хабер, снова запуская энцефалограф вкупе с Аугментором.

Стиснув зубы, Орт приготовился встретить лицом к лицу Хаос и Мглу.

Но ничего такого не случилось, никаких переносов во времени и пространстве, даже беседа с черепахоподобным гигантом и та не возобновилась. Орт по-прежнему сидел себе посиживал на кушетке, любясь далеким дымчато-голубым

конусом Святой Елены за окном. Украдкой, аки тать в но-
щи, душу посетило, постепенно заполонив всю ее, странное
чувство — порядка, единения с окружающим миром, уве-
ренности, что все идет как и положено, а сам он словно в
некоем центре и чуть ли не пуп Вселенной.

«Самость есть космос», — всплыло в памяти недавно
услышанное. Страх одиночества, боязнь безвозвратно кануть
как рукой сняло. Орт возвращался к живительным исто-
кам. Он испытывал покой и уверенность — как за себя, так
и за все прочее в мире. Не тот восторженный мистический
покой, что посещает блаженных, а нормальное, здоровое
хладнокровие. Это был тот самый путь, следовать которому
он обычно и стремился в жизни, сбиваясь с него лишь в
самые кризисные моменты. Это были безмятежность дет-
ства, упоение сокровенных мгновений отрочества и юно-
сти — самые естественные из способов бытия. За послед-
ние годы Орт подрастерял все это, незаметно и почти бес-
следно, лишь изредка осознавая с горечью, *что именно* он
теряет. Что-то такое стряслось с ним четыре года назад, и
тоже в апреле, что-то лишило его равновесия, напрочь вы-
било из седла. Груды проглоченных Ортом наркотических
снадобий, эти сны — источник вечного страха, беспросвет-
ная каша в памяти, блуждание в различных ее вариантах и
неизменное ухудшение текстуры бытия после любой по-
пытки Хабера его усовершенствовать — все это вынуждало
прокладывать для себя новый курс сквозь туман. А сейчас,
вдруг, ни с того ни с сего, он вернулся к самым своим
истокам.

Но Джордж твердо знал, что собственных его заслуг в
этом нет.

— Неужто Аугментор? — удивился он вслух.

— Что именно, Джордж? — отозвался Хабер, наклоня-
ясь над машинным чревом, чтобы смерить взглядом экран.

— Э-э... даже и не знаю.

— Повторяю, Аугментор ничего такого с вашим мозгом
не вытворяет, — ревниво заметил доктор. Когда он с голо-
вой погружался в анализ научных гитик, пытаясь вычле-
нить из экранного мельтешения некий тайный смысл, маска
вечной улыбчивости спадала, он начинал раздражаться. —
Просто чуток усиливает то, что мозг делает сам, выборочно
подпитывает активность отдельных участков, а мозг ваш
сей момент ничего такого и не делал... Вот так!

Быстро что-то пометив для памяти в настольном кален-
даре, Хабер тут же вернулся к Аугментору и снова вперился

в крохотный экран. Одна из линий потолка показалась подозрительной, при помощи винтов тонкой настройки доктор сумел расчленил ее на три отдельные. Опп не вылезал более с репликами, не мешал.

— Теперь зажмурьтесь покрепче! — скомандовал Хабер. — Не открывая глаз, переведите взгляд вверх. Хорошо! Постарайтесь внутренним взором увидеть что-нибудь яркое — сияющий оранжевый кубик, к примеру. Отлично!..

Когда Хабер выключил наконец аппаратуру и стал снимать электроды, хрустальная ясность и приподнятость Оппа не оставили, как обычно бывает после алкогольного или наркотического кайфа. Без всяких колебаний и робости он вдруг спокойно и отчетливо объявил:

— Доктор Хабер, я больше не могу позволить вам использовать мои эффективные сны.

— Э-э?.. — Внимание доктора по-прежнему было приковано к мозгу Оппа, а не к обладателю оногo.

— Я больше не могу позволить использовать мои сны.

— Использовать?

— Использовать. Сновидения.

— Ага, вот, стало быть, как вы называете это, — ответил Хабер. Он уже выпрямился во весь свой башенный рост и тяжело нависал над Оппом, по-прежнему сидящим на кушетке. Серый, огромный, широченный, пышнобородый ревнивый идол. — Сожалею, Джордж, но вынужден констатировать: вы не в том положении, чтобы выступать с подобными заявлениями.

Незримые безымянные боги Оппа столь же завистливы не были и не требовали более от него ни поклонения, ни послушания.

— Тем не менее я говорю вам это, — мягко сказал Опп.

Хабер смерил пациента взглядом с головы до ног и обратно, всмотрелся и, похоже, наконец что-то такое узрел. Он походил на человека, который, отдернув невесомый воздушный тюль, обнаруживает вдруг грубую монолитную стену. Доктор пересек комнату, уселся за стол. В свою очередь Опп поднялся и томно потянулся.

Хабер нервно почесывал бороду серыми пальцами-сардельками.

— Я нахожусь сейчас буквально на пороге грандиозного научного открытия, подлинного прорыва в неизвестное, — пророкотал он. — Используя в качестве образца ритмы, вырабатываемые вашим мозгом в ходе рутинных процедур аугментирования, я программирую свой прибор на

воспроизводство энцефалограмм эффективного сновидения. Собираюсь окрестить такое состояние сдвиг-фазой. Когда получу удовлетворительный результат, начну накладывать выработанную запись на ритмы быстрых снов другого мозга в надежде после соответствующей подгонки вызвать тот же эффект. Вы способны понять, Джордж, что означает это? Я смогу погружать в сдвиг-фазу любой должным образом подготовленный мозг так же легко, как нейропсихолог, использующий метод мозговой стимуляции, ввергает в ярость кота или утихомиливает разбушевавшегося психопата, даже легче, куда легче — ведь при обычной стимуляции приходится вживлять электроды или применять долгоиграющие химические препараты. От желанной цели меня сейчас отделяют считанные дни, возможно, даже часы.

Как только я получу желанный результат, вы свободны. Вы тогда ни к чему мне, Джордж. Ненавижу работать, подавляя чью-либо волю, да и успеха куда легче добиться, имея дело с подобающим образом подготовленным и дисциплинированным субъектом. Но пока мне без вас не обойтись. Исследование должно быть завершено. Оно, возможно, самое важное за всю историю человеческого познания. Я вынужден удерживать вас, Джордж, если же вашего чувства долга передо мной, перед познанием, перед благом цивилизации окажется недостаточно, прибегну и к определенному насилию — ради высшей цели и высшего блага. Если понадобится, я даже затребую в медхране ордер на принудительное наркологическое лече... на принуждение к личному благополучию. Коли понадобится, применю и подавляющие волю наркотики, как в случае с заурядным психом. Ведь ваш отказ сотрудничать в деле подобной важности иначе, нежели психопатию, просто не истолкуешь. Однако нет нужды говорить, что мне неизмеримо легче иметь дело с вашей добровольной помощью, с вашей свободной волей и не прибегать к помощи закона или химиотерапии. Вот и вся разница, Джордж.

— Так уж и вся. Неужели? — съехидничал Орр без всякого нажима или вызова.

— Почему вы так взъерепенились вдруг, Джордж? Почему именно теперь, черт побери, когда внесли такую большую лепту и мы практически у самой цели?

Идол на поверку оказывался весьма бранчливым божком. Но путь осознания вины и мук совести, путь упоения страданием пролегал мимо, не задевая Орра за живое, —

будь он человеком, неспособным пережить чувство вины, он не дотянул бы и до своих скромных лет.

— Потому что чем дальше вы продвигаетесь, тем мир становится все хуже и хуже. А сейчас, вместо того чтобы избавить меня от эффективных снов, вы уже готовитесь вызывать их у себя самого. Мне не нравится мысль заставлять остатки мироздания жить моим сном, но возможность оказаться персонажем вашего я не приемлю просто органически.

— Что значит «становится все хуже»? Давайте рассмотрим это, Джордж, рассмотрим всерьез. — «Как мужчина с женщиной, — мелькнуло у Орра. — Без бабьих штучек. Присядем, мол, и все обсудим...» — Давайте подведем предварительные итоги тех считанных недель, что мы вместе. С вавилонским столпотворением покончено. Качество городской жизни и экобаланс планеты восстановлены. Рак как главная причина смертности устранен. — Хабер загибал одну за другой свои серые сардельки. — Ликвидирована проблема цвета кожи, вечный источник межрасовых конфликтов. Разобрались до конца и с войнами. Сведен на нет риск биологического вырождения человека путем накопления губительных мутаций. У нас и во всем мире покончено — впрочем, еще не вполне, но вскоре будет решительно и бесповоротно покончено — с нищетой, с материальным неравенством, с классовой борьбой. Что еще? Душевные болезни как отклик на вывихи окружающей действительности — это еще займет какое-то время, но первые успешные шаги в этом направлении уже делаются. Под руководством ЦИВЭЧ мир ждет невиданный всплеск человеческого здоровья, как физического, так и психического, настоящий расцвет, а постоянный подъем свободы здорового самовыражения личности станет делом поистине повседневым. И вот это будет уже подлинный прогресс! Прогресс, Джордж. Мы с вами за шесть недель продвинули человечество по пути прогресса больше, чем оно само прошагало за шесть сотен тысячелетий!

Орр чувствовал, что аргументы эти шатки, что не в пример пифагоровым штанам изобилуют прорезами, что их можно и нужно парировать. И попытался принять бой:

— Но куда же тогда подевалось демократическое устройство общества? Люди утратили право выбирать и решать что-либо за самих себя. Почему все вокруг так омерзительно, почему на улице не увидишь улыбки? С человеком невозможно поговорить приватно, я не говорю уже по душам,

до души просто не достучишься, и чем собеседник моложе, тем глуше в нем переборки и больше эгоизма. Это все результат одной из затей вашего всемирного правительства — отнимать детей у родителей, ссылая их в педцентры...

— Чья бы корова мычала, Джордж! — расвирипел Хаббер. — Педцентры — это ваша личная выдумка, отнюдь не моя! Как обычно, я лишь наметил desiderata своим внушением, так как, попытайся я подсказать вам способ реализации, схему действия, ваше чертово подсознание обязательно извратило бы результат до неузнаваемости. Вам незачем признаваться, что вы негодуете и противитесь всем моим замыслам принести пользу человечеству — это и так было очевидно с первого же сеанса. При любом изменении, к которому я понуждал вас, при каждом совместном шаге вы отыскивали глухие окольные тропы, калеча мои идеи в зародыше. В ответ на каждый мой шаг вы делали свой — невесть куда, но чаще всего назад. А собственные ваши затеи — вообще сплошной негатив! Без жесткого гипнотического контроля над вами мир давно уже обратился бы в прах и подернулся пеплом. Вспомните, что натворили однажды вы сами, когда слиняли с этой вашей истеричкой...

— Она мертва, — тихо вставил Опп.

— Тем лучше. Эта дамочка оказывала на вас дурное влияние. Лишала чувства ответственности. А вы и так не слишком можете им похвастать. Вам недостает социальной сознательности, Джордж, простого альтруизма, в конце концов. В нравственном смысле вы медуза. При каждом внушении мне приходится восполнять в вас дефицит этих качеств. И всякий раз вы упираетесь, отходите в сторону. Так и в случае с этими педцентрами. Я лишь намекнул, что корень зла, причина всех невротических заболеваний кроется в детстве индивида, в его семейном окружении, и что в совершенном обществе такое положение может и должно быть выправлено. Ваш сон попросту подхватил незрелую идею и, сдобрив ее безумными утопическим концепциями, а возможно, и циничными антиутопическими, выдал нагоря эти дурацкие педцентры как собственную интертрепацию — именно интертрепацию! И все же даже они лучше того, что было прежде, чье место заняли! Известно ли вам, что в мире почти не осталось шизофрении, что она стала заболеванием редчайшим? — Глаза Хаббера полыхали темным светом, губы судорожно подергивались.

— Может, в чем-то и стало лучше, чем раньше, — скрепя сердце согласился Опп, уже утративший всякую надежду взять верх в дискуссии. — Только после каждой вашей новой затеи все становится хуже и хуже. И я вовсе не пытаюсь вам перечить, ставить палки в колеса, это именно вы своими попытками совершить невозможное порождаете сопротивление в моем подсознании. Мой дар, он все-таки мой, принадлежит лишь мне, и я знаю, что говорю, ясно осознаю свою ответственность. И вот в чем она — пользоваться им, лишь когда *должно*, когда нет иного выхода, нет альтернативы. А теперь она *есть*. И я вынужден остановиться.

— Но мы не можем прекратить, мы ведь едва начали! Только-только нащупываем контроль над этой вашей энергией. Я способен сделать это, и я это сделаю. Никакие личные переживания и страхи не остановят меня на пути к общечеловеческому благу, которое может принести новое свойство сознания.

Да он одержимый! Опп смотрел Хаберу прямо в глаза, но не находил в них никакого отклика. Хабер в упор ничего не видел и замечать ничего не желал. На него опять накатило.

— Что я замыслил, Джордж, так это сделать новую способность *воспроизводимой*, ни более ни менее! Тиражировать на манер печатного слова, как и подобает поступать со всеми достижениями науки и техники. Если в другой лаборатории эксперимент или аппаратура невоспроизводимы, в них нет никакого толка, ни на грош. Точно так же, пока сдвиг-фаза заперта в сознании отдельного индивида, пользы в ней, что в ключе за замкнутой дверью, не больше. Отдельная бесплодная мутация, бесполезная игра прихотливых генов. Но я раздобуду ключ. И это станет величайшей вехой в человеческой эволюции, сопоставимой разве что с зарождением собственно разумного сознания. Любой, заслуживающий того, сможет воспользоваться присущей покамест только вам способностью. Когда подходящий и должным образом подготовленный субъект под воздействием Аугментора войдет в сдвиг-фазу, контроль окажется полным, абсолютным. Ничто не будет доверено игре случая, случайному импульсу подсознания, прихоти иррационального нарциссизма. Тогда уж не останется места для разности потенциалов между вашим нигилизмом и моим стремлением к прогрессу, вашей подсознательной нирваной и моим сознательным и педантичным переустройством

мира ради всеобщего блага. Как только я уверюсь в своей технике, я пошлю вас куда подальше, Джордж. Дам вам желанную свободу. Абсолютную свободу. Вы постоянно стеснялись, что не желаете нести бремя ответственности, что хотите избавиться от проклятого дара. Клянусь, что самым первым моим эффективным сном исцелю вас совершенно — вы никогда больше не увидите подобных снов.

Орр поднялся, глядя на Хабера в упор, он был по-прежнему спокойно сосредоточен.

— Вы вознамерились контролировать свои сны самостоятельно? — спросил он, не скрывая тревожной ноты. — Без посторонней помощи, без чьего-либо присмотра?

— А что вы всполошились? Я приобрел немалый опыт, занимаясь вами. В моем собственном случае, а первый опыт я, разумеется, проведу на самом себе — это ведь абсолютно этично, — контроль окажется полным и совершенным и уж куда лучше, чем с вами.

— Но ведь я уже пытался испытать самовнушение, еще до наркотиков...

— Да, вы упоминали об этом; естественно, у вас ничего не вышло. Сам по себе вопрос преодоления сопротивления самовнушению некоторый научный интерес представляет, но ваш случай абсолютно ничего не доказывает. Вы не профессионал, не психиатр, не гипнотизер, вы были взбудоражены всем этим — естественно, результат нулевой. Я же профессионал и знаю, на что иду. Знаю в точности. Я могу внушить себе полноценный сон и увидеть его в мельчайших продуманных заранее подробностях. Для тренировки я проделываю это уже битую неделю, каждую ночь. Когда Аугментор сможет синхронизировать сгенерированное лекарство сдвиг-фазы с моими быстрыми снами, они станут явью. А тогда... тогда... — На губах Хабера расцвела странная жутковато-мечтательная улыбка, вынудившая Орра отвести взгляд как от чего-то непристойного. — Тогда мир станет подобен раю, а люди в нем — подобны богам!

— Но мы есть, мы уже есть! — воскликнул Орр, но Хабера словно бы не расслышал.

— Бояться теперь нечего. Опасным было время — нам ли это не знать! — когда один вы обладали способностью сдвиг-эффекта, не имея ни малейшего представления, что вам с этим делать. И кто знает, что случилось бы, не попади вы сюда, в умелые и заботливые руки. Но вас прислали, а здесь был я; гениальность, как говорится, состоит в том,

чтобы оказаться в нужном месте и в нужное время... — Гулкий раскатистый хохот. — Так что теперь опасаться уже нечего, из ваших рук все уплыло. Я знаю, прекрасно понимаю — и с научных позиций, и с точки зрения морали, — что именно собираюсь предпринять. И как осуществить задуманное, знаю тоже.

— Вулканы огнедышать, — вслух припомнилось Орру.

— Что вы сказали?

— Я уже могу быть свободен?

— Только до завтра. А завтра в пять!

— Буду, — ответил Опп и ушел.

Il descend, reveille, l'autre cote du reve.

Hugo. «Contemplations»*

Только три часа пополудни — в принципе, Опп успевал еще на службу в департаменте паркового хозяйства, да и следовало бы вернуться, чтобы завершить наконец эту тягомотину с планами спортплощадок юго-восточных предместий. Но он не стал возвращаться. Мысль о постылой конторе, угодливых лицах подчиненных, промелькнув, тут же угасла. Невзирая на заверения памяти, что он вот уже пять лет занимается именно подобным делом и именно в этой должности, всем своим нутром Джордж отказывался принять такое положение вещей за чистую монету — нынешняя работа доподлинного отношения к реальной действительности не имела. Это не то дело, каким следовало бы ему заниматься. Не его это работа.

Джордж понимал, что в подобного рода небрежении доброй долей окружающей его реальности, в таком сюрреалистическом отторжении, с каким столкнулся он теперь в самом себе, кроется опасность настоящего безумия, риск окончательно утратить свободу воли. Понимал, что природа не терпит пустоты и фантазия может заполнить образовавшийся вакуум чем угодно, любыми кошмарами. А вакуум был, существовал *объективно*. Как дуплистому дереву здоровой сердцевины, окружающей Орра действительности катастрофически недоставало достоверности. Сновидение, творя там, где нужды в этом не было никакой, явно поскупилось на декорации. И даже физический вакуум, как альтернатива подобному существованию, возможно, был

* Проснись — и окунешься в явь, изнанку сновиденья... Гюго. «Размышления» (фр.).

бы лучше. Опп теперь готов принять за реальность самый невероятный вывих подсознания, готов без удивления встретить на улице любых монстров со всеми их мифологическими атрибутами. Возможно, разумнее отправиться прямоиком домой и, позабыв о наркотиках, лечь спать в предвкушении снов лучших, чем этот.

Покинув в центре вагончик фуникулера, Джордж решил не дожидаться трамвая, а размять ноги, прогулявшись через парк. Пешую прогулку он всегда предпочитал дребезжащей механике.

Посреди того, что некогда гордо называлось Лавджой-парком, высились нетленные останки эстакады старого фривея — колоссальная бетонная конструкция, возможно, плод гигантомании семидесятых, последнего ее конвульсивного всплеска. Когда-то эстакада вела к Маркизову мосту, теперь же обрывалась в воздухе высоко над Франтавению. Лишь дивиться оставалось, как удалось уцелеть этому реликту в ходе всеобщей реконструкции после моровой эпохи. Возможно, лишь потому, что столь бесполезное и чудовищное сооружение примелькалось, стало в глазах беспричинных американцев как бы невидимкой — именно по причине полной своей неуместности. Сверху эстакада поросла редкими кустиками, пустившими корни в растрескавшийся асфальт, снизу ее бетонные опоры были облеплены убогими лавчонками, как прибрежные скалы ласточкиными гнездами. На этом позабытом городском пятачке, как бы выпавшем из общего потока жизни, они еще сохранились, здесь еще держались на плаву последние независимые торговцы, еще воскурялись малоаппетитные ароматы крохотных экзотических ресторанов — вопреки всему на свете, вопреки тотальной строгости всемирного рационирования пищевых продуктов, вопреки безжалостной конкуренции с торговыми палатами Цемирплана, через которые проходило нынче девяносто процентов мирового товарооборота.

Над входом в магазинчик подержанных вещей гордо сияла облезлой позолотой вычурная вывеска «Антиквариат», ниже клочок бумаги, небрежно прилепленный к дверному стеклу, с корявой надписью от руки: «Принимать всякий утиль». В одной витрине красовался весьма случайный набор аляповатой керамики, в другой — ветхое кресло-качалка, прикрытое траченным молью шотландским пледом. Вокруг этих двух, очевидно, главных экспонатов рассыпью иные мелкие образчики материальной культуры человечества: тронутая ржой несбитая подкова, ходики с кукушкой, некое

устройство загадочного предназначения, возможно, доильный агрегат, фотография Эйзенхауэра в паспорту, чуть надколотая стеклянная призма с залитыми внутри тремя эквадорскими монетами, пластиковое сиденье от стульчака, затейливо разрисованное крохотными крабами и ламинариями, изрядно замусоленная антология и стопка старых пластинок-сорокапяток хай-фай-класса, помеченных ярлычком «В отл. сост.», но явно запиленных до последнего. В подобном магазине, грустно отметил про себя Опп, и могла бы подрабатывать мать Хитер. Подчинившись внезапному импульсу, он толкнул дверь.

Внутри царили прохлада и полумрак. Лавочка располагалась впритык к гигантской опоре, экономя на этом одну из стен. Мрачный, изборожденный временем голый бетон придавал интерьеру некоторое сходство с морской пещерой. Бесконечные стеллажи, заставленные литографическими изображениями батальных сцен давно минувших эпох, сувенирными прялками — писк моды середины двадцатого, а ныне и впрямь антиквариат, хотя по-прежнему хлам, — а также всеми прочими неживыми материями, утопали в кладбищенском полумраке, из которого тут же возник неясный огромный силуэт и бесшумно, по-рептильи, надвинулся — хозяином лавочки оказался пришелец.

Он воздел свой левый шарнир на уровень чудовищных плеч:

— Добрый день. Желание приобретать какой-то предмет?

— Благодарю, я заглянул посмотреть.

— Пожалуйста продолжать подобная активность, — прошепел инопланетянин и, проделав обратный путь в тень, застыл в безмолвии.

Скользнув взглядом по выцветшим переливам копны облезлых павлиньих перьев в горшке, Опп осмотрел домашний кинопроектор выпуска 1950-го, затем полюбовался нарядно выкрашенным в белое и голубое самогонным аппаратом для сакэ и не спеша порылся в груде замусоленных подшивок журнала «Совриголово», оцененных, впрочем, весьма недешево. Выковырнув из кучи инструментального хлама стальной молоток, он восхитился точностью балансировки — классная вещь, умели же когда-то! Клеймо американское.

— Вы сами это выбирали? — поинтересовался Опп, дивясь тому, как пришельцам порой удается так ловко сориентироваться во всем многообразии хлама, унаследованного от давно минувшей Эпохи Американского Изобилия.

— Что приходится есть приемлемо, — подал голос хозяин.

«Вполне уместный ответ, а также любопытная точка зрения», — отметил про себя Опп.

— Можно спросить у вас кое-что? Не подскажите, что на вашем языке означает словечко *йах'хлу*?

Инопланетянин снова выдвинулся вперед, бережно пронеся свою бронированную тушу посреди хрупких нетленок.

— Непередаваемый. Язык пользоваться для сообщения между индивидуальными личностями нет форма для другого отношения. Йор Йор. — Правая конечность существа, клацающая зеленоватая клешня, выдвинулась вперед медленным и, видимо, учтивым жестом. — Тьюа'к Эннби Эннби.

Опп неловко пожал протянутую клешню. Существо застыло, как бы изучая собеседника, хотя никаких глаз у пришельца под щитком как бы заполненного туманом шлема не наблюдалось. «А есть ли вообще у него голова? Есть ли там под панцирем, под зелеными его доспехами вообще хоть что-либо, хоть какая-то оформленная субстанция?» — невольно подумалось Оппу. Неизвестно. Однако непонятно отчего ему вдруг стало легко и просто с этим Тьюа'к Эннби Эннби.

— Я не очень-то на это рассчитываю, — произнес он под воздействием душевного порыва, — но не знали ли вы кого-нибудь по имени Лелаш?

— Лелаш. Жалеть не нет. Ты искать Лелаш?

— Я потерять Лелаш.

— Разминуться в туман.

— Нечто вроде, — печально кивнул Опп. Затем извлек из груди на столе крохотный бюстик Франца Шуберта — два дюйма, типичный учительский приз для старательных учеников музшкол. На обороте шатким детским почерком нацарабано: «А мне по барабану». Отрешенно-сосредоточенным лицом композитор напоминал Будду, для чего-то нацепившего пенсне. — Сколько это стоит?

— Пять в новые центы, — отозвался хозяин.

Опп выудил из кармана федплановский никель.

— Существует ли способ контролировать *йах'хлу*, заставить идти по пути... по должному пути?

Пришелец, приняв монетку, величественным жестом отправил ее в кассу — аппарат столь древний, что ранее Опп принял его за одно из выставленных на продажу свидетельств давно минувшей эпохи. Звякнув его рукояткой, хозяин застыл снова.

— Одна ласточка еще не делает весна, — проронил он наконец. — Взяться дружно, не быть грузно. — И снова

смолк, похоже, не вполне удовлетворенный своей попыткой перебросить мостик через пропасть непонимания. Постояв так с полминуты, хозяин шевельнулся, подошел к витрине и, выудив из стопки выставленных в ней пластинок одну-единственную, вручил Орру. Это оказался диск «Битлз» — «А друзья мне чуток пособят».

— Дарение, — сказал пришелец. — Есть приемлемо?

— Да, — ответил Опп, вертя в руках маленькую пластинку с крупным центровым отверстием. — Спасибо, огромное спасибо! Это весьма любезно с вашей стороны. Я крайне признателен.

— Приятно, — прошелестел коммуникатор хозяина. В безжизненном механическом голосе Орру и впрямь вдруг почудилась нотка удовлетворения, по крайней мере пришелец снова шевельнулся.

— Я смогу послушать пластинку на аппарате своего консерджа, у него как раз есть старый патефон в приличном состоянии, — добавил Опп. — Еще раз большое спасибо.

Они снова обменялись рукопожатием, и Опп откланялся.

«В конце концов, — рассуждал он по пути к своей Корбетт-авеню, — нет ничего удивительного в том, что пришельцы так ко мне добры. Они на моей стороне. Ведь по сути дела я их и придумал. Правда, непросто разобраться, в чем именно эта суть, каков скрытый смысл их появления. И все же пришельцев не было прежде вокруг, а может, и вообще нигде не было, — пока я не увидел тот сон и не позволил им *быть*. Следовательно, между нами существует связь, и всегда имелась, с самого начала.

Но ведь если дело обстоит именно так, — продолжал рассуждать Опп в такт неспешному своему шагу, — тогда весь мир, какой он сейчас, должен быть на моей стороне. Ведь и его я создал своими снами. Конечно же, он за меня. Именно так, а сам я малая его часть, неотъемлемый атом. Доля неделимая. Как я иду по земле, так и она по мне. Я дышу воздухом, и он уже другой. Я связан с миром нерасторжимо.

Только с Хабером у меня все иначе. И с каждым сном разница ощутимей, контраст все разительней. Он против меня, и наши с ним взаимоотношения добрыми не назовешь. Все те аспекты бытия, за которые ответствен именно он, на сотворение которых он вынудил меня под гипнозом, я и ощущаю как чуждые и вконец лишаящие сил...

Но ведь Хабер все же не дьявол. Во многом он прав, человек должен помогать другим, должен сострадать. Только эта его аналогия со змеиной сывороткой насквозь лжи-

ва. Речь в ней идет о том, как некто встречает кого-либо попавшего в беду, а это ведь совсем, совсем иное. Возможно, то, что я сделал, что натворил в ту давнюю апрельскую ночь... Возможно ли, что оно было чем-то оправдано? — Как обычно, мысли Орра, избегая бередить живую рану, сами собой перескочили на другое. — Ты должен помогать людям. Но манипулировать массами, разыгрывая из себя Творца, непозволительно никому. Чтобы стать им, надо понимать, что творишь. А творить добро наобум, только веруя, что ты прав, раз действуешь из благих побуждений... Никуда не годится, этого явно недостаточно. Следует быть... в контакте, что ли. А Хабер как раз не в контакте. Для него не существует никого и ничего — мир он рассматривает лишь как приложение к себе, как довесок к собственным мыслям, к своим безумным затеям, как средство для достижения личной цели. И уже не важно, какова она, эта его цель, пусть даже всеобщее благо, ведь единственное, что есть у нас, — это всего лишь средства... Хабер же никак не может с этим смириться, не может позволить миру *быть* таким, каков он есть... Хабер безумец. И если научится видеть сны, как я, то может всех нас потянуть за собой, вырвать из контакта, из единения с миром... Что же делать мне, что делать?»

С извечным этим вопросом, как всегда безответным, Орт добрался наконец до своих обветшалых хором на Корбетт-авеню.

Прежде чем подняться к себе, он заглянул в полуподвал к М. Аренсу, управляющему, чтобы одолжить проигрыватель. Пришлось согласиться заодно и на чашку особого чая, который Мэнни всегда заваривал специально для Орра, так как тот не курил и даже дыма не мог переносить без кашля. Потрепались малость о событиях в мире, спортивные шоу в колизее Мэнни не посещал, зато, оставаясь дома, каждый день упивался цемирплановскими детскими телепрограммами для пригостишек. «Этот кукольный крокодил, Дуби-Ду, это, скажу я тебе, нечто особое, что-то с чем-то!» — поделился он своими восторгами. Случались, увы, в беседе и досадные провалы — отражение прорех в сознании Мэнни, результата многолетнего воздействия на его мозг самых невероятных химических соединений. И все равно в этом грязном подвале царили мир и подлинное спокойствие, и под слабым воздействием конопляного чая Орт смог здесь по-настоящему расслабиться.

В конце концов он все же утащил проигрыватель к себе наверх и в пустынной запущенной гостиной воткнул штепсель в розетку. Поставив пластинку на диск, Орт не сразу опустил иглу звукоснимателя. Для чего все это? Чего, собственно, он хочет?

Неизвестно. Может быть, помощи. Ладно уж, что приходит, то и должно быть принято, как сказал Тьюа'к Эннби Эннби.

Позволив игле аккуратно коснуться первой дорожки, Орт устроился на пыльном полу рядом с проигрывателем.

Ответь, тебе нужен хоть кто-нибудь?

Да, ведь я должен кого-то любить.

Старый аппарат отличался потрясной механикой — когда пластинка кончалась, замирал на мгновение, тихо шурша, затем с негромким клацаньем сам возвращал иглу на начало.

Все у меня будет в полном ажуре,

Если друзья мне чуток пособят.

На одиннадцатом повторе Джордж незаметно для самого себя уснул.

Пробудившись в большой сумеречной гостиной, Хитер сперва растерялась — где это она на Земле? И на Земле ли?

Снова задремала, отключилась, сидя на полу спиной к пианино. Это все действие дешевой марихуаны, всегда от нее Хитер тупеет и становится сонливой. Но иначе ведь обидишь отказом Мэнни, этого старого доброго недоумка. Развалившись на полу точно ободранный кот, Джордж дрыхнул у самого проигрывателя, игла которого продолжала медленно пропиливать битловскую «А друзья мне чуток пособят» как бы в надежде разведать, не записано ли что еще интересного на обороте. Хитер выдернула штепсель, оборвав мелодию на самом начале припева. Джордж даже не шелохнулся — он крепко спал, приоткрыв рот. Забавно, что оба они вырубались, слушая музыку. Хитер размяла затекшие ноги и отправилась на кухню проверить, чем предстоит питаться сегодня.

Ох, ради всего святого, снова свиная печень! Но ведь это единственное приличное по калориям и весу из того, чем можно разжиться на три мясных талона — ей же самой повезло раздобыть эту гадость вчера в продцентре.

Ну что ж, если нарезать потоньше, поперчить, посолить покруче да пожарить с лучком — эх-ма! А, к чертям свинячьим, она так голодна сейчас, что готова жрать эту свиную требуху даже сырой, а Джордж и вовсе в еде непривередлив. Одинаково нахваливает и приличную жратву, и поганую свиную печенку. Хвала Всевышнему, сотворившему на земле все благое, включая и покладистых мужиков!

Приводя в порядок кухонный стол, выкладывая затем на него пару картофелин и полкабачка — будущий скромный гарнир, — Хитер время от времени замирала, похоже, ей все-таки нездоровилось. Что-то непонятное творилось с котелком, какая-то непонятная дезориентация во времени и пространстве. Все, видать, от вчерашней дозы да долгого сна в неудобной позе.

Вошел Джордж — взъерошенный и в замызганной рубашке. Уставился на нее.

— Ну, с добрым утром, что ли! — чуть ворчливо бросила Хитер.

А он все молчал и бессмысленно лыбился, излучая столь чистую и неподдельную радость, что у Хитер вдруг зашлось сердце. И отошло. В жизни ей не делали лучшего комплимента — такой кайф, причиной которому она сама, повергал в замешательство, бросил в краску.

— Жenuшка моя обожаемая, — выдохнул Джордж и взял Хитер за руки. Взглянув на них с обеих сторон, он прижал ладони любимой к своим щекам. — Тебе следовало быть темнее.

К своему ужасу Хитер заметила слезы на ресницах мужа. В этот миг — и только на миг — она поняла, что имеет в виду Джордж, вспомнила все до последней мелочи: и настоящий цвет своей кожи, и ночную тишину в лесном бунгало, и заполошный ручей по соседству, и остальное — все как фотоблицем озарилось. Но сейчас ее внимание и забота целиком принадлежали мужу, да и так были нужны ему. И Хитер крепко обняла Джорджа. И *все* забыла.

— Ты устал, — нежно шептала она, — ты не в себе, ты уснул прямо на полу. А все этот ублюдок Хабер, будь он неладен! Не ходи больше к нему, что угодно, только не это! И неважно, что он там предпримет, мы вытащим его на публичный процесс, подадим кучу апелляций, оповестим прессу. Пусть Хабер получает свой ордер на принудиловку, на чертову Полиблу, пусть даже добьется отправки в Линн-тон — вытащу тебя и оттуда. Нельзя больше ходить к нему, ты просто убьешь себя этим.

— Ничто мне не угрожает, успокойся, — сказал Опп со сдвинутым горловым смешком, едва ли не всхлипом. — Хаберу со мной не справиться, во всяком случае пока друзья могут мне хоть чуток пособить. Я вернусь, и все это вскоре закончится. Навсегда. Беспокоиться не о чем, видишь, я ничуть не тревожусь — не переживай же и ты...

Они приникли друг к другу всем телом и замерли в полном и абсолютном единении — под брызгливое шкворчанье лука и ливера на сковороде.

— Я тоже отключилась на полу, — призналась Хитер куда-то в шею мужу. — От перепечатывания всех этих тупых бумажек старика Ратти у меня вроде как крыша слегка поехала. А ты молодчина, купил потрясную пластинку, обожаю «Битлз», тащусь с самого детства, но теперь по государственному радио их больше не передают.

— Мне подарили... — начал было Джордж, но в сковороде ахнуло, и Хитер бросилась на спасение их запоздалого завтрака.

За трапезой Джордж как-то странно посматривал на нее, она отвечала спокойным ласковым взглядом. Женаты они были уже полных семь месяцев, но по-прежнему, пренебрегая внешним миром, трепались лишь о милых пустячках, понятных только им двоим. Вымыв посуду, они отправились в спальню и занялись любовью. Любовь ведь не есть нечто незыблемое, вроде краеугольной окаменелости, любовь как хлеб — ее следует возобновлять, выпекать каждый день свеженькую. Когда это свершилось, они уснули в объятиях друг друга, как бы удерживая новую порцию своей любви. И в этом кратком забытии Хитер вновь услышала пение лесного ручья, исполненное призрачным контрапунктом голосов неродившихся детей.

А Джордж во сне вновь погрузился в морскую пучину.

Хитер служила секретарем под началом двух престарелых и никчемных компаньонов, Пондера и Ратти. Отпросившись с работы на следующий день, в пятницу, чуть раньше, в полпятого, она миновала монорельс и трамвай, довозящие до дому, и забралась в вагончик фуникулера, направлявшийся в Вашингтон-парк. Хитер предупредила Джорджа, что постарается подкараулить его на крылечке ЦИВЭЧ, если успеет к пяти, до начала сеанса, а после они смогут вместе вернуться в центр и поужинать в одном из новых цемирплановских ресторанов на аллее Всех Наций. «Все будет в порядке», — сказал тогда Джордж, понимая движущие ею мотивы и имея в виду исход сеанса. «Я знаю, —

ответила Хитер. — Тем более приятно будет встряхнуться, к тому же я специально приберегла несколько мясных талонов. И мы с тобой еще ни разу не были в Каза Боливиана».

Она добралась до дворца ЦИВЭЧ как раз вовремя — рассиживаться на мраморной ступеньке не пришлось, Джордж приехал следующим же вагончиком. Хитер сразу углядела его в толпе остальных пассажиров, для нее как бы вовсе незримых. Невысокий, изящно сложенный, с одухотворенным лицом, он и шагал красиво, хотя чуточку сутулясь, как большинство конторского люда. Когда Джордж поймал взгляд жены, его чистые и светлые глаза просияли такой радостью, а губы разъехались в улыбке столь неподдельной, что у нее вновь перехватило дыхание и дрогнуло сердце. Она любила Джорджа безумно. Если Хабер посмеет причинить ему хоть какой-то вред, мелькнула злая мысль, она прорвется сквозь любую охрану и раздерет доктора на мельчайшие клочья. Насилие чуждо ей, но только не тогда, когда под угрозой судьба любимого. И вообще Хитер чувствовала себя сегодня не вполне в своей тарелке, какой-то другой, переменившейся — покруче что ли, пожестче? В конторе дважды ляпнула вслух «Дерьмо!», заставив едва не подпрыгнуть старикашку Ратти. Прежде она никогда не употребляла подобных словечек, разве что изредка про себя, не собиралась и впредь — а вот на тебе, сорвалось же с языка, словно нечто привычное и само собой разумеющееся...

— Привет, Джордж! — сказала Хитер.

— Привет! — откликнулся он, принимая ее ладони в свои. — Ты прекрасна, прекрасна...

Как только способен кто-то считать Джорджа больным? Что с того, если он и видит свои дурацкие сны? Это куда лучше, чем обладать ясным и трезвым рассудком, исполненным одной только злобы да ненависти, как у доброй четверти тех, с кем Хитер доводилось сталкиваться.

— Уже пять, — сообщила она. — Подожду прямо здесь, на ступеньках. Если дождь, спрячусь в холле. Этот его черный мрамор напоминает гробницу Наполеона и такую тоску наводит, бр-р-р. А здесь, снаружи, чудесно. Даже львов из зоопарка внизу слышать.

— Давай лучше поднимемся вместе, — сказал Орр. — Кстати, похоже, уже моросит.

И действительно, накрапывало, начинался один из бесконечных весенних дождей — арктические льды проливались на головы детей и внуков тех, кто был виновен в их таянии.

— Приемная у Хабера просто чудо, — добавил Джордж. — Возможно, тебе там придется поскучать вместе с какой-нибудь важной шишкой из Федплана, а то и с губернатором. Все отплясывают джигу вокруг директора ЦИВЭЧ. А я, как самый главный экспонат, всякий раз прохожу без очереди. Ручная мартышка самого доктора Хабера. Главная его гордость. Одна лишь видимость, что пациент...

Он провел Хитер по всему огромному вестибюлю, под центральным пантеоном, по стремительно бегущим лентам дорожек и, наконец, вверх по воистину бесконечной спирали эскалатора.

— Если разобраться, то именно ЦИВЭЧ заправляет всей планетой, — заметил Джордж. — Не врубаюсь, отчего Хаберу все еще недостает могущества? На что ему какие-то иные формы? Видит Бог, силы и власти ему теперь не занимать. Почему бы не остановиться? Так нет же, ему еще подавай! Он напоминает Александра Македонского, у того тоже вечно в заднице заноза сидела. Никогда этого не понимал. Но разве в наше время возможно подобное?

Джордж немного нервничал, вот почему говорил необычно много для себя, но ничуть не был подавлен и не казался изнеможенным, как все предыдущие недели. Что-то возвратило ему природную невозмутимость и цельность. Хитер никогда не сомневалась в Джордже, не верила, что решение его проблемы затянется надолго, что он собьется с пути, утратит контакт — даже когда ему случалось оказаться в весьма скверной форме. А сейчас он в порядке, и перемена просто разительна. Хитер терялась в догадках, с чего бы это вдруг. Неужто причина в затянувшихся вчера посиделках в уютной гостиной под нежную мелодию «Битлз» с немудрящей текстухой? Неужто такая перемена — и лишь из-за этого?

В просторной, вылизанной до блеска приемной почему-то не оказалось ни души. Джордж представился забавному ящику возле двери, киберсекретарю, как пояснил он. Хитер едва успела выжать из себя незатейливую нервную шуточку насчет того, не заменили ли здесь и любовь киберсексом, как дверь распахнулась и на пороге перед ними предстал директор Хабер собственной персоной, целиком заполнив дверной проем.

Хитер видела его лишь однажды, мельком, когда доктор впервые знакомился со своим пациентом, и успела забыть, как он огромен, импозантен и величествен, какой патриаршей обзавелся бородой.

— Проходите, Джордж! — громыхнул великан доктор.

Хитер была просто ошеломлена видом хозяина, трусила отчаянно. И тут он ее заметил.

— О-о, миссис Оорр, как я рад! Добро пожаловать! Заходите, заходите тоже.

— О нет. Лучше я...

— О да! Я настаиваю! Известно ли вам, миссис Оорр, что сегодня, возможно, наша с Джорджем последняя встреча? Он не говорил вам? Верно, готовил сюрприз. Последнее дуновение торнадо, завершающий мазок. Так что проходите смело, ваше присутствие никак не помешает. Я сегодня пораньше распустил по домам весь свой персонал. Возможно, вы даже обратили внимание на легкое столпотворение внизу, пока поднимались по главному эскалатору. Будем чувствовать себя полными хозяевами этих хором. Вот сюда, занимайте это кресло, здесь вам будет удобно.

Хабер прошел дальше — очевидно, ни в каких ее ответах на свои словоизвержения он не нуждался. Но Хитер пленилась манерами доктора, своеобразной его экзальтированностью, это при медвежьей-то стати — за всем этим как-то забывалось, с какой мировой величиной, знаменитостью приходится иметь дело. И все же ей казалось совершенно невероятным, что такой великий ученый, один из лидеров человечества, долгие недели возится с ее Джорджем, который по сравнению с доктором просто пустое место. Хотя случай Джорджа, по всей видимости, для науки имеет все же немаловажное значение.

— Последний сеанс, — пробасил Хабер, подкручивая что-то на компьютероподобной панели в стене над изголовьем кушетки. — Один завершающий контролируемый сон, и тогда, полагаю, нашу с вами проблему как корова языком слизнет. Вы в игре, Джордж?

Он частенько обращался к мужу по имени. Хитер вспомнила, как неделю-другую назад Джордж поделился с ней: «Хабер так часто повторяет мое имя, что невольно складывается впечатление, будто этим он хочет уверить в чем-то самого себя. Возможно, в том, что еще не остался один-одинешенек».

— Да, к вашим услугам, — отозвался Джордж и, улыбнувшись жене, откинулся на спинку кушетки.

Хабер тут же возложил ему на голову нечто вроде короны, соединенной невероятной путаницей проводов с аппаратурой, и поправил какие-то винты. Это напомнило Хитер процедуру выпечатывания энцефалограмм, которую вкуне

с целым ворохом прочих тестов ей самой пришлось проходить при получении фэдплановского гражданства. Ассоциация не из самых приятных. Как будто крохотные пиявки в волосах Джорджа, высасывая его мысли, смогут обратить их на бумажной ленте в бессмысленные и безумные каракули — неопровержимую улику слабоумия. На лице мужа застыла печать глубокой сосредоточенности. О чем это он так крепко задумался?

Хабер едва уловимым жестом ухватил Джорджа за горло, как бы собираясь придушить, другой же рукой включил магнитофон. Из динамиков потекла обычная гипнотическая канитель, записанная его же голосом: «Вы расслабляетесь, вы погружаетесь в транс...» Очень скоро доктор остановил ленту и проверил действие внушения — Джордж уже витал в гипнотических эмпиреях.

— Отлично, — негромко заметил Хабер и о чем-то задумался. Огромный, как поднявшийся на дыбы гризли, он переминался на носках между Хитер и расслабленным телом Орра на кушетке. — Теперь слушай меня внимательно, Джордж, и запоминай все дословно. Ты в глубоком трансе и будешь досконально следовать всем моим инструкциям. Когда я скамандую, ты уснешь и увидишь сон, эффективный сон. Тебе приснится, что ты совершенно нормален, совершенно такой же, как все люди вокруг. А также приснится, что когда-то ты обладал — или просто *думал*, что обладаешь, — способностью к эффективным сновидениям, но теперь это *уже не так*, у тебя больше нет подобного таланта. Начиная с этого момента твои сны ничем не отличаются от чьих-либо еще, значение имеют лишь для тебя одного и не оказывают никакого влияния на окружающую действительность. Все это должно присниться тебе, а какими там красками и метафорами ты изукрасишь свой сон, особой роли не играет, — его эффективное содержание в том, что ты никогда более не увидишь эффективных снов, этот — последний. Пусть он окажется приятным, чтобы, когда я трижды окликну тебя по имени, ты проснулся свежим и бодрым. После этого сна ты напрочь утратишь способность видеть эффективные сны. А теперь — ложись-ка на спину. Располагайся поудобнее, как тебе нравится. Отлично. Сейчас ты уснешь, ты уже засыпаешь. Антверпен!

С этой последней командой губы Джорджа слабо шевельнулись, и он глухо, как лунатик, что-то пробормотал. Хитер не расслышала, что именно, но в памяти тут же

всплыл эпизод из вечера накануне — она тогда сама уже почти забылась следом за Джорджем, как вдруг он отчетливо произнес: «Ветер per annum*» или что-то вроде того; она сразу же переспросила, но Джордж уже спал беспробудно — точно как и сейчас.

При виде мужа, лежащего на кушетке с безвольно раскинутыми руками, такого бесконечно уязвимого, у Хитер сжалось сердце.

Завершив увертюру, Хабер нажал белую клавишу на пульте агрегата в изголовье кушетки. Часть проводов от головы Джорджа вела к нему, часть, как сообразила Хитер, — к обычному энцефалографу. Стало быть, вот он, этот хваленый Аугментор, вокруг которого весь сыр-бор и разгорелся.

Доктор приблизился к ней, сидящей в глубоком кресле яловой кожи. Хитер давно уже успела позабыть, какова натуральная кожа на ощупь. В принципе почти как винил, только пальцам почему-то приятнее. Хитер испуганно напрыглась, она не могла угадать, чего ждать ей теперь от Хабера. Он возвышался над нею, монументальный, точно некий триединый шаман-медведь-кумир.

— Наступает кульминационный момент, миссис Опп, — заговорил доктор, приглушив свой бас. — Кульминация долгой серии тщательно продуманных экспериментов. Именно к сегодняшнему финалу, я бы сказал, финалу-апофеозу, мы приближались столь медленным шагом все прошедшие недели. И я весьма рад, что вы здесь, хотя, признаться, приглашать вас не собирался. Тем не менее присутствие ваше наверняка прибавило пациенту уверенности, укрепило ощущение подлинной безопасности. Он знает, что отказывать на ваших глазах какие-либо номера я не стану, не так ли? И я абсолютно уверен в успехе, тут уж действительно никаких фортелей. У нас не цирк, здесь все без фокусов. Как только страхи перед сновидениями, обуявшие пациента, рассеются, напроць исчезнет и наркотическая зависимость. Элементарная причинно-следственная связь... Но пора взглянуть на энцефалограф, пациент, должно быть, уже видит сон, прошу прощения.

Доктор стремительно, вопреки всей своей массе, пересек комнату. Хитер осталась в кресле, издали вглядываясь в отрешенное лицо Джорджа, отрешенное совершенно и

* Из года в год, навсегда (лат.).

безвозвратно — точно таким же мог бы выглядеть он и на смертном одре.

Хабер неотрывно хлопотал над своей машинерией, не обращая больше на Орра никакого внимания.

— Вот, — проронил доктор негромко. «Это он сам с собой говорит, — решила Хитер и не ошиблась. — Вот оно. Сейчас. Вот небольшой разрыв, крохотная пауза второго уровня между сновидениями. — Доктор подкрутил что-то на стенном пульте. — Пожалуй, предпримем еще одну маленькую проверочку... — Он возвращался к Хитер, и снова ей захотелось раствориться, слиться с обивкой кресла, стать невидимкой. Казалось, доктор вообще не находит в молчании никакого смысла. — Ваш супруг, миссис Опп, сослужил неоценимую службу науке, да и всему человечеству. Совершенно уникальный пациент. То, что мы с его помощью узнали о природе сновидений, об их влиянии, как положительном, так и отрицательном, на терапию, буквально бесценно для жизни во всех ее проявлениях. Вы ведь знаете, с какой целью основан ЦИВЭЧ, помните, наверное: Центр исследования вариантов эволюции человека? Случай с вашим мужем открывает воистину невероятные, буквально беспредельные возможности эволюции человечества, бесконечный путь его совершенствования. Удивительно, чем только может завершиться, казалось бы, заурядное обследование по поводу злоупотребления препаратами! Просто в голове не укладывается. А самое удивительное, что докам из медхрана хватило ума подарить этот случай мне, буквально на блюдечке поднести. Не часто встретишь подобную проницательность у академиков от психиатрии. — Хабер ни на миг не отрывал взгляда от наручных часов. — Ладно, пора обратно к нашему беби. — Похлопав возле Аугментора, доктор громко объявил: — Джордж! Ты спишь по-прежнему, но теперь можешь меня слышать. Можешь слышать и поймешь все, что я сейчас скажу. Кивни, если слышишь.

Голова Джорджа, все с той же миной безучастности на лице, слегка дернулась — как у марионетки на ниточке.

— Хорошо. Теперь слушай внимательно. Сейчас ты увидишь еще один отчетливый сон. Ты увидишь... большую фотофреску на стене — здесь, в моем кабинете. Огромную фотографию Маунт-Худа, сплошь покрытого снегом. Тебе приснится, что эта фреска висит прямо над столом. Приснится ярко и отчетливо. И это все. Сейчас ты уснешь и увидишь сон... Антверпен! — Доктор снова прильнул к ап-

паратуре. — Ага... — выдохнул он, — вот оно... О'кей... Отлично!

Едва слышно шелестело оборудование. Джордж лежал по-прежнему безмолвный. Даже Хабер, замерев, перестал бормотать себе под нос. Мертвая тишина повисла в большой мягко освещенной комнате со стеклянными стенами, исполосованными дождем. Доктор стоял возле энцефалографа, не сводя глаз со стены над письменным столом.

Ничего не происходило.

Хитер описала пальцем кружок по упруговолокнистой обивке подлокотника, по нежной материи, некогда облежавшей живое существо тонкой защитной пленкой между чувствующей плотью и безучастным космосом. В памяти всплыла мелодия вчерашней старинной записи, всплыла и зазвучала уже неотвязно.

*Что ты увидишь, когда погаснет свет?
Может, меня среди звезд и планет?*

Казалось просто невероятным, что Хабер в состоянии безмолвствовать столь долго, стоять так неподвижно. Лишь однажды его пальцы шевельнулись, поправляя что-то на пульте, — и снова он застыл, вперившись в глухую отделанную деревянными панелями стену.

Джордж вздохнул, вяло поднял руку, уронил снова — и проснулся. Мигая, уселся. И сразу же обратил взгляд на Хитер — как бы желая удостовериться, что она все еще здесь, никуда не подевалась.

Измученно вздев брови, Хабер молниеносно утопил клавишу на пульте Аугментора.

— Что за дьявольщина? — громыхнул он, всматриваясь в экран энцефалографа, все еще выписывающего замысловатые зигзаги. — Аугментор продолжает поддерживать стадию быстрого сна. Какого черта вы проснулись?

— Не зна-а-аю, — зевнул Джордж. — Проснулся. А вы разве не велели?

— Как обычно — по парольному сигналу. Но как, черт побери, как удалось вам превозмочь подпитку шаблона Аугментором?.. Похоже, придется прибавить напряжение, для подобных затей его, оказывается, мало-ато... — протянул Хабер, снова погружаясь в беседу с самим собой или, в лучшем случае, со своим электронным детищем. Получив от него, видимо, какой-то удовлетворительный ответ, снова обернулся к Джорджу: — Порядок! Что вам приснилось?

— Что здесь на стене висит фотография Маунт-Худа, прямо над моей женой.

Взгляд Хабера метнулся к стене и вновь вернулся к Джорджу.

— Еще что-нибудь? Предыдущий сон, его запомнили?

— Кажется, да. Погодите, одну минутку... Похоже, снилось, что я сплю и вижу сон, нечто вроде того. Весьма запутанно. В этом двойном сне я находился в магазине... Точно, выбирал себе новый костюм у Майера и Франка, искал голубой, понаряднее — для нового места службы или чего-то в том же роде. Точнее не припомню. Так или иначе, там мне вручили проспект, где в форме таблицы значилось, какой идеальный вес соответствует определенному росту и наоборот. И я оказался точно посередине всех этих шкал для мужчин среднего роста.

— Иначе говоря, утодили в самую что ни на есть норму, — заметил Хабер и внезапно расхохотался. Грянул просто громовым раскатом — Хитер едва не сделалось дурно после томительного напряжения бесконечно тянувшейся ранее паузы. — Великолепно, Джордж, просто великолепно! — Похлопав пациента по плечу, доктор стал снимать с его головы электроды. — Мы сделали это! Приехали! Вы свободны, Джордж, свободны как ветер. Вы понимаете, что это значит?

— Надеюсь, что да, — ответил Джордж без особого энтузиазма.

— Камень с ваших плеч, не так ли?

— И на ваши?

— Именно! На мои! Опять в самое яблочко, Джордж! — Очередной приступ хохота, причем несколько затянувшийся, едва не свалил Хабера с ног.

Хитер подивилась, всегда ли доктор такой или это свидетельство крайнего возбуждения.

— Доктор Хабер, — сказал ее муж спокойно, дождавшись тишины, — вам не приходилось когда-либо беседовать о снах с пришельцами?

— С альдебаранцами, хотите сказать? Пока не довелось. Правда, Форди из Вашингтона воткнул несколько наших онейрологических тестов в большую серию прочих психологических, но результат оказался нулевым, явная бессмыслица. В этой области у нас с ними абсолютный провал во взаимопонимании. Пришельцы обладают разумом, но, как считает наш ведущий ксенобиолог Ирчевски, природа их разума иррациональна, а то, что мы принимаем за их нор-

мальную социальную абсорбцию, суть разновидность инстинктивно-адаптивной мимикрии. Спору нет, все это еще под большим вопросом. На них ведь не нацепишь датчики энцефалографа. Фактически мы даже не знаем, спят ли они вообще, а о сновидениях уж и говорить не приходится.

— Знаком ли вам термин *йах'хлу*?

Хабер на мгновение замялся.

— Слышал, слышал, как же. Непереводимое словцо. А вы решили, что оно означает нечто, связанное со сновидением?

Джордж отрицательно помотал головой:

— Понятия не имею, что оно означает. Я не пытаюсь разыгрывать из себя всезнайку, не утверждаю, что постиг больше других, но мне определенно сдается, что, прежде чем двинуться дальше, прежде чем применять вашу новую технологию, до того, как вы, доктор Хабер, заснете и увидите сон — вам следует побеседовать с одним из инопланетян.

— С кем именно? — В тоне Хабера сквозил ядовитый сарказм.

— Все равно, с любым. Это не играет особой роли.

— О чем же мне следует с ним поговорить, Джордж? — хохотнув, полюбопытствовал Хабер.

Хитер заметила, как озарился, буквально полыхнул взгляд мужа, устремленный на верзилу доктора снизу вверх.

— Обо мне. О сновидениях. О *йах'хлу*. Неважно о чем. Неважно — пока будете слушать. Пришелец сам поймет, что от него требуется. По сравнению с нами у них куда больший опыт во всех этих материях.

— В каких еще материях, Джордж?

— В ваших любимых сновидениях, вернее, в том, одним из аспектов или же граней чего они на самом деле являются. Пришельцы занимаются этим с незапамятной поры, а может, и вообще с начала времен. Они, собственно, сами как бы выходцы из времени сна, из каких-то иных внепространственных координат. Это непросто понять, а уж выразить словами и подавно не удастся... Понимаете, доктор, не только люди и животные — все сущее видит сны. Затейливая игра форм мироздания суть сновидение материи. Скалам снятся их неспешные сны, плавно изменяющие облик Земли... Но вот когда обретают разум сознательные существа, когда темп эволюции возрастает на порядок, тогда и следует соблюдать особенную осторожность. Беречь и лелеять мир. Изучать пути. Осваивать мастерство,

искусство, познавать пределы. Разумное сознание должно стать неотъемлемой частью мироздания, бережно, шаг за шагом вписаться в него, подобно тем же скалам, которым это дано от природы. Вы понимаете, о чем я? Хотя что-нибудь вам это говорит?

— Все, о чем вы толкуете, Джордж, давно уже не новость. Все это было и былшем поросло. Мировая душа и прочее в том же духе. Донаучное знание. Согласен, мистическое учение — один из возможных путей приближения к разгадке природы сновидений или, как мы с вами условились, реальности, но подобное направление попросту неприемлемо для того, кто привык мыслить четкими научными категориями и оперировать строгими причинно-следственными связями.

— Не знаю уж, насколько это окажется правильным, — сказал Джордж устало, без тени негодования, — но попробуйте — хотя бы из простого научного любопытства, — попытайтесь все же напоследок, прежде чем испытаете Аугментор на себе, прежде чем приступите к самовнушению, когда ваш палец уже коснется клавиш на пульте — попробуйте произнести: «*Вэй р'перенну*». Вслух или про себя. Всего один раз. Отчетливо. Попробуйте, док.

— Для чего же?

— Это должно сработать.

— Сработать? Каким образом?

— Вы получите чуток помощи от своих друзей, — сказал Джордж, поднимаясь с кушетки.

Хитер ужаснулась — то, что нес теперь Джордж, отдавало явным делирием, должно быть, лечение довело, проклятый Хабер, она ведь знала, что все этим и кончится. Но почему же Хабер не реагирует на безумные речи, как положено психиатру?

— *Йах'хлу* слишком велико, чтобы с ним мог совладать кто-либо в одиночку, — продолжал Джордж. — Оно выскальзывает из слабых человеческих рук. Пришельцы знают, как управляться с ним. Вернее, не управляться, это неточное слово, но держать от себя подальше и следовать верному пути... До конца я так и не понял. Может быть, вам удастся больше. Попросите помощи, док, не стесняйтесь. Произнесите «*вэй р'перенну*», прежде чем... прежде чем нажмете на клавишу.

— Пожалуй, во всем этом что-то есть, — пробурчал Хабер неожиданно для оцепеневшей Хитер. — Вполне может представлять некий научный интерес. Я прислушаюсь к

вашим словам, Джордж, и приглашу сюда одного из служащих альдебаранского культурцентра, тогда и посмотрим, удастся ли нам хоть что-то из него выудить... Что, миссис Опп, для вас это сплошная абракадабра? Ваш супруг, риску предположить, уже заразился от меня страстью к психиатрическим исследованиям — и боюсь, кончился как конструктор. — «Почему доктор назвал Джорджа конструктором, — подивилась Хитер, — он ведь художник-дизайнер по проектированию парков отдыха?» — А чутье и от природы у него ого-го какое! Никогда бы не додумался подключить к своему проекту альдебаранцев, теперь же сам вижу, что здесь, может статься, и зарыта собака. Но вы, должно быть, довольны, что ваш Джордж не психиатр и не станет им, не так ли? Непросто иметь супруга, анализирующего ваши подсознательные желания прямо за обеденным столом. Как вы считаете?.. — Хабер гудел и громогласно похотывал без конца, провожая гостей к выходу, и едва не довел Хитер до истерики.

— Ненавижу, ненавижу его! — восклицала она в ярости уже на спиральном спуске. — Ужасный человек! Лживый насквозь. Здоровенная такая груда фальши.

Джордж прижал жену к себе, приласкал. И не ответил ни слова.

— Но это закончилось, Джордж? Действительно, закончилось? Ты и в самом деле не станешь больше глотать таблетки и посещать эти мерзопакостные сеансы?

— Думаю, да. Хабер подошьет результаты исследований в мою папку, и уже через шесть недель мне выдадут справку об освобождении. Если хорошо буду себя вести. — Джордж устало улыбнулся. — Смотрю, ангелочек мой, эти процедуры подействовали сегодня сильнее на тебя, чем на меня. Хотя я тоже устал и зверски проголодался. Куда пойдем ужинать? Ты хотела в Каза Боливиана?

— Давай лучше махнем в Чайнатаун, — предложила Хитер и осеклась. И глупо хихикнула. Старый китайский проспект вместе с прочими замшелыми останками центра был снесен подчистую добрый десяток лет тому назад. Как только это могло вылететь у нее из головы? — Я имела в виду заведение Руби Лу, — смущенно поправилась она.

Джордж нежно пожал ей кончики пальцев:

— Договорились.

Добраться туда было проще простого — первая же остановка фуникулера за рекой как раз и находилась в старом Ллойд-центре, до Катастрофы одном из средоточий мировой

торговли. Ныне многочисленные монстры его автопарков отправились следом за динозаврами, а большинство магазинчиков двухэтажного пассажа слепо таращились выбитыми и наспех заколоченными витринами. Закрытый каток не заливался уже лет двадцать и позабыл, что такое лед. Давно не журчала вода и в авангардистски причудливых конструкциях бронзовых фонтанов. Буйно разрослись запущенные декоративные деревья, вздыбив своими корнями асфальт далеко за пределами аккуратных цилиндрических бордюров. Голоса и шаги немногочисленных прохожих гулким эхом отдавались под заброшенными ветхими сводами пустынных галерей.

Заведение Лу располагалось в самом верхнем ярусе, и снизу его стеклянный фасад за развесистой кроной каштана почти не просматривался. Небо высоко над головой нежно отливало салатovým — тем редким цветом раннего весеннего вечера, какой выдается, когда сразу после дождя выглянет заходящее солнце. Хитер подняла взгляд к бесконечно далеким нефритово-прозрачным небесам, сердце ее вдруг дрогнуло, охваченное неясным и странным томлением, как бы желанием покинуть старую свою оболочку, словно змеиную кожу, но блажь эта оказалась мимолетной. А взамен Хитер тут же ощутила явственный внешний толчок, сдвиг, некое сгущение воздуха — она даже оглянулась, чтобы проверить, уж не зацепилась ли за что-нибудь блузкой. Весьма странное место.

— Как-то мрачновато здесь. Призраки вокруг, что ли? — посетовала она.

Джордж пожал плечами, но лицо его приняло напряженно-озабоченное выражение.

Налетел ветер, слишком жаркий для апрельского вечера, дохнул в лицо влажным теплом, зашелестел бесчисленными свечами каштанов и рассеялся в забытых людьми проулках пассажа. Красная неоновая вывеска заведения Лу за могучими ветвями стала вдруг терять свои очертания, корчиться и расплываться, не призывая более отведасть кулинарных изысков старины Лу, она вообще не звала больше никого и никуда. И все остальное вокруг внезапно стало терять значение, утрачивать всяческий смысл. Ветер, словно продув некое дупло в пространстве и как бы вплеснув пустоты, усугубил окружающее запустение. Хитер, с глазами на мокром месте, инстинктивно дернулась к ближайшей стене, чтобы спрятаться от неведомой, непонятно откуда исходящей угрозы.

— Что с тобой, любовь моя?.. Все в норме, держись меня и ничего не бойся.

«Это я схожу с ума, не Джордж, — мелькнула мысль, — и прежде он был вовсе ни при чем, все я сама».

— Все будет хорошо, успокойся, — шепнул он еще раз, привлекая жену к себе, но в голосе его уже не звучала былая уверенность, не ощущалось ее более и в объятиях.

— Что-то не так! — отчаянно вскрикнула Хитер. — Джордж, что стряслось?

— Еще не знаю, — ответил он едва ли не рассеянно, задрав куда-то вверх голову и машинально продолжая успокаивать Хитер.

Казалось, Опп вглядывается в невидимое и вслушивается в беззвучное. Хитер всей кожей ощущала гулкие и размеренные удары сердца в неширокой его груди.

— Послушай, Хитер. Мне придется вернуться, — проронил он наконец.

— Куда вернуться-то? Что, собственно, происходит? — Голос ее срывался чуть ли не на визг.

— К Хаберу. Я вынужден. Теперь же. Подожди меня — в ресторане. Дождись меня, Хитер. Не ходи следом.

Джордж удалялся. Она должна быть с ним. Он уходил не оглядываясь, сбегал по бесконечной лестнице под гулкими пролетами арок, мимо иссохших фонтанов — к остановке фуникулера. Вагончик поджидал, это была конечная, он заскочил внутрь с ходу. А когда вагон уже отходил от платформы, Хитер с разрывающимся сердцем и жаром в легких успела запрыгнуть ровно чудом.

— Какого дьявола, Джордж?

— Прости, любимая. — Он тоже отчаянно запыхался. — Я просто обязан вернуться. И не хотел впутывать тебя во все это.

— Во что впутывать? — Ее вдруг охватила неистовая злость. Они сидели лицом друг к другу, пытая и отдуваясь. — Что за идиотский спектакль ты устроил, что это за цирк на дроте! И для чего тебе туда возвращаться?

— Понимаешь, Хабер, он сейчас... — Голос Джорджа пресекался. — Он видит сон.

Где-то в самой глубине души Хитер шевельнулся дремучий ужас — но она подавила его.

— Хабер видит сон. Ну и что с того?

— Выгляни в окно.

До сих пор Хитер не отрывала глаз от мужа — и во время безумной гонки за ним, и здесь, в вагоне. Фуникулер

болтался теперь над рекой, над ее водной гладью — но... не было более никакой водной глади, река внезапно иссякла, распахнула чрево, выпятила в свете фонарей на мостах и набережных всю свою донную грязь, мерзкий вонючий ил, ошметки жизнедеятельности, ржавые железяки и дохлую рыбу. Гигантские корабли задрали кили возле резко выросших осклизлых стен доков.

Сооружения центральной части Портленда, неформальной столицы мира, все эти грандиозные кубы из стекла и бетона, нарядно перемежаемые зелеными насаждениями, твердыни мировой власти, оплоты науки, связи, индустрии, экономического планирования, общественного контроля — все прямо на глазах оседало и таяло. Стены зданий, зыбкие и влажные, как позабытая на солнце медуза, складывались и опадали, оставляя после себя в воздухе жирные кремовые мазки.

Вагончик фуникулера мчался теперь невиданно быстро, проскакивая все положенные остановки — что-то, видимо, стряслось и с тросом, безучастно отметила про себя Хитер. Пассажиров бешено мотало над растворяющимся городом, впрочем, достаточно низко, чтобы расслышать скрежет вселенского распада и вопли ужаса.

Когда вагон поднялся выше, в поле зрения Хитер, прямо над плечом сидящего лицом к ней супруга, всплыл Маунт-Худ. Джордж, должно быть, заметил грозовые сполохи на ее помертвелом лице или в широко раскрытых глазах и обернулся на миг, чтобы окинуть взглядом колоссальный опрокинутый конус смертоносного пламени.

Вагон мотался в бездне между теряющим очертания городом и бесформенным небом.

— Все как-то не так идет сегодня, совершенно не так, — донеслось из дальнего конца вагона брюзгливое пронзительное контральто.

Вспышка извержения была чудовищна и прекрасна. Колоссальная геологическая энергия вулкана, копившаяся тысячелетиями, как бы подчеркнула призрачность конечной цели их маршрута — пустоту пространства вокруг дворца ЦИВЭЧ.

Недобрые предчувствия, посетившие Хитер в пассаже Ллойд-центра, вернулись, нахлынули с новой силой. Это было здесь, оно присутствовало повсюду вокруг, высасывало душу леденящим вакуумом — неизмеримая сущность без признаков и свойств, куда проваливалось все и вся без

возврата. Это было ужасно, это было само Ничто. Это был Неправильный Путь.

Именно туда и отправился Джордж, выскочив из вагона на конечной остановке. Обернувшись на ходу, он махнул рукой и прокричал:

— Не смей ходить за мной дальше, Хитер! Жди здесь, никуда не отходи!

И хотя женщина на сей раз подчинилась, *это* добралось до нее, оно разрасталось слишком быстро. Чувствуя, как ускользает предметный мир, Хитер дернулась в приступе панического страха и сама истаяла в нем, отчаянно выкрикивая имя мужа, последнюю свою надежду, изошла безголосым, беззвучным криком — пока не взвихрилось мутным шаром собственное ее бытие и не кануло в мрачную безводную пучину на веки вечные.

Усилием воли, колоссальным напряжением сил Джордж Орт прокладывал себе правильный путь сквозь всеобщий распад. Уже ничего не видя, он стопами нащупывал марморные ступени парадной лестницы ЦИВЭЧ. Вместо ступеней взору представляли лишь грязь, туман, истлевшие трупы да бесчисленные мелкие и крупные гады, Орт шагал прямо по ним. Дохнуло космическим холодом, смешанным с доменным жаром и смрадом паленой плоти. Орт пересекал вестибюль, буквы афоризма, бегущего по фризу, оплывали на глазах: ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ЧЕЛОВЕ-Е-Е..., буква «Е» упорно цеплялась за выступ хилыми своими грабельками. Орт ступил на совершенно уже невидимую бегущую ленту спирального эскалатора, ведущую в ничто и поддерживаемую лишь силой его собственного воображения. И даже не зажмурился, взлетая ввысь.

Полы верхнего этажа покрывала неровная ледяная корка толщиной с палец, абсолютно прозрачная — сквозь нее уныло перемигивались созвездия Южного полушария. Орт смело наступил на них, и звезды звякнули дружно, но фальшиво, как надтреснутые бубенцы. Смрад тления сгустился, у Орта перехватило дыхание, он шагал вслепую, широко расставив руки. Дверь в офис Хабера где-то совсем рядом, даже не видя, он сумеет нащупать ее. Вдали завывли голодные волки, и жаркая лава подхлынула к городу.

Он добрался до последней двери и одним рывком сумел ее распахнуть. За порогом взору предстало клубящееся Ничто.

— Помогите! — вскрикнул Орт, чувствуя, как накатывает бессилие и нет больше мочи устоять перед пастью

ненасытной пустоты. А ведь еще надо добраться до противоположной стены.

Словно золотистая пыль закружилась в сознании — перед мысленным взором цепочкой предстали Тьюа'к Эннби Эннби, крохотный бюстик Шуберта, гримаска Хитер — «Какого дьявола, Джордж!». И это последнее помогло, Орт сумел пересечь пустоту. Уже вступив в нее, знал, что утратит все и вся.

Он заглянул в самое око кошмара.

И это оказался мглистый холод, мертвая зыбь, мутная пульсация тьмы, сотканной из материй страха, эпицентр смертельного ужаса, раздирающего душу в мелкие клочья. Орт знал, где искать Аугментор, он простер мертвеющую свою десницу, он дотянулся. Нашупав нижнюю клавишу, резко нажал.

И осел на пол, смежив веки, и съехал в комок — уступая невыносимому натиску страха. Когда сумел открыть глаза и оглядеться, мир вновь стал проявляться, точно фотопластинка. Он был удручающе жалок, этот мир, и все же он *был*.

Нарядные стенные панели ЦИВЭЧ исчезли бесследно, уступив место замызганным стенам заурядного офиса, в котором Орт прежде никогда не бывал. Хабер лежал пластом на кушетке, бородой в потолок, бородой вновь рыжевато-каштановой. Кожа его, утратив серый оттенок, вернула себе прежний молочно-розовый цвет. И отсутствующий, неосмысленный взгляд приоткрытых глаз тоже упирался в потолок.

Орт содрал с головы доктора шлем вместе с клубком змеящихся к Аугментору проводов. Он взглянул на аппарат — все дверцы кожуха нараспашку. «Надо бы Аугментор сломать», — вяло подумал Орт, но не нашел в себе на то ни сил, ни желания. Разрушение не по его части, к тому же машина виновна в случившемся меньше, чем любая бессловесная тварь. Она лишь исполняла недобрую человеческую волю.

— Доктор Хабер! — Орт подергал доктора за массивное плечо. — Доктор! Проснитесь! Эй!

Здоровенное тело слабо шевельнулось, доктор медленно приподнялся и сел. Но это был уже не прежний Хабер — некогда гордая его голова вяло тонула теперь в массивных плечах, нижняя челюсть отвисла, роняя слюну, глаза тупо вперились в вакуум, в небытие, угнездившееся в душе быв-

шего Уильяма Хабера, они утратили живой агатовый блеск, они были стеклянно пусты.

Орр отшатнулся, ему стало дурно, он бросился прочь...

«Хаберу нужна помощь, — дятлом стучало в виске, — его нельзя оставлять одного, срочно нужно кого-то позвать, вызвать неотложку...» Проскочив незнакомую приемную, Орр сбежал по ступенькам. Он прежде никогда не бывал в этом здании и даже представления не имел, где находится. Когда оказался на улице, догадался, что вокруг вроде бы Портленд, но и все тут. Где-то по соседству, прикинул Орр, должен находиться Вашингтон-парк или Западные холмы. Но улица квартал за кварталом оставалась совершенно неузнаваемой.

Пустота души Хабера, вырвавшись из дремлющего сознания наружу в виде эффективного кошмара, разрушила связи. Преемственность между мирами, всегда более или менее соблюдавшаяся в сновидениях Орра, прервалась теперь окончательно. И в действие вступил всемогущий Хаос. У Орра не оставалось почти никаких связных воспоминаний о жизни в этом новом континууме. Почти все его знания об окружающем мире складывались теперь как наледие иных его воплощений, иных снов.

Прочим людям, менее зрячим, чем он, возможно, легче будет приспособиться к подобному сдвигу существования, но, не получив никаких разъяснений и увещаний, они окажутся также легче подвержены и панике. Они обнаружат свой мир изменившимся катастрофически, внезапно и необъяснимо — без всяких на то видимых причин. Да, сновидение доктора Хабера принесет людям немало злых бед и горького горя.

И потерь. Утрат.

Орр знал, что снова потерял свою Хитер, знал уже с того момента, когда с ее мысленной помощью преодолел страх перед *пустотой*, окружающей спящего доктора. Жена исчезла, растворилась вместе с миром серых людей и гигантской иллюзией здания, к которому он так стремился, бросив ее совсем одну посреди гибельных кошмарных турбуленций. Хитер более не было.

Орр уже не пытался позвать кого-то на помощь Хаберу. Доктору ничем не поможешь. Как, впрочем, и ему самому. Орр и так уже сделал все, что только мог. Он шагал теперь по причудливо искривленным улочкам, лишь по угловым табличкам определяя, что находится где-то в северо-восточных кварталах. Орр и прежде здесь не очень-то ориентировался.

Его окружали убогие приземистые строения, а на перекрестках открывался вид на Маунт-Худ. Извержение уже закончилось, вернее, оно вообще здесь не начиналось. Сумеречно-фиолетовый конус, спокойно дремлющий, вздымался к вечереющему апрельскому небу. Вулкан беспробудно спал.

Сны, сны, сны — сновидения.

Орр петлял без всякой видимой цели, шагая то по одной улочке, то по другой. Он бесконечно устал и порой даже хотел присесть, а то и прилечь прямо на тротуаре, чтобы перевести дух, и держался из последних сил. Похоже, он все-таки приблизился к деловым кварталам, и скоро набережная. Город, отчасти разрушенный, отчасти трансформированный, куча мала из осколков грандиозных прожектов и незавершенных воспоминаний, кишел и роился, как бедлам, новый Вавилон, пожары и безумие блохами перескакивали от дома к дому. И все же многие прохожие с отрешенными лицами спешили, очевидно, по своим обычным житейским делам. Двое громил сосредоточенно потрошили витрину ювелирной лавки, а мимо них с орущим краснщежим младенцем на руках безучастно проходила дамочка, определенно торопясь к себе домой.

Где бы ни был теперь этот дом.

Свет [звезды] спросил Небытие: «Ты есть, или нет тебя вовсе?» И не дождался ответа...

«Чжуан-цзы», XXII

Пытаясь в эту безумную ночь держаться верного пути сквозь предместья Хаоса к родимой Корбетт-авеню, Джордж утратил всякое представление о времени. Он был уже сам не свой, на самой грани отчаяния, когда дорогу внезапно заступил пришелец с Альдебарана. И предложению идти следом, выраженному весьма непреклонно, Орт покорился безропотно, почти бессознательно. Лишь спустя какое-то время, совершенно изнеможенный, Орт вдруг сообразил поинтересоваться, не зовут ли спутника Тьюа'к Эннби Эннби — вопрос был чисто риторическим, продиктованным остатками присущей ему вежливости, — но выслушать и понять старательно составленный ответ: «Личность называющийся Йор Йор есть приглашаемый гоститься к личности называющийся Э'нимемен Асфак», оказался уже совершенно не в силах. Джордж целиком сосредоточился на одном — удержаться бы на ногах.

Пьяно ковыляющего Орта привели в квартиру где-то на набережной, машинально он еще отметил скромную вывеску велосипедной мастерской по соседству и за ней другую, понаряднее — «Миссия Неизменной Надежды на Благоую Весть», сегодня там, похоже, яблоку негде упасть. Должно быть, в этот вечер здесь, в Портленде, как и во всем остальном свете, извлекали из бабушкиных сундуков траченных молю богов и идолов всех сортов и мастей, протирали от пыли и умащали, чтобы подвергнуть затем самому пристрастному допросу. И всем им с той или иной степенью деликатности предлагался один и тот же вопрос: что

стряслось с миром в промежутке между 6.25 и 7.08 пополудни по стандартному тихоокеанскому времени?

Пока Опп с пришельцем взбирались (а Опп скорее карабкался) по крутой темной лестнице на второй этаж, звук их шагов елейным диссонансом заглушал доносящийся снизу псалом «Столпы веков». В квартире хозяин сразу же витиевато предложил валяющемуся с ног гостю занять единственную кровать.

— Сон есть возможность заштопывать где прохудиться рукав от ткань подопечность, — деликатно, но весьма туманно пояснил он.

— Во сне случается видеть сны — вот ведь где собака зарыта, — едва шевеля непослушными губами, ответил Опп. Что-то в манере речи хозяина показалось не вполне обычным, но понять, что именно, сил уже не достало. — А вы-то сами где уляжетесь? — спросил он еще, тяжело оседая на кровать.

— Ни где, — отозвался пришелец, четко разделив своим безжизненным голосом слово «нигде» на две равно значимые половинки.

Опп скорчился в три погибели, пытаясь избавиться от опостылевшей обуви, мелькнувшая было мысль раскинуться на чистом нарядном покрывале как есть показалась ему недопустимой, верхом неприличия — и тут же испытал дичайший приступ головокружения.

— Господи, как же все-таки я устал, — посетовал он. — А ведь немало потрудился сегодня. Вернее, кое-что сделал. Если же до конца быть честным, то всего лишь одно. Нажал на кнопку. И каких же адских усилий, какого жуткого напряжения воли потребовала эта единственная кнопка, проклятый выключатель.

— Ты прожить достойно, — заметил хозяин.

Пришелец по-прежнему высился в углу статуей командора, собираясь, очевидно, простоять так до конца времен.

Его там вовсе нет, вдруг подумалось Оппу, точно с тем же успехом он мог бы сидеть или лежать, ведь для персонажа сновидения это все едино. Пришелец здесь лишь в том совершенно абстрактном смысле, что каждый где-то все-таки есть.

И Опп улегся. Он явственно, как некую защитную волну, ощущал жалость и милосердие, исходящие от фигуры в темном дальнем углу. Существо определенно видело его, но не глазами, как лишенные панцирей и потому недолговечные существа из плоти и крови, как видит нечто беспре-

дельно уязвимое, брошенное на волю стихий в бездну всемогущего вероятия, нечто совершенно беспомощное. Опп не тревожился. Он нуждался в поддержке. Изнеможение брало свое, захлестывало с головой, он медленно утонул в нем, как в морской пучине.

— *Вэй'р'перенну*, — шепнул он непослушными губами, уступая неодолимому сну.

— *Вэй'р'перенну*, — беззвучным эхом откликнулась из угла темнота.

Опп спал. И видел сны. Сны без каких-либо преткновений, без скелета в шкафу. Волны снов, точно мягкие волны открытого моря вдали от любых берегов, омывали проникновенной мудростью и абсолютно ничего не меняли. Они исполняли неспешный свой танец среди иных волн в безбрежном океане бытия. И еще сквозь сон Оппа с очаровательно-неуклюжей грацией неумоимо скользили гигантские галапагосские черепахи, погружаясь в родные стихии.

Пришло лето. Деревья нарядились в необычно пышную листву, и воздух был напоен ароматом роз. По всему городу, как в незапамятные времена, поднялся на колючих своих стеблях и буйно зацвел неистребимый сорняк, исстари именуемый портлендской розой. Положение выправлялось. Восстанавливалась экономика, люди вновь взялись за газонокосилки. Каждый возделывал свой сад.

Опп находился в федеральном приюте для душевнобольных в Линнтоне, чуть к северу от Портленда. Здания приюта стояли на высоком обрывистом берегу, откуда открывалась восхитительная панорама на Вильяметту, украшенную элегантно-готической диадемой моста Св. Джонса. В конце апреля — начале мая здесь произошло чудовищное столпотворение, приют оказался не в силах вместить всех нуждающихся в исцелении после известных событий, окрещенных с легкой руки безвестного журналиста Великим Разломом. Но сейчас все уже вернулось в рутинное русло и привычно неприятную — койки в коридорах — норму.

Высокий санитар с удивительно тихим для такого здоровья голосом сопровождал Оппа к однокомнатной комнате в западном крыле. Металлическая дверь в корпус, как и двери всех комнат, была оборудована наблюдательным окошком на уровне глаз и не имела ручки.

— Не то чтобы от него так уж много хлопот, — сообщил санитар, отворяя дверь в коридор, — он сам отнюдь не буйный. Беда лишь в том, что в его присутствии в неистовство впадают все остальные. Мы пробовали различные способы лечения, и безуспешно. Все по-прежнему его боятся, никогда еще с подобным я не сталкивался. Пациенты частенько причиняют друг другу беспокойство, ночные истерики и прочее в том же роде, но это — это совсем уж из ряда вон. От *него* просто шарахаются. Лбом вышибить дверь готовы, лишь бы избавиться от такого соседства. А все, что он делает — просто тихо лежит себе пластом. Скоро и сами все увидите. Думаю, больной даже не осознает, где находится. Вот мы и пришли. — Верзила отпер дверь и заглянул в комнату. — Доктор Хабер, к вам посетитель!

Хабер исхудал страшно, бело-голубая полосатая пижама висела мешком. Лишенный пышной гривы и значительной части бороды, доктор, впрочем, выглядел вполне опрятно. Он сидел на кровати и таращился в пустоту.

— Доктор Хабер! — воззвал к нему Орт дрогнувшим голосом, ощущая мучительную жалость вперемешку со страхом. Он-то знал, куда направлен взгляд пациента, он видел это все своими глазами, в том мире — после апреля 98-го. И понимал, что все, окружающее ныне доктора, — лишь скверный сон, для него и для всех.

Вдруг припомнилась птичка из поэмы Томаса Элиота, уверявшая, что людям не под силу бремя реальности — птаха явно заблуждалась, человек до восьмидесяти лет может тащить на закорках вес целой Вселенной. А вот отсутствие этого бремени явно ему не по плечу.

Хабер потерял, он уже окончательно вне контакта.

Орт снова открыл рот, но слов не нашел. Помявшись с минуту, вышел. Санитар тщательно запер за ним дверь.

— Просто не могу, — пожаловался ему Орт. — Путь к нему нет.

— Нет путей, — тихим эхом подтвердил служивый. И уже дальше по коридору участливо заметил: — Доктор Вальтерс уверяет, что прежде пациент подавал большие надежды как исследователь.

В Портленд Орт решил возвратиться по реке. Транспортное сообщение все еще сильно хромало, никак пока не склеивалось — бывшая единая система распалась на беспорядочные осколки. Колледж «Буколическая свирель», например, сохранил под собой сабвей-станцию, но не саму подземку. Фуникулер, прежде курсировавший до Вашинг-

тон-парка, обрывался теперь на полдороге, у входа в туннель, который нырял под Вильяметту и завершался там глухим тупиком. Предприимчивые лодочники тут же наладили регулярное сообщение вдоль и поперек Вильяметты с Колумбией, и добираться до Портленда из таких мест как Линнтон, Ванкувер и Орегон-Сити, стало теперь удобнее всего по воде. К тому же это оказалось куда приятнее, чем прежде подземкой.

Чтобы смотаться в федеральный приют, Опп воспользовался перерывом на ленч, прихватив часок-полтора лишку. Нынешнего его работодателя, Э'нимемена Асфаха, трудовая дисциплина заботила мало, он тревожился лишь за результаты, конечный продукт. А когда ты выполнишь норму, личное твое дело. С большей частью своей Опп справлялся в уме, лежа по утрам часок-другой в блаженной дреме.

Было три, самое начало четвертого, когда Опп вернулся в «Кухонную раковину» и вновь устроился за кульманом. Асфah в торговом зале, как обычно, подкарауливал клиентуру. Штат из трех работавших на него дизайнеров обеспечивал постоянными заказами целый ряд мастерских, производящих по их эскизам кастрюли, чашки, вилки — любую кухонную утварь, кроме сложных устройств типа холодильников. Промышленность и торговля пришли в момент Разлома в полное расстройство, и при попустительстве вконец отчаявшихся правительств точно грибы стали возникать новые мелкие производства, да и прежние развернулись вовсю. Значительное число их в Орегоне возглавили пришельцы, весьма склонные к изготовлению различных необходимых мелочей, они оказались прекрасными менеджерами и непревзойденными дилерами, землян же нанимали лишь на подсобные работы — те, что непременно требовали приложения искусных человеческих рук. Правительство, разобравшись, что в отличие от соотечественников пришельцы не умеют уклоняться от налогов, протезировало им вовсю, и экономика оживала буквально на глазах. Уже вновь заходила речь о Великом Американском Товаре, а президент Мердли, неизменный как наваждение, публично клялся к Рождеству побить все былые рекорды.

Асфah нос держал строго по ветру, и «Кухонная раковина» вскоре прославилась на всю округу своей прочной посудой и бросовыми ценами. С самого дня Разлома домохозяйки, обнаружив самих себя в новых стенах, среди

непривычной обстановки, не переставая рыскали по магазинам в поисках подходящей утвари, и, случалось, торговый зал просто ломился, не вмещая всех желающих.

Орр как раз сравнивал деревянные шаблоны будущих разделочных досок, когда из зала донесся чуть скрипучий голосок одной из них:

— Пожалуй, я возьму одну из этих веселок.

Тембр ее голоса напомнил о безвозвратно утраченной Орром жене, и он не удержался, выглянул в зал. Асфак демонстрировал что-то невысокой негритянке лет тридцати с короткой курчавой стрижкой и затылком изящной лепки.

— Хитер! — воскликнул Орр, делая шаг вперед и все еще не веря своим глазам.

Женщина обернулась. Хитер, а это была и впрямь она, долго всматривалась в него, чересчур долго.

— Орр? — сказала она наконец. — Джордж Орр, кажется? Боюсь, мне не припомнить, откуда я вас знаю...

— Мы познакомились... — Орр замешкался. — А вы чем не адвокат?

Этимемен Асфак застыл в своей зеленой броне с веселкой в клешне.

— Нет, не адвокат. Юридический секретарь. Работаю у Ратти и Гудхью в Пендлетон-билдинг.

— Значит, именно там. Я был там у вас однажды. А вам... вам это понравилось? Сделано по моему эскизу. — Орр вынул из коробки и повертел в руках еще одну веселку. — Видите, как сбалансирована? И действует отлично. Обычно их изготавливают или слишком упругими, или слишком увесистыми. Французы, правда, тоже неплохо умеют.

— Выглядит очень мило, — ответила Хитер. — У меня есть старый электромиксер, но такую вещь я тоже не прочь повесить себе на стенку. А вы, стало быть, трудитесь здесь? Раньше как-то не замечала. Вспомнила теперь! Вы заходили в наш офис на Старк-стрит в поисках доктора по добровольной терапии.

Орр терялся в догадках, что именно она вспомнила и как соотносится это с его собственным слоеным пирогом воспоминаний.

Он ведь был женат на серокожей Хитер. Поговаривают, что в мире изредка еще встречаются люди такого цвета кожи, особенно на Среднем Западе и в Германии, подавляющее же большинство снова расцвелились как прежде. Пусть его жена и была серой, но куда нежнее, деликатнее, чем эта

женщина, вдруг подумал он. Эта Хитер, вооруженная тяжелым портфелем с латунными углами и, похоже, полупинтой бренди внутри, колючая противоположность той, прежней. Его жена отнюдь не была агрессивной, мужественной — да, пожалуй, но, главное, нежной и застенчивой. Эта, прямая и резкая, должно быть, куда стержовнее...

— Да, верно, — ответил он. — Еще до Разлома. Мы даже... Вспомните, мисс Лелаш, ведь мы с вами даже свидание как-то назначили. В перерыве на ленч, в забегаловке Дейва, на Энкени. Так потом и не встретились.

— Я не Лелаш, то моя девичья фамилия, сейчас я миссис Эндрюс. — Она разглядывала Орра с нескрываемым любопытством.

А он стоял, медленно постигая новые черты реальности.

— Правда, муж погиб на Ближнем Востоке, — добавила Хитер.

— Да, — сказал Опп.

— А вы, значит, дизайнер всех этих милых вещиц?

— Значительной части. Инструменты — все мои. Кастрюли, иная мелкая утварь. Вот, взгляните, как вам это покажется? — Он извлек чайник с медным дном, массивный, но вполне элегантный, пропорциями схожий с корпусом парусника.

— Кому такое не понравится? — подивилась Хитер, принимая его в руки. Повертев, восхитилась еще раз: — Обожаю подобные вещицы!

Опп удовлетворенно кивнул.

— Вы настоящий художник! Это просто чудо!

— Мистер Йор Йор есть наш главный эксперт по предметности, — подал свой механический голос хозяин заведения.

— Послушайте, я вспомнила, я все вспомнила! — просяла вдруг Хитер. — Ну конечно же, это случилось еще до Разлома, вот почему у меня в голове такая каша. Вы ясно-видец, то есть, я имею в виду, вы утверждали, что события ваших снов становятся правдой. Правильно? А доктор заставлял вас видеть их все чаще и чаще, и вы стали искать такой способ уклониться от «доброволки», чтоб не попасть взамен на «принудиловку». Видите, я все, все вспомнила! Так вам удалось получить направление к другому психиатру?

— Не-а. Но я все же легко отделался, — ответил Опп и весело засмеялся.

Хитер его поддержала.

— А как же все-таки с вашими загадочными сновидениями?

— А-а... Просто пошел себе и заснул!

— Я думала, что вы можете изменить весь мир. Эта каша вокруг — случайно не ваших рук дело, вернее, ваших снов?

— Увы, это было неизбежно, — ответил Опп.

Если честно, Джордж мог бы уменьшить путаницу в мире, но теперь это его ничуть не занимало. В конце концов, он ведь обрел свою Хитер. Он искал ее долго и мог искать еще, так же безуспешно, как и в прежних снах, но он вернулся и нашел утешение в труде, что оказалось не просто, но это была работа по призванию, а сам он — человек терпеливый. Теперь же его тихому невыплаканному горю настал конец, Хитер снова с ним — порывистая, угловатая, непокорная и хрупкая незнакомка, и ее снова предстоит завоевать.

Но он ведь знает ее, давно знает свою незнакомку, знает, как разговаривать с ней, как зажесть на ее лице улыбку.

И Опп нашелся — без проволочек.

— А не выпить ли нам с вами по чашечке приличного кофе? — предложил он отважно. — Здесь совсем рядом есть весьма уютное местечко. И у меня как раз время перерыва.

— Ну да, врите, небось! — Хитер глянула на часы: без четверти пять. — Я, конечно, не прочь, но ведь... — Она смущенно кивнула на хозяина.

— Мистер Асфак, я отойду на четверть часа с вашего разрешения. — Опп стянул плащ с вешалки.

— Пожалуйста брать весь вечер, — отозвался пришелец. — Есть время. Есть возвратность. Уйти есть вернуться.

— Спасибо, большое спасибо, шеф! — сказал Опп и пожал хозяину руку. Большая зеленая клешня обожгла холодком хрупкую человеческую ладонь.

Джордж выскочил вслед за Хитер в теплый летний дождь. Пришелец в витрине, напоминая большую черепаху в аквариуме, провожал *взглядом* теряющуюся за сеткой дождя парочку.

НОРР



*Что это за река,
по которой течет Ганг?*

Х. Л. Борхес. «Гераклит»

Глава 1

Седьмая касса! — и снова из-за спины, между кассовыми аппаратами, вдоль прилавка ползли проволочные тележки, и он разгружал их — так, что у вас, яблоки по восемьдесят пять центов за три штуки, банка ананасов ломтиками со скидкой, два литра двухпроцентного молока, семьдесят пять центов, это четыре доллара, плюс еще один, получается пять, спасибо, нет, с десяти до шести, кроме воскресенья, — и работа у него спорилась. Заведующий, кажется целиком состоящий из железных нервов и желчи, прямо нарадоваться на него не мог. Другие кассиры, постарше, женатые, разговаривали о бейсболе и футболе, о закладных, о дантистах. Его они звали Родж — все, кроме Донны. Донна звала его Бак. В часы пик покупатели воспринимались им как сплошные руки, протягивающие деньги или забирающие сдачу. Когда же было поспокойнее, покупатели, главным образом пожилые мужчины и женщины, любили поговорить, причем не имело значения, что ты им отвечаешь, — они особенно и не прислушивались. В общем, работа у него действительно спорилась — в течение рабочего дня, но не дольше. Восемь часов одно и то же — два пакетика куриной лапши по шестьдесят девять центов, собачий корм со скидкой, полпинты «Дерри Уип», значит, девяносто пять и еще пять долларов — всего сорок с вас. Он

возвращался пешком к себе в Дубовую Долину, обедал вместе с матерью, потом смотрел телевизор и ложился спать. Иногда он думал, что, если бы работал в магазине на той стороне шоссе, приходилось бы туго, потому что до ближайшего перехода по его стороне нужно было пройти целых четыре квартала, а по той — все шесть. Однако тогда он подъехал именно к этому супермаркету, чтобы прицениться к автофургону с холодильной установкой, и увидел объявление: «Требуется кассир», которое повесили всего полчаса назад. Это было на следующий день после того, как они поселились в Дубовой Долине. Если бы это объявление не попало к нему на глаза, он, по всей вероятности, купил бы в конце концов машину и работал где-нибудь в центре, как собирался раньше. Но что за машину он мог тогда купить? Зато теперь он откладывал достаточно, чтобы со временем приобрести что-нибудь получше. Вообще-то он бы предпочел просто жить в центре и обходиться без машины, но мать в центре жить боялась. Возвращаясь домой пешком, он разглядывал машины и прикидывал, какую выберет, когда придет время. Машины не особенно его интересовали, но раз уж он оставил надежду когда-либо продолжить учебу, нужно было на что-то эти деньги истратить, а новых идей в голову ему не приходило, и по дороге домой он предавался привычным размышлениям о машине. Он уставал; целый день через его руки проходили товары и деньги, целый день, целый день одно и то же, и вот мозг его уже не воспринимал ничего иного, потому что и руки его ничего иного не касались, хотя ни товар, ни деньги в них надолго не задерживались.

Они переехали в этот город ранней весной, и в первое время, возвращаясь с работы, он видел над крышами домов небо, отливающее холодными зеленовато-лимонными тонами. А сейчас, в разгар лета, лишенные деревьев улицы даже в семь вечера были раскалены и залиты солнцем. Набирающие высоту самолеты — аэродром находился километрах в десяти к югу — с ревом взрезали густую синеву неба и тянули за собой газовые шлейфы; на детских площадках у дороги поскрипывали сломанные качели и скучали гимнастические снаряды. Район назывался Кенсингтонские Высоты*. Для того чтобы добраться до Дубовой Доли-

Кенсингтон — фешенебельный район на юго-западе центральной части Лондона. К описываемому городу отношения не имеет. (*Здесь и далее примеч. пер.*)

ны, он пересекал улицу Лома Линды, улицу Рэли*, Сосновый Дол, сворачивал на Кенсингтонский проспект, потом на улицу под названием Дубы Челси**. Ничего от настоящего Кенсингтона или Челси там не было — ни высот, ни долин, ни сэра Уолтера Рэли, ни дубов. Дубовая Долина была сплошь застроена двухэтажными шестиквартирными домами, покрашенными коричневой и белой краской. Одинаковые автомобильные стоянки аккуратно отделены друг от друга газончиками с бордюром из белых камней и можжевельником. Под темно-зелеными кустами можжевельника валялись обертки от жевательной резинки, жестянки из-под соков, пластиковые бутылки — неподвластные разрушительному воздействию времени раковины и скелеты тех самых товаров, что непрерывно проходили через его руки в бакалейном отделе супермаркета. На улице Рэли и в Сосновом Доле дома были двухквартирные, а на улице Лома Линды — на одну семью, каждый со своей отдельной автостоянкой, газоном, бордюром из белого камня и можжевельником. Аккуратные тротуары — на одном уровне с проезжей частью, и весь район плоский, как тарелка. Старый город, теперь центр, когда-то построили на холмистых берегах реки, но его новые восточные и северные кварталы расползлись по ровным и унылым полям. Настоящим видом сверху ему удалось полюбоваться единственный раз: когда они на машине с открытым прицепом въезжали в город с восточной стороны. Прямо перед пограничным знаком шоссе взлетело на мост-развязку, и открылся великолепный вид на окружающие город поля в золотой дымке. Поля, луга, освещенные мягким закатным солнцем, и длинные тени деревьев. Потом мелькнула фабрика красок, обращенная своим разноцветным фасадом к шоссе, и начались жилые кварталы.

Однажды жарким вечером после работы он прошел прямо через автостоянку при супермаркете и, поднявшись по лестнице, очутился на узкой боковой дорожке шоссе: ему хотелось выяснить, можно ли попасть туда, в те поля, в те луга, которые увидел тогда из окна машины. Но дойти так и не смог. Под ногами валялся мусор — консервные банки, обрывки бумаги, полиэтиленовые пакеты; воздух был

* Рэли Уолтер (ок. 1554—1618) — английский мореплаватель, организатор пиратских экспедиций, поэт, драматург, историк; один из руководителей разгрома испанской «Непобедимой Армады» (1588).

** Челси — фешенебельный район в западной части Лондона.

исхлестан, измучен бесконечным потоком машин, а земля дрожала, как во время землетрясения, когда мимо пронеслись тяжелые грузовики; барабанные перепонки лопались от шума, и нечем было дышать, в ноздри лез запах горелой резины и отработанного дизельного топлива. Он сдался через полчаса и попытался выбраться с боковой дорожки шоссе, но оказалось, что она отгорожена от улиц металлической сеткой. Пришлось снова пройти весь путь в обратном направлении, снова пересечь автостоянку у супермаркета и выйти, как обычно, на Кенсингтонский проспект. Он чувствовал себя до предела измотанным и вдобавок был оскорблен неудачей. Домой еле плелся, шурясь от низкого, слепящего солнца. Машины матери на стоянке не было. В квартире надрывался телефон. Он поспешно снял трубку.

— Ну наконец-то! А я телефон обрываю! Где ты пропал? Я уже дважды пыталась до тебя дозвониться. Побуду еще здесь, часиков до десяти. У Дурбины, конечно. В морозилке возьмешь «Жаркое из индейки». «Восточный обед» не трогай, это на среду. В общем, увидишь сам, там написано на пакете. — В голове у него привычно звякнул кассовый аппарат: один доллар двадцать девять центов, спасибо. — Я, наверно, опоздаю к началу фильма, ну, по шестой программе, так ты посмотри, а потом мне расскажешь.

— Ладно.

— Ну тогда пока.

— Пока.

— Послушай, Хью!

— Да, я тебя слушаю.

— А почему ты так задержался?

— Пошел домой другой дорогой.

— Голос у тебя какой-то странный, сердитый.

— Не заметил.

— Прими аспирин. И холодный душ. Жарко — сил нет! Мне бы самой сейчас душ принять. Но я вернусь не очень поздно. Ну ладно, отдыхай. Ты ведь дома будешь?

— Да.

Она помедлила, но ничего больше так и не сказала, хотя трубку не вешала. Он сказал: «Пока», повесил трубку и стоял у телефона, чувствуя невероятную тяжесть собственного тела. Казалось, он превратился в огромного зверя, толстого, с морщинистой кожей, с отвисшей нижней губой, а ноги раздулись и стали похожи на шины от грузовика. Почему ты опоздал на пятнадцать минут почему у тебя

голос сердитый отдыхай не трогай «Восточный обед» в морозилке не уходи из дому. Хорошо. Отдыхай отдыхай отдыхай. Он пошел на кухню и сунул замороженное «Жаркое из индейки» в духовку, хотя согласно инструкции духовку сначала нужно было разогреть. Включил таймер. Хотелось есть. Ему вечно хотелось есть. Правда, по-настоящему он голода никогда не испытывал, но поесть был не прочь практически всегда. На полке в буфете лежал пакет с арахисом; он прихватил его с собой, прошел в гостиную, включил телевизор и плюхнулся в кресло. Кресло зашаталось и затрещало — он так и подскочил, даже уронил только что открытый пакет с арахисом: это уж слишком — какой-то чудовищный слон, пожирающий арахис. Он чувствовал, что рот его безобразно разинут, но наполнить легкие воздухом никак не удавалось, потому что в горле будто что-то застряло и всюю рвется наружу. Он так и застыл у кресла, вздрагивая всем телом, и то, что застряло у него в горле, вырвалось наконец наружу в крике: «Не могу! Больше не могу!»

Вне себя от ужаса, он бросился к двери, рывком отворил ее и выбрался на улицу прежде, чем то, что застряло у него в горле, успело обернуться каким-либо новым воплем. Жаркое вечернее солнце освещало белые камни бордюров, площадки автостоянок, играло на крышах машин, на стенах домов, его лучи качались на качелях, скользили по телевизионным антеннам. Он стоял, дрожал и судорожно сжимал челюсти: та штука в горле пыталась заставить его раскрыть рот, пыталась снова вырваться наружу. Он не выдержал и побежал.

Направо, вниз, до Дубовой Долины, потом налево, к Сосновому Долу, снова направо — он уже не знал, куда бежит, потому что не мог прочесть названий улиц. Он не привык бегать, и это давалось ему с трудом. Ноги тяжело бухали по земле. Машины, стоянки и дома под палящим солнцем слились в сплошную слепящую пелену, которая то вспыхивала, то гасла. Где-то внутри, в мозгу бились слова: *Ты убегаешь от света дня*. Воздух кислотой разъедал, обжигал горло и легкие, дыхание вырывалось из груди со звуком рвущейся бумаги. Слепящая пелена будто налилась кровью. Он бежал все медленнее, все тяжелее, куда-то вниз, вниз по склону холма, тщетно пытаясь притормозить, замедлить бег и чувствуя, что земля осыпается, ускользает из-под ног, а по лицу хлещут ветки каких-то гибких растений. Он видел темно-зеленую листву, он вдыхал ее запах и еще запах

сломанных ветвей, запах земли; и, перекрывая стук его сердца и хрип дыхания, вдруг грянула громкая неумолкающая музыка. Пошатываясь, он сделал еще несколько неверных шагов, потом встал на четвереньки, еще немного прополз, помогая себе локтями и коленями, и наконец рухнул ничком, растянувшись на каменистом берегу ручья, у самой воды.

Когда наконец он пришел в себя и сел, то ощущения, что спал, не было, и все же казалось, что он будто просыпается, просыпается после долгого, глубокого и безмятежного сна, когда принадлежишь только себе и ничто не может нарушить покоя в твоей душе до тех пор, пока сам не встанешь навстречу дальнейшей жизни. Казалось, это ощущение покоя создавала именно музыка бегущей воды. Из-под его пальцев на скалу тихо сыпался песок. Он сел и почувствовал, как легко проникает в легкие воздух. Воздух был прохладным, в нем смешались запахи земли, прелого листа, свежей зелени, запахи трав, цветов, кустов и деревьев; пахло речной холодной водой, илом и еще чем-то сладковатым и неуловимо знакомым, только он не мог вспомнить чем; и все эти ароматы сливались воедино, переплетались и все же ощущались каждый в отдельности, подобно тому как переплетаются нити в куске грубой ткани; запахи возбуждали обоняние, беспредельно расширяя его, и оно вмещало каждый из них в его неповторимости, и все они, благоуханные и зловонные, сливались в гигантский, темный, глубоко чуждый и бесконечно знакомый, родной запах летнего вечера на берегу лесной реки.

Да, вокруг него был лес. И он ни малейшего представления не имел о том, как далеко находится от города и за сколько времени можно пробежать, скажем, километр, но чувствовал, что наконец *убежал* — убежал от городских улиц, от расчерченного тротуарами асфальтового мира сюда, к настоящей земле. Земля была темная, чуть влажная, с неровной поверхностью и, в отличие от городской, включала в себя такое множество элементов, что в это трудно было снова поверить. Пальцем он трогал комки земли, песок, прелые листья, гальку, огромный камень, наполовину зарывшийся в землю, корни деревьев. Он уткнулся лицом в землю, прильнув к ней, слившись с нею. Немного кружилась голова. Он глубоко вздохнул и, вытянув руки, погладил землю ладонями.

Было еще довольно светло. Глаза понемногу привыкли к неяркому освещению, и теперь он ясно видел все вокруг,

хотя в тени деревьев и в их густой листве уже таилась ночная тьма. Небо над головой, над черными, четко очерченными ветвями было каким-то бледным, однообразным, лишенным многоцветья закатных красок. Звезд еще не было. Ручей шириной метра три, извивающийся меж бесчисленных валунов по каменистому ложу, казался лишь ожившим клочком все того же бесцветного неба, поблескивающей живой лентой, с журчанием обвивающей скалы. Открытые песчаные берега по обе стороны ручья были светлы; только ниже по течению, где деревья стояли тесней и ближе к воде, сгустилась тьма, расплывались контуры деревьев и скал.

Он страхнул со щек и волос песок, сухие листья и паутину, чувствуя под глазом легкое жжение — видно, оцарапался веткой. Прополз вперед, опираясь на локти, внимательно посмотрел на воду и потрогал ее, сначала едва касаясь ее поверхности раскрытой ладонью, словно глядя зверька, потом опустил руку глубже в воду и почувствовал, как в ладонь упруго бьются струи ключей. Тогда он пододвинулся еще ближе, обеими руками уперся в песчаное дно чуть подалеже от берега, опустил лицо и стал пить прямо из ручья.

Вода была холодная и пахла небом.

Хью лежал немного на песчаном берегу, низко склонив голову к воде и ощущая на губах особый, странный, ни с чем не сравнимый вкус и аромат. Потом медленно встал на колени, поднял голову, положил на колени руки и застыл. То, для чего язык не находил слов, тело воспринимало легко и с превеликой благодарностью.

Когда же благодарно-молитвенный восторг чуть поутих и будто растворился, превратясь во множество быстро сменяющих друг друга радостных ощущений, Хью сел на пятки и еще раз осмотрелся вокруг, теперь уже более внимательно и последовательно.

Глядя на однообразно-бесцветное небо, он не мог определить, где север, но был уверен, что пригороды, шоссе, сам город — все это прямо позади. Тропа, которая привела его сюда, выходила на берег как раз между красноватым стволом огромной сосны и высоким кустом с крупными листьями. Потом она резко поднималась вверх и терялась в густой тени деревьев.

Ручей пересекал тропу точно по перпендикуляру, справа налево. Вверх по течению было видно далеко — весь противоположный берег, который постепенно становился все круче, и каменистое русло, причудливо извивающееся среди деревьев и скал. Вниз по течению кроны деревьев почти

смыкались, и в густой тени под ними видны были лишь отблески света на поверхности бегущей воды; здесь оба берега почти отвесно уходили вверх, а чуть дальше открывалась поляна или небольшой лужок, свободный от деревьев, заросший травой и кустарником.

Знакомый запах — название вертелось на языке — стал сильнее, уже и руки пропахли этой травой... Мята! Вот что это такое! Заросли травы у самой кромки воды, которые он смял, когда лежал ничком, — это наверняка дикая мята. Хью сорвал листок, понюхал, пожевал, почему-то надеясь, что он окажется сладким, как мятная конфета. Листок был терпкий на вкус, чуть пахнувший землей, шершавый, холодный.

Хорошее место, подумал Хью. И я сам пришел сюда. В конце концов я все-таки что-то нашел. Сам.

Где-то далеко позади остался обед в духовке, включенный таймер, телевизор, орущий в пустой комнате. Незапертая входная дверь. Может, и незакрытая. Интересно, сколько прошло времени?

Мать вернется в десять.

Где ты был Хью Гулял *Но когда я вернулась тебя дома не было* ты же знаешь как я... Да я вернулась позже чем рассчитывала извини *Но тебя же не было дома*

Он уже вскочил на ноги. Но листок мяты все еще держал во рту, и руки у него были мокрые, а рубашка и джинсы — перепачканы зеленью и речным песком и илом. А на сердце — покой. *Я сам нашел* это место и теперь смогу приходить сюда, когда захочу, сказал он себе.

Он постоял еще минутку, слушая, как журчит вода, обегая камни. Глядел на неподвижно застывшие ветви на фоне вечернего неба; потом отправился назад тем же путем, каким попал сюда, — вверх по тропе между большим кустом и сосной. Сначала подъем шел довольно круто и вокруг было почти темно, потом тропа стала более пологой, а лес — менее густым. Идти было легко, хотя в сгущающихся сумерках колючие ветки ежевики порой и цеплялись за одежду. Старая заросшая травой канава — неглубокая морщина на челе земли — опоясывала лес; сразу за ней перед Хью открылись поля. Вдали, за этими полями, на шоссе суетливо мелькали огоньки машин. Правее виднелись неподвижные огни какого-то большого здания. Он шел прямо на них через поле, по засохшей траве и окаменевшим комьям земли и наконец поднялся на холм, достиг края поля, от которого тянулся грейдер. Большое, освещенное прожекторами

здание стояло ближе к шоссе, левее того места, где он вышел; дорога вела к домам, похожим на фермерские. Во дворе одного из них горел фонарь, и он уверенно пошел именно в этом направлении — вниз по дороге, между фермерскими домами. Когда стоянки для машин и лающие во дворах собаки остались позади, он увидел длинный ряд деревьев, уходящий в темноту, а потом — первые огни городской улицы. Это была площадь Челси-Гарденз, за ней — широкая улица того же названия, миновав которую он попал в самый центр жилого района. Он шел словно по наитию, не ведая, как именно попал в то место, когда бежал из дому, и каждая новая улица безошибочно выводила его куда надо — на Кенсингтонские Высоты, в Сосновый Дол, в Дубовую Долину и к дому с табличкой «140671/2-С, Дубовая Долина». Дверь дома была закрыта.

Телевизор трясся от консервированного смеха. Хью включил его и только тогда услышал, как на кухне верещит таймер, и бросился туда со всех ног. Кухонные часы показывали пять минут девятого. «Жаркое из индейки» полностью мумифицировалось в своем алюминиевом гробике. Хью попытался ковырнуть его вилкой, но жаркое было как камень. Он выпил литр молока и съел четыре ломтя хлеба с маслом, потом пол-литра черничного йогурта и два яблока: забрал из гостиной пакет с арахисом и, сидя за кухонным столом, ломал скорлупки и клал ядрышки в рот. Думал. Домой он добирался долго. На часы, правда, не смотрел, но на дорогу потребовался примерно час. И около часа, а то и больше он провел у ручья, это уж точно. И еще какое-то время ему понадобилось, чтобы попасть в лес, ну пусть он бежал достаточно быстро, все же рекордсменом в беге явно не был. Вернувшись домой, он готов был поклясться, что уже часов десять, а то и все одиннадцать. Оставалось предположить, что все часы — наручные и кухонные — приняли единодушно врать.

По природе он не был спорщиком, а потому решил не спорить и с часами. Доел арахис, перешел в гостиную, зажег свет, включил было телевизор, потом снова выключил, погасил свет и уселся в кресло. Кресло снова застонало и закачалось, но теперь он считал, что виновато само неудобное хилое кресло, а не его, Хью, массивность и неуклюжесть. После пробежки он чувствовал себя хорошо. Жалел дурацкое хлипкое кресло, зато собственная персона отвращения больше не вызывала. Но почему он бросился бежать? Да ладно, не стоит ломать голову. За всю свою жизнь

он не сделал и шагу самостоятельно. Вечная игра в прятки с собственными проблемами. Зато теперь он сумел не только надежно спрятаться, убежав из дому, но и куда-то *прибежать* — такого в его жизни еще не было. Он никогда не мог обрести убежища, побыть наедине с самим собой. И вот теперь сам нашел и собственными глазами увидел такое место, потаенное, странное. И теперь все то, среди чего в пяти различных штатах он прожил последние семь лет — пригороды, двухквартирные дома, крытая стоянка у супермаркета, купленные на распродаже машины, качели, белые камни бордюров, кусты мертвого можжевельника, ветчина в ломтиках со скидкой, обертки, бумажки, — все это стало в конце концов несущественным, преходящим, не самым важным в его жизни после того, как совсем рядом, стоило лишь переступить порог, открылась благодатная тишина, одиночество, плеск воды, струящейся в сумеречном свете, вкус листка мяты.

Тебе не следовало пить эту воду. Наверняка нечистая... Тиф. Холера... Нет! Это была первая по-настоящему чистая вода в моей жизни. И я, черт побери, пойду туда снова и буду пить ее когда и сколько захочу.

Родник. В том штате, где он заканчивал школу, это называли бы просто ручьем, но слово «родник» пришло к нему откуда-то из дальних далей, из глубокой сумеречной копилки памяти, не совсем ясное слово, но очень подходящее для струящейся в вечернем свете воды, для слабых, неясных проблесков чего-то нового, осветивших его душу. Стены комнаты, где он сидел, слабо вздрагивали — в квартире этажом выше на полную мощность работал телевизор, по стенам метался свет уличного фонаря, проникавший сквозь тюлевые шторы, и изредка — мутным пятном — проплывал свет от фар проезжающей мимо машины. И где-то внутри этого беспокойного, освещенного мигающими огнями мира существовало тихое убежище, *его родник*. С мыслей об этом мозг плавно переключился на старое: если я пойду туда, куда хочу, если я поступлю здесь в колледж и стану общаться с людьми, возможно, потом обнаружится место и стипендия в библиотечном колледже, а может, если мне удастся отложить достаточно денег на вступительный взнос да еще получить стипендию... и отсюда мысли поплыли дальше, как лодка в каботажном плаванье от одного острова к другому, к отдаленному будущему, к давно уже придуманным картинам — к зданию с широкими и пологими лестницами, к стеллажам в просторных залах с огром-

ными окнами, к спокойным людям, спокойно занимающимся своим делом, уютно, по-домашнему чувствующим себя среди бесконечных книжных полок, где им удобно, как мыслям в черепной коробке, к городской библиотеке и к Национальной Неделе Книги, к *своему дому*, к своей собственной тихой пристани...

— Что это ты здесь делаешь и почему сидишь в темноте? И телевизор почему-то не включен? И входная дверь не заперта! И главное, почему в темноте? Я уж подумала, что в доме никого нет.

Получив ответы на все эти вопросы, она обнаружила «Жаркое из индейки», которое он, к сожалению, недостаточно глубоко запихнул в мусорное ведро под раковиной.

— Что же ты ел? И вообще, что с тобой такое? Ты что, не мог инструкцию прочитать? У тебя, наверно, грипп, принял бы аспирин. Нет, правда, Хью, ты просто не в состоянии за собой присмотреть, элементарных вещей не умеешь. Как я могу спокойно пойти куда-нибудь отдохнуть с друзьями после работы, если ты такой разгильдяй? А где пакет с арахисом, который я купила, чтобы завтра взять к Дурбине?

И хотя сначала он воспринимал ее примерно как то кресло, то есть как нечто просто ему несоответствующее и тщетно пытающееся соответствовать, и у него было ощущение, что она здесь, а он там, в своем убежище у родника, и видит ее как бы оттуда, но долго продержаться он не смог: его втащили сюда словно на веревке, втаскивали до тех пор, пока он не перестал сопротивляться, и только старался не вслушиваться, а просто отвечать: «Ладно. Хорошо»; а после того как она включила последнюю серию телебоевика, который так хотела посмотреть, он поспешно пробормотал: «Спокойной ночи, мама» — и убежал. Спрятался в постели.

В небольшом магазине того последнего города, где Хью впервые продвинулся из разносчиков в кассиры, дела шли неспешно, хватало времени на треп и перекуры в складских помещениях, но здесь, у Сэма, дело было поставлено жестко, каждый знал свое место, и ждать поблажек не приходилось. Иногда казалось, что очередь к твоей кассе вот-вот кончится, но тут же обязательно возникал кто-то еще. Хью научился думать урывками — не самый лучший способ, но для него единственно возможный. В течение рабочего дня мысль у него складывалась как бы по кусочкам, и он мог к ней вернуться в любое время: мысль дожидалась его, как

послушная собака хозяина. Сегодня она, как послушная собака, терпеливо ждала, когда он проснется, и вместе с ним радостно отправилась на работу. Он все думал о том, как хочется пойти к *роднику*, снова туда вернуться, но так, чтобы хватило времени и не нужно было спешить. К половине одиннадцатого, проверив продукты у пожилой дамы в ортопедической обуви, вечно твердившей, что раньше консервированная лососина стоила десять центов банка, а теперь цена на нее так чудовищно выросла, потому что всю ее посылают за границу по ленд-лизу, и при этом расплачивавшейся за хлеб и маргарин талонами пособия, он уяснил для себя, что лучше всего ходить к роднику утром, а не вечером.

Мать со своей новой подругой Дурбиной увлеклись оккультными науками, и в последнее время она бывала у Дурбины по крайней мере раз в неделю. Таким образом, один вечер у него точно свободен, хотя всего один и к тому же неизвестно, какой именно; да еще пришлось бы беспокоиться, что мать вернется домой раньше его.

Днем мать не возражала, если он приходил позже ее, но если рассчитывала, что он должен быть дома, а его не оказывалось, или если вечером возвращалась в пустой, темный дом, вот тогда ничего хорошего ждать не приходилось. А в последнее время ничего хорошего не было, даже если он просто выходил из дому после наступления темноты, оставляя ее одну. По вечерам стало невозможно куда-то пойти; он и помыслить об этом не мог, как и о вечерних занятиях в колледже.

Но утром мать отправлялась на работу в восемь. Вот утром он мог бы успеть сходить к лесному ручью. Все-таки получалось целых два часа. Днем в тех местах могут оказаться люди, подумал он, — он размышлял об этом в полдень, когда Билл подменял его на кассе, чтобы дать ему возможность перекусить, — или знаки, предупреждающие, что это частная собственность, прохода нет и тому подобное, но он все же попытается. Непохоже, что там часто бывают люди.

Он вернулся домой в обычное время, в четверть седьмого, но матери еще не было, и телефон молчал. Он уселся и стал читать газету, думая о том, что хорошо было бы пожевать чего-нибудь вроде вчерашнего арахиса, который мать собиралась отнести к Дурбине. Эх, черт побери, лучше б к ручью сходил, в самом деле! Он было поднялся, чтобы идти туда, но понял, что теперь уже поздно и к тому же он не

знает, когда вернется мать. Он пошел на кухню и хотел приготовить себе обед, но не мог найти ничего такого, что было бы ему по вкусу; он похватал разных кусков и остатков, открыл и выпил банку апельсинового сока. Болела голова. Хотелось почитать какую-нибудь книгу, и он подумал: почему бы мне, собственно, не купить машину, чтобы ездить в центр, в библиотеку, чтобы вообще ездить повсюду, — почему я никуда не езжу, почему у меня нет машины — а зачем машина, если работаешь с десяти до шести и по вечерам должен сидеть дома? Он посмотрел по телевизору обзор новостей, чтобы заткнуть пасть той собаке, что выла у него в голове, рычала и скалилась. Зазвонил телефон. Голос матери был резок.

— На этот раз я сначала хотела убедиться, что ты дома, прежде чем выехать, — сказала она и повесила трубку.

В постели этой ночью он все пытался думать о чем-нибудь приятном, но любая мысль оборачивалась мучением; тогда он стал вспоминать о том, как давно, лет в пятнадцать, придумывал, будто у него любовница — стюардесса. Это помогло, и он наконец уснул.

Утром он встал в семь вместо восьми. Матери он не сказал, что собирается встать раньше: она подобных новшеств не любила. Мать сидела с чашкой кофе и сигаретой в гостиной и смотрела по телевизору утренний выпуск новостей; между подведенными бровями сердитая складка. Она никогда не завтракала, только пила кофе. А Хью любил хорошенько позавтракать, он любил яйца, ветчину, бекон, тосты, рогалики, картошку, колбасу, грейпфруты, апельсиновый сок, блинчики, йогурт, овсянку — да почти все на свете — и кофе пил с молоком и с сахаром. Мать находила его шумные приготовления к еде тошнотворными. Между кухней и гостиной не было двери, и Хью старался двигаться как можно тише и ничего не жарить, но и это не помогло. Мать прошла мимо него, когда он сидел за кухонным столом и пытался бесшумно съесть кукурузные хлопья с молоком, и швырнула чашку с блюдцем в раковину, сказав: «Я ухожу на работу» — тем ужасным тоном, острым, режущим, который он физически ощущал, как острие ножа. «Хорошо», — сказал он, не оборачиваясь и стараясь говорить как можно мягче, спокойнее, потому что знал, что именно его низкий голос, огромный рост, огромные ступни и толстые пальцы рук, его тяжелое чувственное тело она выносит с трудом, что все это вызывает в ней какое-то яростное отвращение.

Она сразу же ушла, хотя было только тридцать пять минут восьмого. Он услышал, как завелся мотор, увидел, как ее голубая японская машина проехала мимо окна и быстро умчалась прочь.

Когда он подошел к раковине, чтобы вымыть посуду, то увидел, что ее блюдце разлетелось на куски, а у чашки отбита ручка. От этого маленького насилия у него засосало под ложечкой. Он стоял с открытым ртом у раковины, опершись о ее край руками, и, покачиваясь, переступал с ноги на ногу — как всегда, когда бывал расстроен. Потом медленно протянул руку, включил холодную воду и смотрел, как она бежит — шумной, быстрой и чистой струей, наполняя разбитую чашку и переливаясь через ее края.

Он вымыл тарелки, запер входную дверь и отправился в путь. Направо по Дубовой Долине, налево в Сосновый Дол и дальше по знакомому пути. Идти оказалось приятно, воздух был еще свеж, пока не ощущалось тяжелой дневной жары. Он миновал детскую площадку с очень хорошими качелями, потом еще домов десять—двенадцать и почти полностью забыл об утренней выходке матери. Однако шел он, поглядывая на часы, и постепенно начал сомневаться, успеет ли дойти до лесного ручья раньше, чем наступит время спешить назад, в супермаркет Сэма, чтобы к десяти быть на работе. Как это в прошлый раз он всего за два часа успел добраться до источника, побыть там и вернуться назад? Может, сейчас он сбился с пути или идет не по самой короткой дороге? Однако та часть мозга, что ведала интуицией и не требовала слов для выражения мыслей, отмела эти страхи и сомнения и продолжала вести его дальше и дальше от Кенсингтонских Высот и Челси-Гарденз и километров через пять безошибочно вывела к грейдеру, спускающемуся с холма.

Большое здание возле шоссе оказалось фабрикой красок; с грейдера была видна обратная сторона ее разноцветной вывески. Он дошел до металлической сетки, окружавшей фабричную автостоянку, и осмотрелся, словно пытаясь с высоты холма снова разглядеть те залитые золотистым светом поля, которые когда-то видел из окна машины. Под ярким утренним солнцем никакого золотого сияния над ними не было. Заросшие сорняками, поля выглядели давным-давно заброшенными, непахаными, одичалыми. Они будто давно ждали своих земледельцев. Доска с надписью: МУСОР НЕ СВАЛИВАТЬ торчала над канавой, полной чертополоха, в котором валялась проржавевшая автомобильная

ось. Далеко в поле купы деревьев отбрасывали тень к западу; дальше виднелся лес, голубевший в туманной, просвеченной солнцем дымке. Было уже больше половины девятого, и становилось жарко.

Хью снял джинсовую куртку, вытер со лба пот. Потом минуту постоял, глядя на дальнюю лесную страну. Если он туда пойдет, чтобы всего лишь напиться из ручья и сразу же вернуться, то в любом случае опоздает на работу. Он выругался вслух, горько, грубо, на душе было погано. Потом повернулся и пошел вниз по гравиевой дорожке к фермерским домам и лесопитомнику, или делянке с рождественскими елочками, или чему-то в этом роде тем же путем, минуя площадь Челси-Гарденз, по извилистым, лишенным деревьев улицам, между газонами, автостоянками, домами, газонами, автостоянками, домами, добрался наконец до супермаркета Сэма. Было без десяти десять. Лицо у Хью было красным и потным, и Донна в подсобке сказала ему: «Ну что, Бак, проспал?»

Донне было лет сорок пять. Свою копну темно-рыжих волос она недавно превратила в модную хитроумную прическу из локонов и завитков, благодаря чему теперь выглядела сзади на двадцать, а спереди на все шестьдесят. У нее была хорошая фигура, плохие зубы, один неважнецкий сын — пьяница — и один хороший, который работал шофером грузовика на дальних рейсах. Хью ей нравился, и она старалась не упустить возможности поговорить с ним, рассказывала ему — иногда, если сидела за соседней кассой, прямо поверх голов покупателей и тележек с продуктами — о своих зубах, о своих сыновьях, о том, что у свекрови рак, о беременности своей собаки и связанных с этим осложнениях, предлагала ему щенков, они пересказывали друг другу содержание фильмов. Она стала звать его Баком, как только он поступил на работу в супермаркет. Говорила: «Ты настоящий Бак Роджерс* двадцать первого века. Боюсь, правда, что ты слишком молод, чтобы помнить, каков был настоящий», — и сама смеялась своей шутке.

В то утро она сказала:

— Ну что, Бак, проспал? Как не стыдно?

— Я встал в семь, — попытался он оправдаться.

— А почему бежал? От тебя же просто пар идет!

* Ричард Роджерс (Бак) родился в 1902 г. Американский композитор, автор популярной джазовой музыки.

Он стоял, не зная, что ответить, потом уцепился за слово «бежал».

— Я бегал. Знаешь, говорят, это полезно.

— Да-да, мне вроде бы даже какая-то популярная книжонка об этом попадалась. Тот же бег трусцой, только с большей нагрузкой. А ты что, просто раз десять обегаешь квартал? Или ходишь на стадион?

— Да нет, я просто бегал, — сказал Хью, и от ее дружелюбной заинтересованности ему стало неловко: ведь он ей врал. Но ему и в голову не приходило рассказать ей о том месте у лесного источника. — По-моему, я слишком много вешу. Вот и решил похудеть.

— Да, пожалуй, для своего возраста ты вешишь многовато. Но мне ты нравишься, — сказала Донна, оглядывая его с ног до головы. Хью был страшно польщен.

— Я же толстый, — сказал он и похлопал себя по животу.

— Скорей рыхловатый... Может, вес-то у тебя и большой, да ведь ты и сам не маленький, вон какой громила вымахал, откуда только что берется? Мать-то у тебя совсем крошка, такая худенькая, я просто поверить не могу, что ты ее сын, когда она сюда за продуктами приходит. Должно быть, отец твой — мужчина крупный, а? Ты свой рост, наверно, от него унаследовал?

— Да, — сказал Хью, отворачиваясь и надевая фартук.

— А он что, умер, да, Хью? — спросила Донна с таким материнским участием, что он не мог ни промолчать, ни сказать какую-нибудь чушь. Но и правду сказать тоже был не в состоянии. Он только помотал головой. — В разводе, значит, — сказала Донна самым обычным тоном, даже с облегчением, явно предпочитая это смерти; Хью, для матери которого само слово «развод» было непристойным, непризносимым, в душе полностью согласился с точкой зрения Донны, но все же снова отрицательно помотал головой.

— Ушел, — сказал он. — Извини, мне надо помочь Биллу с упаковочными клетями.

И ушел от нее — убежал, спрятался. Между упаковочными клетями, между витринами с фальшивыми окороками и прилавками с зеленью, между кассовыми аппаратами — спрятаться можно было где угодно, только нигде по-настоящему.

Не раз за день он вспоминал вкус ключевой воды, ее ласковое прикосновение к губам. И ему смертельно хотелось снова испытать этой воды.

Дома за обедом он выразил вслух идею, невзначай подаренную ему Донной.

— Я решил утром вставать пораньше и бегать трусцой, — сказал он. Они ели, сидя перед телевизором, с тарелок, украшенных вензелем телекомпаний. — Поэтому я и сегодня так рано встал. Попробовать решил. Только, наверно, лучше раньше. Может, в пять или в шесть. Пока на улицах еще нет машин. И прохладно. Да и глаза тебе не буду мозолить, когда ты на работу собираешься. — Мать уже начинала пристально на него поглядывать. — Если ты, конечно, не возражаешь, чтобы я уходил из дому раньше, чем ты. Я что-то не в форме. Торчу и торчу у кассы, а там не очень-то подвигаешься, а?

— Ну, все же больше, чем за письменным столом, особенно если целый день сидишь, — сказала она. Будто неожиданно с фланга его атаковала. Он уже несколько месяцев не упоминал ни о библиотечном колледже, ни вообще о работе в библиотеке — с тех пор как они в очередной раз переехали. Возможно, впрочем, что она просто имела в виду работу в конторе, вроде той, где работала сама. Пока ее голос еще не рассекал воздух как острие ножа, но уже был достаточно пронзителен.

— Ты не будешь возражать, если я стану бегать рано утром часа по два? Я могу возвращаться как раз к твоему уходу на работу, а завтракать уже потом.

— Почему я должна возражать? — сказала она, оглядывая свои худые плечи и поправляя бретельки сарафана. Потом закурила и взглянула на экран телевизора, где репортер описывал воздушную катастрофу. — Ты абсолютно свободен и можешь уходить и приходить когда вздумается, тебе двадцать, почти двадцать один, в конце концов. И вовсе не нужно спрашивать у меня разрешения из-за всякой ерунды, которая взбредет тебе в голову. Я же не могу решать за тебя все. Единственное, на чем я действительно настаиваю, это чтобы вечером дом не был пустым, и я действительно позавчера испытала огромное потрясение, когда подъехала к абсолютно темному дому. В конце концов, здесь просто должен говорить здравый смысл и чувство ответственности за других. Теперь ведь дошло до того, что человек даже в собственном доме не может чувствовать себя в полной безопасности.

Она говорила все более и более напряженно, пощелкивая ногтем большого пальца по фильтру сигареты. Хью тоже насторожился, не имея представления, чем закончится

этот разговор, но она больше ничего не сказала — увлеклась телепередачей, и он не стал развивать эту тему дальше. Так и отправился спать. Обычно он избегал говорить о том, что могло спровоцировать ее истерику, но на сей раз был настроен решительно. Это было как жажда — во что бы то ни стало надо было напиться. Он проснулся в пять и еще в полусне вскочил с постели и стал натягивать рубашку.

Квартира в предзакатных сумерках выглядела незнакомой. Не надевая туфель, босиком он вышел на крыльцо. Солнечные лучи косо освещали боковые улочки, пробиваясь между домами. Дубовая Долина утонула в голубой тени. Куртку он не взял и дрожал от холода. В спешке нечаянно затянулся в узел шнурок на ботинке, и он вынужден был сражаться с узелком, словно маленький мальчик, опаздывающий в школу. Наконец он двинулся в путь, побежал трусцой: он не любил врать. Он ведь сказал, что будет бегать трусцой, вот и побежал.

Примерно около часа он то бежал, то шел, пока совсем не задохнулся, но через силу заставил себя снова бежать трусцой, чтобы поскорей добраться до леса, лежащего по ту сторону заброшенных полей. На опушке он немножко перевел дух и глянул на часы. Было без десяти шесть.

В лесу, хоть и не густом, ощущение возникало совсем иное, чем в поле, на опушке: будто с улицы вошел в дом. Уже через несколько метров жаркое, яркое утреннее солнце перестало лить свой свет сплошным потоком и лишь случайными зайчиками играло порой на листьях и на земле. С тех пор как городские улицы остались позади, он не встретил ни единого человека. Ему не попалось ни одной изгороди, правда, на опушке леса валялись какие-то полу-сгнившие столбы и колючая проволока. В глубь леса между деревьями и кустами вела не одна тропинка, но он безошибочно выбрал единственно верный путь. Поодаль от тропинки, под колючими лапами ежевики он заметил кусок фольги, но не было здесь ни жестянок из-под пива или соков, ни гигиенических салфеток, ни другого гнусного мусора. Сюда приходили редко. Тропинка повернула налево. Он поискал глазами высокую сосну с красным шероховатым стволом и увидел ее темную вершину на фоне неба. Тропа шла вниз, вниз, вокруг становилось темнее, а земля под ногами чуть пружинила. Он прошел между стволом сосны и тем высоким кустом, словно в ворота, прямо к роднику, и наконец перед ним заплесали блики отраженного водой света, запел бегущий ручей, и его окружила

прохлада — прохладные, благоуханные, ясные сумерки летнего вечера.

Он стоял на пороге, над ним аркой сомкнулись деревья. Если я оглянусь, подумал он, то сквозь деревья увижу солнечный свет. Он не оглянулся. Он пошел вперед, медленно передвигая ноги.

У самой воды Хью остановился, чтобы снять часы. Стрелки не двигались, часы показывали без двух минут шесть. Он потряс их, сунул в карман джинсов, закатал рукава рубашки выше локтя и опустился на колени. Потом решительно, хотя и неторопливо наклонился вперед, опершись на руки, тут же погрузившиеся во влажный песок, опустил голову и напился ключевой живой воды.

Выше по течению, метрах в двух от него, над берегом выступала плоская скала. Он подошел и уселся на нее, склонившись вперед и опустив руки в воду. Потом несколько раз провел мокрыми руками по лицу и волосам. Кожа была чистая, вода холодная; он с удовольствием заметил, что руки его в ледяной воде покраснели и цветом напоминают консервированную лососину. Вода была темная, но чистая и прозрачная, как дымчатый топаз. На песчаном дне в низинке возле скалы — россыпи разноцветных камешков, видных отчетливо, словно через увеличительное стекло. Он полюбовался камешками и тем, как над ними бежит, чуть завихряясь, прозрачная вода, потом выпрямился и уставился в бесцветное небо. Там все было недвижимо. Ему казалось, что краем глаза он успел увидеть звезду прямо рядом с остроконечной вершиной сосны на той стороне ручья, но когда стал искать ее в небе, то не нашел. И долго сидел не двигаясь, обхватив колени руками, слушая, как поет бегущая вода.

Над ручьем прошуршал ветерок, а Хью все сидел неподвижно. Наконец встал, потянулся так, что хрустнули ребра, и побрел вниз по ручью, стараясь держаться как можно ближе к воде, ступая по самой кромке песчаного пляжа. Он смотрел вокруг в радостном и приятном возбуждении, почти без опаски, с удовольствием разглядывая землю, скалы, заросли кустов, и деревья, и темный лес, обступивший ручей с обеих сторон. Ниже по течению, в излучине ручья почва была не такой сырой и торфянистой, здесь росла густая жесткая трава и кустарник почти в человеческий рост. Между кустами там и сям виднелись покрытые травой лужайки, похожие на маленькие садики или уютные комнатки без потолка. Здесь можно отлично устроиться, подумал

Хью. Если есть палатка — впрочем, нужна ли летом палатка? Вполне хватит спального мешка. И какой-нибудь посуды, чтобы готовить. И еще нужны спички. Костер можно развести там, на песке, под скалистым берегом. Интересно, можно ли здесь разводить костры? Вообще-то, если не готовить еду, костер необязателен, но, с другой стороны, это какой-то очаг, тепло... А потом можно лечь спать, провести всю ночь под открытым небом, слушая пение воды... Он неторопливо шел вдоль ручья, часто останавливаясь, чтобы внимательнее оглядеться и подумать. Здесь он двигался размашисто, уверенно, свободно, постоянно ощущая легкую и приятную настороженность, потому что место было действительно странное и совершенно необитаемое. Наконец вернувшись к плоской скале, он еще раз опустился на колени, склонился к воде и напился. Потом встал и решительно двинулся к проходу между сосной и высоким кустом. Один раз оглянулся и ушел.

Тропа круто поднималась вверх и была едва различима в полумраке. Ветки хлестали по лицу; то и дело приходилось отворачиваться, закрывать глаза. Где-то, уже почти наверху, он неправильно свернул и потом продирался сквозь лесные заросли, которых раньше не заметил, через болотистый, заросший высокой травой кусок леса, где тощие деревья, сплетаясь ветками, образовывали непроходимые островки. Из леса он вышел там, где по краю поля проходила глубокая дренажная канава, полная всякого мусора и старой ботвы, и увидел восходящее солнце, своими яркими лучами-копьями приветствующее новый день. Он вытер лоб, который саднил в том месте, где его удалось-таки зацепить колючей ежевикой, и порывлся в карманах в поисках часов. Часы снова шли и показывали восемь минут седьмого. На самом деле было, конечно, гораздо больше, просто часы стояли все то время, что он провел у источника, но он еще рассчитывал попасть домой к восьми. И двинулся в путь, но уже не рысцой, потому что сейчас ему вовсе не хотелось задыхаться и хватать воздух ртом, а быстрым, размеренным шагом. Мыслями он все еще был там, в тиши у ручья, где не о чем беспокоиться и никому ничего не надо объяснять. Бодрый и довольный собой, он быстро миновал заброшенные поля, поднялся вверх по склону холма, прошел между скучными фермерскими домами и мимо лесопитомника и вскоре оказался на площади Челси-Гарденз, а потом, сворачивая с одной улицы на другую, добрался до дома номер 140671/2-С на Дубовой Долине. Когда он вошел, мать, оде-

тая в ситцевый халатик, удивленно уставилась на него; она только что встала. Кухонные часы показывали всего без пяти семь.

Он уселся за кухонный столик, взял огромную миску кукурузных хлопьев с молоком и два персика и принялся за еду, потому что был ужасно голоден; последние двадцать кварталов он прошел, думая уже только о еде. Но вот он ел, и мысли его уносились все дальше и дальше от кухонного стола и от дома. Как это получилось, что он потратил час на дорогу к ручью, час провел там, еще час возвращался назад и все успел за два часа — с пяти до семи? И еще...

Мозг отказывался это понимать. Хью пожал плечами, опустил голову, чувствуя какое-то странное стеснение в груди, но все же продолжал рассуждать дальше, отталкиваясь от следующей мысли: там, у ручья, был вечер. Поздний вечер. Сумерки. Когда появляются звезды. Он пришел туда в шесть утра при солнечном свете и вышел из леса тоже в шесть при солнечном свете, но там все это время был поздний вечер. Вечер какого дня?

— Кофе хочешь? — спросила мать. Голос у нее спросонок звучал хрипловато, но не резко.

— Конечно, — сказал Хью, продолжая размышлять о своем.

Он подсыпал в миску еще кукурузных хлопьев, потому что готовить что-нибудь горячее, пока мать в кухне, не хотелось, ее это вечно раздражало. Хью снова задумался, зажав ложку в руке.

Мать поставила перед ним фаянсовую кружку с китайским рисунком, полную кофе, и слегка съехидничала:

— Пожалуйте, ваше величество!

— Шпасибо, — промычал он с полным ртом и продолжал жевать, уставившись в пространство.

— Когда ты ушел? — Она уселась напротив с чашкой кофе.

— Около пяти.

— И ты все это время бегал? Целых два часа?

— Не знаю. Где-то, пожалуй, присаживался отдохнуть.

— Никогда не следует злоупотреблять физическими упражнениями, особенно вначале. Начиная понемножку и постепенно увеличивай нагрузку. Два часа для начала слишком много. Ты себе сердце можешь испортить. Знаешь, как люди сначала безумно радуются первому снегу, копаются в нем, а потом сотнями погибают на дороге в гололед. Нужно начинать понемножку.

— Все на одной и той же дороге? — невпопад пробормотал Хью, словно проснувшись.

— Ну а где же ты бегал? Все тут, вокруг? Но это же смешно!

— Да, в общем-то действительно все где-то здесь. Тут полно пустынных улиц. — Он встал. — Пойду кровать застелю и все такое, — сказал он. Потом сладко зевнул. — Не привык так рано вставать. — Он сверху вниз посмотрел на мать. Она была такая маленькая, худенькая, такая болезненно напряженная, что ему вдруг захотелось погладить ее по плечу или поцеловать в волосы, но она терпеть не могла, когда к ней прикасались, да он и неловко как-то всегда это делал.

— К кофе ты и не притронулся.

Он посмотрел на полную кружку, послушно выпил ее залпом и побрел в свою комнату.

— Всего тебе доброго, — сказал он.

Он бы туда не вернулся, если бы не вкус этой воды. Единственной в мире, которую он только и должен был пить; никакая другая не утоляла его жажды. Если бы не это, говорил он себе, лучше держаться подальше от того места, потому что там происходит нечто весьма странное. Его часы там идти не желают. Или он сам сошел с ума, или это какие-то необъяснимые фокусы со временем, что-то вроде волшебства или оккультизма, которыми так интересуются его мать и ее подруга. А он такими вещами совсем не интересовался и не видел в этом смысла. Обычные-то вещи достаточно непонятны, стоит ли запутывать все еще больше, зачем усложнять и без того уже сложную жизнь. Но в том-то и дело, что единственным местом, где жизнь не казалась ему слишком сложной, был берег того ручья, и он просто должен был приходить туда, чтобы успокоиться, подумать, побыть одному, напиться этой воды и искупаться в ней.

Искупаться он решил только на третий раз. Разулся. Ручей казался довольно мелким, и он вошел в воду там, где было вроде бы поглубже. И провалился почти по пояс. С шумным плеском выскочил на берег, стащил с себя джинсы, и рубашку, и трусы и голышом снова полез в холодную шумливую воду. В основном было не глубже чем по грудь, но нашлось и такое местечко, где он смог даже немножко проплыть. Он нырнул и почувствовал, как бесчисленные

придонные ключи выталкивают его вверх, а волосы свободно плывут рядом с лицом в странной бессолнечной прозрачности подводного мира. Он плавал, обдирая колени о невидимые скалы, касаясь их поверхностей ступнями и ладонями, боролся с клокочущей между валунами белой водой там, где течение становилось стремительным. На берег вылез фыркая, как буйвол, отряхиваясь и дрожа, набравшись прохлады и энергии, и насухо вытерся рубашкой. После этого раза он всегда плавал, когда приходил сюда.

Поскольку он приходил к источнику только ранним утром, то продолжал считать, что не сможет провести там ночь, как мечталось. И впрямь, провести там ночь было невозможно: ночь там никогда и не наступала. Все там оставалось неизменным. Вечные вечерние сумерки. Иногда они казались ему чуть светлее, иногда — чуть темнее, но полной уверенности в этом не было. И звезды над верхушкой высокой сосны он так больше никогда и не увидел, хотя каждый раз был уверен, что она там, на том же самом месте. А вот часы — часы его всегда останавливались. Время не двигалось, словно здесь был какой-то остров и время обтекало его, как река огибает торчащий из песка валун. Сюда можно было прийти, побыть сколько угодно и выйти из лесу точно в тот же час, когда вошел. Или почти в тот же. Он чувствовал, что пробыл у источника не меньше часа, но, когда вновь возвращался на освещенную солнцем опушку, его часы показывали, что прошло всего несколько минут. Возможно, они и не останавливались совсем, а просто шли очень-очень медленно; там время текло иначе; спускаясь к излучине ручья, вы попадали в иной мир, более замедленный. Только это, разумеется, было чепухой, о которой не стоило и думать.

На четвертый или пятый раз он пробыл у источника гораздо дольше обычного, искупался, развел костер, посидел у огня. А на работе уже к полудню почувствовал, что безумно, до головокружения хочет спать. Если задержаться у ручья еще немного, поспать, то по крайней мере не придется бодрствовать по двадцать часов подряд. Можно было бы проживать как бы две жизни — за один и тот же промежуток времени он бы тогда успевал в два раза больше. Хью вынимал из корзинки покупателя пучок сельдерея, когда эта мысль пришла ему в голову. И хоть рассмеялся, но заметил, что руки дрожат. Покупатель, тощий старикашка, уставившись поверх овощей на грибы — два доллара двадцать четыре цента, — сказал: «Надо бы проучить идиотов,

которые пользуются психосредствами». Хью не понял, к нему ли относились эти слова, или к грибам, или вообще к чему-то другому.

За час обеденного перерыва он успел сходить на другую сторону шоссе в магазин, где продавались спорттовары со скидкой, и истратить большую часть своего недельного заработка на спальный мешок, набор продуктов для туриста, очень хороший складной нож с двумя лезвиями и набор походной посуды из нержавеющей стали, перед которым невозможно было устоять. По дороге к кассе прихватил еще дешевый армейский рюкзак. Заталкивая пакеты с едой в рюкзак, он понял, что не может принести все это домой. Сегодня вечером мать никуда не уходит и будет дома, когда он вернется. *Что это такое, Хью? Зачем ты купил этот рюкзак? Да еще и спальный мешок! Но ведь хороший спальный мешок, ужасно дорогой! Интересно, когда ты собираешься пользоваться всеми этими дорогими штучками?* Он глупо поступил, покупая все эти вещи. Где только была его голова? Он отнес все по жаре к себе в супермаркет, запер в холодильнике в кладовой и пошел к управляющему, чтобы отпроситься домой на час раньше.

— Зачем это? — кисло спросил тот, скрючившись в своем забитом пустыми жестянками из-под малинового йогурта закутке, где царил запах прокисшего молока и сигар.

— Мать заболела, — сказал Хью.

Сказав это, он побледнел и почувствовал, что на лице выступила испарина.

Управляющий уставился на него не то задумчиво, не то равнодушно. Он долго смотрел так и молчал, потом уронил: «О'кей» — и отвернулся.

Когда Хью вышел из кабинета управляющего, то пол и стены покачивались и плыли у него перед глазами. Мир стал каким-то маленьким и белым, как яичная скорлупа, как глазное яблоко. Ему было плохо. Ей плохо, да, плохо, и ей нужна помощь.

Но я же помогаю ей! Господи, что еще я могу для нее сделать? Я никуда не хожу, ни с кем не знаком, нигде не учусь, работаю рядом с домом, и она знает, где именно. Каждый вечер я дома, я провожу с ней все выходные, я делаю все, что она просит, — что же еще я могу сделать?

Он знал, что обвиняет себя несправедливо, но сейчас это значения не имело. Это был суд над самим собой, и он ничего не мог с этим поделать. На душе по-прежнему было гадко, и голова все еще немного кружилась. Он с трудом

управлялся с работой, все время делал глупые ошибки, выбивая чеки. Была пятница — тяжелый день. Он смог закрыть кассу только в десять минут шестого, только когда попросил Донну подменить его.

— Плохо себя чувствуешь, милый? — спросила она, когда он передавал ей ключ от кассы. Он не решился вновь назвать ту же причину, опасаясь, как бы ложь не обернулась правдой.

— Не знаю даже, — сказал он.

— Побереги себя, Бак.

— Ладно.

Он пошел в подсобку, неуклюже натыкаясь на людей, заполнивших проходы. Забрал спрятанный в холодильнике спальный мешок и рюкзак и пошел по улице вовсе не на запад, а на восток, по направлению к фабрике красок, к заброшенным полям, к проходу туда. Он должен был туда попасть. Все будет хорошо, как только он окажется там. Его место там. Там он чувствует себя человеком.

Поля раскалились под солнцем как печь. Хью весь взмок, во рту пересохло, губы потрескались, но он упорно продвигался к лесу, а потом жара и дневной зной остались позади, и он начал спускаться по тропе вниз и переступил порог вечерней страны. Он положил свою ношу на землю и, как всегда, сразу бросился к источнику, встал на колени и вдоволь напился. Потом содрал с себя пропотевшую одежду и вошел в воду. «Ха!» — выдохнул он в каком-то болезненном экстазе; ощутил холод воды, толчки, силу и вращение придонных ключей, шероховатую поверхность скал, которых касался ступнями и ладонями. На глубоком месте он нырнул и дал течению подхватить себя, вода проникла в него, он сливался с водой — одна сплошная темно-прозрачная радость, все остальное забыто.

Он вынырнул с залепленным волосами лицом, немного полежал на поверхности воды, видя над собой купол бесцветного, безоблачного неба, потом, чувствуя, что его уже до костей пробирает холод, поплыл к берегу и с плеском выбрался из ледяной воды. Он всегда входил в воду осторожно, с каким-то почтением, а вылезал оттуда с шумом, переполненный жизнью. Тщательно вытершись, Хью натянул джинсы, уселся перед своим рюкзаком и не спеша развязал его. Он разобьет лагерь, потом приготовит обед, под кустами устроит себе постель, будет лежать на густой траве и уснет под пение ручья.

Он проснулся и увидел над собой темные кроны деревьев, в носу стоял запах мяты и трав. Слабый ветерок касался лица и волос, словно чья-то темная прозрачная рука.

Это было странное, медленное пробуждение. Сны ему не снились, и все же он чувствовал, что выпался. Его охватило чувство уверенности в себе и полного, безграничного доверия ко всему вокруг. Он лежал, он спал на этой земле и был теперь ее частью. Ничего дурного с ним здесь случиться не может. Эта страна — его!

Он опустился на колени на плоской скале, умылся и стал разглядывать бледную траву на другом берегу ручья, темные заросли кустарника и кроны деревьев, четко вырисовывавшиеся на фоне ясного неба. Потом поднялся и босиком начал перебираться на тот берег, но не вброд, а прыгая с камня на камень, пока в последнем длинном прыжке не опустился на прибрежный песок. Здесь, чуть выше песчаного пляжика, тоже росла мята. Он, словно совершая ритуал, сорвал листок и стал его жевать. Мята на этом берегу была точно такая же. Никаких различий и никаких пределов не существовало. Все это была *его страна*. Но на этот раз он достаточно далеко зашел вглубь; пока дальше идти не стоит. Это покорное следование собственным внутренним импульсам и желаниям, полное отсутствие чьего бы то ни было внешнего влияния и давления тоже приносило радость. В этой послушности себе, впервые с раннего детства вновь ощущенной здесь, была для него основа свободы, спокойствия и силы. Сейчас он решил не ходить дальше. Когда ему этого *захочется*, он пойдет. Все еще зажав в зубах листок мяты, он пустился в обратный путь, перескакивая с камня на камень широкими, уверенными прыжками.

Он оделся, аккуратно свернул свой спальный мешок и хорошенько спрятал его в ямку под кустом; потом пристроил рюкзак с едой в развилку дерева — он читал, что так следует делать, чтобы уберечь еду — но от кого? от медведей? от муравьев? от муравьедов? Во всяком случае, так ему казалось лучше, чем просто оставить рюкзак на земле. Он еще раз встал на колени, напился из источника и ушел.

Он добрался до Дубовой Долины в семь часов вечера того же дня, хотя отпросился и ушел с работы только в четверть шестого. Обеда мать не приготовила; она сказала, что готовить слишком жарко; они сходили в закусочную, съели по гамбургеру, а потом пошли в кино.

Он думал, что не сможет уснуть всю ночь, потому что выпался на берегу ручья, но лег и тут же крепко уснул, только утром проснулся чуть раньше и значительно легче обычного — было всего четыре тридцать, солнце еще не взошло, и царили другие, предрассветные сумерки. К тому времени как он добрался до леса, солнце уже поднялось и светило вовсю в своем неотразимом летнем великолепии. Но он отвернулся от солнца и пошел по тропе вниз, в вечернюю страну. Он был спокоен и полон желания перейти на другой берег, исследовать, понять этот мир, непонятный и необъяснимый, — его мир, его страну. Он опустился на колени у прозрачной темной воды и испил ее. Подняв голову, раздумывал, куда бы теперь направиться, и вдруг на другом берегу, за излучиной ручья, над сверкающей поверхностью воды увидел квадратную дощечку, прикрепленную к столбу, врытому в землю. Черные буквы на белом фоне гласили: **ВНИМАНИЕ! ПРОХОДА НЕТ!**

Глава 2

Может, прохода теперь вообще больше не будет? Закрыт навсегда. Исчез. Вот оно. Случилось. Она пришла в лес Пинкуса, к тому месту, к самому порогу — и перед ней все те же пыльные заросли в дурацком дневном свете, дренажная канава и к тому же — колючая проволока у подножия холма. И никакой тропинки, ведущей вниз, никакого прохода. Бессмысленно снова и снова стараться пройти. Такое уже случалось, в первый раз это произошло два года назад, и она долго простояла там, где должен был быть проход, страстно желая, чтобы он открылся, требуя этого, приказывая. А потом пришла назавтра, и еще, и еще, и в последний раз просто рухнула на землю и отчаянно расплакалась. А когда через неделю снова пришла туда, проход был открыт, и она переступила порог так же легко, как обычно. Но теперь на это больше рассчитывать не могла. Она боялась, что прохода снова не будет, и месяцами даже попытки не делала пойти туда: глупо было бы снова вести себя как тогда. Все это время она чувствовала себя полной идиоткой, впавшей в детство; как ребенок, она играла в прятки сама с собой. Но на этот раз проход почему-то оказался на месте. Она переступила порог и попала в вечернюю страну.

Она осторожно шла вперед, словно опасалась, что землю у нее из-под ног могут выдернуть, как коврик. Потом упала на четвереньки прямо в грязь и стала целовать эту землю, прижимаясь к ней лицом, словно сосунок к груди матери. «Ну вот, — шептала она, — ну вот». И встала на

ноги, и потянулась всем телом навстречу небу, и подошла к воде, преклонила колени, омыла руки, плечи и лицо, шумно фыркая и брызгаясь, напилась воды и ответила на ее громкое приветливое журчание: «Ну, здравствуй, это я». Потом по-турецки уселась на плоской скале и некоторое время сидела неподвижно, закрыв глаза, оберегая рвущуюся наружу радость.

Она так давно не была здесь, но вокруг все осталось неизменным. Ничто здесь никогда не менялось. Здесь царила Вечность. И здесь ей следовало вести себя так, как всегда она вела себя с тех пор, как еще девочкой — ей тогда было тринадцать — впервые обнаружила это место, начало начал, исток, еще до того, как впервые перешла на тот берег речки. Например, танцевать свой бесконечно долгий танец поклонения огню, как она танцевала тогда, зарыв под деревом с серым стволом выше по реке те четыре камня. Они, наверно, и до сих пор там. Разве мог кто-нибудь тронуть их? Четыре камня по углам квадрата — черный, серо-голубой, желтый, белый, а в центре она зарыла пепел от принесенной ею жертвы — фигурки, которую вырезала из дерева и сожгла. Все это, конечно, ерунда, детские игры. Впрочем, в церкви, например, люди тоже ведут себя довольно глупо. Но для того у них есть свои причины. Поэтому если захочется, то и она будет продолжать свои бесконечные ритуальные танцы. Нужно, чтобы все здесь продолжалось по-прежнему; здесь это самое главное, здесь ничто не кончается, все вечно. Здесь она делает что душе угодно. Здесь она может принадлежать самой себе, быть собой. Здесь она дома — нет, еще не дома, а на пути домой, наконец-то снова на этом пути, и теперь она может идти через реку, разливающуюся на три рукава, и дальше, вверх по склону темной горы — домой.

Она поднялась на ноги и, раскинув руки с опущенными, словно лепестки цветка, пальцами, станцевала на плоской скале танец огня или воды — быстрые, зыбкие, плавные движения, — танцуя, двинулась к берегу, к излучине и вдруг остановилась как вкопанная.

На песке, несколькими метрами ниже перехода на тот берег, кружком были выложены камни, и в центре кружка виднелось кострище.

Рядом, наполовину скрытые ветками бузины, лежали разные вещи: пакеты с едой, туристское снаряжение. Пластик, нержавейка, бумага...

Она бесшумно шагнула вперед: зола была еще теплая, чувствовался запах дыма.

Никто никогда не приходил сюда. Никто — никогда. Это место принадлежало ей одной. Проход существовал для нее, тропа — для нее, для нее одной. Кто там, спрятавшись, подсматривал, как она танцует, и смеялся над ней? Она обернулась, напряженная, готовая к прыжку, готовая сразиться с любым врагом. «Ну же, ну, выходи, раз уж ты здесь!» — крикнула она и задохнулась от страха, увидев огромную бледную руку, ползущую к ней по траве, — и в тот же миг поняла, что ужасная конечность — это всего-навсего спальный мешок, в котором под кустами на траве кто-то спит. Однако испуг оказался настолько силен, что она без сил опустилась на землю, дрожа всем телом, задыхаясь, и сидела, скорчившись, до тех пор, пока не отдышалась, пока не исчезла белая пелена, закрывавшая все перед глазами. Потом она снова осторожно поднялась на ноги и стала пробираться сквозь заросли прибрежного кустарника. Она была уверена лишь в том, что спальный мешок лежит неподвижно. Однако если идти дальше, то она неминуемо ступит на песок и оставит след. Она вернулась к плоскому камню, прямо с него шагнула в траву и, прячась в зарослях бузины, обошла полянку вокруг и устроилась в таком месте, откуда ей хорошо был виден вторгшийся в ее владения человек. Белокожее крупное лицо спящего ничего не выражало — безвольный подбородок, растрепавшиеся светлые волосы: рядом возвышался его рюкзак, словно мешок с отбросами, словно кучка собачьего дерьма, — и это на земле, которую она недавно целовала, на ее дорогой, любимой, волшебной земле!

Она стояла и не двигалась, как и спящий. Потом резко повернулась и пошла, быстрая, легкая, совершенно бесшумно ступая в своих теннисных туфлях, прямо к переходу через реку, к знакомой цепочке камней, приподнимающихся над веселой водой, потом вверх по тому берегу, все дальше и дальше от ручья по знакомой Южной дороге; она шла словно на марше, не бегом и не трусцой, а просто ровно и быстро, даже очень быстро, легко оставляя позади километры пути. Она шла и смотрела только вперед, и в течение долгого времени в голове у нее не было ни одной ясной мысли, только отголоски пережитого ужаса и гнева, а когда и это прошло, осталась лишь иссушающая пустота, которую она так хорошо знала и которая имела много

разных названий, но лишь одно казалось подходящим — тоска.

Не было для нее места, некуда было идти, негде жить. Даже здесь — ни места, ни покоя.

Но сама дорога, по которой она шла, уже говорила ей: *Ты идешь домой*. Кожу ласкал воздух волшебной страны, глаза любовались сумрачными ее лесами. Ритм ходьбы — то вверх, то вниз по склону, то через реку вброд, замедленное течение времени в этой стране уже успокаивали, утишали тоску, заполняли пустоту, возникшую в душе. Чем дальше уходила она по дороге в глубь сумеречной страны, тем больше ощущала свою принадлежность к этому миру, и вот погасли воспоминания о дневном свете и даже о том *захватчике*, спящем на берегу ручья; душа настраивалась на восприятие только того, что было вокруг и что ждало впереди. Леса становились все темнее, дорога — круче. Давно уже не приходила она в Город На Горе.

А путь туда долог. Она всегда забывала, как он на самом деле долог и труден. Когда она нашла дорогу туда, то в первое время обычно останавливалась передохнуть и поспать на берегу Третьей Речки у самого подножия Горы. С тех пор как ей исполнилось шестнадцать, она уже могла дойти до Тембреабрези без остановки, хотя это и было трудно-вато — все время вверх по темным склонам, все вверх и вверх, далеко, гораздо дальше, чем всегда казалось сначала. Когда она наконец вышла на прямой участок дороги перед последним поворотом, то страшно проголодалась, стерла ноги и они гудели от усталости. Но в этом-то и таилась вся радость путешествия *туда* добраться усталой, измученной, жаждущей пищи, тепла и отдыха и до замирания сердца радоваться светящимся в холодной вечерней дымке окнам на склоне Горы, чувствовать запах горящих в очаге дров, тот самый запах, который издревле шепчет человеку: *Дикие края остались позади, теперь ты дома!* И услышать, как тебя наконец-то называют по имени.

— Ирена! — воскликнула маленькая Адуван, игравшая на улице перед гостиничным двором. Сначала девочка немного растерялась, но потом заулыбалась и стала кричать подружкам: — *Ирена тьялохаджи!* (Ирена вернулась!)

Айрин обнимала и кружила девочку, пока та не завизжала от восторга, и тогда целая банда малышей — четверо! — начала приплясывать вокруг, вразнойбой крича своими тонкими, нежными голосами, требуя, чтобы их тоже обняли и покружили, но тут со двора вышла Пализо — посмотреть,

что за шум, и поспешила к Айрин, вытирая фартуком руки, спокойная, приветливая:

— Входи, входи, Ирена. Путь у тебя был долгий, ты устала.

Так она приговаривала и тогда, когда Айрин впервые пришла в Город На Горе. Ей тогда было четырнадцать, и была она голодная, грязная, усталая, испуганная. Она тогда еще совсем не знала их языка, но хорошо поняла то, что сказала ей Пализо: *Входи, детка, входи в дом.*

В большом камине горел огонь. По всей гостинице распространялся восхитительный аромат жареного лука, капусты и разных специй. Все здесь было таким, как раньше, каким и должно было быть, хотя кое-какие приятные изменения все же произошли: полы были покрыты красной соломённой циновкой, а не посыпаны, как обычно, простым песком.

— Ой как хорошо, так гораздо теплее! — сказала Айрин, и Пализо, польщенная, озабоченно ответила: — Да вот не знаю еще, прочные ли эти циновки. Давай-ка зажжем лампу вот тут, поближе к камину. Софир! Ирена пришла! Поживешь у нас немножко, *леваджа*?

Детка, вот что означало это слово, *дорогая детка*; они и к именам собственным прибавляли уменьшительный суффикс «-аджа». Ей очень нравилось, когда Пализо так ее называла. Она кивнула, уже решив про себя, что проведет здесь двенадцать дней, — там, за порогом, пройдет всего одна ночь, двенадцать часов. Она пыталась подобрать слова и не сразу смогла задать свой вопрос, потому что уже несколько месяцев не говорила на их языке.

— Пализо, скажи мне, с тех пор как я была здесь, кто-нибудь еще приходил по Южной дороге?

— Ни по одной из дорог никто не приходил, — сказала Пализо. Ответ был немного странный, голос звучал спокойно, но мрачно.

Потом из кладовой пришел Софир, в густых темных волосах которого запуталась паутина. У него был низкий, звучный голос, а тело одинаково широкое от плеч до бедер — словно ствол дерева; он обнял Айрин и стал трясти обе ее руки в своих, радостно гудя:

— Давненько, давненько не виделись, Иренаджа! Пришла, значит, все-таки!

Айрин отвели ее любимую комнату, и она помогла Софиру принести наверх дров для камина. Он затопил камин, и в комнате сразу стало тепло и приятно, исчез запах нежи-

лого помещения. Кроме нее, других постояльцев в гостинице не было. Само по себе это ничего особенного не значило, но она начала замечать и другие признаки того, что в гостинице теперь останавливалось очень и очень мало путешественников и торговцев. Большие оловянные пивные кружки висели в ряд вдоль стены, и сразу было видно, что их давненько оттуда не снимали и не использовали, как бывало на шумных вечеринках торговцев или перекупщиков тканей, приходивших из долины. Она пошла посмотреть, сколько сейчас лошадей в конюшне, но там не было ни одной, стойла и кормушки были пусты. Несмотря на то что Софир отлично готовил, ужин был бедный, и совсем не подали восхитительного пшеничного хлеба, который Софир раньше так здорово пек, а только густую овсяную кашу темного цвета — из того сорта овса, который выращивали здесь, на Горе. И Софир с Пализо, казалось, чем-то озабочены или огорчены, но сами они так ничего прямо и не сказали о том, что дела идут неважно, а Айрин решила, что не должна спрашивать про дела. Для них она все еще была «деткой», желанной и балованной, потому что не имела отношения к их делам и заботам. И для нее их общество всегда раньше было праздником сердца; а вот теперь — она просто не знала, как можно все это изменить. Поэтому они, как всегда, болтали о всякой всячине, и единственным действительно важным для всех троих сейчас было то, что они любят друг друга.

После ужина в гостинице собралось несколько человек — скоротать вечерок. Софир устроил для мужчин что-то вроде бара в большой гостиной. Женщины окружили Пализо, усевшись в уютной комнатке возле кухни. Пили местное пиво и болтали; старая Кади притащила граммов сто яблочного бренди. Айрин понемножку прихлебывала пиво, довольно-таки крепкое, и помогала Пализо шить лоскутное одеяло. Вообще-то она терпеть не могла шить, но работать вместе с Пализо было давнишним ее удовольствием, именно тем делом, о котором она потом вспоминала с наслаждением там, за порогом. Лоскутки разноцветной мягкой шерстяной ткани, свет лампы, огонь в камине, длинное, суровое и одновременно нежное лицо Пализо, тихие голоса женщин, старушечье хихиканье Кади, шум мужской беседы, доносящийся из гостиной, ее собственное дремотное состояние, обволакивающий покой старого огромного дома и тишина городских улиц и окрестных лесов.

Когда в доме зажигали лампы, опускали шторы и закрывали ставни, всегда казалось, что на улице ночь. Айрин не открывала ставен в своей комнате, пока не просыпалась, и тогда неизменные сумерки за окном казались ей неясным светом зимнего утра. Так называли это время и жители города и произносили слова «утро», «полдень», «ночь». Айрин выучила эти слова на их языке, но не всегда легко и естественно могла их произнести. Какое значение имели они здесь, в стране вечных сумерек? Но она не могла спросить об этом ни Пализо с Софиром, ни Триджят, мать девочки Адуван, и вообще никого из тех женщин, которых любила: ее вопросы звучали для них непонятно; они смеялись и говорили: «Утро приходит раньше полудня, а день сменяется вечером, детка!» И всегда веселились, слушая, как неуклюже управляется она с их родным языком, и всегда готовы были помочь ей, подсказать, но только не отвечать на ее странные вопросы о том, что казалось им самым безусловным. И не было в Городе На Горе никого, кто мог бы поговорить с ней о таких вещах, кроме Хозяина Города. И она частенько думала о том, как наконец спросит у него, почему здесь не бывает ни дня, ни ночи, почему солнце никогда не восходит, и все же на небе не видно звезд, и как все это вообще может быть. Но она так ни разу и не задала ни одного из этих вопросов. Какими словами в их языке обозначаются солнце и звезда? И если она спросит: «Почему здесь никогда не бывает ни дня, ни ночи?» — то это прозвучит глупо, потому что день здесь означает, что пора вставать, а ночь — что пора ложиться спать, и они встают, работают и ложатся спать, как и люди по ту сторону порога. Она могла бы начать свои объяснения, например, так: «Там, откуда я пришла, в небе есть большой круглый очаг...» — но это, во-первых, прозвучало бы как речь пещерного человека из голливудского фильма, а во-вторых, и это самое главное, она никогда не говорила о том, откуда пришла. С самого начала, с того момента как впервые переступила порог, впервые перешла вброд через Первую Речку, впервые появилась в Городе На Горе, Айрин знала, что ни там, ни здесь нельзя говорить о том, что лежит за порогом. Нельзя говорить им, откуда ты пришла, пока они сами не спросят. Но никто ни там, ни здесь так никогда об этом и не спросил.

Она была убеждена, что кое-что о существовании прохода Хозяину Города известно. Возможно, значительно больше, чем она предполагает; во всяком случае, она хотя и

смутно, но все же надеялась, что он знает обо всем этом гораздо больше, чем знает она, и когда-нибудь, если захочет, объяснит ей. Но спросить она не осмеливалась. Время для этого еще не пришло. Она до сих пор слишком мало знала о волшебной стране, разве что Южную дорогу и сам Город, да еще немного — о его жителях, об их занятиях, шутках, ремеслах, сплетнях и манерах, и ей не надоедало узнавать об этом все больше и больше и учиться их языку, на котором она вообще-то иногда болтала совершенно свободно, а иногда совсем не понимала сказанного. И всегда за уютными пределами домашнего очага в этом городе таились сумерки и тишина, необъяснимое и неизведанное. Ей это нравилось. Она мечтала, чтобы здесь ничто никогда не менялось. Но на этот раз, уже в самую первую ночь, в самый первый вечер, сидя со всеми вместе у камина, она почувствовала, что круг разомкнулся и внутри его больше не безопасно. И пусть ей и им тоже хотелось, чтобы она по-прежнему оставалась «их деткой», ребенком она больше не была.

После завтрака она сходила к Триджъят, а потом прогулялась с ее детьми, Адуван и младшим мальчиком, к сапожнику, жившему на другом конце города, — отдать в починку нарядные туфли Триджъят. Девочка всю дорогу болтала без умолку, а малыш, вторя ей, стрекотал как сверчок. Головенки их были забиты какой-то фантастической чепухой вроде длинной сказки о привидениях, которую кто-то им рассказал, и они все спрашивали Айрин, не страшно ли ей было на горной дороге. Малыш Вирти убегал вперед, прятался за чье-нибудь крыльцо и выскакивал оттуда ей навстречу с устрашающими воплями, сильно напоминавшими треск вспугнутого сверчка, и она старалась не отставать и тоже издавала соответствующие вопли и стоны, изображая испуг. «Ты должна упасть на землю!» — сказал Вирти, но падать она отказалась.

Выполнив задание Триджъят и препоручив детей бабушке, она свернула с главной улицы города на самую крутую дорожку, узкую и извилистую, ведущую вверх по склону горы. Улочка настолько круто шла вверх, что временами, в сущности, по ней приходилось карабкаться как по лестнице с высокими неровными ступенями, вдруг сменявшимися относительно равномерный подъем: улочка вела себя как нервный человек, который то начинает безудержно хихикать или икать, то берет себя в руки и некоторое время держится вполне пристойно, а потом все начинается снова.

На самом верху виднелась стена, окружавшая замок с садом, и в ней ворота; арка ворот красиво вырисовывалась на фоне ясного неба. Немного не доходя до стены замка, Айрин свернула направо и на мгновение остановилась, глядя на дом Хозяина Города.

На фоне неба виднелись четкие углы бесчисленных коньков крыш и слуховых окон; окна — фонарем, или эркером, с тесными переплетами — все находились на разных уровнях, и по ним невозможно было понять, сколько в доме этажей, представление об этом давали только три несущие балки, видные с фасада. Дверь была массивная, с наборной плитой из двенадцати пород дерева и бронзовым диском. Когда она взялась за тяжелое кольцо и ударила им по диску, то вдруг вспомнила, что *там, по ту сторону*, часто видела эту дверь во сне.

Фимол, домоправительница, прямая, в неизменном сером платье с высоким воротом, длинными рукавами и длинной юбкой, отперла тяжелую дверь и впустила посетительницу в дом. Фимол никогда не улыбалась, и Айрин всегда втайне побаивалась ее. Следуя за домоправительницей, она с неприличной, предательской радостью заметила, что волосы у той поседели, а прямая, гордая спина выглядит теперь худой и костлявой — спиной стареющей женщины.

Они вошли в гостиную. Это был центр дома, его главная комната. Высокие потолки. Одна стена обшита дубом, а противоположная двенадцатью выступающими окнами в свинцовых переплетах выходит на расположенный террасами по склону горы сад. Немногочисленная мебель вся из резного дуба, местного изготовления ковры кремовых, оранжевых и коричневых тонов создают теплоту и уют, даже если в комнате не горят свечи и она освещена лишь неизменным сумеречным светом, льющимся из окон. У каждой торцевой стены огромный камин из камня, и над каждым, значительно выше каминной доски, портрет; на одном чопорная, меланхоличного вида дама смотрит черными круглыми глазами через весь зал на своего мужа и хозяина, который прячет кисть изуродованной правой руки за пазухой и мрачно поглядывает на жену.

Сейчас справа от дальнего камина, над которым висел портрет мужчины, возле двери в свой кабинет стоял Хозяин и разговаривал с каменотесом Гайяром. Заметив Айрин, входящую в гостиную в сопровождении домоправительницы, он посмотрел на нее так же мрачно, как старик на портрете; потом выражение его лица переменилось; он от-

вернулся от Гайяра и быстро пошел через длинный зал к ней навстречу, протягивая руки:

— Ирена! Ты пришла!

В своих мечтаниях она так и представляла себе эту встречу, однако никак не ожидала такого радушия; хотя не удивилась и тому, что последовало потом.

Хозяин, или мэр Тембреабрези, был худошавым смуглым человеком с ястребиным носом и темными глазами. Он одевался в черное — грубые, но аккуратно сшитые и подогнанные по фигуре штаны, домотканая блуза и сюртук. Суровый, непонятный, загадочный человек. Она полюбила его с первого взгляда.

Он провел ее из гостиной в свой кабинет, где в камине горел огонь, а шторы на окнах были опущены, словно защищая комнату от серого света зимнего дня, проникающего снаружи. Он придвинул стул и помог ей усесться поудобнее, как бы отдавая должное ее наряду, вполне соответствующему обстановке, — темно-красной юбке и домотканой блузке, которые Пализо приберегала специально для нее. В этом наряде она здесь ни капельки не стеснялась. Хозяин встал у высокой конторки, за которой обычно работал — он вообще сидел редко, — и внимательно поглядел на нее. Она глубоко вздохнула и молча ждала, сложив руки на коленях.

— Давно тебя не было, Ирена.

— Я не могла прийти.

— Дорога?..

— Я не могла... найти... — И слова тоже что-то не находились, те, единственно необходимые сейчас. — То место... — сказала она и потом, вспомнив, как они называли каменную арку в стене, окружавшей замок, наконец выговорила: — Вход, ворота. Ворота были закрыты.

— Значит, ты не смогла пройти по дороге, — произнес он, не выказывая ни малейшего нетерпения из-за ее дурацкого заикания, но как-то необычайно напряженно.

— Когда я... когда я сумела наконец выйти на дорогу, то идти по ней могла. Но сначала... — она опять запнулась.

— Ты боялась.

Его голос звучал мягко; она никогда еще не слышала, чтобы он так мягко говорил с кем-нибудь.

— Когда я нашла проход и переступила порог... мне так долго это не удавалось!.. то там, прямо сразу, у реки был...

Он произнес какое-то слово, едва слышно, почти шепотом. Это было то самое слово, которое выкрикивал маленький Вирти, когда изображал чудовище, а она, Айрин, не

хотела падать на землю, а Адуван все ругала Вирти: «Замолчи, не смей про это говорить!», и оба малыша были ужасно возбуждены, чуть не плакали. Огромная, бледная, странной формы рука, ползущая к ней по траве...

— Человек, — сказала она. — Чужой человек.

Хозяин слушал, внимательный, настороженный.

— Другой человек, вроде меня. Нет, не точно такой. как я, а... — она не знала, как это выразить словами. Хозяин, видно, понял ее и кивнул.

— Ты с ним говорила?

— Нет. Он спал. Я ушла. Я не хотела — я боялась... — она снова запнулась. Она не могла ему объяснить той первой вспышки панического ужаса. Ему, конечно, понятно, почему вообще одинокая женщина в лесу могла испугаться незнакомого мужчины. Но теперь она не в состоянии была выразить ту особую охватившую ее ярость и тот страх при виде незнакомца, огромного, спящего, и кучи пластикового барахла рядом с ним. Она чувствовала себя так, будто ее тайну внезапно раскрыли и теперь ей грозит опасность. Айрин стиснула руки, лежавшие на коленях, и снова вступила в борьбу с чужим языком, подыскивая нужные слова, заставляя себя говорить.

— Если он нашел ворота, то их могут найти и другие. Там — там много других людей...

Если Хозяин и понял, что она подразумевала под словом «там», то в ответ только нахмурил брови.

— Вам нужно охранять свои стены, Хозяин! — сказала она в отчаянии. Она бы сказала «границы», но не знала такого слова на его языке и вообще ни одного подходящего слова, которое могло бы обозначать границу или ограду. Только слово, обозначающее деревянную или каменную стену.

Он кивнул, но сказал:

— Никаких стен нет, Ирена. Но для нас — теперь — нет и выхода.

Что-то в его голосе заставило ее промолчать. Он отвернулся к своей конторке, потом прошелся по комнате с тем же каким-то нарочитым спокойствием.

— Мы не можем ходить по дорогам. Они закрыты. Ты знаешь, что некоторые из них закрыты для нас уже давно. Южной дорогой — твоей дорогой — мы, как ты знаешь, уже давно не пользуемся.

Она об этом не знала и непонимающе уставилась на него.

— Но у нас еще оставались летние пастбища, и Верхний Перевал, и все восточные дороги, и Северная дорога. Теперь нет ни одной. Никто не приходит сюда из Трех Источников или из деревень, что под Горой. Ни торговцы, ни купцы. Никто из долин. Никаких вестей из Столицы. Еще недавно можно было подняться в западном направлении по горным тропам; теперь — нет. Все ворота Тембреабрези закрыты.

Там не было таких ворот, которые можно было бы запирать. Только главная улица, которая выходила прямо на Южную дорогу, и тропы, ведущие вверх и вниз по склону Горы — на запад и на восток от города, — но они совершенно открытые, там нет никаких ворот или заграждений.

— Это Король запретил вам пользоваться дорогами? — спросила Айрин, совсем растерявшись и ничего не понимая, и сразу же пожалела о собственной опрометчивости. В конце концов, их язык она всегда изучала иначе, чем, например, испанский в колледже; *ла каса* — «дом», *эль рей* — «король»... Слово *редьяйи*, которое, по ее мнению, значит «король», совсем не обязательно имело такое значение; и у нее была только одна возможность узнать, что именно оно значит: слушать, как это слово употребляют они сами, а они его употребляли не часто, разве что когда говорили о Столице, называя ее «Городом Короля». Возможно, виноват был год ее занятий испанским и приставка «ре-», из-за которой она и решила, что слово *редьяйи* означает «король». Убедиться в правильности этого у нее возможности не было. И теперь она боялась, что сказала нечто совсем несуразное, даже кощунственное. Хозяин стоял, отвернув от нее свое смуглое лицо и положив стиснутые руки на конторку. Он, возможно, даже не слышал ее вопроса.

— Этот незнакомец... — начал он, оборачиваясь, но не глядя на нее, очень тихим, но твердым голосом. И тоже запнулся.

— Может быть... это просто ошибка... он мог заблудиться... Какой-то бродяга... — она хотела сказать «путешественник», который просто переночевал в этом месте и не заметил ничего особенного; может, он и порога никакого не переступал и так и ушел на следующий день, проголосовал на шоссе и уехал в город, он ведь явно не здешний. Она хотела все это сказать, но не находила слов. Теперь она была уверена, что так оно и есть. Что именно эта истина ей и требовалась, да и Хозяину, по всей видимости, тоже, потому что он понял ее с полуслова и с явным облегчением.

Возможно, ее слова и не полностью его убедили, но поселили в душе желанную надежду. Наконец он посмотрел прямо на нее и улыбнулся. Улыбка редко появлялась на его лице и оказалась очень доброй, хотя и мимолетной.

— Я уж и не надеялся, что ты вернешься, Ирена, — мягко сказал он. Если бы она могла, то непременно сказала бы: «Я всегда любила вас». Но она не могла говорить об этом, да и не было необходимости. Он и так знал свою силу. Он был Хозяином.

— Останешься у нас? — спросил он.

Интересно, он имел в виду «навсегда»? Тон у него был сдержанный; она не чувствовала уверенности в том, что он именно это хотел сказать.

— Так долго, как смогу. Но я должна вернуться.

Он кивнул.

— А если потом, когда я попробую снова прийти, ворота снова окажутся закрытыми?..

— Я думаю, для тебя они откроются.

Странные были у него глаза — как черные дыры: что бы он ни говорил, выражение этих словно обращенных внутрь себя глаз не менялось.

— Но почему...

— Почему? Когда знаешь ответ, то и вопроса не существует, а если ответа не существует, тогда и вопроса быть не должно.

Это прозвучало как пословица, и сказал он это сухо и чуть насмешливо: вот так он обычно и разговаривал с ней; то, что он снова заговорил таким тоном, успокоило ее.

— Это *твоя* дорога, — сказал он. И снова отвернулся к конторке, пробормотав почти безразличным тоном: — Южная дорога и Северная.

— Разве я могу пойти на север? Если что-то случилось... могу ли я пойти и позвать на помощь?.. отнести послание?..

— Не знаю, — сказал он и мельком глянул на нее, но взгляд его вспыхнул не то одобрением, не то торжеством, и именно этот отблеск остался в ее памяти, и она думала об этом после, когда он, согласно обычаям дома, повел ее поздороваться со своей матерью и они немного, чисто светски, с ней побеседовали; думала, уже покинув его дом и зайдя к Триджьят, где и пробыла до вечера. «Впервые, — думала она, — ему что-то нужно именно от меня». Существовало нечто такое, что могла дать ему только она, — если сможет понять, что же ему нужно. Похоже, она попала почти в точку, когда заговорила о Северной дороге. Он

сразу же перевел разговор на другое, но она успела заметить, как в его глазах блеснуло удовольствие и одобрение.

Если б только она могла лучше понимать его! Над его шутивым замечанием о вопросах и ответах надо хорошенько поразмыслить. Он, и она, и все остальные здесь подчинялись законам этой страны, столь же абсолютным, как закон притяжения; и законам этим столь же невозможно было не подчиниться, как и объяснить их. Хозяин и раньше говорил ей, если она вообще правильно его понимала, что никто из жителей Города не может больше выйти за его пределы, то ли повинувшись какой-то силе, то ли из-за чьего-то запрета. Но ведь вполне возможно, что ей-то, раз она приходит в Тембреабрези, удастся оттуда и выйти? Или, может быть, он имел в виду то, что, будучи чужой в этой стране, она независима от ее законов и не обязана им подчиняться? Может быть, он именно это имел в виду? Зато ему она бы подчинилась. Он — для нее главный закон, и если бы только она могла порадовать его, если бы только могла найти то, что он хочет! Если бы только он попросил ее так, чтобы она поняла!..

На этот раз она пробыла в Городе На Горе дольше обычного. В прежние времена она приходила туда часто, но ненадолго; теперь же, когда она могла бы спокойно провести здесь неделю или две — ночь или выходной целиком по ту сторону порога, — проход почти всегда был закрыт для нее. Всей душой она стремилась к одному — видеть его открытым. Но сейчас она здесь, живет, как всегда, в гостинице, помогает Софиру и Пализо, ходит в гости к друзьям, играет с их детьми. Все по-прежнему усаживают ее с собой за стол или приглашают поработать вместе, если заняты работой, — все снова так, как тогда, когда она всем своим существом ощущала, что она дома, и уже от этого была счастлива. Отблеск тех счастливых дней и теперь еще радовал ее. Но его было уже недостаточно. Теперь ей казалось, что все вокруг покрыто каким-то налетом фальши или притворства. Ощущение покоя и уюта по-прежнему исходило от этих людей, но предназначено было не для нее. Это не ее дом. Она пришла сюда и снова уйдет, она не принадлежит к их жизни. Им не нужна ее помощь в работе. Не нужна и она сама.

Разве что, как сказал тогда Хозяин Города — а действительно ли он это сказал? — она может помочь им иначе, не тем, что, любя этих людей, приходит сюда и живет среди

них, а тем, что пойдет по своей дороге дальше, за пределы Города.

Пока что никто, кроме Хозяина, вообще никогда не говорил о том, что в Городе На Горе неладно, и она поначалу мало об этом задумывалась. Позже, когда заметила сама, что в город почему-то и впрямь никто не приходит и никто из него не уходит, что овец пасут только на ближних пастбищах, что в Городе не хватает соли, пшеничной муки, что Триджьят, потеряв удобную швейную иглу, очень расстроилась и искала ее несколько дней... так вот потом, заметив это и многое другое, она поняла: то, на что раньше намекал Хозяин, правда — все дороги закрыты. Но почему? И кем? Или чем? Она раза два-три пыталась поговорить об этом с Триджьят и с Софиром, но те избегали ответов на ее вопросы — Софир с дурацким смехом, Триджьят с таким неприкрытым ужасом, что Айрин поняла: она не сможет вновь заговорить с ними на эту тему. Это было какое-то табу или столь ужасная тайна, упоминать о которой вообще было нельзя. И они разговаривали теперь только о повседневных заботах и делали вид, что все в порядке. Именно в этом и заключались та фальшь, которую она почувствовала, и все усиливающаяся неловкость. Им действительно нужна была помощь, но они не желали этого признавать.

А что, если пойти дальше, за Тембреабрези, на север и спуститься в долину?

Года два тому назад, когда по ту сторону порога тянулось бесконечно длинное восхождение, она отправилась вместе с Софиром и старым купцом Гобимом, у которого была куча помощников и караван крошечных осликов, груженных шерстью и шерстяными изделиями, сначала в одну деревню — на расстоянии примерно дня ходьбы от Тембреабрези на север, через отрог Горы, — а потом на северо-восток, в город, который назывался Три Источника и был расположен на холмистой предгорной равнине; они два дня торговали там, а потом вернулись назад — путешествие заняло всего шесть дней. Она помнила то место, где дорога к Трем Источникам резко поворачивает к востоку, а дорога на север идет прямо, к темнеющему вдали перевалу. Сколько времени нужно, чтобы отсюда спуститься в долину? И как долго придется идти через долину к Столице? Она не имела об этом ни малейшего понятия; конечно, идти пешком придется много дней, но она, во-первых, может взять еды с собой, и, во-вторых, по дороге, конечно, будут встречаться деревни и города, и она наверняка сможет добраться по

бескрайним сумеречным долинам до этой Столицы и попросить помощи для Тембреабрези. Если оттуда еще пошлют ее, эту помощь. А может, она тоже не имеет права ходить по дорогам? Нет, ей не смеют запретить это. Если Хозяин Города попросит ее пойти, она пойдет.

Он все не посылал за ней, и в Айрин росло нетерпение и беспокойство. Она не могла понять своих здешних друзей, которые вроде бы как ни в чем не бывало занимались своими делами и никогда не говорили о том, что неладно вокруг них, совсем как те раковые больные, которые уверяют окружающих, что у них все прекрасно и они совершенно здоровы, совсем как ее мать, которая вечно твердит: «Все в порядке». Она не хотела вспоминать об этом здесь, ей была отвратительна сама мысль о том, что приходится и здесь об этом думать. Но почему же они молчат? Почему ничего не делают? Чего они ждут?

Наконец Хозяин Города пригласил ее на прием. Случалось, ее приглашали на такие приемы и раньше. Деловые разговоры о торговле всюю велись в гостинице, в общем зале, но решения, затрагивающие более серьезные проблемы, принимались во время неторопливых, долгих бесед в зале с двумя каминами, когда совещающиеся задумчиво скребли подбородки и размышляли вслух. Приходили как мужчины, так и женщины, и часто, хоть и не всегда, сам Лорд, хозяин замка; приглашались и прибывшие из других городов, если их считали людьми важными и достойными. Мать Хозяина, Дреморне, седовласая и темноглазая, как королева сидела в бархатном кресле под портретом старца с высохшей рукой. Если гости были немногочисленны, то большая их часть собиралась вокруг нее, а у другого камина тем временем шли частные беседы; когда же гостей собиралось достаточно много, в каждом конце зала формировалось по группе. На этот раз тихий кружок женщин и несколько молодых мужчин собрались возле бархатного кресла, а трое или четверо пожилых мужей торжественно выстроились рядом с Хозяином у противоположного камина. Разумеется, в этот вечер здесь не было чужих, кроме Айрин. Она не отходила от Дреморне до тех пор, пока Хозяин сам не подошел и не показал взглядом, что прибыл Лорд Горн.

Дреморне чуть приподняла свои юбки и в глубоком реверансе склонилась перед именитым гостем, после чего перед ним с реверансами прошли все остальные женщины. Лорд Горн, тощий, седой, чопорный старик, коротко поклонился своим негнушимся телом в ответ на приветствия.

Даже после этого тщательно подготовленного и чрезмерно пышного церемониала, по какой-то прихоти устроенного старой хозяйкой дома, ничто не дрогнуло в холодных складках его лица. За ним тенью следовала дочь, светловолосая, одетая в шелка блеклых тонов; она поклонилась, призрачно-бледно улыбнулась, и они оба проследовали дальше. Их обязанность, подумала Айрин, только в том и заключается, чтобы принимать поклоны и кланяться в ответ. Номинальные правители. Пустые титулы. У Города один Хозяин: тот, кого так и зовут *Доу Сарк*. Но здешние люди отличались старомодностью и придерживались давнишних правил и традиций, а потому считали, что правитель у них быть просто обязан.

Хозяин снова глянул на нее, проходя мимо, и она поспешила за ним следом. У второго камина группа горожан, прежде квакавших, точно лягушки в болоте, теперь торжественно расступилась, пропуская вперед важных гостей. Лорд Горн, с отсутствующим выражением лица и, по всей видимости, без всякого интереса, слушал то, что ему говорил Хозяин. Дочь Горна теперь сидела, выбрав в полном соответствии со своей сущностью самый неудобный в комнате стул — жесткий, с высокой спинкой, обитый потускневшей парчой. Она сидела прямая как штырь и совершенно бесстрастная. Рядом с ее пастельной безжизненностью и ледяной холодностью Горна лицо Хозяина казалось одновременно ярким и темным, словно горячие угли в камине.

— Хозяин Города сказал мне... — обратился Лорд Горн к Айрин и вдруг замолк, глядя на нее как бы издали, как бы с далекой башни своего замка, где такие тусклые стекла, что сквозь них вообще трудно что-либо как следует разглядеть, — Сарк сказал, что ты встретила на Южной дороге другого путешественника.

— Я видела какого-то мужчину. Но с ним не говорила.

— Почему, — сказал Лорд Горн и снова умолк, как бы собирая свои медлительные холодные слова воедино, — почему же ты с ним не поговорила?

— Он спал. Он... он не отсюда... — Ей ужасно не хватало слов, она лихорадочно уцепилась за первое попавшееся. — Это был вор.

Снова наступила долгая, мучительная пауза. Серые глаза Лорда Горна, наводившие ее на мысль об окнах в далекой башне замка, больше не смотрели на нее; но он снова заговорил:

— Как ты об этом узнала?

— Вид у него был такой, — сказала она и сама почувствовала, что голос ее звучит вызывающе, с тем же обвиняющим гневом, какой она испытала, увидев того *захватчика*, и каждый раз испытывала, когда вспоминала о нем. Какое этот старик имеет право задавать ей вопросы? Ну и что ж, что он лорд, и черт с ним, и пусть катится куда подальше!

— Ты думаешь, что этот человек не был... — долгое молчание, словно у Горна постоянно иссякал запас слов, — не мог быть тем самым, тем человеком, который...

— Я не понимаю.

— Тем, кого мы ждем, — сказал Горн.

Тогда Айрин заметила, что все они стоят вокруг и смотрят на нее, что их лица, усталые, грубые лица зрелых и пожилых мужчин, напряжены и выражают мольбу — мольбу о правдивом ответе, о слове, вселяющем надежду.

Она взглянула на Хозяина, ища поддержки, подсказки. Лицо его было печально и непроницаемо. Покачал он незаметно головой или ей это показалось?

— Тот, кого вы ждете?.. — повторила она. — Я не понимаю. Чего вы ждете? Почему нужно ждать? Я могу пойти. — Она снова посмотрела на Хозяина; теперь его глаза ответили на ее взгляд, а выражение все еще непроницаемого лица потеплело: она говорила то, что он хочет. — Если никто из вас не может пройти по дорогам, пошлите меня. Я могу передать послание. Может быть, мне удастся привести помощь. Почему вы должны ждать кого-то еще? Ведь я уже здесь! Я могу пойти в Столицу...

Она перевела взгляд с Хозяина на Лорда Горна и запнулась, увидев его лицо.

— Долог путь до Столицы, — сказал он своим тягучим тихим голосом. — Куда дальше, чем ты думаешь. Но мужество твое заслуживает всяческой похвалы. Благодарю тебя, Ирена.

Она стояла смущенная, утратив весь свой пыл, и молчала; Хозяин, хмуря брови, увел ее, и только тогда до нее дошло, что беседа с Повелителем Горы окончена.

Одна в своей комнате, рано утром, прежде чем начать собираться в обратный путь, она растворила ставни и стала смотреть на сонные сумерки, плывущие над городскими крышами и трубами каминов. Тело еще хранило тепло постели, она бы еще поспала, она бы еще пожила здесь. Неужели, когда она уйдет, проход вновь закроется? Когда она

сможет снова вернуться назад и сможет ли? Сейчас ей надо было уходить по причине страшно далекой и совершенно бессмысленной: она отсутствовала всю ночь и к тому же если не вернется домой к семи утра, то опоздает на работу... Работа, квартира, ночь, утро — ни одно из этих понятий не имело здесь смысла. Ничего не значащие слова. И все же этим вещам, какими бы бессмысленными они ни казались, приходилось подчиняться, как подчинялись загадочному закону жители Города На Горе, боявшиеся покинуть его пределы. Они не должны этого делать. И потому должна уходить она.

Как всегда, Пализо и Софир встали, чтобы позавтракать вместе на прощанье, и Софир приготовил сверток с хлебом и сыром, чтобы ей было чем подкрепиться на долгом пути. Они тревожились за нее и не могли этого скрыть. Она ясно видела, что они за нее боялись.

Перед поворотом Айрин один раз оглянулась. Окна городских домов светились слабыми золотыми огоньками на темном лесистом склоне Горы. За ее отрогом, на севере, она вдруг заметила яркую звезду, вспыхнувшую в небе и исчезающую, словно капля дождя или блеск слюды в песке.

Перейдя через Среднюю Речку, она поела хлеба с сыром и напилась студеной воды; немного передохнула, но решила не спать, хотя ей очень этого хотелось, — не было времени; и пошла дальше. В лесу она не чувствовала никакой угрозы, ничто не пугало ее, но отдыхать там она бы все равно не стала. Надо было идти дальше. И она продолжала идти своим легким, быстрым шагом и наконец достигла последнего подъема и развилки дорог между красноствольными елями, откуда начинался спуск по пологому склону сквозь заросли рододендрона к источнику и к проходу, — и тут, прежде чем перейти на тот берег, она снова увидела почерневшее кольцо камней вокруг кострища, пластиковый чехол, полускрытый травой, мерзкие следы стоянки *захватчика*.

Она тут же метнулась назад, в заросли, и из своего укрытия стала наблюдать, что будет дальше. Самого мужчины нигде не было видно. Биение сердца начало понемногу успокаиваться, но лицо горело, а в ушах стоял звон. Она переместилась через ручей и подошла к кострищу — холодное; один за другим пошвыряла камни в воду. Подобрала рюкзак и спальный мешок в чехле, еще раз обернулась к реке и, шепча себе под нос: «Пошел вон, вон отсюда!» — потащила

все это за порог, вверх по тропинке, и бросила в лесу прямо в заросли ежевики. Потом помчалась на опушку леса, откопала в канаве доску со словами «Охота запрещена», давно уже оторванную от столба и полусгнившую, которую ее глаза — или рассудок? — автоматически приметили двенадцать дней — или часов? — назад, когда она проходила этим путем. Держа в руках доску, она бегом бросилась назад, к порогу. Уже переступив через него, подумала: «А что, если б я не смогла пройти?» — но никакого страха или тревоги при этой мысли не испытала. Она была слишком рассержена, чтобы бояться. Отыскала в разоренном кострище уголек, перешла на другой берег и уселась на камень, положив доску на колени. Аккуратно, черными печатными буквами вывела на ребристой, выбеленной дождями фанерке: **ВНИМАНИЕ! ПРОХОДА НЕТ!**

Она укрепила знак на берегу, на самом видном месте, чтобы сразу бросался в глаза каждому, кто переступит порог. Столб, довольно легко вошедший в песок, покачивался, и она стала искать подходящий камень, чтобы вбить его покрепче, но тут заметила на противоположном берегу какое-то движение. Айрин замерла, глядя туда поверх сверкающей воды, и увидела того самого человека. Он спускался прямо к ней от порога. Их разделяла сейчас всего лишь полоска воды.

Он опустился на том берегу на колени, склонился к воде и стал пить. Только тут она поняла, что он ее не заметил.

Она была достаточно близко от густых зарослей рододендрона и; чуть пригнувшись, одним плавным движением исчезла за ними, скрыв в их тени и листе свою белую рубашку и бледное лицо. Когда Айрин вновь отыскала взглядом того человека, он стоял на противоположном берегу и смотрел — смотрел на знак, разумеется, на ее знак. Сердце у нее подпрыгнуло, а губы раскрылись в беззвучном смехе.

Стоя он выглядел крупным, массивным, таким же, как тогда, в спальном мешке. Когда же наконец он двинулся с места и побрел вверх по берегу реки, то походка его оказалась тяжелой. Он остановился и устоялся на то место, где было кострище, где он оставил свой спальный мешок и рюкзак. Снова двинулся было, снова остановился и все смотрел туда, на знак. Наконец медленно повернулся к ней спиной и направился к проходу между лавровым кустом и сосной. Айрин, торжествуя победу, стиснула руки. Он снова остановился. Повернулся и пошел назад, вниз, прямо к

воде, тяжело и неуверенно ступая, с шумом перебрался на другой берег, вытащил из земли столб со знаком, отодрал доску, разломал ее о колено, швырнул на песок обломки и огляделся.

— Сволочи! — сказал он густым басом. — Сволочи воющие!

— Сам такой! — вырвалось у Айрин, и ноги под ней почему-то сами собой распрямились, и она встала во весь рост.

Он тут же повернулся и двинулся к ней. Она стояла на месте, потому что теперь ее ноги отказывались идти.

— Уходи! — сказала она. — Убирайся! Это частная собственность!

Теперь он смотрел на нее не мигая. Стоял — массивный, с белым, ничего не выражающим лицом — и глядел на нее. Его губы произносили какие-то слова, которых она не понимала.

Он снова двинулся к ней. Она услышала собственный голос, но понятия не имела, что именно кричит. В руке она все еще держала подобранный камень. Казалось, она убьет его, если только он ее тронет.

— Ну зачем же так? — сказал он сдавленным, хрипловатым, каким-то мальчишеским голосом. Остановился. Отвернулся. И пошел назад, неуклюже перебрался через речку, поднялся вверх по берегу к порогу.

Она стояла не двигаясь и наблюдала за ним.

Он миновал сосну и лавровый куст и пошел дальше. Странно: неужели она никогда не смотрела за порог с этой стороны? Тропа, которая вела отсюда наверх, к солнечному свету, обычно такая крутая и темная, с другого берега почему-то выглядела пологой и светлой и ничем не отличалась от других тропинок вечерней страны. Она хорошо видела, как тропа уходит вдаль, спускается вниз и по этой тропе в тени деревьев все дальше и дальше в лес уходит человек, окруженный неизменными серыми сумерками.

Глава 3

Он разломал доску, втоптал обломки в песок и стоял там в мокрой рубашке и джинсах — поскользнулся, переходя через ручей, — а в ботинках хлюпала вода.

— Сволочи, — сказал он, и это были первые слова, произнесенные им вслух в вечерней стране. — Сволочи вонючие!

Высокие кусты зашевелились и затрещали. Прятавшийся там вылез наружу и оказался темноволосым мальчишкой, который уставился на Хью.

— Уходи, — сказал мальчишка. — Убирайся! Это частная собственность.

— Хорошо. Где мои вещи? — Хью шагнул вперед. — Я за них недельную зарплату отдал. Куда ты их дел?

— Они там, наверху, в лесу. Не вздумай нести их обратно. И сам не вздумай возвращаться. Убирайся, и все!

Мальчишка сделал шаг вперед, самоуверенный, насмешливый, полный ненависти. Хью передернуло.

— Ладно, — сказал он, — только зачем же так?..

Впрочем, слова были бессмысленны, все бессмысленно. Он повернулся и побрел обратно на другой берег, оскальзываясь и с трудом удерживая равновесие на мокрых валунах. Он шел к проходу. Он вынужден отсюда уйти. Сейчас он переступит порог и уйдет навсегда, никогда сюда не вернется — теперь все испорчено. Его вещи где-то наверху, в лесу, он переступит порог, возьмет свои вещи и никогда не вернется назад.

Но ведь порог уже за спиной.

Оглянувшись, позади себя он увидел сумерки, услышал журчание воды, обтекающей валуны, а впереди — тоже сумерки и тропа, уходящая вдаль между деревьями.

Он заблудился, и теперь пути назад не было.

Хью сделал еще несколько шагов, потом остановился, постоял и вернулся назад к источнику, пройдя между высоким кустом и сосной с красным стволом.

Тот незнакомец все еще стоял на противоположном берегу. Оказалось, что это женщина в джинсах и белой рубашке; под шапкой черных волос бледное лицо. Женщина не сводила с него глаз.

— Я не могу уйти, — сказал Хью. — Там нет прохода.

Между ними бежала вода, распевая громко и нежно.

Он был сильно напуган и сказал:

— Если вы знаете эти места, если вы здешняя, то объясните, как мне уйти!

Женщина вдруг сдвинулась с места, перебралась через ручей, грациозно и легко перепрыгивая с камня на камень, остановилась у плоской скалы и показала на проход:

— Там!

Он покачал головой.

— Проход там.

— Я знаю.

— Ну так идите!

— Там теперь все не так, — сказал он, повернулся, пересек поляну, прошел между кустом и сосной, но не исчез в темной тени, и тропа больше не вела круто вверх, и колючие ветки ежевики не мешали идти, и впереди не было солнца. Деревья, тесно обступившие тропу, в сумеречном свете почти сливались в сплошную стену, и ни ветерка, ни звука вокруг, только пение ручья у него за спиной. Наконец он обернулся, увидел у воды фигурку женщины, наблюдавшей за ним, и двинулся назад. Она сделала несколько шагов по траве ему навстречу.

— Тропа идет дальше, — сказала она шепотом. — Я такого никогда не видела. С этой стороны проход никогда не бывал закрыт. Пошли!

Быстрая, сердитая, она решительным шагом направилась мимо него к порогу. Он поспешил следом. Оцарапался о шершавый красноватый ствол сосны. На темной тропинке в волосы ему вцепилась ежевика. Он с трудом различал

впереди женскую фигурку. Незнакомка упрямо карабкалась вверх. Над головой сухо защелкала птица. В воздухе пахло дымом, резиной, бензином, разогретыми сосновыми иглами. Тропа под ногами стала сухой.

— Вот ваши вещи, — сказала женщина. Его рюкзак и спальный мешок валялись на пыльной траве в зарослях ежевики.

Он смотрел на них, словно проверяя, все ли на месте. Назад взглянуть он не осмеливался: боялся, что если оглянется, то сумерки потянутся за ним следом. Женщина, вернее, девушка его лет стояла на тропе — черные волосы, черные глаза, бледное лицо.

— Что же это за место такое? — спросил он. — А?

Она ответила не сразу, и он решил, что она отвечать вообще не собирается.

— Если бы ты был отсюда, то знал бы, — сказала она своим высоким резковатым голосом.

— Мне необходимо... — он не мог вытолкнуть слова наружу. Почему он вот так стоит здесь и позволяет ей себя оскорблять? Закаменевшее лицо горело — может, он плакал? Он потер подбородок, прикрывая рукой позорно дрожащие губы.

— Тут тебе не лагерь бойскаутов, — сказала она. — Нечего приносить сюда всякое барахло и устраивать здесь пикники и... и вообще, это тебе не какой-нибудь национальный парк. Ты ведь ничего об этом месте не знаешь. Не знаешь здешних правил. Не говоришь на здешнем языке, не знаешь их... Это не твое место — ты здесь чужой, а чужим здесь опасно.

Он не чувствовал спасительного гнева, способного избавить его от позора. Он вынужден был стоять вот так, и слушать все это, и повторять, повторять единственно важное для него, почти бормоча себе под нос:

— Мне необходимо вернуться назад. Я больше не буду оставлять здесь свои вещи.

Расслышав его слова, она гневно встрепенулась, как газетный листок, сорванный со стенда порывом ветра, или лист бумаги, попавший в камин.

— Я предупреждаю тебя!

До него наконец начал доходить смысл слов, сказанных ею раньше.

— Так там... там есть... там живут люди?

После долгого молчания она ответила:

— Да. Живут.

Глаза ее вспыхнули беспокойным огнем.

— Они ждут тебя, — сказала она своим нервным, пронзительным голосом, а потом вдруг быстро прошла мимо него, но не вниз по тропе, к вечерней стране, как он ожидал, а вверх — стремительная, порывистая, крепкая, — туда, к утреннему свету. Через мгновение она скрылась в зарослях, а еще через мгновение стих и звук ее легких шагов.

Хью растерянно стоял, вдыхая теплый и пыльный лесной воздух, слегка подрагивающий от постоянного рева транспорта, доносившегося с шоссе и из поднебесья. Солнечный зайчик, пробравшись сквозь листву, плясал не устывая на чехле его спального мешка.

Куда мне теперь идти? Некуда.

Он устал, гнев, страх, тоска истерзали его. Он уселся прямо рядом с тропой, положив руку на рюкзак, словно защищая его или успокаивая. Жгучая боль утраты не проходила и не становилась слабее.

Может, и она чувствует нечто подобное, подумал он. Как если бы я отнял у нее право на это место.

Но я ничего не могу с этим поделать. Я должен туда вернуться. У меня ничего другого нет. Она не имеет права... Нет, не то чтобы не имеет права... нет, он не знал, как это можно выразить иначе.

Я вернусь обратно и больше не буду оставлять там свои вещи. Во всяком случае — на поляне у самого входа. Можно, например, подняться выше по течению ручья. Не может же она ходить повсюду. И вообще, с какой стати нам с ней снова встречаться здесь?

Разве что я опять не смогу выйти.

Эта мысль только мелькнула в его мозгу. Панический ужас, который он испытал, увидев, что проход ведет дальше в сумеречную страну, уже успел погрузиться на самое дно его души, слишком глубоко, чтобы легко пробудиться вновь. Если такое случится еще раз, я могу подождать, сказал он себе, и выйду оттуда, когда она придет, вместе с ней.

Она такая же, как и я, она приходит отсюда. Но есть люди, которые там живут. Так сказала она.

Однако и эта мысль ненадолго задержалась в его мозгу. Мне необязательно с ними встречаться. У источника никогда никого не было. А она теперь ушла. Я возвращаюсь...

Он сунул свои пожитки под пыльные колючие ветки ежевики, встал и пошел назад по тропе к порогу, к чистой воде родника и прильнул к ней, преклонив колени. Вода омыла его лицо и руки, смыла позор и страх с его души.

— Это мой дом, — сказал он земле, скалам и деревьям и, почти прижав губы к воде, прошептал: — Я — это вы. Я — это вы.

В торговый центр он пришел к десяти и в пять минут одиннадцатого уже открывал кассу № 7. Донна глянула на него поверх своего аппарата:

— У тебя все в порядке, Бак?

Для Хью с тех пор, как он вчера ушел с работы на час раньше, уже успели пройти два дня и три ночи, и он никак не мог припомнить, почему Донне кажется, что у него что-то не в порядке.

— Конечно! — сказал он.

Она снизу доверху осмотрела Хью странным взглядом — одновременно циничным и любящим.

— И вовсе ты не болел, — сказала она. — У тебя были дела поинтереснее.

Звякнул ее кассовый аппарат — она получила деньги за упаковку кока-колы и пачку печенья с сыром от трясущегося, небритого старика. При этом Донна сказала, обращаясь одновременно к покупателю и Хью:

— Разве не прекрасно — быть молодым? Но я бы, например, ни за что не согласилась на это снова, хоть озолотите.

Особенно далеко вниз по течению он не заходил. Здесь ручей становился более узким и глубоким и вода всегда казалась темнее. Если же от поляны у порога идти вверх по течению, то берега постепенно становились более открытыми, во многих местах виднелись светлые широкие полосы песчаных пляжей. Он дошел до того места, где ручей под сенью огромных ив резко сужался из-за выступающей красной скалы, которая изломанными ступенями поднималась над речным ложем. Здесь, возле крутого скалистого берега, вода пенилась и кипела, зато чуть ниже по течению образовалась широкая заводь, и притом довольно глубокая. Заводь со всех сторон обступили деревья, но сама водная гладь была чистой, как зеркало, и в ней отражались небеса. Здесь, среди девственной природы, царил дух отрешенности ото всего на свете и некоей самодостаточности. Казалось, что никто другой сюда никогда не придет.

Он устроил подходящий тайник для своих пожитков в развилке низенького деревца, до такой степени заросшего диким виноградом с мелкими листьями, что и сам заметил развилку, только когда нащупал ее руками. Хью собрал немного хворосту — в основном ветки от ближайшего сухого дерева, — выложил на песке очаг в укромном месте, чуть повыше выступающей из берега красной скалы, и все приготовил для костра. Потом снял рубашку и джинсы и в полном молчании, держась ровно, вошел в спокойную воду. Прямо под красным скалистым берегом ему было с головой. Там он плавал, испытывая огромное тихое счастье, до тех пор, пока не стало больше сил терпеть ледяную воду, и только тогда, совершенно ооченев и дрожа всем телом, вылез на берег и разжег свой костер.

Пламя костра в ясных вечерних сумерках было прекрасно. Он присел возле костра на корточки, не одеваясь, стараясь кожей, костями впитать его жар. Потом наконец оделся, приготовил себе чашку крепкого сладкого шоколада, купленного на распродаже, и сидел, с наслаждением прихлебывая, отдыхая душой. Когда костер догорел, он присыпал пепелище песком, обулся и направился вверх по течению — исследовать берега.

Теперь он бывал здесь каждый день. Половина его жизни проходила в вечерней стране. Здесь изменялся, становился спокойнее даже ритм его дыхания. Просыпаясь — а сон здесь был глубокий, темный, неодолимый, словно река, — он сначала некоторое время лежал, лениво слушая, как бежит вода и трепещут листья, и мечтал: я останусь здесь... я еще немного здесь побуду... Но так и не оставался. На работе в супермаркете или дома он не очень много думал о вечерней стране. Она существовала, и это все, что ему необходимо было знать, когда он проверял покупки на сумму в шестьдесят долларов или успокаивал мать после очередного тяжелого дня в конторе компании по займам, где она работала. Это место существовало, и он мог сюда вернуться — в эту тишину, туда, где жизнь обретала смысл, к ее истоку.

Проход больше ни разу не оказывался закрытым для него, и он почти забыл, что такое возможно. Видно, все тогда случилось из-за того, что она пришла оттуда, и именно поэтому смогла вывести его обратно, когда проход оказался закрыт. Иногда он думал о ней — осуждая и одновременно жалея. Если бы она не источала столько ненависти и яда,

они, наверно, смогли бы поговорить. Он сам позволил выдворить себя, значит, сам и виноват. Она могла бы рассказать ему об этой стране. Она явно знала ее куда лучше, чем он, и гораздо дольше. Хотя сама и была не здешней, но знала здешних людей.

Если только здесь вообще есть какие-то люди. Об этом он очень часто размышлял во время своих молчаливых купаний в заводи под ивами. Она тогда всего-то и сказала: «Ты не знаешь их языка», а потом, когда он спросил, живут ли здесь люди, ответила «да», но не сразу и так, будто кто-то или что-то заставило ее. Она пыталась запугать его. И мысль о каких-то еще людях действительно пугала. Главная радость здесь — полное одиночество. Возможность побыть одному. Не иметь дела с другими людьми, с их нуждами, потребностями, приказаниями.

Но какие они, здешние жители? Какой у них язык? Здесь все погружено в безмолвие. Даже птицы никогда не поют. В лесу должны быть звери, но и они невидимы, беззвучны. Здесь каждый живет, стараясь не тревожить другого.

Он думал обо всем этом, сидя под ивами на берегу ручья, в тишине, возле яркого маленького костерка. Здесь можно было долго-долго думать над одной-единственной мыслью, всячески ее развивая. Он и раньше никогда не считал себя дураком и довольно хорошо учился в школе — по тем предметам, которые ему нравились, — но знал, что люди считают его глуповатым, потому что он тугодум. Мозг его отказывался работать в спешке, судорожно принимать решения. А здесь можно было спокойно обдумать любую идею, и это составляло существенную часть той внутренней свободы, которую он вкушал в вечерней стране. Одновременное существование в двух совершенно различных жизнях, по разные стороны порога, отделяющего Кенсингтонские Высоты от вечерней страны, должно было, казалось бы, сбить его с толку, лишить душевных сил, но именно силы-то он и черпал здесь, у родника. Здесь он был спокоен, плавал, спал, мечтал о путешествии автостопом, чувствовал, что по-настоящему живет. И это полное спокойствие вытесняло ощущение постоянного стресса, той чудовищной спешки, когда нет времени даже спросить себя: что ты делаешь? куда идешь? какой путь выбрать и куда приведет этот путь? Но теперь даже по ту сторону порога, если удерживать в душе ощущение лесного покоя, ему удавалось немножко подумать.

С тех пор как тогда он сказал, что его мать больна, услышал свой собственный голос, выговаривающий эти слова, он просто заставил себя обратить на ее болезнь самое серьезное внимание, а не прятать голову под крыло; заставил себя спокойно подумать, чем и насколько серьезно она больна.

Это оказалось нелегко. Это означало, что он должен воспринимать ее не как мать, а как совсем чужую женщину, любую. Просто как больного человека.

В старших классах у него было много знакомых ребят, которые постоянно пользовались наркотиками. А в десятом классе, и об этом ему вообще-то не очень приятно было вспоминать, девочка, которая обычно списывала у него упражнения по английскому и которую звали Черил, — он слышать спокойно не мог ее имени, потому что ее невероятная покорность постоянно заставляла его чувствовать себя виноватым, — однажды, примерно за неделю до конца школьных занятий, заперлась в кабинке туалета и попыталась утопиться в унитазе. Он услышал крики и увидел девочонку в холле, которая дико, истерически хохотала, а потом пронесли согнутую пополам Черил, с волос ее капала розоватая вода, и она кричала пронзительным тонким голосом, а он и другие ребята стояли вокруг, в холле и на лестнице, и смотрели. Никто потом не знал, как говорить об этом, никто из тех, кто слышал, как она кричала. Это был самый страшный случай в его жизни. С другой стороны, работая в бакалее, он видел множество странных людей, ругательски ругающих ни в чем не повинные грибы, или психов, вроде магазинного воришки, пытавшегося откупиться, или того парня, который замахнулся на Донну ножом, когда та отказалась принять от него в уплату чек без удостоверения личности; и вообще, бывает много людей, которые, наверно, преследуют какие-то свои, вполне конкретные цели, а другим кажется, что они занимаются полной чушью — например, покупают четыре дюжины аэрозоля от гусениц и огромную банку водяных каштанов в придачу. Объединяло людей, совершающих странные поступки, по его мнению, следующее: все они так или иначе выбились из колеи и буксуют на месте. Мотор все еще работает, колеса крутятся, но уже никуда не привезут. За последние семь лет его мать тринадцать раз меняла квартиру, они жили в пяти различных штатах; и чем чаще она переезжала, думал Хью, тем хуже приживалась на новом месте.

Но даже если у нее и было что-то общее с «грибоненавистниками» или с любителями инсектицидов, она все равно не шла ни в какое сравнение с теми наркоманами или Черил! Она просто забуксовала, но еще на плаву. Компания по займам — огромное предприятие с конторами по всей стране — позволяла ей в два раза чаще менять место жительства да еще при этом получать подъемные. Она постоянно жаловалась на свою работу, но ни разу не пропустила ни дня. А в этом городе она даже нашла себе наконец подругу, Дурбину, и совершенно новое увлечение, оккультизм, которому отдавала теперь очень много времени. Разве можно назвать это сумасшествием? Хью вовсе не хотел осуждать мать, но то, что она ему рассказывала, звучало весьма глупо. Они с Дурбиной вроде бы как вспоминали свои прежние жизни, в которых вечно оказывались то принцессами, то настоятельницами монастырей; интересно знать, кто же тогда работал в компаниях по займам или супермаркетах Древнего Египта? С другой стороны, ничего удивительного — всегда ведь вспоминается самое главное. Вообще-то жуткая бредятина, но не страшнее, чем увлечения других людей, которые, например, с ума сходят по бейсболу, покупают кучу алюминиевых кастрюль, собирают старинные медицинские пузырьки, интересуются развитием ядерной техники, поклоняются Иисусу Христу, увлекаются политикой, диетами или игрой на скрипке. Люди всегда делали странные вещи. Люди вообще поразительно странные. Все. Так что трудно определить по поведению, болен человек или нет, а то в больные попадут все. Ты явно не в себе, если пытаешься ехать на машине с выключенным двигателем. Ей некуда было деться от дома, и чем чаще она из него уходила, тем сильнее от него зависела; совершенно не могла находиться в доме одна, не могла возвращаться вечером в пустой дом, приходила в ужас от одной мысли, что может проснуться ночью и никого больше в доме не окажется. И это у нее прогрессировало, сейчас стало куда хуже, чем прежде. Это-то я знаю, думал он. А что толку, что знаю? Я же ничего не могу с этим поделать. Кроме меня, у нее никого нет. Нужно, чтобы у человека кто-то был. Даже если вы друг другу помочь не можете. А у нее никого больше нет. Он...

...ждал тогда Хью на противоположной от школы стороне улицы. «Поедем-ка на стадион и глянем, как там обстоят дела с легкой атлетикой!» — сказал он, и тринадцатилетний

Хью, одетый в зеленую рубашку, полученную вчера на день рождения, заметил, как глядят на его отца ребята; отец был крупный, светловолосый, высокого роста и с широкой грудью, ему здорово шла джинсовая куртка, ставшая на стигах почти белой. У отца был фордовский грузовик, и они поехали на институтский стадион и смотрели, как спортсмены бегали, прыгали в длину, взлетали с шестом ввысь, прямо в золотую дымку апрельского неба. Они говорили о последних Олимпийских играх, о технике прыжков с шестом. Отец легонько потрепал его по плечу и сказал: «Знаешь, Хью, я тебе очень доверяю. Ты понимаешь, что это такое? То, что я могу на тебя рассчитывать. Ты надежнее многих известных мне взрослых мужчин. Таким и оставайся. Твоей матери необходим человек, на которого можно положиться. А на тебя она положиться может. Мне очень важно это знать».

Хью не мог поцеловать его огромную покрытую золотистыми волосками руку; мужчинам это не полагалось, можно было разве что шутливо подтолкнуть друг друга или хлопнуть по плечу. Он не мог даже погладить обтрепанную манжету джинсовой куртки отца. Сидел и молчал, потрясенный этой похвалой, словно солнечным светом озарившей его душу. На следующий день, вернувшись из школы домой, он увидел на кухне их соседку Джоанну, которая всем своим видом выражала неодобрение; мать после инъекции транквилизаторов лежала в постели; отец навсегда уехал от них на своем грузовике, оставив записку, в которой говорилось, что он подыскал работу в Канаде и считает, что сейчас самое время расстаться.

Записки этой Хью так и не показали, хотя Джоанна повторила ему несколько фраз из нее, например, о том, что «сейчас самое время расстаться», но знал, что мать хранит ее в своей шкатулке среди прочих бумаг и фотографий.

Отметки у Хью в конце той четверти были неважные, потому что мать старалась под любым предлогом не пускать его в школу, чаще всего устраивала истерику за завтраком. «Я же вернусь. Я только схожу в школу и в половине четвертого уже буду дома», — обещал он. А она плакала и умоляла его не оставлять ее одну. Когда же он оставался, то просто не знал, куда себя деть, и читал старые комиксы; на улицу выходить он боялся и отвечать на телефонные звонки — тоже, потому что могли позвонить из школы; мать же никогда не проявляла особой радости по поводу того, что он остался. В то лето они впервые переехали и она устраи-

лась на работу. Сначала, как и всегда у нее на новом месте, дела вроде бы пошли лучше.

Стоило матери начать работать, вопрос о том, как ей провести день, отпал, и Хью спокойно закончил школу. Но ночь, темнота — вот чего она по-прежнему не выносила, совершенно не могла оставаться одна в темном доме. Зная, что он рядом, она вела себя вполне хорошо. Ну а на кого же еще ей было положиться?

А что осталось у него, кроме того, что на него можно положиться? Хью считал, что все его прочие качества, которые заслуживали или могли заслуживать какого-то внимания, здорово обесценил своим отъездом отец. Люди не бросают нужных или ценных вещей. И хотя теперь он и понимал достаточно хорошо тогдашние чувства этой Черил — каково это чувствовать себя последней дрянью, от которой непременно нужно избавиться, — все равно не собирався следовать ее примеру, потому что по крайней мере в одном был безусловно ценен, полезен и необходим: он мог быть дома, под рукой, когда матери это требовалось. Он мог занять место отца. Хотя бы отчасти.

Когда в десятом классе весной занятия физкультурой у них были на стадионе, он первым делом сломал себе лодыжку, прыгая с шестом. Особенно спортивным он никогда не был. Он вырос крупным и высоким, но тяжеловатым, с вялыми мышцами и нежной кожей.

— Послушай, я, пожалуй, тоже заведу себе симпатичный красненький костюмчик и начну бегать взад-вперед по улице, — сказала Донна. — Здорово ты свой жирок растряс, Бак!

Он внимательно посмотрел на собственный живот и увидел, что тот и впрямь здорово подтянулся. Ничего удивительного, ведь каждое утро он отмеривал шагами путь туда и обратно, да еще плавал там, в общем, двигался часов по десять—двенадцать, а ел при этом совсем мало. Носить с собой в вечернюю страну много еды было трудновато, и он разрешил эту проблему просто: старался там ничего не есть.

Впервые отправившись на прогулку вверх по ручью, он был осторожен и ушел недалеко. Боялся заблудиться. Купил компас, но обнаружил, что не умеет с ним обращаться. Стрелка дрожала и крутилась при каждом движении, и хотя по большей части, как ему казалось, она все же указывала, что север находится за ручьем (если голубой конец стрелки показывал действительно на север), то ему все равно этого

было явно недостаточно, чтобы суметь вернуться на поляну у порога, если уйти далеко от берега в холмы. Здесь не было ни звезд, ни солнца, чтобы по ним сориентироваться. Да и какое значение вообще могли здесь иметь стороны света? Деревья росли достаточно густо, и долго по прямой не пройдешь, а открытого места, откуда можно было бы осмотреться, он так и не нашел, как не нашел и способа определить местонахождение этой страны. Вот и оставалось исследовать тропинки и заросли кустарника, поляны, низинки, боковые тропы, горные ручейки и извилистую линию лесной опушки по обеим сторонам ручья вверх от заветного местечка под ивами. Он досконально изучил этот кусочек нецивилизованного мира. Узнать нужно было многое, а он ничего не знал об этой стране, не различал породы деревьев и травы. Деревья с шишками оказались соснами. Деревья с ниспадающими гибкими ветвями — ивами. Дубы он знал. Во дворе одной из последних школ, посреди площадки для игр рос огромный дуб, но в этом лесу ни одно дерево не было на него похоже. Он достал книгу о дикорастущих деревьях, и ему удалось кое-что определить: ясень, клен, дикий виноград, ольху, ель. Все увиденное и найденное здесь его занимало и интересовало. Он также размышлял о том, чего пока не знал и не видел. Как далеко простирается этот дикий край, эти леса? Существует ли у леса конец? Теперь он уже поднялся по течению ручья на несколько миль, но никаких следов или признаков человека так и не заметил. Даже птицы и звери были невидимы; он бродил по едва различимым тропинкам, протоптанным оленями, но ни одного ни разу не видел, иногда находил старое упавшее птичье гнездо, но ни разу за все это время не слышал ни пения птицы, ни крика зверя. Здесь всегда было одинаково тепло, одно и то же время года.

Ну а ручей, его друг и провожатый, — что можно сказать о нем? Ручей — там, ниже по течению — должен впадать в реку или становиться рекой, большой или маленькой, и впадать в море.

У него перехватило дыхание. Он тупо уставился в огонь, полностью поглощенный внезапной мыслью о море, окруженном сумеречными берегами, о тьме, в которую бежит эта живая вода. Белые барашки волн в густеющих сумерках, а под ними — черные глубины и вокруг ночь. Ночь, и на небе все звезды.

И таким необъятным и мрачным было это видение, столь ужасной показалась мысль о звездах, что когда она прошла и он снова взглянул на знакомые скалы, пляж, деревья, ветки, на узорную тень листьев на песке, где лагерь, то все показалось ему маленьким, хрупким, будто игрушечным, а плоское ясное небо — очень странным.

Про себя он часто называл эту страну вечерней из-за непреходящих сумерек, но теперь решил, что такое название не соответствует истине, ведь вечер — это время перемен, преддверие ночи.

Легкий ветерок подул вдоль ручья и сморщил воду в заводи. Снова пришла на ум картина: огромная горная страна, погруженная в сумерки, порог тьмы и серебряный ручей, стремящийся по склону горы вниз, к темноте, неведь с каких высот, с востока, оттуда, где занимается невообразимый день.

Он сидел в смятении, окруженный сумерками, чувствуя, что на мгновение ему приоткрылось нечто, делавшее для него эту воду священной.

— Мне надо пойти дальше, — прошептал он чуть слышно. Как и всегда, он говорил сам с собой вполголоса и за все это время вряд ли произнес больше одного слова или предложения зараз.

Когда возникли мысли о море, он брился, и теперь возобновил это занятие. То, что здесь казалось сутками, в мире дневного света составляло чуть меньше часа, но борода у него росла не по здешнему, а по тамошнему, дневному времени. Если отпустить бороду, это здорово упростило бы жизнь, — а ведь в восемнадцать лет он беспокоился, вырастет ли у него борода, зато теперь густая, медного оттенка щетина отрастала так быстро, что мать вечно твердила ему, что пора побриться, — но служащим супермаркета носить бороду не разрешалось. Он уже имел достаточно неприятностей из-за прически и отстоял свое право носить волосы почти до плеч.

Последней частью обязательного ритуала, который он совершал, прежде чем покинуть свое излюбленное местечко под ивами, сложить и спрятать пожитки, было бритье. Иногда он подогревал воду, но если костер уже потух, обходился холодной и, стиснув зубы, скоблил неподатливую щетину; и даже тогда прикосновение родниковой воды воспринималось как ласка.

Вечером в субботу он сказал матери, что отправляется на все воскресенье «за город», путешествовать автостопом. Она в очередной раз сделала ему замечание, что он слишком шумит, вставая в такую рань, но никакого любопытства не проявила. Хью ушел из дому в пять, держа под мышкой пакет с дорожными сушеными и сублимированными продуктами и намереваясь пополнить свои запасы. Хотелось немного пожить в сумеречной стране, продвинуться чуть дальше в своих знаниях о ней.

Оказалось, что от порога в направлении, противоположном тому, откуда он приходил, ведет только одна тропа или дорога. Прыгая с камня на камень, он перебрался через ручей, миновал темно-зеленые заросли, из которых вышла тогда девушка — теперь уже прошло много времени, несколько недель, с того дня, — и начал подниматься по тропе, уводившей его от родника, вверх. Тропа чуть петляла, но неизменно придерживалась оси, перпендикулярной роднику, и он надеялся, что сможет удержать в памяти хотя бы это направление. Он обнаружил, что, даже если на мгновение потеряет всякую ориентацию в лесу, достаточно остановиться и прислушаться и сразу же обретаешь ощущение того, где находится проход — слева, позади, за этим холмом или за тем, — и ощущение этого направления до сих пор ни разу ему не изменило. Ему не приходило в голову ничего более разумного, чем постоянно идти спиной к порогу, идти, пока хватит сил.

На вершине холма воздух, казалось, стал светлее. На дальнем склоне деревья были высокими и стояли редко на почти открытом пространстве без подлеска. Чуть заметная, но все же различимая, если вглядываться, тропа вела прямо вниз. Спускаясь по ней, он впервые перестал слышать голос родника, который так часто пел ему колыбельные.

Он шел довольно долго размеренным и быстрым шагом, радостно и гордо ощущая, как послушно и выносливо его тело. Тропа не стала ни светлее, ни темнее. От нее ответвлялись другие тропы, чаще всего протоптанные оленями, но ни разу не возникло сомнения в том, что именно эта и есть главная. Он знал, что если повернет назад, то тропа обязательно приведет его к роднику, к исходной точке путешествия. Ощущение того, где находится порог, похоже, еще больше обострилось по мере того, как он уходил от него все дальше, словно здесь закон притяжения работал по принципу, обратному земному.

Перейдя через ручеек, поменьше, чем тот, знакомый, он устроился у звонко поющей воды, решив немного подкрепиться; когда же снова тронулся в путь, то почувствовал прилив сил и желание верить в удачу.

Его путь пересекал горные складки как бы по перпендикуляру. Из долин, скрытых в туманной дымке, постоянно доносилось журчание ручейка или речки. Подниматься было нетрудно, но чем дальше, тем круче становились склоны, причем подъемы всегда были более пологими, чем спуски, — он каждый раз будто поднимался на круто обрывающийся гребень волны. Когда он пересек третий большой ручей, то как следует передохнул и искупался, а потом решил обозначить время, потраченное на дорогу, одним днем пути. Ему нравилось это выражение. Как-то очень понятно звучало. Вообще-то он мог выбрать любой отрезок времени, какой понравится, и назвать его днем, а следующий — ночью и весь его проспать. Раньше ему никогда не приходилось вот так экспериментировать со временем, думал он, сидя на берегу ручья у костерка из валежника. Раньше за него это делали часы. Часы по ту сторону порога следили за всем: определяли рабочий день и необходимость включать фары, расписание самолетов и деловые свидания, по часам встречались влюбленные и начинались мировые войны, ничто не обходилось без часов, и все равно то, что показывали часы, имело самое незначительное отношение ко времени вообще. Примерно как коробок спичек к настоящей ели. А здесь не имело смысла спрашивать «который час?», потому что нечего было ответить на этот вопрос, и не было солнца в небе, которое могло бы сказать «полдень», и не было часов, провозглашающих «семь часов тридцать восемь минут сорок две секунды». Приходилось самому определять себя во времени, и единственный ответ был «сейчас».

Он поспал, крепко, без сновидений, и просыпался медленно, чувствуя себя настолько расслабленным, что сначала едва мог поднять собственную руку.

После третьего ручья местность вокруг стала более суровой. Идти приходилось почти все время вверх, и маленькие ручейки бежали теперь сверху вниз ему навстречу рядом с тропой или пересекая ее. Путь был ясно виден. Кто проложил его? когда? — ни малейшего указания на это, ни малейшего признака, что кто-либо недавно проходил здесь.

Но дорога безусловно существовала и вела к какой-то вполне конкретной цели, все выше и выше, лентой извиваясь по склону горы, но всегда повинаясь основному направлению. Дорога была для чего-то проложена — это единственное, что он понял, и позволил ей вести себя. Вокруг стеной стоял лес, под гигантскими елями тяжело лежали густые сумерки. Вокруг не было ни звука, лишь в вершинах елей величаво и негромко вздыхал ветер. Хью попадались следы кроликов, мышей и еще каких-то застенчивых лесных зверюшек, однажды рядом с тропой он заметил маленький череп, но ни одного живого зверька так и не видел. Казалось, здесь каждое существо старается держаться в одиночестве. И он тоже ощутил себя совершенно одиноким, карабкаясь вверх по затянутым туманом склонам в неизменной тишине леса. Он словно вдруг увидел себя со стороны — очень маленького, бредущего через этот дикий край из ниоткуда в никуда. Так он мог бы идти до бесконечности. Потому что здесь, где нет показывающих время часов, существовало лишь понятие «сейчас» и путь в бесконечность лежал в настоящем времени.

Голод помешал его размеренному движению вперед. Он остановился и поел, а когда снова тронулся в путь, почувствовал себя гораздо более собранным и бодрым. Теперь местами дорога поднималась настолько круто, что ему, чтобы передохнуть, приходилось вставать на четвереньки, и тогда он чувствовал руками мощные складки горы, необычайную глубинную силу земли, рвущуюся наружу из-под ее грубой кожи, заросшей скалами и корнями деревьев. Уже довольно давно тропа ушла влево от той оси, на которой лежал родник у порога, а теперь постепенно возвращалась к прежнему направлению и в конце концов выровнялась точно по оси. Теперь он мог идти выпрямившись, шагал свободно, и это принесло облегчение. Ели толпились вокруг густые, высокие, темные, под ними лежала плотная тень, но впереди он видел светлую ленту широкой тропы, здесь превратившейся в почти настоящую дорогу. И в легком горном воздухе он почувствовал, потом еще и еще раз долетевший до него слабый запах дыма.

Он шел теперь размашистым, бодрым, уверенным шагом.

Дорога поднималась вверх плавной волной. Справа склон из пологого постепенно стал более отвесным и потом

вдруг оборвался вниз столь круто, что растущие на нем деревья перестали закрывать горизонт, и впервые в этой стране он смог увидеть далеко вокруг. Он находился на склоне горы. Справа, впереди, над уходящими вниз по склону верхушками деревьев виднелись отроги другой горы, мрачно возвышающейся на фоне ясного неба. Он чуть сбавил темп — голова слегка кружилась, он будто плыл меж бескрайних долин по безбрежной небесной реке. Когда дорога снова повернула, он глянул вперед и увидел, что на склоне горы гнездятся дома с высокими крышами и каминными трубами, это был город, светилось в холодных сумерках чье-то окно. Там был его дом, и он пошел к нему, спустился вниз по улице мимо освещенных окон, услышал голос ребенка, произносящий какие-то слова на непонятном языке.

При дневном свете он казался не таким огромным и значительно моложе — примерно ее возраста, неуклюжий, широкоплечий белолицый парень. Он был глуп — ничего из ее тогдашних слов так и не понял. «Мне нужно вернуться», — сказал он, будто прося у нее разрешения, будто она могла ему это позволить или не позволить. «Я тебя предупреждаю!» — сказала она, но он так и не понял, и ее терпение лопнуло. Она проделала долгий путь из Города На Горе до порога, устала, а стычка с ним, вызвавшая у нее гнев и ужас, отняла последние силы, а ей еще надо было добраться домой, помыться, поесть, вовремя попасть на работу. Патси наверняка спросит, где это она ночевала, — ведь уже давно наступило утро. В прошлую среду она пообещала отнести материны вещи в химчистку. А этот тип все продолжал стоять перед ней, лицо перепачкано углем с ее дощечки, презренный враг, и она вынуждена была оставить его там и уйти, так и не зная, будет ли проход открыт, когда она вернется.

Оказалось, что еще совсем рано. Она вернулась домой в начале седьмого. Рик и Патси уже дня два друг с другом не разговаривали, их молчаливая вражда коснулась и ее, поэтому ни одного вопроса о том, где она провела ночь, не последовало. Вечером после работы она обнаружила, что Патси почему-то рассматривает ее ночное отсутствие как предательство и надменно молчит. А Рик заговорил об этом лишь потому, что хотел выразить собственные мысли: «В са-

мом деле, какого черта! Ради чего, спрашивается, спать именно в этой квартире?»

Прошлой осенью она была рада поселиться здесь вместе с Риком и Патси. Они были в меру щедры и содержали квартиру в относительной чистоте, жить вполне можно, впрочем, к стенам было все же лучше не прислоняться. Они ценили то, что Айрин вносила треть квартплаты, потому что Рик не работал. Между ними существовала довольно прочная договоренность, которая такой и оставалась бы, если бы Рик и Патси не ссорились, потому что, вздумай они расстаться, никакая договоренность, даже самая лучшая, уже не помогла бы. Гнуснее всего сейчас оказалось то, что Рик пытался использовать ее в своей борьбе против Патси, и ночь, проведенная Айрин неизвестно где да еще без каких бы то ни было объяснений на сей счет, давала ему повод думать, что с ней можно позволить себе больше чем просто легкое заигрывание. Ей всего-то и требовалось в этой ситуации — соврать, что ночевала у матери, но она не хотела опускаться до вранья, такой чести Рик больше не заслуживал. Он по-прежнему являлся к ней в комнату и говорил, говорил... Вечером во вторник явился снова и сказал, что дело это серьезное, что необходимо им обсудить будущее, что Патси говорить серьезно не хочет, а ведь с кем-то надо поговорить, и серьезно. Ну, только не со мной, подумала Айрин. Рик, худой парень лет двадцати пяти, весь покрытый рыжеватыми курчавыми волосами и очень похожий на потрепанного игрушечного мишку, стоял с каким-то ленивым упорством между ней и дверью в ее комнату. На нем были только джинсы, на коленках проношенные до дыр. Пальцы на босых ногах очень тонкие и длинные. «Я как-то не особенно расположена к разговорам», — сказала Айрин, но он все продолжал гнусавым голосом вещать о том, как кое-кому необходимо порой поговорить серьезно, как ему хочется объяснить Айрин, почему у них с Патси такие отношения, и как ей, Айрин, важно знать, почему эти отношения именно такие. «Только не сегодня, ладно?» — сказала Айрин, хлопнув дверцей кухонного буфета, ринулась мимо него к себе и заперлась на ключ. Он еще послонялся по кухне, бормоча и ругаясь, потом, хлопнув дверью, убрался из дому. Патси в своей комнате так ничем и не хлопнула, не стукнула — хранила ритуальное молчание.

Айрин присела на краешек кровати, сторбилась, сунула руки между коленями и стала думать. Так долго продолжаться

не может. Ну до конца месяца в крайнем случае она потерпит. А что дальше?

Ей повезло: здесь она жила неподалеку от матери и платила за квартиру всего одну треть, поэтому хватало денег на взносы за купленную в рассрочку машину, от которой зависела ее работа у Мотта и Зерминга, на ремонт машины и даже на покупку резины для двух колес. Она могла бы позволить себе платить за жилье чуть больше, но все же снять отдельную квартиру ей было не по карману. Оставалось одно — переехать в центр, где квартиры в два раза дешевле, но тогда мать будет постоянно беспокоиться, как бы ее доченьку кто-нибудь не обидел или не изнасиловал по дороге к ней. Кроме того, чтобы добраться сюда, ей понадобится по крайней мере полчаса, а то и минут сорок, да и сама она будет беспокоиться о матери. Если бы мать звонила ей, когда Виктор напивается. Но она не звонит.

Айрин встала, вышла на улицу, несильно прихлопнув за собой дверь, и пешком отправилась к матери.

Вечер был жаркий и безветренный. На улице полно народу. Челси-Гарденз-авеню забита ревущими машинами — люди куда-то спешили, просто катались, делали покупки, объезжая магазин за магазином, захмелев от вина или наркотиков, устраивали гонки. Двор фермы по вечерам Виктор освещал прожектором, чтобы иметь возможность возиться с очередной машиной. Непонятно, зачем возиться по вечерам, если у тебя в распоряжении целый день? Да и вообще Виктор как-то не особенно соображал по автомобильной части; Айрин, которой приходилось бывать в автомастерской, знала, например, о двигателях в два раза больше его. Просто ему нравилось быть в центре внимания. Держа в одной руке гаечный ключ, а в другой жестянку с пивом, он что было силы орал на мальчишек: «А ну положь на место! Убирайтесь от запчастей к чертовой матери, ублюдки проклятые!» Вот и сейчас двое или трое его сыновей, сводные братья Айрин, шмыгнули мимо нее в темноту двора. Мальчишки на ее приход не обратили ни малейшего внимания, а вот собаки обрадовались — три маленькие истерично лаяли и путались в ногах, а доберман, которого Виктор держал на цепи, совсем ошалел и чуть не задохнулся.

Айрин нашла мать в обшарпанной кухне вместе с четырехлетней малышкой Триз. Триз сидела за столом и ела овсяные хлопья с шоколадной добавкой прямо из пакета, а мать прибирала оставшуюся после обеда грязную посуду, медленно двигаясь по кухне. Было девять часов вечера.

«Здравствуй, Айрин, дорогая моя», — сказала миссис Хансон, улыбнулась робкой счастливой улыбкой, и они легонько прижались друг к другу.

У Мэри Хансон в тридцать девять лет было три выкидыша и шестеро детей. Старшие — Майкл и Айрин — от первого мужа, Ника Панниса, которого сгубила лейкемия через три месяца после рождения Майкла. Тетка покойного Ника приютила молодую вдову с малышами. Тетке принадлежала эта ферма, а еще она имела свою долю в лесопитомнике напротив, где и работала. Выйдя на пенсию, она на свои сбережения купила домик во Флориде и переехала туда, оставив ферму и пол-акра земли Мэри. Вскоре после этого в доме появился Виктор Хансон, который женился на Мэри и стал автором Вейна, потом Далтона, потом Дэвида, потом Триз и всех последовавших за этим выкидышей. У Виктора по многим вопросам имелись собственные теории, которые он очень любил излагать прилюдно, в том числе и по вопросам пола: «Понимаете, если мужику вовремя не избавиться от своего семени, то, вы же понимаете, оплодотворяющие клетки идут назад и напрочь забивают проход — пожалуйста, воспаление предстательной железы. От семени надо регулярно избавляться, чтобы оно не превращалось в яд, как и все прочее, что вовремя из организма не изгоняется. Это вроде как кишечник опорожнять или сморкаться — ведь если нос вовремя не прочистить, то и гайморит схватить недолго». Виктор был крупным, хорошо сложенным, привлекательным мужчиной, постоянно занятым собственной внешностью и отправлениями своего драгоценного тела; это было центром его мироздания, вокруг которого слабыми бестелесными тенями кружились все остальные; такой эгоцентризм мог быть свойствен красавцу атлету или, наоборот, жалкому инвалиду, но Виктор не был ни тем ни другим, он отличался завидным здоровьем и поразительной ленью. Раньше он работал в компании по производству алюминированных материалов, но вскоре работы лишился. С тех пор он то помогал какому-то своему другу продавать подержанные автомобили, то куда-то исчезал с приятелями, которых звали Дон и Фред или Дуайт и Рой и которые занимались починкой телевизоров или заменой авточастей; в таких случаях Виктор даже приносил домой кое-какие деньги — всегда наличными. Иногда в старом гараже, который Виктор держал на замке, вдруг появлялась груда велосипедов. Мальчишкам страсть как хотелось до них добраться — новеньких, с десятью скоростями, —

но Виктор однажды так врезал Далтону, посмевавшему лишь заикнуться о велосипедах, что тот пролетел через всю комнату. Виктор сообщил, что хранит велосипеды, делая этим одолжение своему другу Дуайту.

Майклу было четырнадцать, когда он обнаружил, что отчим занялся спекуляцией наркотиками и держит свои запасы — в основном метедрин — у Мэри в комод. Майкл и Айрин сначала решили передать Виктора в руки полиции, но обсудили этот вопрос и в конце концов просто спустили наркотики в унитаз, так никому ничего и не сказав. Как они могли разговаривать о таком деле с полицейскими, если даже с матерью поговорить об этом было нельзя. Не стоило и гадать, знала ли она об этом; слово «знать» вообще в данной ситуации как-то не годилось. С уверенностью можно было сказать про нее лишь одно: она — верная жена, Виктор — ее муж, то, что он делает, всегда для нее хорошо.

То, что делал ее старший сын Майкл, тоже всегда было хорошо. Но самого Майкла это не удовлетворяло. Он даже считал, что это безнравственно. Если бы мать осталась верна мертвому отцу Майкла, тогда другой разговор, но она снова вышла замуж... В семнадцать лет Майкл ушел из дома и устроился в какую-то строительную фирму на противоположном конце города. С тех пор прошло два года, и Айрин видела его только дважды.

В детстве Айрин с Майклом — между ними было меньше двух лет разницы — очень дружили и делились друг с другом всем. Когда Майклу было около одиннадцати, он начал постепенно отдаляться от сестры, что она восприняла как нечто справедливое или неизбежное, поэтому, несмотря на некоторое чувство утраты, особого горя ей это не причинило. Но когда Майкл совсем повзрослел, то просто стал избегать ее. Он проводил время с бандой юнцов, переняв их презрительные выходки и словечки по отношению к женскому полу вообще и несколько не щадя собственную сестру. Это она расценила уже как настоящее предательство, которое к тому же совпало с тем периодом, когда отчим стал не на шутку к ней приставать, лапать ее по дороге наверх, в ванную, прижиматься к ней, когда они встречались на кухне; заходил к ней в комнату без стука и все время норовил залезть под юбку. Однажды он поймал ее за гаражом, и она все пыталась отделаться шутками и смехом, потому что никак не могла поверить, что он это всерьез, пока Виктор не упал на нее всей тушей и не накрыл ее

сверху, как матрас. Он тяжело дышал и был похож на страшного зверя, и лишь по чистой случайности ей повезло, она удрала и отделалась вывихом кисти. После этого Айрин старалась никогда не оставаться с ним в доме наедине и никогда не ходила на задний двор. Постоянное напряжение изматывало. Ей хотелось рассказать обо всем Майклу, получить от брата хоть какую-то поддержку, хоть самую маленькую. Но теперь она не могла сказать ему такое. Он станет ее оскорблять, обвинит в том, что сама позволила это Виктору, сама соблазняла и дразнила его. Он уже не раз оскорблял ее за то, что она женщина, а значит — объект вожделения, а значит — нечиста.

Пока Майкл жил дома, если бы она действительно закричала, позвала на помощь, он бы, конечно, защитил ее. Но если бы Айрин закричала, то услышала бы и мать, а она не хотела, чтобы мать знала. Сама жизнь Мэри покоилась на беспредельной верности мужу, на заботе о семье — из этого, собственно, она и складывалась, ее жизнь. Разрушить это означало погубить ее. Если бы пришлось выбирать, если бы заставили обстоятельства, Мэри, возможно, и встала бы на сторону дочери, пошла бы против собственного мужа, зато потом Виктор вволю натешился бы, наказывая ее за предательство. Итак, после ухода Майкла у Айрин не осталось другого выхода, как тоже уйти из дома. Но она не могла просто так убраться и поминай как звали — вроде Майкла: привет, чудесно провели время. Ее матери было просто необходимо иметь рядом человека, на которого она могла бы положиться. За последние пять лет у нее из четырех беременностей три окончились выкидышем. Сейчас она принимала пилюли, но без ведома Виктора, который считал, что «противозачаточные средства задерживают оплодотворяющие клетки в железах», и был категорически против пилюль. И мать, возможно, послушалась бы его, но рядом оказалась Айрин, которая ее поддержала и помогла хранить эту их общую маленькую женскую тайну. У Мэри были нелады с кровообращением; она страдала пиореей и нуждалась в общем лечении зубов, что обошлось бы относительно недорого, если бы кто-то согласился возить ее в стоматологический колледж по субботам. Виктор избивал ее, когда напивался, не то чтобы так уж сильно, но все же однажды вывихнул ей плечо. Большую часть времени она оставалась с ребятами одна, и если ей действительно станет плохо или он побьет ее, то никто скорее всего ничем ей и не поможет.

Она сказала дочери с теплотой, которая должна была в их отношениях заменить откровенность:

— Детка, почему ты все время торчишь в этой дыре? Тебе следует снять комнату в центре, недалеко от работы, и общаться с какими-нибудь приятными молодыми людьми. Когда-то здесь и вправду было хорошо, но теперь город сюда добрался — новостройки, мусор.

Айрин принялась защищать свое совместное проживание с Риком и Патси.

— Неужели ты считаешь Патси Сobotни своей подругой!

Мэри не переносила Патси за то, что та жила с Риком просто так. Однажды выведенная из себя Айрин накричала на нее:

— А что, по-твоему, такого раскрепасного в браке?

Мэри приняла удар не дрогнув, не пытаясь защититься. Она минуту постояла неподвижно, глядя через темную кухню в окно, потом ответила:

— Не знаю, Ирена, думаю, я старомодна в этом отношении и считаю брак тем, чем люди привыкли его считать. Но твой отец, понимаешь, Ник... С ним, понимаешь, секс и все остальное — все было прекрасно, понимаешь, не могу этого выразить, но, например, секс был только частью, частью чего-то очень большого. И все остальное, вся твоя жизнь, твой мир, понимаешь, — тоже как бы часть этого целого, ты сама его часть, когда муж и жена живут так, как мы с Ником. Не знаю, как это сказать. Но когда знаешь, как это бывает, когда сама такое переживешь, ничто другое уже особого значения не имеет.

Айрин молчала, видя на лице матери отблеск некоей глубоко запрятанной гордости и красоты и одновременно сознавая ту ужасную истину, что всякая гордость и красота могут быть исчерпаны уже к двадцати двум годам, а потом можно прожить еще двадцать, тридцать, пятьдесят лет, работать, выйти замуж, вынашивать и рожать детей и делать все остальное — но совершенно автоматически, не имея ни стимула, ни желания.

Я дочь привидения, подумала Айрин.

Помогая матери убираться в кухне, она поведала ей о том, что Рик и Патси, похоже, скоро расстанутся.

— Ну так прогоните этого никчемного Рика и найдите себе с Патси подходящую девушку, чтобы жила с вами, — предложила Мэри, тут же проявляя женскую солидарность и становясь на сторону Патси.

— Не думаю, чтобы Патси этого захотела. Да и я тоже как-то не рвусь жить с ней в одной квартире и дальше.

— Но это все же лучше, чем одной, — сказала Мэри. — Ты вечно одна и одна, детка, никогда не развлечешься. Это же подумать только — в одиночку отправляться по стране автостопом! Ты бы лучше на танцы ходила. Или уж вступила бы в какой-нибудь туристический клуб, где бывают приятные молодые люди.

— Дались тебе эти приятные молодые люди, мама!

— Да уж приходится мне об этом заботиться, — спокойно ответила довольная собой Мэри. Потом подошла к Айрин, стоявшей к ней спиной у раковины, и нежно погладила дочь по пышным густым волосам. — Ужасная у тебя грива. Как у гречанки какой-то. От меня унаследовала, наверно. Надо тебе в центр переезжать. Подальше от этого болота.

— Но ты ведь живешь здесь.

— Мне и так сойдет. А вот тебе здесь не место.

Трое мальчишек ворвались в кухню, и Триз тут же заревела, потому что те отняли у нее коробку с хлопьями и стали набивать лакомством собственные рты. Вместе они обладали невероятной разрушительной силой, хотя по отдельности каждый из них был тихим, похожим на мышонка мальчиком, с хриловатым, едва слышным голосом. Мэри не следила за тем, что они делают вне дома, и там они были настоящими сорванцами; зато в доме желание соблюдать порядок оказывалось сильнее ее, в общем-то, равнодушного отношения к их дикой активности, и ребятам приходилось слушаться. Вот и сейчас Мэри быстренько навела порядок, усадила сыновей смотреть телевизор и снова вернулась к старшей дочери. Она улыбнулась своей нерешительной счастливой улыбкой, показывая плохие зубы и больные десны, и наконец рассказала главную, драгоценную новость, которая была слишком хороша, чтобы выложить ее сразу, и слишком хороша, чтобы долго молчать о ней:

— Майкл звонил.

— И что сказал?

— Ну, рассказал, как живет, расспросил о домашних, о тебе и об остальных. Он тоже машину купил.

— Почему же он не приезжает на ней сюда?

— Он очень много работает, — сказала мать и отвернулась, закрывая дверцы буфета.

Значит, он так много работает, думала Айрин, что способен навестить мать только раз в год. Хотя телефонный звонок — достаточно большое одолжение со стороны Его

Величества Мужчины. И он швыряет эту подачку собственной матери, а та ловит и еще спасибо говорит...

Я больше этого не вынесу, просто больше не могу. Вот и теперь я зря сделала маме больно, сказав, что Майкл мог бы приехать на своей машине и навестить ее. Все, кого я знаю, только и делают, что причиняют друг другу боль. Все время. Мне действительно пора убраться отсюда. Я не могу больше считать это домом. В следующий раз, если Виктор попытается меня пощупать, если даже просто прикоснется ко мне или станет паскудно себя вести по отношению к матери, я его ударю, закричу, я больше не могу затыкать себе рот, и тогда будет только хуже, потому что это причинит ей еще большую боль, а я ничем не смогу ей помочь и терпеть это больше не смогу. Любовь! Что хорошего в этой любви? Я люблю мать. Я люблю Майкла так же, как и она. Ну и что? Господь милостив и не допустит, чтобы я когда-нибудь влюбилась. Любовь — это просто красивое слово, обозначающее способ задеть кого-нибудь побольнее. Не хочу в этом участвовать. Хочу убраться, убраться, убраться отсюда.

Поздно вечером, выйдя от матери, она пошла не вниз по дороге в направлении Челси-Гарденз, а свернула влево по грейдеру и шла до тех пор, пока путь освещал Викторов прожектор, а потом, срезая угол, снова свернула налево, прямо через поля. В темноте идти было неприятно, она спотыкалась о невидимые под жесткой травой твердые комья пересохшей земли, но фонарика не зажигала, боясь привлечь внимание подгородской шпаны в кожаных куртках, которая частенько болталась неподалеку от фабрики. Это был тот самый глупый страх, который портил ей все прогулки в одиночестве с тех пор, когда ее школьную подружку Дорис изнасиловала такая вот банда в одном из недостроенных домов Челси-Гарденз, тот самый глупый страх, от которого некуда было убежать, кроме как в вечернюю страну.

Но лесная тропа не вела вниз, к проходу между лавровым кустом и сосной, к ясному вечному вечернему свету. Было тепло и темно; вокруг громко пели сверчки, их пение заглушал постоянный тяжелый гул, от которого дрожала земля, — то ли поток машин на шоссе, то ли шум самого города, небо над которым светилось настолько сильно, что даже здесь, в лесу, тропа была хорошо видна. Но ниоткуда не доносился звук бегущей воды. Она сделала еще несколь-

ко шагов туда, к проходу — и повернула назад. Прохода не было.

Она вспомнила, как он тогда перешагнул через порог и пошел дальше, неуклюжий и совсем здесь чужой, а сумеречный свет катился перед ним как волна. Она тогда испугалась; даже сейчас ей неприятно было об этом вспоминать. Это он во всем виноват. Это случилось с ним — не с ней! Она всегда могла вернуться обратно. И в тот раз вывела его она. А вот войти с этой стороны она могла не всегда.

А он мог? Вдруг сейчас он там, куда она пройти не может?

На следующий день после работы она снова пришла в лес Пинкуса и упорно приходила туда каждые два-три дня в течение двух недель, словно собственной настойчивостью и нежеланием сдаваться пыталась победить в этом странном состязании. В конце второй недели она стала приезжать каждый день, оставляла машину на фабричной стоянке и пешком шла через поля к лесу. Потом обнаружила, что уже протоптала в сухой августовской траве тропинку, и стала менять направление, стараясь не оставлять заметных следов, чтобы тот, другой, не смог за ней пойти. Но скрывать было нечего. Был лес, заросли ежевики, тропинка, дренажная канава, немного дальше, у подножия холма, изгородь из колючей проволоки, натянутой между деревьями. Парочка воробьев, щебечущих над головой, чуть слышный, словно далекий барабанный бой, шум машин на шоссе и звук города — как дыхание огромного, невиданного, спящего зверя в тридцать миль длиной. Жаркое послеполуденное солнце, мягкий голубоватый воздух. Обычно она стояла минутку там, где тропа должна была идти вниз, где должен был быть проход, потом поворачивала назад, тащиась через поля к машине и ехала домой. Она жила в нескольких кварталах к западу от Челси-Гарденз.

Патси и Рик переживали период внезапного бурного примирения, так сказать, последнюю любовную вспышку. Еще в субботу вечером, вернувшись от матери, она попала в самый разгар яростной ссоры. И тут же оказалась в нее втянутой — как член семьи. Когда Патси обвинила Рика в том, что тот спит с Айрин, она была вынуждена защищать и себя, и его; когда Рик обвинил Патси в том, что та несправедливо делит деньги, Айрин вынуждена была заступиться за Патси, которая после этого на нее же и обрушилась, заявив, что Айрин якобы сталкивает всех лбами. Ссора длилась бесконечно долго, и она поняла, что ей остается только

одно, и это давно уже следовало сделать: сложить вещи, расплатиться и обратиться отсюда.

Патси и Рик просто обалдели и некоторое время пребывали в шоке. Потом Патси удивительно честно поделила банки с малиновым вареньем, которое они вместе варили в прошлом месяце, настаивая, чтобы Айрин взяла ровно половину; она все время плакала, слезы медленно текли по ее щекам, но прощальных слов Патси не произносила. Рик помог Айрин отнести вещи в машину, все время приговаривая: «Вот дерьмо! Ну и дерьмо!» Наступило воскресное утро, и в девятом часу Айрин наконец уехала. Она вела машину, где лежали две картонные коробки и чемодан без ручки, в которых поместилось все ее имущество, вниз по Челси-Гарденз-авеню через площадь, мимо грейдера, к ферме. Три маленькие собачонки затыкали, а доберман начал давиться лаем, услышав в тиши воскресного утра звук подъезжающей к дому машины. Если не считать собак, то ферма в окружении изуродованных автомобильных кузовов выглядела необитаемой. Она подала назад и выехала со двора, повернула направо, на грейдер и припарковала машину у фабрики красок. Заперла дверцы и в очередной раз двинулась через заброшенные поля под жарким солнцем, обещающим настоящее пекло. Если проход закрыт, я буду ждать там, думала она. Сяду и буду ждать, пока он не откроется. Пусть хоть месяц... В голове у нее шумело после бессонной ночи и бесконечных споров, ссор, объяснений, обвинений, прощений. Она не завтракала, хотя около пяти утра съела коробку соленых хрустящих палочек и выпила кружку молока, пока Рик объяснял Патси, как она его терроризирует, а та внушала ему, что он женофоб... Я буду спать там, у порога, и все время просыпаться и смотреть, не открылся ли проход, говорила себе Айрин. Откройся, откройся, откройся — слово билось у нее в голове в такт шагам. Жаркий свет дня слепил глаза. Откройте, глаза, постарайтесь увидеть. Откройся, дверь! Вот и лес, знакомая извилистая тропинка, вот канава, вот заросли ежевики, вот тропа идет вниз, вот сосна с красным стволом, вот порог и открытые двери — двери в мою страну, в мою дорогую страну, в дом сердца моего!

Сумерки окружили ее. Она напилась из ручья, перебралась на другой берег и немного прошла вверх по течению в укромное местечко за двумя кустами бузины, где — это было годы и годы тому назад! — она когда-то спала. Она легла

там и немножко поплакала, жалобно и устало, как после потрясения, которое всегда испытываешь, если вдруг исполняется заветное желание. Потом уснула.

В волшебной стране она спала глубоко, без сновидений. Я сама себе снюсь, лениво думала она. Себе я снюсь, я снюсь себе, себе я снюсь, хоть и не ночь... Что это? И проснулась и напряженно села с бешено бьющимся сердцем, потому что ее вернул к действительности чей-то крик, какой-то нечеловеческий вопль, прозвучавший далеко в лесу. Неужели и правда кто-то кричал?

Ничего. Ни звука — только журчание ручья и дыхание ветра в вершинах деревьев. Небо спокойно. В лесу ничто не шелохнется.

Еще немного помедлив, она поднялась на ноги и осторожно огляделась вокруг, пытаясь заметить хоть малейшие перемены, знак опасности, беды. Это его вина, думала она, этого толсторожего, этого слизняка. Он здесь все изменил. Теперь все не так. Она рада была найти для своего беспокойства причину, к тому же вполне вескую. Но не обнаружив следов *захватчика* — кострища, спального мешка в чехле, почему-то вовсе не перестала тревожиться. Сердце продолжало бешено колотиться, она задыхалась. Чего это я боюсь? — сердито спросила она себя наконец. Да еще здесь. Здесь-то уж точно нечего бояться. Здесь все так, как всегда, здесь всегда безопасно. Должно быть, мне все же приснилось что-то плохое. Хочу поскорей пойти в Тембреабрези. Хорошо бы прямо сейчас оказаться там, в доме, в гостинице. Есть хочется. Вот в чем все дело, мне просто хочется есть!

Она опять много и долго пила, чтобы заполнить желудок, потом сорвала несколько стебельков мяты — пожевать по дороге к Городу На Горе. Она двинулась в путь обычным своим быстрым и легким шагом, нет, поступь ее была еще легче и быстрее, чем всегда, потому что ее подгонял голод, страх тоже подгонял ее, и она не могла позволить себе остановиться и подумать об этом, потому что если бы остановилась, то и голод, и страх стали бы непереносимыми. Пока она шла, думать было не нужно, и сумрачный лес вдоль дороги проплывал мимо, как вода в ручье; так легко и быстро шла она, что никто не успел бы услышать ее шагов, никто не заметил бы ее, никто не преградил бы ей путь, раскинув широко белые морщинистые руки...

В окнах гостиницы горели свечи, словно там ее ждали. На улице не было ни души. Должно быть, уже поздно — время ужина или даже позже. При мысли об ужине: о супе, хлебе, рагу, каше — о любой еде — она почувствовала голо-
вокружение, и когда Софир растворил перед ней дверь гостиницы, и там было тепло и светло, и пахло едой, и звучал его густой бас, Айрин едва удержалась на ногах.

— Ох, Софир, — сказала она, — ужасно хочется есть!

На звук ее голоса пришла Пализо, которая, хоть и не была особенно щедра на ласки, поцеловала Айрин и на минутку прижала к себе.

— Мы тревожились за тебя, — сказал Софир. Он увел ее в комнату и усадил у огня.

Действительно, было уже очень поздно: привычная компания разошлась по домам, огонь в камине почти догорел. Софир и Пализо сновали вокруг, готовя ей воду для умывания, еду, и говорили не умолкая.

— А знаешь, ОН пришел! — сказала Пализо.

— Кто? — спросила Айрин.

Два таких знакомых, таких дорогих лица повернулись к ней, освещенные теплым светом камина; Пализо с улыбкой глянула на Софира, предоставляя ему право говорить за них обоих.

— ОН! — сказал Софир. — ОН сейчас здесь. Теперь дела пойдут лучше!

Сказал с таким теплом, с такой радостью и уверенностью в том, что Айрин тоже этому рада, что она не посмела ответить.

— Ну вот, все горячее, — сказала Пализо, ставя перед Айрин полную тарелку, при виде которой все остальное перестало волновать девушку. Окруженная запахами еды, покоем, теплом камина, друзьями, она поела; потом Софир приготовил ее комнату, ту самую, что окнами смотрела на темный обрывистый поросший лесом восточный отрог Горы.

Утром Софира дома не оказалось, а Пализо хлопотала по хозяйству, поэтому завтракала Айрин в одиночестве. Еды на завтрак было маловато: немного снятого молока, горшочек сыра и хлебец, такой жесткий и маленький, что не шел ни в какое сравнение с румяными чудесами прежней Софириной выпечки, и она с трудом решилась отрезать кусочек. Совершенно ясно: больше зерна купцы из Столицы сюда не возят.

Сначала, проснувшись, она подумала, что когда Софир и Пализо вчера говорили «он» и «он пришел», то имели в виду Короля. Поразмыслив получше, она решила, что имелся в виду не сам Король, а его посланец, который прибыл, чтобы открыть дороги, и обладал на это соответствующими полномочиями. Окончательно стряхнув с себя сон, она поняла, что ничего подобного они в виду не имели.

— Пойдешь сегодня наверх, в дом Хозяина, — сказала ей Пализо, проходя через кухню с целой охапкой белья, только что снятого с веревок. — Я немного простирнула твоё красное платье — уж больно оно мнется, пока в сундуке лежит. А чулки чистые у тебя есть? Посмотри-ка, нравятся?

— Интересно, а ОН там? — спросила Айрин. Поскольку этот «он» не жил в гостинице, его, должно быть, пригласили — как никогда не приглашали ее — пожить в доме Хозяина. Почему-то даже такая ерунда причиняла сильную боль, и она постаралась скрыть ее и настолько была поглощена этим, что не сразу расслышала ответ Пализо:

— ОН? О нет, ОН в замке. Но Хозяин уже давно просил передать тебе, чтобы ты сразу же приходила к нему, как только снова у нас появишься.

Последние слова пролились ей на душу бальзамом. Раз так, «он» мог оставаться в замке сколько угодно.

— Очень красивые! — сказала Айрин, любясь полосатыми чулочками, которые Пализо выложила поверх остальной одежды. — Только что связала?

— Да так, распустила четыре пары старых и выбрала нитки что получше, — лукаво ответила Пализо, чувствуя себя мастерицей на все руки. — Надень их сегодня, *леваджа*. Это тебе.

В новых ярких чулках и красном платье Айрин вышла на улицу и в сумеречном свете начала подниматься по неровным крутым ступеням вверх к дому Хозяина. Гуси в загоне у южной стены, огромные, белые, будто светящиеся в неясном свете, вытягивали длинные шеи и шипели; один вдруг захлопал крыльями. Она всегда немного побаивалась гусей.

Айрин постучалась в красивую наборную дверь, и Фимол, спокойная, невозмутимая как всегда, впустила ее и провела через зал, где с портретов мрачно глядели печальная старуха и однорукий старец, к двери кабинета Хозяина.

— Ирена пришла, — почтительно сказала Фимол своим ясным голосом.

Он повернулся от конторки, с нескрываемой радостью протянув ей навстречу руки:

— Ирена, Иренаджа! Здравствуй! Мы по тебе соскучились!

Это я по тебе соскучилась, хотелось ей сказать. Но язык вечно отказывался повиноваться ей в присутствии Хозяина. Даже язык повиновался только ему.

— Входи и садись, — сказал он. Улыбка делала его лицо совсем молодым. Голос был добрый. — Расскажи, как ты сюда добралась? Трудно было? — Его темные глаза теперь смотрели прямо на нее. — Я все боялся, что ты не сможешь прийти, — проговорил он тихо и торопливо, глядя куда-то в сторону.

— Путь был закрыт... до прошлой ночи. Я хотела прийти... я пыталась!..

Он кивнул, глядя на нее мрачно и одновременно нежно.

Она пыталась подобрать нужные слова:

— Я ничего не заметила, когда путь открылся... все было по-прежнему. Но я чувствовала... какой-то шум, может, я его и не слышала. В общем, что-то такое, чего я сейчас никак не могу припомнить...

Когда она стала рассказывать об этом здесь, в этой тихой комнате, ужас, который вчера на лесной тропе она не позволяла себе почувствовать, обрушился на нее ледяной, сбивающей с ног волной; она съезжилась и задрожала на своем стуле. Голос ее звучал тоненько и ломко:

— Я никогда раньше не боялась в лесу!

Она посмотрела в темное лицо Хозяина, надеясь найти там поддержку, желая, чтобы он поделился с ней своей силой.

Некоторое время он молчал; потом наконец тихо пробормотал:

— И все же ты пришла.

— И еще кто-то... Софир сказал мне, что еще кто-то пришел сюда, какой-то мужчина...

Хозяин кивнул. Было заметно, что он весь охвачен неким сильным чувством, которое тщетно пытается скрыть. Наконец он произнес какое-то слово или имя — Айрин не поняла — *хьюраджа* и снова посмотрел ей в глаза, внимательно, вопрошающе.

— Он пришел с севера... из Столицы? — спросила она, хотя уже знала ответ.

— С юга. Как ты. По Южной дороге. Как ты сама пришла тогда в первый раз — не зная ни нашей страны, ни языка.

Любопытство, желание непременно узнать всю правду оказались сильнее боязни разочароваться или того, что ее оттолкнут.

— А он... — она не знала, как на их языке «светловолосый, блондин»; у всех здесь волосы были темные. — А у него волосы цвета соломы? И он толстый?

Хозяин коротко кивнул.

— Нас всех пригласили в замок на встречу с ним, — сказал он. Что-то в его голосе насторожило Айрин — чуть заметная ирония, или гнев, или чувство обиды? — Пойдем.

— Прямо сейчас?

— Как можно быстрее, так сказал Лорд Горн. — Снова его голос прозвучал чуть суше, чем обычно, чуть ироничнее; но на нее он и не взглянул и, непроницаемый как всегда, повел к выходу, вверх по улице, прямо к высоким, изящным, открытым настежь воротам, от которых дорожка вела к замку. Он не проронил ни слова, пока они шли мимо деревьев и лужаек. Справа поднимались вверх склоны Горы, густо поросшие лесом, за которыми едва виднелись далекие скалы и вершины других гор. Перед ними открылся огромный дом, сложенный из рыжевато-коричневого камня, будто вобравшего в себя тепло и свет заката, последний солнечный луч.

Старый слуга провел их по холодноватым, полупустым величественным залам наверх в галерею с огромным количеством окон. Окна выходили на восточный склон, за которым ясно вырисовывались на фоне неба далекие горные хребты. В камине, отделанном мрамором, горел огонь; возле камина, на дальнем конце галереи стоял Лорд Горн с дочерью и разговаривал с каким-то незнакомым человеком.

Ну конечно, это был он — лицо словно из теста, тяжелые кулаки.

Она взглянула на мужчину, шедшего рядом с ней: темные волосы, жесткий красивый профиль, сдержанный, уверенный, энергичный. Хозяин не сказал ни слова, не сделал ни единого жеста, но она чувствовала его ненависть так же ясно, как свою собственную.

Лорд Горн, как всегда негнувшийся, неторопливый, двинулся им навстречу. Его дочь бледно улыбалась. Как раз она-то была блондинкой, об этом Айрин совсем забыла; значит, не все они здесь темноволосые. А у этой девушки были светленькие кудряшки, похожие на овечью шерсть.

— Ирена — наш друг, — сказал Лорд Горн. — Наш гость и твой, как я полагаю, Ирена, земляк. Его зовут Хьюраджас.

Она видела, что он узнал ее, — на лице испуг сменился удивлением, потом надеждой, как маски в телевизионной комедии. Он неуклюже выдвинулся вперед, устремляясь к ней, и, запинаясь, сказал по-английски:

— Привет, я... простите, что... я не знаю их языка, как вы и говорили.

Она чуть отступила назад, чтобы сохранить между ним и собой прежнее расстояние.

— Лорд Горн, — сказала она, — когда я здесь, то говорю на здешнем языке.

Этот захватчик и девица с бледным личиком мадонны так и усталились на нее, а Хозяин весь как-то подобрался, словно ястреб, — она заметила это по особому наклону его головы. Но Горн ничего ей не ответил; он только своим обычным долгим взглядом посмотрел на Хозяина. Повисла какая-то странная, тягостная тишина.

— Он не умеет говорить на нашем языке, — выдержав паузу, сказал старый Лорд. — Может быть, ты поможешь нам поговорить с ним?

Хозяин не подал ей никакого знака. И мрачное выражение на лице Лорда Горна было требовательным. Нехотя и не слишком вежливо она повернулась к захватчику, не глядя на него, уставясь в натертый пол перед его ногами — обутыми в теннисные туфли огромного размера и грязные, — сказала:

— Они хотят, чтобы я вам переводила. Говорите.

— Я знаю, вам неприятно, что я здесь, — произнес он. — Наверно, здесь я и впрямь чужак. Не знаю. Меня зовут Хью Роджерс. Если вы будете переводить для них что-нибудь из того, что я сейчас говорю, то еще скажите «спасибо». Они были ко мне очень добры.

Он запнулся, и она услышала, как в горле у него что-то булькнуло.

— Он говорит, что попал сюда по ошибке, — сказала она, поворачиваясь к Лорду Горну, но по-прежнему глядя в пол. — Он хотел бы поблагодарить вас за доброту. — Она старалась говорить безразличным тоном, как автомат.

— Мы рады ему, трижды рады.

— Он говорит, что вам здесь рады, — без всякого выражения произнесла она по-английски.

— Кто он? Я даже не знаю их имен. Вас зовут Рина?

Это на минуту выбило ее из колеи. Нет уж, он будет звать ее Ай-рин. Никто, кроме матери и жителей Города На

Горе, не звал ее Ирена. И он, конечно, услышал это имя здесь. Все равно его это не касается.

— Это Аур Горн — Лорд Горн. Это Доу Сарк — Хозяин Сарк, мэр Тембреабрези. Это дочь Горна. Я не знаю ее имени.

— Аллия, — внезапно сказала девушка, обращаясь не к Айрин, а к Хью Роджерсу. Тот, как овца, уставился сначала на нее, потом снова на Айрин.

— Я думаю, что они принимают меня за кого-то совсем другого, — сказал он.

Она не стала помогать ему разобраться.

— Вы не могли бы сказать им, что я не здешний, что я пришел — ну, откуда-нибудь из другого места, что все это какая-то ошибка.

— Могу. Но это ничего не изменит.

В конце концов он почувствовал ее враждебность. Он перестал сутулиться, выпрямился и застыл.

— Послушайте, — сказал он, — когда я пришел сюда, то было похоже, что они меня ждали. Они вели себя так, будто знали, кто я такой. Но я-то их не знаю и не могу сделать так, чтобы они поняли, что спутали меня с кем-то совсем другим.

— Вы даже не представляете, кто вы для них.

— Это они не представляют, а я знаю, — сказал он с неожиданной твердостью.

— Это все из-за того, что вы пришли сюда по Южной дороге.

— Но я вообще не пришел, а случайно попал сюда. Я и понятия не имел, что здесь есть город, я просто шел по тропе!

— Никто из них не может пройти по тропе. Никто из здешних. Только те люди, которые приходят... из-за порога.

До него все еще не доходило:

— Не могли бы вы просто сказать им, что тот, кого они ждут — кто бы он ни был! — это вовсе не я?

Она повернулась к Лорду Горну:

— Он умоляет меня сказать вам, что вы принимаете его не за того, кого ждете.

— Нет, мы ни за кого *другого* его не принимаем, — тихо ответил старик. В словах, которые он употребил, таился какой-то второй, неясный смысл. Она неуверенно перевела их на английский:

— Лорд Горн говорит, что вы тот, кем себя считаете сами, и им это известно.

— Кажется, я становлюсь тем, кем *они* меня считают.

— Ну и что в этом плохого? — фыркнула она.

— Я скоро должен вернуться назад. Они это знают?
— Они не станут вам препятствовать.
— Вы о чем-то предупреждали меня — там, у порога, в тот раз. Но о чем? Они опасны? Или сами в опасности?

— Да.

— Но в чем дело? Что им угрожает?

— Двойная опасность. Почему, собственно, я обязана вам что-то объяснять? С какой стати? Вы сами сказали, что чужой здесь. Вот вы и есть та опасность, та помеха... из-за вашего появления здесь все и началось. А я здешняя, это мой мир! Вы небось думаете, что я преподнесу его вам на блюдечке только потому, что вы мужчина и вам должно принадлежать все? Нет, здесь положение вещей иное!

— Ирена, — сказал Хозяин, приблизившись к ней, — в чем дело? Что он сказал?

— Ничего! Он дурак! Он здесь чужой, он не должен быть здесь! Вам нужно отослать его немедленно и навсегда за-претить здесь появляться!

— Что происходит? — как всегда медленно спросил Лорд Горн. — Ты ведь не знаешь этого человека, Ирена?

— Нет. Я его не знаю. И не желаю знать. Никогда!

Аллия сказала своим легким ровным голосом, обращаясь к отцу:

— Ирена говорит так, потому что боится за нас.

Лорд Горн посмотрел на дочь, на Сарка, потом на Айрин. Его глаза, почти бесцветные глаза старика, поймали ее взгляд.

— Мы называем тебя своим другом, — сказал он.

— Я и есть ваш друг, — яростно ответила она.

— Да, ты наш друг. И он тоже. Зло не приходит к нам по этой дороге — твоей дороге, Ирена. Ты пришла, чтобы передать ему наши слова, он — чтобы послужить нам; все так, как и должно быть. Первый и второй, второй и первый. Этой дорогой идут всегда двое.

Она стояла молчаливая, испуганная.

— Я пойду одна, — прошептала она.

Глупые слезы затуманили ей глаза, и пришлось отвернуться, и успокоиться, и вытереть нос и глаза платком, который Пализо предусмотрительно положила в карман ее платья. Было трудно вновь повернуться к ним лицом. Когда она все же повернулась, лицо ее вспыхнуло.

— Я постараюсь сделать то, о чем вы меня просите, — сказала она. — Что я должна ему сказать?

— То, что сама сочтешь нужным, — ответил Лорд Горн своим глухим ровным голосом. — Говори от нашего имени.

К ее полному замешательству, он отошел и встал рядом с Аллией, мрачно глядя на Сарка, а потом едва заметно и сухо кивнул ей и Хью Роджерсу и вышел вместе с дочерью и Сарком из зала. Она осталась с чужаком лицом к лицу.

Он сел было на стул, который оказался для него слишком узок, потом неловко поднялся, отошел и встал у высокого окна.

— Простите меня, — сказал он.

С востока в зал струился холодный свет. Она подошла поближе к камину. Внезапные слезы оставили в душе холод и оцепенение. Она должна сделать то, что обещала.

— Вот то, что они хотели сказать вам — насколько я их поняла, разумеется. Здесь случилось что-то дурное, по какой-то причине они не могут покинуть пределы города. Никто не может пройти по дорогам. Кроме нас, тех, кто приходит с юга. Они чего-то боятся и, похоже, все сильнее. Но вот пришли вы, и теперь они надеются на какие-то перемены.

— А что может измениться?

— Может исчезнуть их страх.

— Но откуда он? Ведь только здесь я ничего не боюсь! — Он отвернулся от окна. — Я ничего не понимаю — ни их языка, ни того, почему в этой стране не бывает ни ночи, ни дня, но меня никогда это не пугало. Чего здесь можно бояться?

— Не знаю. Я совсем не так уж хорошо понимаю их язык. Да они и не любят говорить об этом, а может, до меня просто не доходит что-то. Мне они отвечают, что не могут выйти из города и никто не может прийти сюда из долин.

— Из долин?

— С севера, от подножия Горы. Через долины дорога ведет в Столицу.

Она вдруг увидела его глаза — серо-голубые или синие, огромные на тяжелом, бледном, тоскующем лице. Он стоял к ней лицом, но смотрел мимо, невидящим взором уставился вдаль, за сумеречные равнины.

— А вы туда когда-нибудь ходили?

Она покачала головой.

— А в какой стороне море?

— Не знаю. Я не знаю, как на их языке будет «море».

— Все ручьи бегут на запад, — сказал он тихо. И посмотрел на нее жадно, взволнованно. Он стоял наклонив голову, словно молодой бычок — под выющимися волосами наморщенный напряженный лоб, грубоватое лицо, тревожные глаза. Давным-давно на какой-то книжной обложке

она видела картинку: в крошечном помещении стоит человек с головой быка на плечах. Потом ей порой даже во сне вспоминался этот кошмар — человеческое тело с ужасной тяжелой звериной головой.

— Вы знаете, где мы находимся? — спросил он.

Она ответила:

— Нет.

Помолчав, он сказал:

— Мне скоро нужно уходить. Я боюсь опоздать. В следующие выходные я мог бы прийти на целую ночь — там целых два дня свободных. Если они хотят, чтобы я для них что-то сделал, то я могу попытаться... Я имею в виду ночь — по часам... А вы... вы заметили, что примерно шестьдесят минут по часам здесь равны суткам, я хочу сказать, целому дню и ночи, если...

— Если бы здесь были день и ночь, — закончила она. Было очень странно говорить о подобных вещах с кем-то еще, слышать, как кто-то еще говорит об этом. — А как вы в первый раз нашли проход? — спросила она из чистого любопытства и, уже спросив, поняла, что растратила весь свой гнев, приняла тот факт, что Хью тоже здесь, и дала понять это ему.

— Я... — Он заморгал. В горле у него снова что-то булькнуло. — Я бежал... убегал... от... не знаю. Понимаете, я все время какой-то пришибленный, потому что не занимаюсь тем, чем хочу.

— А чем вы хотите заниматься?

— Ничем. Особенным. — У него получились две совершенно отдельные фразы. — Просто я хотел учиться, а вот не сумел настоять.

— А где вы хотели учиться?

— В библиотечном колледже. Но это вовсе не важно.

— Нет, если всю жизнь об этом мечтаешь, то, конечно, важно. А кем вы работаете?

— Кассиром в бакалейном отделе.

— А-а-а.

— Платят хорошо. Вообще-то работа неплохая, знаете ли. А как вы попали сюда в первый раз?

— Убежала. Тоже.

Но тут слова застряли у нее в горле. Она не могла рассказывать обо всем этом — об изнасилованной Дорис, о кошмаре, который творился дома, обо всем, что случилось так давно, — говорить об этом сейчас не имело ни малейшего смысла. Она сбежала от этого. Она пришла сюда. Здесь

ничего этого не существует. Здесь мир, тишина, ничто не меняется, остается таким же. Здесь никогда не нужно было задавать вопросов — ты просто возвращалась домой. Ему этого не понять, он здесь чужой. Она не могла рассказать ему, что приходит сюда потому, что здесь ее любовь, ее Хозяин. Никто об этом никогда не узнает, никто не сможет понять того, что является средоточием и тайной всей ее жизни, того, о чем она молчит. Несмотря на его возраст, положение, непохожесть на нее и даже его жестокость, несмотря на то, что их разделяло, разносило в разные стороны, все-таки рождалось нечто вроде желаний, не внушавшего страха, вспыхивала порой искра безответной любви, не требующей расплаты, не вызывающей боли. А единственная цена этому — ее молчание.

Она молчала.

Юноша, почти заслонив своей массивной фигурой оконный проем, стоял, отвернувшись от нее, глядя вдаль.

— Мне бы так хотелось остаться, — почти прошептал он.

Потом решительно отвернулся от окна и пошел прощаться с хозяевами. Она задержалась для того только, чтобы перевести его обещание непременно вернуться Лорду Горну, который принял это без единого вопроса. Потом Айрин сразу же ушла из замка. Бредя по дорожке парка к железным воротам, она думала о пути назад, который вскоре ей предстоял. Смотрела на темные отроги гор, далекие серые скалы. Гора над ней хранила тяжелое молчание, словно придавила все звуки свинцовой крышкой, даже те, что всегда здесь присутствовали. Айрин вздрогнула и обхватила себя руками, словно в ознобе, потом двинулась дальше. Зачем вообще возвращаться? Он должен идти назад, но ей-то какое до этого дело. Зачем ей проделывать весь этот длинный путь через темные леса, переступать порог, почему не остаться здесь, в волшебной стране?

Она и раньше, бывало, так уговаривала себя, уютно лежа в своей просторной тихой комнате в гостинице. Почему бы просто не остаться здесь навсегда, никогда не возвращаться назад... Но ей так и не удавалось придумать, что делать здесь, если остаться, как приспособиться к жизни города, который в ней абсолютно не нуждается. Она пришла сюда в поисках помощи и одновременно желая помочь, научилась у местных женщин прясть и чесать шерсть, ходила с ребятишками на Долгий Луг, спускалась с торговцами в город Трех Источников, веселила людей своими ошибками в языке, а потом снова уходила. Это был не ее дом; она

всегда называла это своим домом, но никакого дома у нее вообще не было. Она жила в гостинице и нигде — ни здесь, ни где-либо еще — не обретала родного крова.

Айрин, обхватив себя руками, оцепенело стояла у железных ворот замка.

— Ирена.

Она обернулась и увидела его. Он улыбался ей.

— Пойдем ко мне.

Она молча пошла за ним.

В зале с двумя каминами она остановилась, он тоже остановился и повернулся к ней лицом.

— Позволь мне пойти на север — ради тебя, — сказала она. — Позволь мне пойти в Столицу. Лорд Горн меня не пошлет. Он пошлет того мужчину. Позволь мне пойти ради тебя.

Говоря это, она представляла долгий путь через сумеречные долины, поблескивающие крыши башен, ворота, прекрасные улицы, выложенные серым камнем, ведущие вверх, ко дворцу... Она видела себя гонцом, спешащим по этим улицам. Она еще не верила в такую возможность, но уже представляла это себе.

— Вместе со мной, — сказал Хозяин. — Ты пойдешь вместе со мной.

Она уставилась на него, совершенно растерявшись от неожиданности.

— Тот человек сегодня уходит. Завтра утром встретимся у двора Гайяра.

— Ты можешь... мы можем пойти вдвоем?

Он коротко кивнул. Его лицо было мрачным, печальным, а у нее внутри неудержимо пела радость: «О мой хозяин, любовь моя, вместе!» Но вслух она не произнесла ни слова — как и всегда, молчала об этом.

Сарк сделал несколько шагов.

— Лордом буду я, — сказал он как-то очень тихо, легко и сухо. — Не он и не тот, а я.

Потом обернулся и со странной улыбкой посмотрел на Айрин.

— А ты не боишься? — как всегда чуть насмешливо спросил он.

Она только головой помотала.

Рано утром, позавтракав, она вышла из гостиницы; там, где Южная дорога сливалась с городской улицей, повернула налево, мимо лавки плотника Венно и дома старой Гебы.

Она шла очень быстро, грубые прочные башмаки отбрасывали юбку при ходьбе так, что из-под нее сверкали полосатые чулки. Пальцы судорожно стиснуты в кулаки, губы сжаты. Немоощная улица привела ее к заброшенному двору каменотеса. Там, устроившись между стволом кедра и глыбой грубо обтесанного камня, она стала ждать — вначале беспокойно, потом погрузившись в пассивное оцепенение настолько, что, когда увидела, что он наконец идет, не только не испытала облегчения, но даже и как-то не очень осознала, что уже пора. Чувства ее существовали как бы отдельно от ума и тела. Она смотрела, как он идет — гибкий, худощавый, темноволосый человек со смуглым красивым лицом, — и ей казалось, что она никогда раньше его не видела и совсем не знает. Он двигался торопливо, несколько напряженно и даже не остановился, подойдя ко двору каменотеса. Он и на нее-то не посмотрел. Только и сказал:

— Пошли.

Она догнала его уже на дороге. Он выглядел как обычно, только надел шерстяное пальто и на ремне болтался в ножнах какой-то нож или кинжал вроде тех, что были у торговцев, которые отправлялись вниз, в долину. Но все же что-то в нем переменялось: он был тот же, но она его не узнавала.

Дорога чуть повернула. Теперь город и далекий порог оказались у них за спиной. Потом дорога пошла вниз, к расщелине между двумя крутыми красноватыми склонами.

— Вперед! — сказал он. А она всего лишь нарочно замедлила шаг, чтобы идти с ним рядом.

Она немного прошла вперед.

— Хозяин, — сказала она, оборачиваясь. Он стоял и смотрел на нее с очень странным выражением. Потом сделал несколько шагов вперед, точно по направлению к ней, как бы на ее голос, словно был слепым. Ей стало страшно.

— Подожди здесь, — сказал он каким-то тонким голосом, и она заметила, что у него дрожит подбородок. — Подожди, я... — Он снова остановился. Осмотрелся вокруг. Голова у него тряслась. Он глядел на край расщелины и, мимо Айрин, дальше на дорогу. Потом сделал еще шаг вперед и вдруг с каким-то пронзительным, переходящим в свист воплем попытался повернуть обратно, но колени у него подогнулись, он рухнул на четвереньки и пополз, извиваясь и падая, вверх по дороге. Они не успели отойти от двора каменотеса и сотни метров.

Наверху она догнала его.

— Хозяин, — проговорила она, — пожалуйста, не надо, ведь совсем не страшно... — и попыталась взять его за руку. Но он в панической слепой ярости оттолкнул ее так, что она отлетела на другую сторону дороги, и бросился назад, в город, все еще крича этим тонким свистящим голосом.

Она поднялась на ноги, голова чуточку кружилась, саднила рука, ободранная о камень. Она отряхнула юбку и сколько-то минут постояла, оглушенная. Потом медленно подошла к гранитной глыбе, лежавшей неподалеку, и усеялась на нее, плотно обхватив себя руками и втянув голову в плечи. Ее подташнивало, и хотелось помочиться; в конце концов она присела в канаве под старыми кедрами. Наверху, возле дома Гебы чуть слышно блеяли козы. Она вернулась к камню и стояла, тупо разглядывая следы зубила на его поверхности и рисунок гранита.

Мне не было страшно, сказала она себе, но не была уверена, правда ли это: настолько испугал ее его страх.

Он никогда не простит мне, что я видела его таким, подумала она, и знала, что это правда, и не могла вынести мысли о том, что это так.

Она прошла мимо двора каменотеса, дома Гебы и лавки Венно.

Я могла бы, я смогла бы пройти по этой дороге, если бы не он, сказала она себе мстительно, сердито; но в глубине души знала, что и это неправда. Ни с ним, ни одна — не прошла бы она в Столицу. Все было неправдой, сплошной ложью, бахвальством, глупыми мечтаниями. Никакого выхода не было.

Она провела в Городе На Горе только этот день до конца и переночевала. Теперь ей уже не хотелось оставаться здесь. Все было испорчено и здесь тоже, а по ту сторону вообще полная неустроенность. Надо еще найти где жить. А потом посмотрим; можно, наверно, и сюда вернуться. Да, если ей этого захочется, она вернется сюда. Она никому не слуга. Она будет делать то, что захочет.

Когда Айрин вышла на Южную дорогу, сердце у нее бешено колотилось, но то была всего лишь боязнь чужого страха, ничего более; она уверенно пошла вперед.

Назад она не оглядывалась. *Только не оглядывайся назад, не смотри через плечо.* Это она усвоила давно, еще ребенком — она тогда очень боялась темноты и по загадочному ночному лесопитомнику всегда бежала бегом. Если оглянешься, тут тебе и конец. И на улицах города, когда позади тебя раздаются шаги, а перекресток еще очень далеко, тоже нельзя

оглядываться, нужно идти вперед. Дорога шла вниз очень круто, а густой лес придвинулся со всех сторон; раньше она никогда не замечала, как плотно растут здесь деревья, как тесно сплелись их ветви. Она попыталась было идти совсем бесшумно, но потом решительно эту затею отбросила, потому что вот тут-то и крылся страх. Наконец впереди она услышала журчание воды. Третья Речка, большой ручей у подножия горы. Звук бегущей воды был прекрасен — единственная музыка, существовавшая в ее волшебной стране. Вряд ли там можно было увидеть птицу, да птицы и не пели никогда, никогда не пели и жители Тембреабрезии, даже дети. Слышался лишь шепот ветра или его шум высоко в ветвях деревьев, и только вода пела во весь голос, потому что текла из источников более глубоких, чем страх. Она подошла к ручью на дне оврага, широкому и мелкому, который сверкал и искрился в зарослях ольхи, старой, поросшей мхом, согнувшейся над водой; ручей весело спорил с каждым валуном, преграждавшим ему путь. Айрин перешла на тот берег, встала на колени у кромки воды и напилась. Теперь между нею и Горой бежала вода, и на сердце стало легче.

Она двигалась в привычном полузабытии равномерной ходьбы — тело напряжено, а мозг занят такими долгими рассуждениями, что их было бы трудно воплотить в слова, потому что вряд ли в языке нашлись бы столь длинные слова и выражения, — как вдруг сторожевые центры тихонько приказали ей остановиться, и только когда она застыла как каменное изваяние и прислушалась, мозг ее наконец сформулировал вопрос: «А что случилось?»

Впереди слышался странный шум. То, чего она боялась, осталось далеко позади, а там, впереди!.. там впереди, у поворота метался, будто на привязи, страшный белый бык! В руке она держала палку, свой «дорожный посох» — так она называла его про себя, — и, замахнувшись что было сил, ударила этой палкой прямо по ненавистой башке.

Удар пришелся бы ему прямо в лицо, но, пробираясь сквозь заросли, он поднял в этот момент руку, которая и спасла его. Он остановился, чуть откинув назад голову с открытым ртом и громко дыша. Его глаза показались ей похожими на глаза быка — того, с человеческим телом, в маленькой комнате. Ее рука застыла, сжимая сломанную палку. Она отступила назад, на тропу, потом еще на один шаг, не сводя с него глаз.

Его рот, жадно хватавший воздух, закрылся, потом снова раскрылся.

— Я не могу, — выговорил он, толстый, задыхающийся, и помотал головой. — Не могу выйти отсюда.

Потом он сел, прямо-таки рухнул на заросшую густой травой обочину дороги. И сидел, опустив голову, тяжело уронив руки на колени, в той простой позе, которая выражает полное изнеможение. Теперь и у нее уже подогнулись колени, и она уселась по-турецки чуть поодаль от него, положила сломанную палку рядом и потеряла вывихнутое плечо.

— Ты что, заблудился?

Он кивнул. Его грудь поднималась и опадала.

— Не нашел прохода.

— Ты ведь ушел из города два дня назад.

— Тропа идет дальше, за порог.

— Так ты не сходил с тропы? Просто прошел... прошел по ней за порог?

— Я думал, что где-нибудь она выведет меня из леса.

— Ты с ума сошел! — прошептала она, сердясь и восхищаясь этим упрямым мужеством.

— Это было глупо, — подтвердил он хриплым басом. — В конце концов я повернул назад. Но, похоже, потерял тропу. — Он машинально поглаживал руку в том месте, куда пришелся ее удар. Значит, это его рубашка белела в зарослях, когда она приняла его за быка. Рубашка при ближайшем рассмотрении оказалась не такой уж белой — пропотела и была вся в грязи.

Она открыла кошель, висевший у нее на поясе, и достала хлеб, который дал ей Софир, — сыр она весь съела, когда останавливалась у Третьей Речки, но половина черствого черного хлеба у нее осталась. И она протянула ему кусок через тропинку.

Он взглянул на нее, медленно взял хлеб и стал есть так, как ей никогда не приходилось видеть: держа кусок обеими руками и склоняя к нему голову — словно пил или молился. Очень быстро от хлеба не осталось ни крошки. Только тогда он поднял голову и поблагодарил ее.

— Пошли, — сказала она, и он тут же встал. Внутри у нее что-то дрогнуло и перевернулось от жалости, она физически ощутила чужое страдание, увидев его покорные плечи и бледное, измученное лицо. — Пора идти, — повторила она ласково, как ребенку, и повела его за собой вниз по тропе.

После Средней Речки она спросила, не хочет ли он отдохнуть; он сказал, что опаздывает; они пошли дальше.

Наконец они добрались до последнего спуска, до любимого источника, до порога. Она не стала мешкать, его страх подгонял ее. Она вела его прямо через ручей, через поляну, между высокой сосной и лавровым кустом, через порог.

Наверху, там, где тропу заливали жаркие и яркие лучи солнца, где на востоке замирал за горизонтом звук летящего самолета, а с шоссе несло запахом горелой резины, она остановилась и подождала, пока он догонит ее.

— Все в порядке? — спросила она, слегка торжествуя в душе.

— Угу, — кивнул он. Лицо у него было серое, морщинистое, словно у пятидесятилетнего, на щеках двухдневная щетина, как у последнего лентяя, пьяницы или наркомана, обалдевшего, с трясущимися конечностями.

— Ну, парень, — с жалостью сказала она, — и видок же у тебя!

— Мне надо поесть, — ответил он.

Теперь, раз уж они прошли вместе столь долгий путь, то и дальше продолжали идти рядом.

— Ты каждую неделю приходишь? — спросила она.

— Каждое утро.

Это слегка задело ее.

— И всегда можешь войти? Проход всегда открыт?

Он кивнул.

Чуть погодя она вздохнула:

— А я всегда могу выйти.

Они вышли из леса Пинкуса. Солнечный свет над заброшенными пастбищами был таким ярким, что пришлось остановиться: слепило глаза. Над городом с запада напозала густая пелена смога. Солнце нещадно палило сквозь повисшую над землей дымку, воздух был пропитан удушливым запахом городских испарений. Каждая травинка отбрасывала четкую тень. Вокруг стоял неумолчный звон цикад, то оглушающе резкий, то будто затихающий вдаль. В лесу позади них резким голосом прокричала какая-то птица. Глаза щипало, на лицах выступила испарина.

— Слушай, — сказал он. — Насчет того твоего знака. Ты извини. Но я не мог удержаться.

— Да ладно. Я понимаю.

Она пожала плечами, глядя через поля на далекое шоссе. Машины тянулись по нему длинной металлической цепочкой, сверкающей в солнечных лучах.

— Это мне не принадлежит, — сказала она. — Да я чаще всего уже и попасть туда не могу.

Они двинулись в путь через поля.

— Я прихожу сюда примерно в половине шестого каждое утро, — сказал он.

Она промолчала.

— Но я не успею до работы добраться до того города и вернуться назад... — медленно размышлял он вслух. — В следующий выходной... Там у нас будет День труда*... Так что мы не работаем и в воскресенье, и в понедельник. Вот тогда я смогу. Они... Мне показалось, что они просили меня вернуться.

— Просили.

— Хорошо. Значит, тогда я смог бы прийти и остаться надолго. — Он снова погрузился в молчание, потом вдруг сказал: — Если ты этого хочешь.

Через пятнадцать—двадцать шагов пояснил:

— Ты помогла мне оттуда выйти.

Айрин прокашлялась и сказала:

— Ну ладно. Когда?

— В шесть утра, хорошо? В воскресенье.

— Договорились.

Когда они подошли к обочине грейдера, он свернул направо.

— А у меня машина припаркована вон там, — показала она.

— А, ну ладно. Тогда до свидания.

— Эй!

Он продолжал идти, без конца спотыкаясь.

— Эй, Хью!

Он обернулся.

— Хочешь, подвезу? Ты говорил, что опаздываешь. И вообще, где ты живешь?

— На Кенсингтонских Высотах.

— Ну и прекрасно.

По дороге к автостоянке она сказала:

— Отсюда, должно быть, довольно далеко пешком. Машина-то у тебя есть?

— Да слишком много приходится платить за нашу паршивенькую квартиру, — сказал он с внезапной злобой.

* День труда в США отмечается в первый понедельник сентября.

— Мой отчим мог бы продать тебе машину долларов за пятьдесят.

— Да-а-а?

— Она бы целую неделю ездила.

Он не совсем понял шутку и не отреагировал на нее. Видно, отупел от усталости. В ее машине ему пришлось совершенно скрючиться на переднем сиденье. Он был крупнее всех, кто когда-либо ездил с ней, казалось, вся машина заполнена им одним. От него пахло застарелым потом — специфический запах сильно испуганного зверя. Волосы у него на руках были бронзово-золотого цвета. Ляжки толстые. Она ничего не говорила, лишь только спрашивала, куда ехать дальше. Она высадила его у шестиквартирного дома, который он ей указал, и тут же уехала, с облегчением избавившись и от присутствия этого быка, и от его звериного запаха. Она не сказала ему, где живет сама, хотя мимо фермы они проезжали. А жила ли она там? Нигде она не жила, во всяком случае в данный момент. Она была уверена, что Рик и Патси уже снова помирились, но все равно, черт с ними. Мать не станет возражать, если она немного поживет на ферме, и все обойдется нормально, если не особенно попадаться Виктору на глаза. Может, вообще ничего плохого и не случится. Она бы спала с Триз, может, это его удержит. А вдруг нет? Впрочем, в любом случае больше идти некуда, пока не подыщется новое жилье. Возможно, в центре. Так ли уж нужна она матери? Может, она сама в ней нуждается? Стоит попробовать. Хорошо бы найти человека, который согласится снять квартиру пополам. У светофора она достала из коробки на заднем сиденье будильник — он лежал поверх остальных вещей — и посмотрела на стрелки. Было четверть третьего. Она могла бы пойти домой, свалить куда-нибудь свое барахло, помыться, чего-нибудь поесть, а потом начать поиски квартиры. Может, подвернется и такая, которую она смогла бы оплачивать в одиночку. В воскресных газетах особенно много объявлений насчет квартир, и еще не поздно будет поехать и посмотреть. Может быть, уже сегодня удастся найти что-то подходящее, тогда, если так повезет, вообще не будет необходимости ночевать на ферме.

Глава 5

Э то было так, как если бы он ослеп, а она приблизилась к нему, и зрение его вмиг прояснилось, и он увидел ее. А увидев ее, впервые увидел и этот мир, и смотреть на него другими глазами было теперь невозможно. Теперь каждое действие, каждый предмет обладали собственным смыслом, понимать который, как и понимать язык жизни, научила его она одним своим прикосновением. Вокруг все было по-прежнему, но и в этом теперь таился свой смысл. Яблоки — три штуки за двадцать девять центов — и консервированный пудинг со скидкой — восемьдесят девять центов за первые шесть банок, — ладно, все это так и осталось, но теперь он понимал тайный смысл чисел и слов, структуру речи, красоту мира. Теперь он замечал лица, в которые раньше никогда не всматривался, словно боялся, что красота мира может его испугать. Люди стояли в очереди к его кассе беспокойные, раздраженные, покорные голоду, заставившие покориться ему и своих детей. Смертным необходимо есть, вот они и стояли здесь, в очереди, подталкивая вперед свои проволочные корзинки. Вот так по очереди они доберутся и до собственной смерти. Люди казались такими хрупкими. Они бывали порой язвительными, злобными, когда уставали до полусмерти, а средства не позволяли им приобрести желаемое или даже необходимое; он чувствовал их гнев, но гнев этот не раздражал его больше и не пугал, потому что все теперь соединилось с мыслью о ней и под воздействием этого воспринималось иначе. Личико малыша, которого тащила вдоль прилавка

усталая мать, выражало теперь для него достоинство и терпение, а тяжелая, бессознательно милосердная хватка материнской руки, державшей сына, могла вызвать у него слезы, боль, как от пореза или ожога. Вещи причиняют боль. Раньше его чувства были словно заморожены. А теперь действие наркоза кончилось, душа его ожила, а потому чувствовала боль. Но где-то внутри этой боли, в самом ее корне крылась радость. За каждым словом, которое он произносил или слышал, за всем, что он видел и делал, стояло ее имя, а вокруг ее имени ореолом, светоносным шлемом — неколебимая радость.

Он вглядывался в каждую светловолосую женщину, проходившую по магазину. Ни у одной из них не было таких волос — мягких и светлых-светлых, завивающихся в крутые локоны, как шерстка у овечки, — но все равно он смотрел на них тепло и приветливо, потому что они походили на нее хотя бы уже тем, что были светловолосы. Да здесь и не могло быть женщины, по-настоящему на нее похожей. И ни одна здешняя женщина не говорила на том языке. И только ее голос звучал так чисто и нежно. В последний из тех трех дней, что он провел в Городе На Горе, она была одета в зеленое платье с узким лифом и мягкой широкой юбкой, очень красиво облегавшее ее гибкую девичью фигурку и подчеркивавшее необычайную белизну точеной шейки и тонких запястий. В ней словно отразилась красота всех остальных женщин мира, но ни одна из них нисколько не была на нее похожа. Да этого и быть не могло: там, в той стране, где его душа обретала себя, такая женщина лишь одна.

В книгах он читал, что мужчины порой могли отдать жизнь за прекрасную даму, но всегда считал это просто привычной метафорой, не более. И лишь теперь понял, что это значит на самом деле. Он ощущал в себе страстное, неистребимое желание отдать возлюбленной все до последней капли, все без остатка, отдать все, все... Защищать ее и охранять, служить ей, умереть за нее — сама эта мысль уже была необычайно сладка, радостна; он даже дыхание затаил — сладкая боль пронзила его словно кинжал.

— Ты случайно не вступил в секту этих Свами Маха-Джиджи или как их там, а, Бак?

Он засмеялся.

— У тебя что-то глаза косят совсем как у этих волосатых хари-кришнеров, — сказала Донна.

Она добродушно поддразнивала его, и он не смог долго молчать. Он рассказал ей о чуде, случившемся с ним, все, что было можно.

— Я встретил девушку! — сказал он.

— Я так и знала! — удовлетворенно и с радостью ответила Донна.

Но ей, конечно, хотелось бы знать куда больше, и он пожалел, что сказал даже эту малость. Это было неправильно. Он не имел права говорить здесь о чем-либо, принадлежащем вечерней стране. Для этого не было слов. «Я встретил девушку» — это не совсем правда. Дело в том, что он встретил Принцессу, полюбил ее, готов отдать за нее жизнь. Как может Донна понять это?

Сердце у Донны было доброе, и она, казалось, поняла, что ему неловко оттого, что он проговорился, и перестала его поддразнивать и вообще задавать какие бы то ни было вопросы на эту тему. Но когда она смотрела на него, глаза ее заговорщицки поблескивали. Ему неприятно было это видеть. С Донной у них прекрасные отношения. Она очень милая женщина, но разве может кто-нибудь просто так понять, что произошло с ним? Странная страна, тайна, трагический, неясный страх, светловолосая женщина в опасности, женщина, которую он молча любит, обожает, которой поклоняется в вечной тишине и вечных сумерках лесной страны.

Мир обычного дневного света и приходящих на смену дню ночей всю неделю казался ему странным. Он думал, что нетерпеливое желание поскорее вернуться в Город На Горе сделает ожидание невыносимым, но этого не произошло. Он поистине по каплям пил эти дни, как драгоценную влагу, когда — на работе ли, на улице или дома — лелеял мечты о своей Принцессе и позволял ее имени заполнить весь свой разум, и это было гораздо лучше, чем неуклюже стоять перед ней со связанным языком, не имея возможности хоть что-то сказать и лишь догадываясь, что сказала она.

На той неделе по утрам он к источнику не ходил. Боялся, что проход будет закрыт, и не хотел рисковать. Он сам себе не доверял. Почему тогда он вел себя так глупо, продолжал идти вперед, хотя прохода не было, упорствовал, зная, что путь никуда не ведет? Если бы, увидев, что проход закрыт, он тогда сразу повернул к Городу На Горе и попросил ту темноволосую девушку помочь ему, то избежал бы кошмара бесконечных блужданий, когда он уговаривал себя, что

если будет идти все время прямо, то непременно выйдет из леса, избежал бы паники, охватившей его при мысли, что он потерял тропу, и ужаса, и голода. Вел он себя глупо, нелепо и добился лишь того, что не только ужасно устал и теперь, всю эту неделю, с трудом дотягивал до конца рабочего дня, но еще и перестал верить в себя, в безопасность вечерней страны.

— Как раз этого я и боюсь, — сказал он той девушке, когда они стояли с ней в доме Аллии, в длинной комнате с окнами, из которых лился чистый вечерний свет, но теперь это уже нельзя было считать полной правдой. Он еще очень мало знал о поджидающей его там опасности, но понимал, что знает об этом слишком мало. А опасность там явно была, и он не был уверен, что поведет себя достаточно разумно. Учитывая и это, и ненадежность пути в вечернюю страну, он понимал, что его шансы на возвращение туда и невозвращение примерно равны. Он воспринимал это как некое нормальное равновесие между двумя разными мирами и соглашался с его справедливостью. Здесь-то и крылась для него возможность совершить тот подвиг, которого он так жаждал. Но, находясь пока в обычном мире, с его обычными проблемами, чаще всего, правда, надуманными, уместающимися в рамках одной-единственной жизни, он предпочитал наслаждаться дневным светом.

Он испытывал угрызения совести по отношению к матери, нечто сродни горестной терпимости в сочетании с потенциальной неверностью, которая усиливалась из-за материной неумейной сварливости. Она не прощала ему ничего. Например, в воскресенье он вернулся часа на два позже, чем обещал, и тут же на его голову обрушился целый поток обвинений во вранье. Он мог понять ее раздражение по поводу того, что опоздал, но не понимал, почему его неподдельная усталость, впрочем, довольно неуклюже объясненная тем, что «перепутал в лесу тропинки», вызвала с ее стороны такое негодование и возмущение. «Ты заблудился в лесу? А с какой стати ты там оказался? Если сам за себя отвечать не способен, то просто глупо, глупо и бездарно вести себя столь самонадеянно! Такие, как ты, должны заниматься гимнастикой в закрытом зале. Куда тебе участвовать в каких-то там походах. И что ты, собственно, пытаешься доказать?» — и так далее. И все это говорилось с таким уже неконтролируемым раздражением, что, как ему показалось, главной причиной гнева было не то, что он

вернулся домой в таком состоянии, а то, что он вообще вернулся. Но какая, в сущности, разница.

Потом три или четыре вечера подряд она провела у Дурбины и возвращалась после своих сеансов только около полуночи. В их спиритуалистской группе появилось несколько новичков, а у самой миссис Роджерс определенно обнаружился талант медиума: ей удавалось записывать грезы, не впадая в транс. Благодаря ее дару они теперь постоянно «общались» с одним из прежних воплощений Дурбины — жрицей Исида*. Кофейный столик в доме Роджерсов был завален книгами о Древнем Египте, взятыми у Дурбины или купленными матерью, несмотря на высокую цену, в магазине. Когда «жрица Исида» в своих высказываниях противоречила положениям современной науки или исправляла какое-нибудь ошибочное толкование иероглифа, миссис Роджерс праздновала победу. Иногда, вернувшись домой, она вздохнула рассказывала о том, что произошло во время сеанса; но если Хью пытался вставить слово, тут же спускалась с облаков на землю. «Ну разумеется, тебя подобные вещи не интересуют!» — говорила она, совершенно не слушая, что спросил или ответил сын. Он видел, что мать счастлива в кругу этих людей, которые боготворят и ценят ее и ее необычайный дар, видел, что после сеансов мать расцветает. Но свою радость и счастье она никак не могла принести с собой домой. И новые интересы лишь усиливали ее неприязнь и недоверчивость по отношению к сыну. Хью был просто не в состоянии хоть как-то ей угодить. Стирая, она возмущенно жаловалась на заношенные носки, на то, что у рубашек грязные воротнички, а сами рубашки он все зазеленил травой, что майки не вывернуты на лицо и тому подобное, но если он сам пытался стирать, она снова все перестирывала, потому что он якобы делал это безобразно. Если Хью приносил из магазина что-то купленное на распродаже или просто стоящее, она тут же заявляла, что все это «вчерашняя дрянь», и оставляла продукты тухнуть в холодильнике до тех пор, пока он сам не выбрасывал их в помойку. Когда они оставались дома вдвоем, он постоянно чувствовал, что мешает ей, однако она и не собиралась освобождать его от обязанности бывать дома, когда она возвращается вечером. Но если она половину

* Исида — в египетской мифологии богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, покровительница мореплавателей.

вечеров в неделю проводит вне дома, если ей неприятно его присутствие, на котором она тем не менее настаивает, то как они будут сосуществовать потом, когда он вернется?.. Впрочем, он в любом случае намеревался осуществить свое путешествие в вечернюю страну, и в сравнении с этим все притязания матери и ее упрямое, неприязненное молчание ничего не значили. Ее грубость и нетерпимость по-прежнему задевали его, но уже не так глубоко; мысли Хью словно выбрались из накатанной колеи. Он и удара ножом, пожалуй, не почувствовал бы, когда бродил, погруженный в мысли об Аллии.

Это все жара, говорил он себе, все просто с ума посходили от этой жары.

Долгие дни этой недели он прожил почти в полном молчании. Ночами он спал не крепко, короткие сны перемежались бесконечными пробуждениями, и не единожды за ночь, когда еще далеко было до рассвета, он вставал и стоял у окна, глядя на звезды или на первые торжественные проблески зари.

В пятницу Донна, у которой в субботу был выходной, спросила его, что он собирается делать на праздники, и он с готовностью ответил: «Поеду автостопом с одной компашкой». Донна одарила Хью тем скольльзящим мимолетным взглядом, который словно намекал, что, полюбив женщину, он тем самым заслужил одобрение всей женской части человечества, которую она, Донна, здесь представляла. Вот только было ли это одобрением? Когда чуть погодя она глянула ему прямо в глаза, выражение ее лица изменилось. Она положила руку ему на плечо.

— Смотри, чтобы с тобой ничего не случилось, Бак, — сказала она.

— А что со мной может случиться в такой поездке?

— Не знаю! — сказала она так, словно удивлялась самой себе, и постаралась скрыть свое удивление смешком.

Но ее взгляд, и сами слова, и прикосновение ее полной, сильной руки с покрытыми красным лаком ногтями показались ему — а он сейчас так в этом нуждался! — чем-то вроде залога безопасности, заверения в том, что существует по крайней мере один человек, которому он небезразличен, пусть даже от этого никакого реального проку и нет, но она каким-то шестым чувством угадала, что он может оказаться в опасности или в беде.

Если бы дар его матери-спиритуалистки позволил ей заметить в сыне такое, она бы тут же поставила это ему в

вину как свидетельство неверности и никогда бы его не простила.

В пятницу вечером он сказал ей, что собирается уехать на все воскресенье с ночевкой. Целую неделю он старался это выговорить. И сейчас, заикаясь, бормотал давно обдуманную чушь про то, как поедет с компанией автостопом в национальный парк, расположенный к северу от их города. Они уедут рано утром в воскресенье, проведут там весь день и всю ночь, а после обеда в понедельник вернутся. Она ничего не сказала. Все время, пока он говорил, она не отрывала глаз от телевизионного экрана, он даже не был уверен, что она его слышала. Несмотря на растущее чувство собственной вины, мешавшее ему нормально дышать, он сказал все до конца и умолк, не задавал больше никаких вопросов, не смел даже спросить, разрешает ли она ему поехать, одобряет ли его поездку, — а он так нуждался в ее одобрении, нуждался всегда, но никогда его не получал... Он даже и рассердиться на нее не посмел, и через некоторое время, когда окончилась ее любимая программа и она встала и выключила телевизор, он лишь спросил, стараясь говорить самым нормальным тоном, как прошел у нее вчерашний сеанс. Она не ответила. Взяла книгу об Аменхоте IV и молча, на него и не взглянув, погрузилась в чтение. Он попытался убедить себя, что ее молчание перенести гораздо легче, чем бесконечные попреки, но, сидя с ней вот так в одной комнате и тщетно пытаясь читать «Тайм», вдруг почувствовал, что его всего трясет, словно в ознобе. Он встал и ушел к себе. На его «спокойной ночи» она не ответила.

Обычно по утрам в субботу она вставала чуть позже, но на этот раз поднялась и уехала еще до того, как Хью проснулся. Он пошел на работу как обычно. День выдался тяжелый — предстояло два дня праздников. Когда он вернулся домой, матери еще не было. Он поужинал в одиночестве. В половине одиннадцатого она наконец явилась и показалась ему какой-то ужасно худой, мрачной и взъерошенной в своем платице из набивного ситца. На его приветствие она не ответила, а прямо из холла прошла в свою комнату.

— Мама, — сказал он, и, видно, было в его голосе что-то такое, что заставило ее остановиться, но она так и не обернулась. Молчание встало меж ними тяжелой, плотной стеной.

— Не имеет смысла так меня называть, — сказала она отчетливо и сухо, прошла к себе и захлопнула дверь.

А кого же мне так называть? — подумал он, застыв на месте. Ему казалось, что у него вдруг что-то отняли, вырвали прямо из живого тела; он обхватил себя руками, пытаясь защититься. Нет такого человека, которого имело бы смысл называть отцом, а теперь и такого, кого имело бы смысл называть матерью... Что за чудо, выходит, я родился без родителей? Да, смысла в этом никакого, тут она права. Ну а то, другое, вечерняя страна? Этот город, Аллия? Все это тоже чепуха. Детские выдумки. Но я-то не ребенок. У детей есть отец и мать. А я не ребенок, и у меня их нет. У меня ничего нет, и сам я никто. Он стоял там, в гостиной, постепенно осознавая, что в этом-то и заключается правда. Именно в этот миг он вспомнил — чисто физически, телом, а не умом — прикосновение руки Донны к своему плечу, цвет лака на ее ногтях, звук голоса: «Смотри, чтобы с тобой ничего не случилось, Бак». И тогда он отвернулся от двери, ведущей в материну комнату, пошел обратно в кухню, а потом в свою комнату и приготовил все, что ему понадобится завтра утром: одежду и пакет с хлебом, салями и фруктами в расчете на долгий путь к той Горе.

Он проснулся в три, потом в четыре. Он бы, пожалуй, встал, но не имело смысла выходить из дому так рано — девушка будет ждать его у порога в шесть. Он повернулся на другой бок и снова попытался заснуть. Предрассветные сумерки заполнили комнату, в их неясном свете предметы не отбрасывали теней, как и в вечерней стране. В изголовье тикал будильник. Он посмотрел на собственные руки, смутно белевшие в неясном свете. Там, в той стране, часов не было. Там не было и времени. Не река времени сдвигает с места стрелки часов, а простой механизм, и, видя, как двигаются стрелки часов, люди говорят: «Время проходит, проходит время...» — но часы, изготовленные их же руками, лгут. Это мы проходим сквозь время, думал Хью. Идем пешком, движемся вдоль ручьев, рек, иногда можем даже перейти их вброд... Так, в полудреме он пролежал до пяти. Когда пискнул выключенный будильник, он встал и ногами почувствовал холод пола. За две минуты Хью оделся и вышел из дому.

Порога он достиг, когда не было еще и шести. Девушка уже ждала.

Он так и не знал точно, как же ее на самом деле зовут. Когда люди вечерней страны произносили ее имя, оно звучало не то «Райна», не то «Дана»; она поправила его, когда он сказал «Райна», но он не понял, что сказала она сама. «Эта девушка» — так он называл ее про себя, и эти слова уже напоминали тьму, гнев, звуки бегущей воды в ручье. И вот она стояла там, у зарослей ежевики в голубоватом, пыльном, теплом свете раннего утра, под негустой листвой деревьев, на тропе, ведущей к проходу. Заслышав его шаги, она подняла голову. Ее бледное лицо несколько не смягчилось, но она протянула к нему руку ладошкой вверх: ладошка вся была в лиловато-красных пятнах, на ней лежали ягоды ежевики. «Они почти спели», — сказала она и высыпала ягоды ему в ладонь. Ягоды были некрупные и сладкие, пропитанные долгой августовской жарой.

— Ты пробовала пройти? — спросил он.

Она сорвала еще несколько ягод и, протянув их ему, пошла за ним по тропинке.

— Проход был закрыт, — сказала она и немного прошла вперед и увидела, как тропа, будто в туннель, уходит в заросли. — А теперь открыт!

— Открой же снова, Финнеган, сюда ведет мой путь*, — сказал Хью, следуя за ней. Но на пороге, на границе двух миров, на минуту остановился и оглянулся — он никогда этого раньше не делал — на оставшийся позади дневной свет: пыльная листва, между листьями промытая солнцем голубизна, крохотная коричневая птаха перепархивает с ветки на ветку... Потом повернулся и пошел следом за девушкой — в сумерки.

Опустившись на колени, чтобы совершить обычный ритуал первого глотка из источника, он увидел, что девушка уже проделала то же самое. Она стояла на коленях на плоской скале и глядела вниз, на бегущую воду, и поза ее уже не выражала ничего молитвенного или ритуального, но по тому, как застыло ее тело, он понял, что эта вода была для нее, как и для него самого, священной. Будто очнувшись, она огляделась и встала. Они перешли на другой берег ручья и пошли дальше, в глубь вечерней страны, пошли вместе. Она шла впереди и молчала. С тех пор как они перестали слышать звук бегущей воды, лес вокруг погру-

* Не очень точная цитата из романа Джеймса Джойса «Поминки по Финнегану» (1939).

зился в полную тишину, листья застыли — ни малейшего ветерка.

После беспокойной, полной пробуждений ночи голова у Хью была тяжелой, и он с удовольствием шел через лес в полном молчании, бездумно следуя за уверенно прокладывающей путь девушкой. В мыслях и чувствах царила неразбериха. Он просто шел и снова почувствовал, что мог бы идти вот так до бесконечности, ощущая на лице лесную прохладу, легко продвигаясь все дальше и дальше под недвижными ветвями деревьев. Он без страха предался своему теперешнему состоянию. Когда в тот раз, сбившись с пути, Хью прошел мимо порога, его больше всего ужасала мысль, что он так и будет идти и идти вперед под деревьями, окруженный сумеречным светом, и этому никогда не наступит конец; но теперь, точно следуя заданному маршруту, находясь на правильном пути, он чувствовал себя абсолютно спокойным. А в конце этого долгого пути он видел Аллию — словно звезду.

Девушка остановилась на тропе и ждала его — невысокая, крепкая фигурка, джинсы, рубашка в голубую клеточку, круглое мрачноватое лицо.

— Я проголодалась, не хочешь остановиться и перекусить?

— А что, уже пора? — спросил он, словно очнувшись.

— Мы дошли уже почти до Третьей Речки.

— Ладно.

— Ты что-нибудь с собой захватил?

Он все никак не мог собраться с мыслями. Только когда она выбрала место для привала недалеко от тропы, на берегу маленького речного притока, он понял ее последний вопрос и предложил ей хлеб и салями. Она вытащила черствые булочки, сыр, крутые яйца и мешочек с маленькими помидорами, которые довольно-таки здорово помялись за дорогу, но все же своим ярким, чистым красным цветом радовали глаз в этом мрачноватом месте, где все остальные цвета были как бы приглушены, где ни разу не встретилось ни одного цветка. Он положил свои припасы рядом с ее: потом взял ее помидор, а она взяла ломтик его салями; после этого они уже не обращали внимания, кто чью еду ест. Он съел гораздо больше, чем она, обнаружив, что ужасно голоден, но, поскольку он ел быстрее, насытились они примерно одновременно.

— А у этого города есть название? — спросил он, сбросив наконец остатки сна и почему-то чувствуя себя теперь

значительно более отдохнувшим, и устался на последний кусочек хлеба с салями.

Она произнесла два слова или одно длинное на языке вечерней страны.

— По-английски это просто «Город На Горе». Так я его называю, когда думаю о нем.

— Да, я, пожалуй, тоже. А что ты... Ты однажды назвала как-то это место, как-то по-другому. Всю страну. — Он повел рукой с бутербродом, как бы желая охватить все — деревья кругом, сумрачные горы, реки позади и впереди них.

— Я называю это «волшебным краем», — она сверкнула на него глазами недоверчиво, как на чужака.

— Это они так говорят?

— Нет. — Теперь она говорила совсем неохотно. — Это из одной песни.

— Из какой?

— Однажды к нам в школу на вечер пригласили исполнителя народных песен, который эту песенку пел, и она почему-то застряла у меня в голове. Я и половины слов не понимала — она не то на шотландском, не то на каком-то еще. Я, например, не очень-то поняла тогда, что значит «родимый». Решила, что это вроде как «свой» или «милый». — Голос ее звучал обиженно, даже сердито.

— Спой. — Хью попросил об этом почти шепотом.

— Я и половины слов не знаю, — сказала она и потом, не глядя на него и опустив голову, запела:

*Бутон цветка, на дереве лист —
Родимый кров меня хранит.
Но все же жаворонка песнь
В волшебный край манит...*

Ее голос напоминал голос не то ребенка, не то какой-то птицы: резковатый, но чистый и нежный. Этот голос и прихотливая мелодия так подействовали на Хью, что у него на голове зашевелились от волнения волосы, а глаза девушки вдруг слились в одно пятно, и пробрала дрожь — не поймешь, от ужаса или от восторга. Девушка глянула на него снизу вверх, посерьезнела, глаза ее потемнели. Он невольно протянул к ней руку, чтобы прекратить это странное пение, и все же не хотел, чтобы она умолкала. Никогда он не слышал такой прелестной песни.

— Нельзя! Здесь вообще нельзя петь! — сказала она шепотом, посмотрела вокруг, потом снова на него. — Я рань-

ше никогда здесь не пела. Мне это даже в голову не приходило. Обычно я танцевала. Но не пела, никогда, я знала...

— Все в порядке, — рассеянно произнес Хью эти ничего не значащие слова. — Все будет хорошо.

Оба сидели неподвижно, прислушиваясь к слабому журчанию ручья в необъятной лесной тишине, прислушиваясь так, будто ждали ответа.

— Извини, это было глупо, — прошептала она наконец.

— Да что ты, все в порядке. А теперь нам, наверно, пора идти.

Она кивнула.

Пока они складывали свои пожитки, он съел еще один помидор на дорожку. Она снова пошла впереди, что казалось вполне справедливым, потому что она знала дорогу гораздо лучше, чем он. Он следовал за ней по той тропе, которая шла *вдоль оси* и которую она называла «Южной дорогой». За ними и впереди них, справа от них и слева все было тихо, и глубокий чистый вечерний свет оставался прежним.

Когда они перешли последний из трех больших ручьев и впервые начали подниматься круто в гору, он обнаружил, что непроизвольно вырывается вперед, вместо того чтобы, как и прежде, держаться на некотором расстоянии позади. Если сначала она шла очень быстро, то теперь то ли замедлила ход, то ли споткнулась.

У начала очередного подъема, где сквозь заросли тонких и бледных березок над ними и впереди нависала громада Горы, она остановилась. В два прыжка догнав ее, Хью сказал:

— Я бы не отказался от респиратора.

Подъем был крутой, и он подумал, что она, должно быть, устала, но не хочет этого показывать.

Она обернулась к нему — лицо совершенно замученное, какое-то опустошенное.

— А у тебя нет *такого* ощущения? — едва расслышал он ее голос.

— Какого *такого*?

Сердце у него екнуло и заколотилось так, что стало трудно дышать.

Она потрясла головой. Сделала легкий торопливый жест в направлении темной горной стены.

— Там впереди что-то такое есть?..

— Да, — произнесла она на вдохе.

— Мешает пройти?

— *Не знаю.* — Когда она говорила, зубы у нее стучали. Она как-то съежилась, согнулась, будто старуха.

Хью громко сказал:

— Слушай, я хочу поскорее попасть в город. — Он сердился не на девушку, а на ее страх. — Дай я пойду первым.

— Мы не можем идти дальше.

— Я должен идти дальше.

Она в отчаянии помотала головой.

Твердо решив воспротивиться ее беспричинной панике, Хью мягко положил руку ей на плечо и начал говорить:

— Мы можем...

Но она вывернулась из-под его руки так резко, будто это была не рука, а раскаленное железо; ее замученное лицо потемнело от гнева, когда она громко произнесла:

— Никогда не прикасайся ко мне!

— Хорошо, — сказал он, испытав даже некоторое удовлетворение. — Больше не буду. Успокойся. Нам надо идти дальше. Они нас ждут. Я сказал, что приду. Пошли!

И пошел вперед. Он из принципа не оглядывался и не видел, идет ли девушка сзади, но во время длительного спуска постоянно прислушивался к малейшему шороху, чтобы удостовериться, что она там. Когда тропа снова пошла вверх, он обернулся. Он знал, что значит испытывать страх в этих местах. Она шла за ним по пятам, не отступая и не сворачивая с тропы. Ее лицо все сжалось и напряглось, как пальцы в кулаке, и пряталось под густой шапкой волос. В вершинах деревьев ветер вздохнул так, словно принес звуки дальнего моря, лежащего где-то на западе, слева от оси, там, где сгущается тьма. А они шли, будто по границе между ночью и днем, по бесконечно длинной тропе. Тропа бежала все дальше и дальше, и если бы девушка не шла за ним по пятам, он бы, наверно, остановился. Склону горы не было видно конца, и он начинал уставать. Ни разу в жизни он не чувствовал себя таким усталым; во всем теле слабость, лень, которая могла бы показаться даже приятной, если бы можно было присесть и немного отдохнуть, прилечь, просто остановиться и отдохнуть... Идти все вверх и вверх тяжело, то ли дело спускаться вниз...

— Хью!

Он обернулся и в изумлении огляделся, пока не увидел ее. Она была не позади, а над ним, на склоне Горы; стояла среди темных елей. Здесь было почти темно, небо закрывали сплетающиеся ветви и нависающие скалы.

— Сюда, — прошептала она.

Наконец он понял, что она стоит на тропе, а он где-то в лесу сбился с пути. Крутой подъем к тому месту, где она стояла, дался ему нелегко.

— Я что-то начинаю уставать, — сказал он дрогнувшим голосом.

— Я знаю, — прошептала она. У нее был такой вид, будто она плакала, лицо опухло и покраснело. — Держись тропы.

— Ладно. Пошли.

В конце подъема под темными елями путь стал ровнее, но идти легче не стало, потому что на них навалилась еще большая, просто невероятная усталость, невыносимая тяжесть, непреодолимое желание лечь и больше не вставать. Теперь она шла рядом с ним — тропа была здесь достаточно широкой, похожей на настоящую дорогу. Где же она стала такой? Девушка подгоняла его, а он все пытался идти помедленней. Несправедливо! Ведь он же ее не подгонял, когда сама она не могла идти дальше.

— Вон там, смотри!..

Вдали, в холодном вечернем воздухе светились огоньки: костры, свет в окнах. Страх и усталость теперь казались лишь теньями, которые в приветном свете желтых огней они отбрасывали на дорогу.

Они вошли в город. Здесь, у первых домов, они остановились.

Девушка рядом с ним заносчиво вздернула вверх измученное, опухшее лицо.

— Я иду в гостиницу, — сказала она.

Он пытался стряхнуть оцепенение. Теперь, наконец добравшись туда, куда стремился всей душой, он вдруг показался себе громоздким, неловким, неуместным. У него не хватало смелости предстать прямо перед хозяевами того большого дома, и не было понятно, куда еще можно пойти.

— Я, наверно, тоже, — сказал он.

— Тебя ждут в замке.

— Где?

— В замке. Разве не там живет Лорд Горн? Это его дом. Там, где ты был в прошлый раз.

Она говорила резким насмешливым тоном. Почему она снова так настроена против него после всего этого тяжелого пути, что они прошли вместе? На нее нельзя положиться, нельзя ей доверять. Ей нравится смотреть, как он выглядит дураком? Что ж, такая возможность ей представится еще не раз.

— Пока, — сказал он и свернул в первый же переулок, который вел вверх по склону горы.

— Сворачивать нужно не здесь, а через улицу. Там, где ступеньки, — сказала девушка и пошла по направлению к гостинице, напоминавшей старинный галеон, украшенный мачтами и фигурной резьбой.

Он пошел за ней, миновал гостиницу, повернул налево и стал подниматься по улице, больше похожей на длинную лестницу. В воздухе пахло дымом, как это бывает осенью; прозвенел голос ребенка, зовущего кого-то вниз, там, где город переходил в бледные луга и пастбища. Наверху, у самого последнего дома на этой улице он услышал странный шум: за низкой оградой загона шипели гуси. Хью понял это только тогда, когда совсем рядом увидел громадных белошеих птиц. Здесь, в этом городе, были птицы и домашние животные, звучали голоса людей, но никто не пел. Гуси шипели и хлопали крыльями. Хотя он и добрался наконец туда, куда страстно желал попасть, но чувствовал себя усталым и продрогшим, причем холод шел не снаружи, не был вызван ветром или ненастьем; он поднимался откуда-то изнутри, из самых его костей, упорный, изнурительный озноб.

Он прошел в железные ворота и по дорожке между лужайками приблизился к большому дому, островерхие крыши которого темнели на фоне вечернего неба, два окна отбрасывали на дорожку пятна света. Взялся за кольцо в виде бараньей головы с изогнутыми рогами и постучал.

Старый слуга открыл дверь, и Хью услышал собственное имя, произнесенное на здешний лад и звучащее по-иностранным, все в одно слово, но тепло и приветливо. Старик торопливо бежал перед ним по неосвещенным галереям и, открыв дверь в зал с кремовыми стенами, где в камине горел огонь, выкликнул то же самое, отчасти уже знакомое, удивительное имя: «Хьюраджа!»

В этой просторной, светлой комнате сидела Аллия. Она встала, уронив на пол какую-то свою работу, и пошла к нему навстречу, протягивая руки. Ее светлые волосы на этот раз были подняты в прическе наверх и набок. Никогда не знаешь, где и когда на твоём жизненном пути придет к тебе Красота. Он взял ее руки в свои. Он вполне мог в этот миг упасть к ее ногам. Он не знал ее языка, но по голосу ее догадался о том, что она сказала: «Здравствуй, здравствуй, здравствуй же! Наконец-то ты вернулся!»

Он сказал:

— Аллия!

Она снова улыбнулась и о чем-то его спросила. В ее глазах и голосе была такая нежная тревога, что он пожаловался:

— Трудно было идти. И страшно. Я устал... — но, заметив ее жест, понял, что она всего лишь предлагает ему присесть с дороги, что он и сделал с благодарностью. Но тут ему пришлось снова встать, потому что вошел, сердечно приветствуя его, Лорд Горн, в тоне которого Хью почудилось что-то новое, он даже не сразу понял что: какое-то уважение. Этот старик, которого называют «Лорд», явно привыкший, чтобы все его почитали, выказывал по отношению к нему не только благосклонность, не просто выделял его из других, но как бы ставил на одну ступеньку с собой: словно они были из одной семьи, словно Горн разговаривал с таким его «я», о существовании которого сам Хью и не подозревал, а он, Горн, знал и ценил это его качество.

Дружелюбие Аллии, застенчивое и слегка манерное, было значительно менее серьезным. То, что они с Хью могли сказать друг другу, напоминало скорее урок иностранного языка, проведенный в спешке. Она радостно изображала жестами, знаками и гримасками то, что было ей понятно, смеялась и над своим непониманием, и над его ошибками. Но и в ней он тоже почувствовал к себе некое особое отношение, которое ему не хотелось бы называть «уважением», но и любовью он тоже не осмеливался его назвать; самое большее, что он пока мог предположить, это то, что она, похоже, к нему равнодушна, восхищается им — но почему? Что он такого сделал? Ничего. Как могла она ценить его столь высоко просто так? Не за что его ценить. И все же в ее мягком искреннем взгляде и голосе, и даже в ее смехе, когда он делал ошибки в языке, чувствовался какой-то подтекст, какая-то глубоко запрятанная причина для восхищения. Такого, какое он сам испытывал по отношению к ней, — но ведь она-то того стоила! Все, что она делала, все в ней было восхитительно и прекрасно. И уж если восхищалась им, то разве по добросердечию, как бы в виде благожелательного аванса. В нем решительно нечем восхищаться. Но он готов был на что угодно, лишь бы на деле заслужить это, незаслуженное пока, восхищение, лишь бы стать тем, за кого она, видимо по ошибке, его принимала.

Они обедали в длинной комнате при свечах. Хью настолько устал, что трапеза прошла для него словно в теплом

и светлом тумане. Оставшись в своей комнате, он почувствовал, что пьян от усталости. В этой комнате он провел и первые три ночи, и она сразу показалась удивительно знакомой: блекло-голубые стены с почти стершимся золотым рисунком, дубовое ложе, украшенная бронзой каминная решетка — все это было так приятно узнавать, словно когда-то хорошо известное. Странно, но эта комната напоминала ему мансарду в их первом доме, где они жили все вместе, с отцом и матерью. Его кровать тогда стояла у окна, откуда были видны темно-зеленые поля и голубые холмы Джорджии. Это была другая страна, да и времени с тех пор прошло много. Здесь на высоких окнах портьеры. В камине горит огонь — яркий и почти бесшумный. Кровать высокая и жесткая, простыни холодные, плотные, шелковистые на ощупь. Он лег в эту постель, а золотой огонек камина все просвечивал сквозь полуприкрытые веки, и Хью сразу заснул без сновидений, провалился в сон, безбрежный, теплый, темный. И когда он предался его убаюкивающей темноте, все тревожные мысли, яркие цвета, импульсы воли погасли, унеслись прочь; лишь на мгновение он услышал как бы поверх всепоглощающей тьмы сна тоненький голосок, похожий на голос птицы:

Бутоны цветка, на дереве лист...

Он повернулся на бок и спрятал лицо в ладонях, прогоняя от себя эту песню туда, откуда она прилетела. Здесь ей не место, здесь цветы не дают бутонов, здесь не падают на землю листья, здесь не поет ни один голос. Но здесь Аллия, которая протянула к нему свои руки. И он радостно пошел ей навстречу — во тьму сна.

«П

очему я вернулась?» Этот вопрос звучал в ее мозгу упорно, беспокойно, словно плач ребен-

ка. Она сердито набросилась на своего незримого собеседника: потому что я должна была вернуться! А теперь она должна и дальше делать то, что необходимо. Она поднялась по улице, состоявшей из множества ступенек, на самый верх, и Фимол впустила ее, и она ждала в прекрасной комнате с двумя каминами настолько напряженно и чутко, что все вокруг представлялось ей какой-то удивительной и яркой мешаниной из вдруг оживших образов, звуков, мыслей, не дававшей сосредоточиться.

Хозяин вошел в комнату. Не такой — сгорбленный, сжавшийся от ужаса, что-то бормочущий, ослепший от страха, — каким она видела его в последний раз. От этого и следа в его облике не осталось. Прямой, подвижный, спокойный и мрачноватый: Хозяин. «Здравствуй, Ирена», — сказал он, и, как всегда, язык отказался повиноваться ей, а сама она не в силах была противиться власти Хозяина и с облегчением приняла ее. Он — мой Хозяин!

Но по другую сторону этого неловкого и страстного самопожертвования, словно за стеклянной стеной, стояла некая холодная часть ее души и наблюдала за ним и за ней самой. Эта часть ее души не служила никому и никого не судила. Она наблюдала. Она с удивлением наблюдала, как Айрин выбрала один из неудобных парчовых стульев и уселась на нем. Она наблюдала, как мужчина прошелся по

комнате, и видела, что он рад наконец повернуться к девушке спиной.

Огонь в каминах не горел. Воздух в комнате был спокойный, странно неподвижный, как внутри морской раковины.

— Скоро нам придется резать наших овец, — сказал Хозяин. — На нижних восточных пастбищах совсем не осталось травы.

Нижние пастбища были ближе всего к городу, обычно их использовали только тогда, когда появлялись ягнята.

— Торговцы солью так и не пришли, мы не сможем заготовить много мяса впрок. И будет большой пир, пир страха...

Жители Тембреабрези держали овец не для мяса, а для шерсти; их богатством была тонкая теплая шерсть, которую они красили, пряли и ткали, а потом продавали торговцам из долины, чтобы купить все необходимое. Айрин часто слышала, как они хвастались: «У самого Короля плащ из нашей шерсти».

— И ничего нельзя сделать? — спросила она в ужасе от того, что они пустят на мясо свою гордость и богатство — целые стада пушистых, красивых, озорных и терпеливых животных. Она много раз бывала с пастухами на верхних пастбищах, она носила на руках новорожденных ягнят.

— Ничего, — сказал он сухо, не оборачиваясь и продолжая стоять спиной к ней у окна и глядеть на сбегающие по террасам сады собственной усадьбы.

Айрин прикусила губу, почувствовав, что вопрос ее задел самое больное место, приоткрыв то, чего он больше всего стыдился. Она уже однажды видела собственными глазами, что он ничего поделать не может.

— Есть вещи, которые мы могли бы сделать заранее. Животные первыми почуяли. Нам следовало обратить на них внимание. Вниз спускались целые стада диких коз, наши овцы не желали подниматься на Верхний Перевал, и все это мы видели. Мы знали о беде и все же ничего не предприняли. Не один я говорил, что можно и нужно что-то делать, пока не поздно. Были даже такие, кто заговорил об этом гораздо раньше меня. О том, что мы должны уплатить выкуп и заключить сделку. Но старухи заголосили, ах нет, нет, не надо, это отвратительно, бессмысленно. Все старухи в один голос — и Лорд Горн среди них...

Теперь он повернулся к ней, но стоял спиной к окну, и она не могла рассмотреть выражение его лица. Голос Хозяина звучал безжизненно и сухо:

— Вот мы и согласились с тем, что советовали трусы. И все тоже стали трусами. Беспомощными трусами. И вместо одного жертвенного агнца придется пожертвовать всеми стадами. И не сыну нашего народа, а этому мальчишке, этому щенку, который даже языка нашего не знает, именно ему предстоит освободить нас! Лорд Горн был мудрым человеком когда-то! — но то было давно. Ах, если бы я сразу, как только мне пришла в голову эта мысль, пошел в Столицу! Но я выжидал, послушный его воле...

Она ничего не поняла из его последних слов, да и вообще из всей этой речи, но его гневный, обвиняющий тон вывел ее из привычной застенчивости. Она, ни минуты не колеблясь, спросила:

— Что вы хотите этим сказать? Как это чужак может освободить вас? — И, когда он не ответил, продолжала настаивать: — И что же, собственно, такого он должен сделать?

— Подняться на Гору.

— И что сделать?

— То, зачем он сюда пришел. Так говорит Лорд Горн.

— Но он не знает, зачем он здесь. Он думает, что это знаете вы. Он ничего не понимает. Даже я чувствовала страх по пути сюда, а он нет.

— Герой не подвластен страху, — сказал Хозяин насмешливо.

Он подошел к ней чуть ближе.

— А чего или кого мы боимся? — медленно выговорила она, потому что в данный момент он сам казался ей страшным. — Вы должны сказать мне, что это такое.

— Я не могу сказать тебе, Иренаджа.

Его суровое лицо потемнело, глаза горели. Он улыбнулся.

— Видишь эту картину? — спросил он, и она глянула туда, куда он показывал — на портрет хмурого мужчины. — Это мой прадед. Он был Хозяином Тембреабрези, как и я. Вот тогда-то и пришел этот страх. Он не стал слушать причитаний старух, а вышел из города и поднялся в горы, чтобы заключить сделку, — и заключил ее ценой собственной руки. Но дело было сделано, и все дороги стали опять свободны. В полном одиночестве он вернулся в город, и рука его была такой, как ты видишь. Считается, что ее ему чем-то сожгли. Но мой дед, который был тогда ребенком, рассказывал, что на ощупь она была холодной, холодной, как мертвое дерево зимой. Зато выкуп он заплатил за всех.

— Какой выкуп? — требовательно воскликнула Айрин, охваченная волнением и внезапным страхом. — Что он такое держал в своей руке, чего ею коснулся?

— Того, кого любил.

— Не понимаю.

— Ты никогда не понимала. Да и кто ты такая, чтобы понимать нас?

— Я вас любила, — сказала она.

— А ты бы сделала, как он? Во имя любви к нам ты пошла бы к плоскому камню? Стала бы там ждать?

— Я бы сделала все, что в моих силах. Скажите же, что надо делать!

Теперь его глаза жгли. Он подошел к ней так близко, что она почувствовала исходящий от его лица жар.

— Иди с ним, — сказал он шепотом. — С чужаком. Горн пошлет его. Иди с ним. Отведи его к Верхнему Перевалу, туда — к плоскому камню. Дорогу ты знаешь. Ты можешь пойти с ним.

— А потом?

— Пусть он заключит сделку.

— С кем? Какую сделку?

— Я не могу сказать тебе, — произнес он, и его темное лицо вспыхнуло и исказилось. — Я не знаю. Ты говоришь, что любила нас. Если ты любила меня, пойди с ним.

Говорить она не могла, только кивнула.

— Ты спасешь нас, Ирена, — прошептал он и склонился к ней, словно желая поцеловать, однако прикосновение его губ было сухим, легким, горячим, не прикосновение — дыхание.

— Пустите меня, — сказала она.

Он отшатнулся.

Она не могла говорить, не хотела смотреть на него. Повернулась и бросилась через всю комнату к дверям.

Он за ней не последовал.

Она не вернулась в гостиницу и к Триджэнт не зашла. Она в одиночестве спустилась вниз по крутым улочкам и вышла из города с восточной стороны, миновав лавку Венно и дом Гебы. У двора каменотеса она присела на гранитную глыбу и прислонилась к стене; ломала мелкие изящные шишки местного кедра и думала; но это скорее напоминало не плавное течение мыслей, а какой-то поток тоски, в котором она должна была плыть до конца, подобно музыкан-

ту, которому обязательно нужно доиграть пьесу. Часто взор ее обращался к дороге, ведущей на север, в Столицу, той самой, по которой она пойти не могла.

На следующий день ее вызвали в замок. Она надела свое красное платье и первые попавшиеся чулки. Пализо попыталась было предложить ей новую пару и свои башмачки из тонкой кожи, «чтобы в доме Лорда выглядеть как подобает», но Айрин отказалась и вышла из дому в чем была, мрачная, с тяжелым сердцем, ощущая все то же тоскливое оупение, под которым, словно в холодных глубинах морских, тяжело лежал страх — подобно тому как за теплыми прибрежными водами таятся неведомые бездонные пропасти.

Она ни разу не посмотрела на вершину горы, пока шла от чугунных ворот к замку.

Как и в прошлый раз, старый слуга проводил ее в галерею с множеством окон, и там ее встретили все те же люди. Теперь Хью Роджерс был одет так же, как они. Из чувства протеста ей вдруг захотелось, чтобы на ней в данный момент оказались ее джинсы и рубашка; а через минуту Айрин пожалела, что не надела башмачки из тонкой кожи и красивые полосатые чулочки. Она разглядывала великолепный наряд Хью: узкие черные штаны, рубашку из плотного льняного полотна и длинный жилет, вышитый темными нитками. Костюм ему очень шел. Хью был, пожалуй, тяжеловат, но сложен хорошо; из высокого открытого ворота рубашки поднималась мощная белая шея, голова посажена прямо. Он радостно двинулся ей навстречу и о чем-то заговорил со своей обычной добродушной неуклюжестью. В новом, красивом костюме он казался абсолютно счастливым: старик одобрительно похлопывал его по спине, а дочь старика жеманно ему улыбалась, и уж точно для него предназначалось их богатое утощение, их внимание, дружба — все, чего могло пожелать человеческое сердце, — а потом отправляйся делать то, чего сделать нельзя, невозможно, и спасибо большое за службу, ведь ты за этим сюда явился, не так ли?

Хозяин был там, разговаривал со старым Гобимом и двумя другими горожанами. Она ни разу прямо на него не взглянула, но постоянно ощущала его присутствие, и при звуке его голоса сердце ее замирало в ожидании.

Дочь Лорда Горна стояла рядом с Хью. Теперь она говорила с ним, учила его использовать суффикс «-аджа», который они прибавляют к имени, если хотят выразить

дружескую расположенность, назвать кого-то своим другом, и пыталась объяснить, что имя, которым они его называют — *Хьюраджа*, уже включает этот суффикс и эту расположенность и звучало бы смешно, если бы к нему прибавили еще что-то — *Хьюраджаджа!* — и, говоря это, она смеялась нежным веселым смехом. Он стоял, уставившись в ее фарфоровое личико, любуясь светлыми волосами. похожими на овечью шерсть. «Дурак, — подумала Айрин. — Идиот! Неужели не понимаешь?» Но, увидев мягкую линию его губ, спокойные глаза, испытала лишь благоговейный ужас.

— Аллиаджа, — сказал он и стал красным — лицо, уши, шея — все резко покраснело под густыми, чуть взмокшими на лбу волосами; потом опять побледнело.

Аллия улыбнулась, нежная и холодная, как вода, и поздравила его с успехом.

— Они словно брат и сестра, — произнес кто-то рядом с Айрин, и она с изумлением поняла, что обращаются именно к ней, и с трудом вышла из своего созерцательного оцепенения.

Рядом с ней стоял Лорд Горн. Но смотрел не на нее, а на Аллию и Хью, словно любуясь их одинаково светлыми волосами, столь необычными здесь. Продолговатое лицо старика было как всегда суровым и спокойным. Айрин ничего не сказала, ее странно поразил этот интимный тон, в котором звучала скрытая ирония. Потом Лорд Горн повернулся к ней:

— На этот раз ты подольше побудешь у нас, Иренаджа?

— Так долго, как буду вам нужна, — ответила она с горьким намеком. И тут же ей стало стыдно. Ведь именно Горн сказал тогда: «Твое мужество выше всяких похвал», и эти его слова она хранила как самое большое сокровище, как лекарство от душевной слабости и сомнений. Там, в другой стране, где она не могла обрести родного крова, она, не задумываясь, кто именно сказал ей эти слова, крепко держала их в памяти: *...твое мужество... у тебя есть мужество... Ты не заставишь свою мать делать выбор, который ее погубит, ты не попросишь ее о помощи, которую она тебе дать не в состоянии. Тебе не нужна помощь. Твое мужество выше всяких похвал.*

— Лорд Горн, — сказала она, — надо было мне пойти в Столицу, пока... пока люди еще могли пойти туда.

— В Столицу ведет не одна дорога, — сказал он.

— Вы когда-нибудь там бывали?

Он посмотрел на нее своими серыми глазами будто издалека.

— Я бывал в Столице. Именно поэтому меня и называют Лордом, — сказал он доброжелательно, холодно, спокойно.

— Вы видели Короля?

— Его тень, — сказал Горн. — Я видел яркую тень Короля.

Но слово «король» почему-то было теперь употреблено в женском роде и, видимо, означало «королева» или «мать короля»; и все его слова вроде бы ничего не значили особенного, но она понимала какой-то их тайный смысл, понимала их так, как никогда ничего не понимала в жизни. Его глаза, по-прежнему глядевшие как бы издалека, уставились прямо на нее. Если я протяну руку и коснусь его, я все сразу пойму до конца, подумала Айрин. Исчезнет эта стена, я как бы буду одновременно там и здесь. Но, получив это знание, я погибну.

Глаза Горна мягко предупредили: «Не тронь меня, детка».

К камину, у которого они стояли, кто-то подошел. Она медленно обернулась и с равнодушием отметила, что это Хозяин Сарк.

— Ну, теперь, когда пришла Ирена, мой Лорд, мы можем более свободно объясняться с вашим гостем, — сказал Хозяин вполне официальным тоном, в котором слышалось некое скрытое нетерпение.

Старик посмотрел на него и, как всегда, заговорил не сразу:

— Очень хорошо. Ты поможешь нам с ним объясниться, Ирена?

— Да, — сказала она. Она чувствовала, что наконец освободилась от того безразличия, от которого никак не могла избавиться, и вновь обрела уверенность. Она окликнула Хью; остальные гости тут же умолкли и собрались у камина неплотным полукругом. Аллия стояла рядом с Хью, который смотрел то на нее, то на Айрин; глаза у него были живые, ясные, чистые, как у ребенка, а взгляд немного растерянный. Тут заговорил Лорд Горн, и Айрин стала переводить.

— Мы просим тебя сослужить нам службу, просим о помощи.

Хью кивнул.

— Мы не имеем права ничего от тебя требовать. Если ты выполнишь то, о чем мы просим, то проявишь большую милость по отношению к тем, у кого не осталось надежды.

— Я понимаю.

— Мы ничем не можем помочь, хотя тебе будет угрожать опасность.

Немного помолчав, Хью спросил:

— А что это за опасность?

Она не все поняла в ответе Горна, но постаралась перевести его слова как можно лучше: живущие здесь испытывают страх... страх этот, как он сказал, находится в них самих... и потому они не могут встретить врага лицом к лицу, может только кто-то *другой, не здешний*, только он может заставить врага отступить, заставить отступить этот страх... нет, я правда не понимаю, что он такое говорит.

— Спроси его, что это за враг.

Она спросила. Лорд Горн ответил:

— Глаз, что видит, даст ему форму; ум, что знает, даст ему имя.

Во всяком случае, лучше перевести его слова она не могла.

— Загадки, — сказал, улыбаясь, Хью. Он задумался было над разгадкой, даже задал какой-то вопрос, но потом вдруг умолк, словно выжидая. К нему пришло терпение, подумала Айрин. Под внешней неуклюжестью в нем теперь чувствовалось достоинство. А может, он вовсе и не был таким уж неуклюжим?

— Что вы дадите ему с собой, мой Лорд? — спросил Хозяин.

— Шпагу, которая дана была мне, если он этого захочет, — ответил Горн.

— Что вы дадите ему *для передачи*, мой Лорд?

Она начала было переводить этот вопрос Хью, но вдруг поняла, что старик уже что-то отвечает — хоть и медленно, как обычно, но с каким-то странным, резким нажимом.

— Ты внук своего деда, Сарк, но где же дети его дочери?

— Все мы, — сказал темноволосый человек, — все мы ее дети.

— Дети страха. Это-то и связывает нас. И правые руки наши бессильны помочь нам. А ты не продашь нас снова, Сарк? Аллия, принеси шпагу.

Девушка подошла к сундуку, стоявшему у внутренней стены зала, встала на колени и откинула крышку.

Напряжение, возникшее между Горном и Сарком, было таким сильным, а причина его настолько неясна ей, что

Айрин даже не сделала попытки перевести что-либо Хью. Вместе с ним она во все глаза смотрела на Аллию.

Окутанная летящим облаком светлых вьющихся волос, девушка вновь пересекла зал, неся на вытянутых руках яркую, тонкую полосу света. Она остановилась было напротив отца, но тот коротким повелительным жестом указал ей на Хью. Аллия подошла к Хью, улыбаясь, слегка приподняла руки, но губы и лицо ее были бледны.

Хью посмотрел на шпагу и едва слышно прошептал:

— Боже мой!

Не поднимая глаз, не отрывая их от клинка, не глядя ни на Аллию, ни на Горна, ни на Айрин, Хью неуклюже, но с упрямой решимостью принял шпагу из рук девушки. Шпага явно весила немало. Он не сделал попытки взмахнуть ею, со свистом рассеяв воздух, но как-то неловко держал ее перед собой — словно за барьер держался.

— Значит, — сказал он отрешенно, — *то, с чем мне придется встретиться, вполне реально.*

— Похоже, что так, — прошептала Айрин.

— Я надеялся, что это просто какое-нибудь колдовство. Тогда было бы легче. Слушай, ты лучше все-таки скажи им, что в школе я фехтованием не занимался.

Он аккуратно уставил кончик шпаги в полированный пол и оперся на ее рукоять, глядя вниз на гарду и лезвие с выражением недоброго уважения. Красиво отделанная рукоять удивительно подходила к его крупной руке; лезвие было очень тонким и длинным. Эфес, где Айрин искала подобие крестовины, как на шпагах, виденных в книгах, представлял собой массивный овал, украшенный цепочкой желтых камней.

Подняв наконец глаза, Айрин заметила, что остальные все еще смотрят на шпагу. Лицо Сарка покраснело и как-то постарело; Горн казался невозмутимым.

— Он говорит, что не владеет искусством фехтования, мой Лорд, — сказала Айрин и испытала странное чувство маленького злорадного удовлетворения, словно заключила союз с Хью против Горна и всех остальных.

— Не знаю, смогло бы помочь ему это искусство или нет, — сказал старик. — Я просто не имел права посылать его *туда* безоружным. — Голос его звучал печально, и вспыхнувшее было негодование погасло в душе Айрин.

— Мне кажется, это Его шпага, из Столицы, — сказала она Хью.

— Спасибо, — сказал Хью старику на языке вечерней страны; потом обратился к Айрин: — Ну что ж, могут они, по крайней мере, сказать мне, куда идти и что делать?

Она еще не успела до конца перевести его вопрос, а некоторые из мужчин, до сих пор стоявшие молча, разом стали отвечать. «Вверх на Гору», — сказал один, а другой добавил: «Там, внутри», а старый Гобим сказал: «Это вообще-то сама Гора». Хозяин остановил их всех и сказал:

— Нужно подняться на Гору до летнего пастбища. Ирена знает дорогу до Верхнего Перевала.

— Нет! — вмешалась вдруг Аллия, лицо ее казалось безумным и испуганным. — Пустите меня — я пойду с ним!..

— Ты не сможешь, — сказал Сарк. — Ты поползешь на четвереньках, умоляя вернуться назад, еще до того как перейдешь мост.

Он говорил с мстительным удовлетворением и не пытался это скрыть. Аллия, вся в слезах, повернулась к отцу и закрыла лицо руками.

— Скажи, о чем они говорят, — с отчаянием попросил Хью.

— Они хотят, чтобы ты поднялся вверх по склону Горы до самого высокого пастбища. Аллия хочет показать тебе дорогу, но понимает, что не сможет этого сделать. Лорд Горн...

Но в это время Айрин услышала, как старик говорит Сарку:

— Ты бы снова послал девочку, да, Сарк? Для тебя ведь существует только такой единственно возможный путь. Но ты больше уже не в силах ни послать ее, ни удержать при себе. А дорога ведет в обе стороны. Куда смотрят лица тех, кто приходит к нам с юга?

— Скажи, пусть не беспокоятся, — сказал Хью. — Я пойду, куда они скажут. Если уж я отправлюсь в путь с этой штукой, чтобы искать неприятностей, то не сомневаюсь, что найду их.

— Это далеко, и туда ведут разные тропы. Я пойду с тобой, я там наверху бывала раньше.

— Хорошо, — сказал он без лишних вопросов.

Айрин обернулась к Горну:

— Он пойдет. Я пойду с ним.

Старик склонил голову.

— Когда нам идти?

— Когда хотите.

— Когда ты хочешь отправиться в путь? — спросила она Хью. Она чувствовала, что начинает дрожать; слезы Аллии вызвали и у нее желание расплакаться.

— Чем раньше, тем лучше.

— Ты так думаешь?

— Хочется с этим покончить, — просто сказал он и посмотрел на Аллию, которая прижалась к отцу, спряталась под его рукой и не подняла глаз навстречу Хью. — Завтра, — сказал он, немного помедлив. — Спроси их, согласны ли они.

— Тут распоряжаешься ты.

— Что-нибудь не так?

— Не знаю. Почему они не могут сказать... Это несправедливо! Мне кажется, они просто отсылают тебя, как... я не знаю... как овцу на заклание. Это как... — но она не смогла подобрать нужного слова: *жертвоприношение*.

— Они повязаны по рукам и ногам, — сказал он. — Они не могут сделать то, что должны. Если я это могу, то и сделаю. Это нормально.

— Не думаю, что тебе вообще следует идти.

— Я за этим и пришел, — сказал он и посмотрел на нее ясными глазами. — А между прочим, как ты сама-то? Если ты считаешь, что это скверные игры... Нет никакого смысла обоим оставаться в дураках.

Она заметила, как отблеск пламени в очаге темно-красными бликами пробежал вверх по острию шпаги.

— Я знаю дорогу, тебе понадобится помощник. И вообще, все равно я больше не хочу оставаться здесь. Больше не хочу.

— Я бы мог остаться здесь навсегда, — сказал он чуть слышно, глядя на Аллию, но не в лицо ей, а на ее руку, белевшую на фоне голубовато-зеленого платья.

— Весьма вероятно, что и останешься. — Помимо ее воли сострадание смягчило горечь этих слов; и все равно она будто отвечала предательством на предательство; но он так этого и не понял.

Ее просили остаться в замке, но она, извинившись, поспешила уйти. Переводчик Хью не был нужен; у него отношения с ними развивались быстрее, чем у нее, хотя он и не говорил на их языке. И ей этого было не вынести. Сама виновата, что была душой, но теперь уже слишком поздно. Слишком поздно. Она не остереглась мудрого и опасного

человека, дала свое обещание бессердечному. Она ошиблась и сама выбрала участь рабыни. И теперь ей оставалось только глядеть на своего «хозяина», глядеть и не видеть в нем, своем «зеркале», ни доверия, ни честности, ни мужества. Его загадочность таила в себе лишь пустоту, а все его чувства сводились к зависти.

И все же, если смотреть на него суждено Аллии, неужели она не увидит в нем того гордого человека, которого раньше видела Айрин? Ведь именно они предназначены друг для друга — он, темноволосый, яркий, горячий, и она, светлая и холодная. Как мог он не ревновать, когда рядом с Аллией стоял Хью? Сестра и брат, так сказал Лорд Горн, глядя на Аллию и Хью, но, глядя на Аллию и Сарка, он, наверно, сказал бы: любовница и любовник, жена и муж. И это так, как должно было бы быть. Все здесь так, как должно быть, как следует быть; все, кроме нее, которая не принадлежит их народу, не принадлежит никому, не имеет ни собственного дома, ни своего народа.

Она поужинала с Пализо и Софиром и после ужина немного посидела на кухне, освещенной огнем очага, но прежнего покоя больше не было. Ниточка, которой она привязала к ним свою жизнь, оборвалась. Игра окончена. Раньше она воображала себя их дочерью, но это никогда не было правдой, и теперь эти невосамделишные отношения лишь обременяли настоящую привязанность. И, зная, куда она пойдет утром, они, хоть и старались этого не показывать, испытывали перед ней благоговейный трепет. Софир был просто жалок. Пализо держалась лучше, но ханжество уже властвовало над всеми троими, и Айрин вскоре пожела-
ла им спокойной ночи и ушла к себе.

Она задернула занавески, скрыв неизменную чистоту неба, зажгла лампу и стала думать. Но ни одной стоящей мысли в голову не приходило. Она была измучена и легла спать. В постели, прежде чем уснуть, она прислушалась к ветру, постукивавшему ставнями старого дома, и подумала: «Что бы ни случилось, я не вернусь в Тембреабрезу. Пора уходить отсюда. Навсегда. Он всего лишь заставил меня пообещать сделать то, что я и так бы непременно сделала». Мысль эта была вовсе не утешительной, тем не менее она успокоила ее. Отвращение, ощущение того, что тебя предали, рождалось из понимания необходимости расстаться и не делать попытки сохранить то, что когда-то любила. Нечего было хранить, кроме вечной готовности любить. И если чувство утраты прошло — тем лучше.

Интересно, почему ей больше совсем не страшно? Ее теперешняя усталость была как бы памятью, запечатлевшейся в нервах и мускулах, о том безграничном, изнуряющем страхе, который на этот раз она ощутила по дороге сюда. Но теперь она спокойно представляла себе, как выходит на дорогу, поднимается в гору, и под ложечкой не появлялось сосущего ужаса, а сердце и мозг не опутывала паника. Возможно, это значило, что она наконец сделала правильный выбор — сделала *то, зачем пришла сюда*, как сказал бы Хью, бедный Хью, огромный и беспокойный, с такими честными глазами. Он идет, хотя не хочет идти, хотел бы остаться. Но тогда какой же выбор правилен? Ну, это станет ясно само собой, а пока страха не было, было только желание спать, спать тем сном, который возникает здесь из глубин более бездонных, чем мир сновидений, из запредельных бездн, которые нельзя назвать или увидеть, — это как гора, заключенная внутри другой горы, как море, заключенное в ручье, бегущем по этой земле, где не бывает дождей.

Когда дом проснулся, она поднялась, надела свои джинсы, рубашку и походные башмаки, намереваясь, как и всегда покидая волшебную страну, ничего не брать с собой, не переносить через порог; но потом взяла в сундуке, стоявшем в гостиной, старый грязный плащ, который Пализо давала ей, когда Айрин ходила вниз по Северной дороге с купцами. Плащ был из темно-красной шерсти, весь в пятнах, кромка обтрепалась, но теплый и легкий, его удобно было нести, скатав в небольшой тючок. Софир, которого мучила мысль, что ее путешествие может затянуться, приготовил увесистый пакет с вяленным мясом, сыром, сухарями, которых явно должно было хватить надолго. Все это она закатала в плащ.

Они с Пализо на мгновение прикинули друг к другу. Ни та ни другая не в силах были вымолвить ни слова. Это был конец, а слова предназначены для начал. Айрин поцеловалась с Софиром и вышла из гостиницы.

Во дворе она увидела Адуван, Вирти и других детей, которые ждали ее, возбужденные, но то ли испуганные, то ли растерянные. Они почти ничего не говорили, только лънули к ней, словно им хотелось поддержать ее, ободрить. По улице, состоящей из ступенек, вниз спускалась группа людей: Горн и Аллия, Сарк и Фимол, несколько старых мужчин и женщин, среди которых шел Хью, высокий,

белолицый, — бычок на заклание. Внизу они остановились и ждали, и Айрин, окруженная детьми, подошла к ним.

Люди стояли в дверях домов вдоль всей улицы, ведущей через город к западу. Они тихо приветствовали Лорда Горна, называя его «ваша светлость», а Хью и ее — по именам. *Ирена, Иренаджа...* Некоторые присоединились к ним сразу, отдельные группки поджидали на перекрестках. Она поняла, что это парад в ее честь. Печальные и тихие, жители Тембреабрези собрались, чтобы выразить им свою признательность, пожелать удачи, вручить им ключи от своих надежд.

Какой-то молодой отец поднял сынишку, чтобы тот посмотрел на Хью, проходившего мимо. От этого Айрин вдруг захотелось смеяться, глупо, по-девчоночьи хихикать, она даже зажала себе рот. Огромный Хью в подаренной ему красивой кожаной куртке, с рюкзаком за плечами и со шпалгой в кожаных ножнах на боку мог бы выглядеть как герой, если бы только понимал, что он герой; но он выглядел скорее растерянным, ошарашенным, плечи ссутулил и не замечал своей славы, потому что никто никогда не говорил ему, что он имеет на нее право.

Западная улица постепенно превратилась в дорогу, камни тротуаров уступили место утоптанной обочине. Дома становились как-то меньше, встречались все реже, а потом начались поля, окруженные по межам каменными изгородями сухой кладки, и — к западу и северу от города — потянулись длинные полосы болотистых пастбищ. К процессии присоединилось уже немало людей, так что когда они гуськом шли между изгородями, разделяющими поля, их вместе оказалось человек пятьдесят. Шли легко и тихо. У Айрин подпрыгнуло сердце при мысли: «А может, они пойдут вместе с нами, может, им всего-то и нужно было — начать, выступить в поход, а дальше мы пойдем все вместе, держась друг за друга?» Но родители теперь не отходили от детей. Они взяли их за руки, то и дело наклонялись к ним и что-то шептали. Громко не говорил никто. «Ирена», — прошептала Адуван, с каким-то несчастным видом стоя рядом с матерью и младшим братишкой. Айрин обернулась к ним. Другие дети тоже протягивали к ней руки и шептали: «До свидания!» Вирти отказался поцеловать ее; он плакал взахлеб: «Не хочу видеть это гадкое чудище, не хочу!» Триджэйт пошла с детьми назад. Айрин двинулась дальше; один раз она оглянулась: дети стояли на дороге, в сумерках. Позади них в городе не горел ни один огонек.

Люди, женщины и мужчины, останавливались один за другим. Они неподвижно стояли на дороге, глядя, как другие идут дальше. Их овеял тихий беспокойный ветерок.

Каменная, сухой кладки межевая изгородь высотой до плеча тянулась слева, а справа нависла темная махина Горы, от которой падала густая тень. Айрин с трудом смогла различить белые камни моста, перекинутого над небольшой горной речкой, которая ниже разливалась ручьями и орошала пастбища. Дорога вела на мост. Видимо, это и был предел: мост.

«До свидания, Ирена», — сказала какая-то женщина, проходя мимо. Ветер раздувал ее серую юбку, лицо в неясном свете, висевшем над дорогой, казалось бледным. Это была бабушка Адуван, мать Триджьят. Когда-то она научила Айрин прясть. «До свидания», — сказала ей Айрин. Дорога свернула влево, к мосту. Айрин прошла мимо Хозяина, напряженно застывшего, в отчаянии стиснувшего руки. Сказала: «До свидания, Сарк», впервые — и в последний раз — назвав его по имени. Он ничего не ответил, наверно, не мог говорить. Она еще немного прошла вперед и внезапно остановилась подле Лорда Горна. Рядом светились в сумерках волосы Аллии, словно скопившие в себе свет. Аллия стояла и смотрела на Хью.

— Да пребудет с вами наша надежда, да поможет вам наша вера, — нежным, чистым голосом сказала Аллия на своем родном языке. Хью ответил по-английски, и только Айрин поняла его слова: «Я люблю тебя».

— Прощай! — сказала Аллия, и он повторил это на ее языке.

Рука Лорда Горна, худая и легкая, легла на плечо Айрин. Она изумленно воззрилась на него. Улыбаясь, он поцеловал ее в лоб.

— Иди и не оглядывайся, дочь моя, — сказал он.

Она застыла в полной растерянности.

Хью уже двинулся дальше к мосту. Она должна идти с ним. Она прошла мимо Аллии, молча стоявшей на темной дороге, подобно статуе. Он назвал меня дочерью, стучало в ее сердце, он назвал меня дочерью. Она шла вперед. Они все стояли у нее за спиной на темной дороге и молчали. Она не оглянулась.

Дорога вела через мост и влево, к западу, а потом — вверх по склону Горы. С одной стороны густой лес, с другой — высокая изгородь. На дороге было почти темно.

Хью чуть враскачку шел впереди и правее ее. В полутьме он казался ей просто огромной неопределенной движущейся массой.

Длинная изгородь кончилась, начался лес. Темные ветви сплетались над головой. С обеих сторон дороги лес стоял стеной, под ногами — корни, ветки, листья. Как в туннеле. Изредка между ветвями мелькал кусочек неба. Их окружал душный лесной запах гниющей листвы. Нечто огромное, бледное возникло вдруг впереди. У Айрин замерло сердце, но разум тут же подсказал: «Это же просто валун, успокойся, это камень, свалившийся с горы». Уже? Да, уже, ведь мы давно вышли из города, уже после моста прошли не меньше двух километров.

— Хью, — позвала она.

Только теперь, хотя она почти прошептала его имя, она услышала эту невероятную тишину. Ветер улегся. Все было недвижимо. Словно напала глухота — ни единого звука вокруг.

Хью остановился и обернулся к ней.

— Сюда, — прошептала она, указывая влево. Она не могла заставить себя говорить громче. — Вот эта тропа ведет к верхнему пастбищу.

Он кивнул и последовал за ней, когда она свернула на более узкую и крутую тропку, протоптанную в теле Горы многочисленными копытами овец и ведущую вверх.

Сердце у нее продолжало бешено колотиться, в ушах стоял звон. Это просто из-за подъема, убеждала она себя, но дело было не в этом. То была тишина. Если бы хоть один звук раздался рядом, хоть что-то еще, кроме собственных шагов, дыхания и слабого «бум-бум-бум» в ушах. Впрочем, слышны были шаги Хью, шедшего сзади, но он тоже не слишком шумел — здесь любой шум казался лишним.

Я не испугаюсь, не испугаюсь. Просто иди, не теряя дороги. Просто сама не теряйся, не будь душой.

Прошло не меньше двух лет с тех пор, как она в последний раз была на этой тропе. Тогда она приходила сюда вместе с пастухами, детьми, стадами овец. Теперь ей предстояло найти дорогу одной. Ее все время грызли сомнения, правильно ли она идет, но ошибки не было: посмотри на тропу, говорила она себе, это овечья тропа — вон высохший овечий помет, следы овечьих копыт, это и есть правильный путь. Я не испугаюсь.

Тропа уже начала зарастать кустарником, потому что ею давно не пользовались. Идти было не очень трудно, но

требовалось внимание, к тому же подъем не прекращался. Внезапно, после очередного рывка, они вынырнули из лесной темноты. Воздух здесь казался почти светлым. Ясно были видны земля и небо. Айрин и Хью вышли на одном из концов Долгого Луга — огромного альпийского пастбища, разместившегося на горной террасе северного склона.

Она стояла под деревом на опушке леса в высокой траве, переводя дыхание после крутого подъема. Хью стоял рядом. Она видела, как поднимается и опадает его грудь. Он рассматривал далекие луга и склоны гор над ними.

— Это то самое место? — спросил он.

Он впервые заговорил с тех пор, как они перешли мост.

— Нет. По-моему, еще примерно столько же. Верхний Перевал вон там, наверху. — Она показала на серые скалы и утесы, нависавшие вдали над Долгим Лугом, справа от того места, где они стояли. — С овцами туда добирались дня за два, а привал всегда устраивали здесь.

— А я-то все гадаю, зачем они дали мне с собой столько еды.

— Георгий Победоносец, пожирающий бутерброды, — сказала Айрин и разразилась каким-то истерическим смехом, вырвавшимся помимо ее воли и так же быстро угасшим. Она посмотрела на Хью.

Тот сбросил рюкзак и кожаную куртку и теперь отстегивал ножны, жалуясь:

— Эта чертова шпага жутко мешает. — Он глянул на Айрин и встретился с ней взглядом. — Ерунда все это, выдумки, — сказал он и покраснел. — Спектакль.

— Я знаю.

Но голоса их утонули в тишине, и оба они неловко приоткрыли.

— Ты не чувствуешь... — Он колебался и спросил с неловкой деликатностью: — Того страха?

— Пожалуй, нет. Я просто нервничаю, но не... Мне кажется, будто оно повернулось к нам спиной.

Наконец Хью, к собственному большому удовлетворению, удалось отстегнуть шпагу; он провел рукой по волосам и облегченно вздохнул: «Уф!»

— А ты никогда *этого* не чувствовал? — спросила она с любопытством.

— Пожалуй, нет.

— Хорошо.

— В последний раз, когда я переступал порог, мне было как-то странно, неприятно, я даже в панику ударился. А все потому, что боялся заблудиться. Это ведь, наверно, не то, а?

Она помотала головой:

— Ничего общего. У меня скорее ощущение, что вот-вот налетишь на такое, чего видеть не хочется.

Он скорчил рожу.

— Это ужасно, — сказала она. — А вот заблудиться здесь я никогда не боялась. Я всегда знаю, где проход. И где Город. И где Столица, наверно.

Он кивнул:

— Они все находятся на одной оси. Но тогда, когда я прошел дальше за порог, я эту ось потерял. Все казалось одинаковым. Я даже того родника не узнал, когда через него переходил. Если бы я тогда не встретил тебя...

— Но ты же уже вышел на тропу — почти. Скорее всего ты просто запаниковал и перестал соображать.

— Когда они сказали, что я должен пойти в горы, а значит, отклониться от оси, я чуть было снова в панику не ударился. Когда ты пообещала пойти со мной, это было... Ты же знаешь. Как путь к спасению.

Он пытался выразить свою благодарность, но она и сама не знала, можно ли ее благодарить.

— А что ты хотел сказать, назвав это спектаклем?

— Не знаю. — Он стоял, глядя вдаль, на противоположный край луга. Перед ним расстилалось огромное пространство, заросшее высокой травой без цветов, серебристо-зеленой в неизменном сумеречном свете, чуть-чуть колеблемой ветерком. Ни единой птички, ни клочка облака в небе. — Наверно, я имел в виду шпагу.

— Ты думаешь, она тебе не понадобится?

— Понадобится? — Он посмотрел на нее с довольно-таки глупым видом.

— А для чего же она? Наверно, предполагалось, что ты с кем-то будешь сражаться?

— Не знаю.

— А что, если сражение и вообще немыслимо или бессмысленно? Если здесь, наверху, что-то есть — какое-то существо, нечистая сила или что-то там еще, почему они не сказали нам, что это? Может, с этим и сражаться невозможно?

— Но с чего бы им нас обманывать? — спросил он мрачно

— Потому что они могут только так. Я не хочу сказать, что Лорд Горн плохой человек. Я не знаю, какой он. О том, что они делают, невозможно сказать «хорошо» или «плохо». По твоим же словам — они делают то, что им необходимо. Хозяин говорил о *заключении сделки*, об *уплате выкупа*. Он имел в виду... нет, не знаю, что он имел в виду. Я просто не понимаю этого, не понимаю, что мы должны попытаться сделать.

Он снова провел рукой по своим густым, чуть припотевшим волосам.

— Но ты не обязана была подниматься сюда, — сказал он мягко и неуверенно.

— Да нет, обязана! Не знаю. Я была *должна*. Пора было уходить.

— Но почему этим путем? Ты бы просто могла пойти домой.

— Домой! — сказала она.

Он некоторое время помолчал, не отвечая. Потом кивнул:

— Наверно, ты права. — И еще минуту спустя прибавил: — Ну, пойдем дальше. Мне все кажется, что скоро стемнеет.

Тропа терялась в высокой сочной спутанной траве. Девушка уверенно шла вперед, ведя его к серым утесам на другом берегу серого травяного моря. Здесь не было ни малейшей необходимости идти в затылок друг другу, как на узеньких лесных тропинках. Хью от нее не отставал, но шел на некотором расстоянии, потому что она недвусмысленно дала понять, что терпеть не может, когда вокруг нее толпятся или даже просто подходят слишком близко. Плотные гибкие стебли трав обвивали ноги, и он приспособился шагать, как по снегу, решительно поднимая и опуская ноги. Шпага колотила его по боку, но все же приятно было идти ровным шагом по ровной земле, а не карабкаться вверх или сползать вниз. И еще было приятно — наверно, это не так уж часто встречалось в лесной стране — видеть перед собой цель, видеть, как утесы, к которым они шли, постепенно поднимались все выше и выше.

После долгого молчания он сказал:

— А теперь мне все кажется, что утро.

Девушка кивнула:

— Я думаю, это потому, что здесь выше и светлее. Нет деревьев.

— И на восток пространство открыто, — прибавил он.

Они упорно шли. Молчали. На этом громадном лугу, заросшем травами, как бы само собой разумелось, что шуметь нельзя, — только шуршала трава под ногами да иногда легко вздыхал ветер. Умиротворенное восхищение охватило тело и душу Хью, в ушах будто звучала радостная песнь,

совпадающая с ритмом ходьбы. Он делал то, ради чего пришел сюда, шел туда, куда должен был пойти. Он заработал право быть здесь и любить Аллию.

Это неважно, что она не знает языка, на котором он сказал тогда «Я люблю тебя». Неважно, встретятся они когда-нибудь еще или нет. Важна была только его любовь, на ее крыльях летел он вперед, не ведая горя и страха. Мог ли он бояться? Смерть — сестра любви, та из ее сестер, лицо которой скрыто под вуалью.

Они медленно, но неуклонно продвигались вперед, и утесы, как башни, вздымались над ними все круче и выше, и все явственней были видны складки, шрамы и залысины на их склонах, и дикие травы склонялись и трепетали в такт шагам, а глубины небес простирались над головой словно водная гладь, и он снова ощутил, что был бы счастлив идти вот так, по этому высокогорному лугу, вечно. Теперь он совершенно не чувствовал усталости. Он, наверно, больше никогда ее не почувствует. Он без конца может вот так идти вперед, ко всему повернувшись спиной.

Девушка звала его по имени. Она произнесла его имя не один раз. Он не хотел останавливаться. Не из-за чего было останавливаться. Но голос ее звучал тонко, резко, как голос морской птицы, и он остановился и оглянулся.

Теперь они подошли совсем близко к утесам, утесы нависали прямо над головой, а дорога повернула на север и была покрыта короткой травой, растущей между скатившимися с горы валунами и обломками скал, полускрытыми кустарником. Девушка довольно-таки сильно отстала, она была еще за внешней складкой подножия Горы, и когда он вернулся к ней, то увидел, что там и начиналась тропа. Тропа выглядела мрачной и узкой.

— Это путь к Верхнему Перевалу, — сказала она.

Он посмотрел на тропу с отвращением.

— Надо немного отдохнуть, прежде чем начнем подъем. Тут круто, — сказала она. И села на траву, сухую, короткую, желтоватую, будто кем-то вытопанную. — Ты голоден?

— Не очень.

Ему не хотелось беспокоиться о еде, хотя, когда он мысленно прикинул, сколько они прошли, получилось очень много, и шли они долго, и та темная дорога, на которой стояла Аллия, осталась далеко-далеко позади, где-то там, внизу. Он хотел идти вперед. Но девушка правильно сделала, что остановилась, — выглядела она усталой, лицо загнанное, измученное. Он бросил свою куртку, перевязь и

шпагу на землю возле нее и отошел за ближайшее нагромождение валунов; вернулся, с удовольствием ощущая во всем теле тепло и животворные силы; он не устал, но теперь был рад немного передохнуть; девушка сидела на траве и ела; он взобрался на красноватый валун неподалеку; она передала ему ломоть вяленого мяса и несколько кусочков каких-то сушеных фруктов; все было очень вкусно.

Слышен был только один-единственный звук: шелест ветра в сухой траве между разбросанных камней — тоненькое холодное посвистывание где-то совсем близко к земле.

Она завернула еду и уложила ее в свой тючок.

— Полегчало? — спросил он.

— Да, — сказала она и вздохнула. Он увидел, что ее круглое бледное лицо повернуто к темной тропе.

— Слушай, — сказал он. Ему хотелось назвать ее по имени. — Тебе необязательно идти дальше.

Она пожала плечами. Встала, затягивая свой тючок из куска какой-то красной шерстяной ткани.

— К тому месту, куда мне надо добраться, ведет именно эта тропа?

Она кивнула.

— Ладно. Ничего страшного.

Она стояла, тупо глядя на него, потом посмотрела внимательнее и улыбнулась.

— Ты заблудишься, — сказала она. — Ты вечно сбиваешься с пути. Тебе нужен лоцман.

— Я не могу сбиться с тропы в полметра шириной...

— Но сбился же, когда мы шли сюда; прямо в противоположную сторону и направился. — Улыбка ее стала шире и превратилась в смех, правда, очень короткий. — Как только мне становится страшно, ты сразу сбиваешься с пути. Похоже, так оно и будет.

— А тебе сейчас страшно?

— Немножко, — сказала она. — Опять то же самое начинается.

Но смех еще не совсем ушел из ее голоса.

— Тогда тебе не следует идти дальше. Это необязательно. Я же должен в конце концов за что-то отвечать. Ведь ты и пошла-то только ради меня.

Но она уже двинулась по тропе вверх. Он сразу же последовал за ней, на ходу вскидывая за плечи свой рюкзак. Они вошли в расселину — грубый вертикальный шрам в теле Горы. Высокие сухие стены из красного и черно-коричневого

камня почти смыкались над ними. Тропа была каменистой и круто взбиралась вверх.

— Ты за меня не отвечаешь, — бросила она через плечо.

— Тогда и ты не отвечаешь за то, чтобы я не заблудился.

— Но нам нужно попасть туда, — сказала она.

Они продолжали упорно карабкаться вверх. Тропа круто извивалась, скалы почти смыкались друг с другом. Хью взглянул на руку девушки, которой та оперлась о каменный валун. Рука была маленькая, тонкая и смуглая, лунки ногтей очень белые.

— Слушай, — сказал он, — я хочу... Я никогда не мог понять, как тебя... как твое имя.

Она оглянулась, посмотрела на него.

— Ирена, — сказала она ясным голосом и повторила имя по буквам.

Он тоже повторил, и по лицу ее скользнула широкая, добрая, потаенная улыбка, и она посмотрела на него сверху вниз, едва удерживая равновесие среди обломков скал и жестких комьев земли. Потом снова пошла вперед легкой походкой.

Здесь эта шпага превратилась в постоянное мучение, тяжелые кожаные ножны мешали ему идти, лупили по бедру, а рукоять шпаги, как костыль, врезалась под мышку. В конце концов удалось прикрепить шпагу под нужным углом, но, провозившись с этим, он сильно отстал. А когда двинулся дальше, вдруг услышал звук бегущей воды. Он обогнул очередной выступ и увидел маленький ручеек, прозрачной струей падавший вниз, в небольшой водоем с зелеными водорослями и колючей травой по берегам. Ирена стояла у воды на коленях, поджидая его; лицо и руки у нее были мокрые. Он тоже опустился на колени и напился — руки при этом провалились в болотную прибрежную зелень. В воде чувствовался привкус железа и меди — она была похожа на кровь, только очень холодную.

Тропа по-прежнему узкой извилистой лентой ползла круто вверх. В окаменевшей пыли под ногами были видны, как в засохшем иле, следы копыт — последнего стада овец, когда-то спускавшегося здесь вниз, в долину. Полоска неба над головой была очень далекой. На тропу попадало совсем мало света, разве что в расселинах, где она становилась чуть шире. Когда же стены вокруг начинали опять сдвигаться, Хью казалось, что тропа ведет внутрь, внутрь этой Горы. Его кеды скользили на камнях; идти было трудно. Он

завидовал девушке, которая легко, словно тень, поднималась впереди него по извилистому пути.

Она стояла у длинной прямой трещины в стене. Он догнал ее и спросил шепотом, опасаясь нарушить глубокую тишину:

— Ну как ты?

— Просто задохнулась. — Как и он, она тяжело дышала.

— И долго нам еще вот так?

Скалы, нависавшие над тропой, были очень странной формы — похожие на картошку, словно когда-то давно их обкатали морские волны. Они напоминали незаконченные скульптуры зверей, болезненные опухоли, гигантские внутренности.

— Не знаю. С овцами нужно было идти целый день.

Глаза ее в этих сумерках под сенью скал выглядели темными и испуганными.

— Иди помедленней, — сказал он. — Некуда спешить.

— Я хочу выбраться отсюда.

Извиваясь, прорывая нору в теле Горы, тропа безжалостно шла вверх. Они еще дважды останавливались, чтобы перевести дыхание. Последний отрезок был таким крутым, что они практически ползли на четвереньках, подавая друг другу руки. Когда же внезапно тропа выровнялась и стены вокруг исчезли, Хью так и остался стоять на четвереньках. Он выпрямился было, но, ощутив головокружение, снова рухнул на колени. Горная тропа выходила на край очередного альпийского луга — ровного зеленого поля. Примерно на километр ниже виднелся тот огромный луг, с которого они поднимались, — прикрытый горным туманом, зеленый, как болото. Хью не представлял себе, как точно определить высоту и расстояние, но они явно поднялись очень высоко, потому что склон огромной Горы доминировал теперь надо всем вокруг — над тем лугом и над этим — и воспринимался как нечто основное в этой части земли, такое же абсолютное, как горизонт, который отступил теперь так далеко и высоко, что практически растворялся в сумеречном воздухе. Над Горой к северу и востоку неколебимым куполом поднималось спокойное небо.

Ирена сидела на самом краю обрыва, пожалуй, слишком близко к пропасти. Она смотрела на север, куда-то за пределы лежащих внизу земель. Хью посмотрел на восток: сначала скользя глазами по склону Горы и думая, можно ли отсюда увидеть огни Города, а когда глянул вниз, у него снова закружилась голова. Он стал смотреть вдаль: над

безбрежным воздушным океаном на востоке поднимались горы. За их неясными очертаниями, словно нарисованными серым карандашом на серой бумаге, вроде бы виднелось что-то цветное, какие-то яркие вспышки. Или нет? Он долго вглядывался, но так и не смог с уверенностью сказать, что ему это не почудилось. Когда же он посмотрел туда, куда и Ирена, на север, то не увидел ни огней Города, ни даже слабого свечения — знака того, что где-то там Столица. Все было одинаково серо-голубым, неясным, безмолвным, бескрайним.

Наконец она встала на ноги и осторожно отошла от края обрыва.

— Это и есть Верхний Перевал, — сказала она почти шепотом. — Ноги у меня после этого чертова подъема как ватные.

У него снова закружилась голова, когда он увидел, как она стоит на самом краю этой бездны. Он поднялся и посмотрел в сторону луга. За морем травы — на этой высоте короткой и сочной, напоминающей садовый газон, — на том краю луга, где отвесно поднималась вверх стена горного склона, одиноко лежала какая-то каменная глыба, словно остров в море зелени. Он пошел туда. Оказалось, что это нагромождение довольно крупных, поросших лишайником серых валунов, скатившихся с Горы, расколовшихся и каких-то нестрашных, не таких огромных и тяжелых, как все в этих горах. Было даже приятно почувствовать спиной обыкновенный небольшой валун. Они оба уселись, прислонившись к самому крупному камню, высотой метров пять—семь.

— Долгая была дорожка, — сказал он. Она только кивнула. Он достал из рюкзака еду, и они молча перекусили. Потом она снова откинула голову назад, прислонилась к скале и закрыла глаза. Ее маленький, четкий, как на бронзовой монетке, профиль вырисовывался на фоне неба.

— Ирена!

— Что?

— Если хочешь поспать, я могу подежурить.

— Хорошо, — только и сказала она и тут же свернулась клубком у скалы, подложив свой сверток из красной шерсти под голову вместо подушки.

Он съел еще один сухой хлебец — жесткий, крупитчатый, приятный на вкус — и кусочек сыра из козьего молока, который ему вообще-то не нравился, но сейчас он был достаточно голоден, чтобы съесть что угодно; немного

поколебавшись, он съел еще один хлебец, с ломтиком копченой баранины, а потом убрал остальную еду в рюкзак. Он бы съел и еще, но решил, что пока достаточно. Теперь уже было гораздо лучше. Долгий, длинный путь отделял их от того момента, когда они покинули Город, и он устал, но измученным себя не чувствовал. Вот только если так и сидеть, удобно прислонившись к скале, то непременно заснешь — все здесь спит. А ему следует *стоять на часах*. Он поднялся и стал лениво «патрулировать территорию» — ходить взад-вперед по каменистому острову.

В ясных сумерках, в прозрачном высокогорном воздухе, насквозь пропитанном странным светом, не имеющим источника, цвет травы поражал своей насыщенностью: темно-зеленый, чистый, как изумруд. Лес, точно створки раковины, смыкался над лугом с обеих сторон — далекий на севере, близкий на юге — и выглядел колючим и темным. Над ближними утесами, как над второй ступенью этой гигантской горной лестницы, свисали космы такого же колючего, темного леса, карабкавшегося все выше и дальше, а в самой вышине — голые склоны, неприступные вершины. В этом мире воздуха, камня и леса не было иных цветов, кроме темно-зеленого — цвета драгоценного камня. В траве альпийского луга ни единого цветка. Ни один цветок не раскрывается, пока на небе не появится хоть одна звезда. Хью это было совершенно ясно. Потом он решил, что мозги у него слегка затуманились, и, чтобы проснуться, сменил маршрут «патрулирования» — пошел вокруг нагромождения камней, стараясь не оставлять спящую девушку вне поля зрения.

У северной стороны, ближе к скалам в траве было какое-то странное лысое место. Он уже второй раз подошел к этой проплешине, двигаясь по дуге, и теперь решил рассмотреть это место и понять, почему вылезла трава. Но оказалось, что это вовсе не проплешина, а плоский камень, похожий по форме на щит, поверхность гигантского корня Горы, выступившего из-под земли, как жила из-под кожи. Чуть возвышающаяся над землей поверхность скалы была в нескольких местах разрушена; он подошел поближе и пригляделся. В камень были вделаны четыре железных кольца — как бы по углам четырехугольника метра три длиной. Сам камень и лишайники возле колец были покрыты пятнами странной ржавчины. Он встал на плоскую скалу и подергал за одно из колец, но оно держалось прочно. Оно было обвязано ремнем сыромятной кожи, но кожа расползлась и

так проросла ржавчиной, что узел казался чем-то вроде болезненной опухоли. Кольца выглядели страшно — толстенные, ржавые, намертво приделанные к глыбе, лежащей между скалой и пропастью, да и само место было на редкость мрачное. Девушка все еще спала там, под боком у валуна, на совершенно открытом лугу, беззащитная. Это было недопустимо. Ему ни в коем случае нельзя было уходить от нее. Что-то в этом месте было не так. Он уже повернулся было спиной к плоской скале, но тут в лесу раздался крик.

То ли крик, то ли еще какой-то далекий, шипящий, рыдающий звук, вряд ли громче стука его собственного сердца, которое вдруг тяжело забилося.

Он побежал. Чувство оси, проходившей по воздуху где-то за краем пропасти, всплыло в памяти. Девушка спала; он потряс ее, говоря:

— Проснись, проснись.

— В чем дело? — пробормотала она, смущенно зевая, но вдруг глаза ее расширились от ужаса: она услышала тот голос, уже звучавший значительно громче, значительно ближе, завывающий и рыдающий в лесу, на северной стороне луга.

— Скорей, — сказал он, ставя ее на ноги.

Она схватила свой тючок и поспешила за ним, молча и задыхаясь от страха. Он не выпускал ее руки из своей, потому что вначале она едва была способна двигаться, словно ослабев то ли ото сна, то ли от страха. Некоторое время он просто волок ее за собой, потом внезапно, странно дернувшись, она высвободилась, вырвала руку и побежала. Они бежали к лесу, к его ближайшему краю, убегали от этого голоса. Ни один из них не обдумывал своих действий. Они просто бежали. Голос позади стал еще громче — рыдающий вой, болезненно и страшно отдающийся в ушах. Они добежали до леса, который хотя и укрыл их, но предложил целый лабиринт из бесчисленных темных тропинок, где они, конечно, заблудились бы. «Стой!» — попытался Хью крикнуть девушке, но легкие были словно обожжены воздухом, и крика не получилось, и она не смогла услышать, потому что весь мир вокруг был заполнен одним этим чудовищным, опустошающим душу воем. Она споткнулась, перелезла через ствол дерева, поднялась и бросилась к Хью, как слепая цепляясь за него руками; рот ее был открыт и имел какую-то странную четырехугольную форму. Она столкнула его с тропы, по которой они бежали. Вместе с ней он покатился вниз по склону между деревьями и кустами, по

листьям, по веткам, царапавшим лицо и коловшим глаза. Спуск становился круче, не за что было уцепиться, и они прокатились вниз метров пятнадцать по крайней мере, пока их не задержал ствол упавшего дерева, полусгнивший и огромный, за которым, совсем лишившись способности дышать, полупарализованные от страха, они и спрятались. Голос вышибал из мозгов последний разум, он стал еще громче — ужасный, опустошающий, громадный, разрушительный. Хью посмотрел вверх и увидел существо, от которого исходил этот вопль, оно стояло над ними на тропе, кусты тряслись и ломались от его движений; оно прошло мимо и было белым, покрытым морщинами, примерно раза в два больше человека, свое массивное тело несло с трудом, но двигалось в то же время очень быстро; круглый рот существа был открыт, и в его вопле слышались шипение, и голодный вой, и неутолимая боль; и существо это было слепым.

Потом оно ушло. Ушло и унесло с собой свой леденящий душу крик.

Хью лежал, упершись плечами в ствол дерева, тщетно пытаясь вздохнуть, набрать в легкие воздуха. Мир вокруг стал каким-то белесым, расплывчатым. Когда же мир снова начал обретать прежние очертания, когда уменьшилась боль в груди, Хью ощутил что-то теплое и тяжелое, прижавшееся к нему, к его левому боку и плечу.

— Ирена, — сказал он беззвучно, назвав этим именем то теплое, что прижалось к нему, самого себя возвращая к реальности этим именем, ощущением ее присутствия. Девушка возле него скрючилась, свернулась вдвое, спрятав лицо. — Все в порядке, — сказал он.

— Оно ушло, — сказала она. — Ушло.

— Ушло?

— Оно пошло дальше.

— Не плачь.

Она уже сидела, но ее тепло все еще было с ним, и он, тоже в слезах, потерял лицом о ее плечо.

— Все хорошо, Хью. Теперь все хорошо.

Прошло некоторое время, прежде чем его дыхание снова выровнялось. Он поднял голову и сел. Ирена немного отодвинулась от него и попыталась выбрать из густых волос листья и мусор, потом вытерла свое заплаканное лицо.

— Ну а теперь что? — спросила она жалким охрипшим голосом.

— Не знаю. У тебя все в порядке?

Ни один из них особенно не пострадал, скатившись кубарем по склону горы, хотя царапины, оставленные ветками на лице Ирены, напоминали сделанные красным карандашом метки. Но Хью чувствовал себя совершенно разбитым, измученным, таким же смертельно измученным, как тогда, когда он сбился с пути у порога, да и Ирена, похоже, чувствовала себя не лучше, сидела с полузакрытыми глазами, низко склонив голову.

— Теперь я ни шагу дальше сделать не смогу, — сказала она.

— Я тоже. Но мы должны куда-нибудь спрятаться. — Даже говорить у него не было сил.

Они на четвереньках проползли еще несколько метров по склону вниз. Склон становился все круче. В одном месте заросли рододендронов, зарывшись корнями в землю, образовали нечто вроде ниши или пещеры. Под старыми кустами лежал толстый слой палой листвы с несильным, но терпким запахом. Ирена скользнула в эту нишу и, скорчившись, стала развязывать свой шерстяной тючок, который все время прижимала к себе левой рукой. Хью прополз чуть дальше, до тех пор, пока не смог вытянуться во весь рост. Он хотел было расстегнуть перевязь и снять шпагу, но слишком устал и не смог приподняться. Только уронил голову на руку.

Она сидела под внешними ветвями зарослей рододендрона, вытянув скрещенные ноги. Заслышав его шаги, оглянулась. Он опустился на землю с ней рядом и передернул плечами, стряхивая оцепенение. Он спал так крепко, что тело все еще хранило сонную расслабленность и трудно было сжать пальцы в кулак. Царапины на лице Ирены теперь казались черными, словно прорисованными чернилами, но само лицо больше не напоминало череп, оскаленный в ужасной ухмылке, и было круглым, нежным и печальным.

— Ну ты как? В порядке?

Она кивнула.

— По-моему, там внизу есть ручей, — сказала она, чуть помедлив.

Он тоже очень хотел пить. О той сухой еде, что была у них с собой, и думать не хотелось. Прежде необходимо было напиться. Но ни тот ни другой не двинулся с места, не встал, чтобы отправиться на поиски воды. Эти заросли, это

гнездо в зарослях рододендрона, старых и темных, казалось им убежищем, хорошо защищенным и безопасным. Здесь они укрылись от страха. И уйти отсюда было трудно.

— Я не знаю, что делать, — сказал Хью.

Оба говорили тихо, не шепотом, но еле слышно. Лес на склоне горы был тих, но не замер — в ветвях шуршал слабый ветерок.

— Я понимаю, — сказала она, подтверждая, что и сама не знает, как быть.

Помолчав, он сказал:

— Хочешь вернуться назад?

— Назад?

— В Город.

— Нет.

— И я нет. Но я не могу... Что еще здесь можно сделать?

Она ничего не ответила.

— Я же должен отнести им обратно эту проклятую шпагу. И сказать им.

— Сказать им что?

— Сказать, что я не могу это сделать. — Он потер лицо руками, чувствуя густую колючую щетину на подбородке и верхней губе. — Что когда я *это увидел*, то упал и заплакал, — сказал он.

— Да ладно, — сказала она, заикаясь от ярости. — Что ты мог сделать? Никто ничего тут не может. Чего они, собственно, ожидали?

— Мужества.

— Но это же глупо! Ведь ты ЕГО видел!

— Да, — он посмотрел на нее. Он хотел спросить, что видела она, потому что не мог ни забыть этого, ни поверить собственным глазам. Но не мог заставить себя прямо заговорить об этом.

— Было бы глупо пытаться встретиться с НИМ лицом к лицу, — сказала она. — Никакое это не мужество, просто глупость. — Она говорила тоненьким голосом. — Мне даже думать о НЕМ тошно.

Помолчав, с трудом выталкивая из горла слова, он сказал:

— А у НЕГО... глаза у НЕГО были?

— Глаза? — удивилась она. — Я не видела.

— Если ОНО слепое... ОНО вело себя как слепое. ОНО бежало как слепое.

— Возможно.

— Тогда еще можно попытаться... Если ОНО слепое.

— Попытаться! — насмешливо сказала она.

— Если бы не этот его проклятый крик!.. — с отчаянием сказал он.

— В этом-то и весь страх, — сказала она. — Я хочу сказать, что именно поэтому страх и чувствуешь — когда этот голос слышишь. Я один раз слышала его раньше, когда спала. Кажется, будто у тебя вот-вот мозги лопнут, кажется... Я не могу, Хью. Я ничем не могу тебе помочь. Если ОНО еще раз придет, я снова просто убегу. А может, и убежать-то не смогу.

«Может, и убежать-то не смогу». Эти слова засели в нем как заноза. Он вспоминал плоский камень в траве. Железные кольца, вделанные в него. Узлы сыromятных ремней, продетых в эти кольца. У Хью перехватило дыхание, пересохший рот наполнился холодной слюной.

— Что они велели сделать? — сказал он. — Они много чего сказали, чего ты не перевела. Они дали мне шпагу, они послали нас в горы, сюда, на этот луг...

— Лорд Горн ничего не говорил. Сарк велел дойти до плоского камня. Я полагаю, он имел в виду те скалы, у которых мы сидели.

— Нет, — сказал Хью, но объяснять ничего не стал.

— Мне кажется, они просто знали, что если мы доберемся сюда, то... тогда ОНО придет само... — Она помолчала, а потом очень тихо сказала: — Приманка.

Он не ответил.

— Я их любила, — сказала она. — Очень долго. Я думала...

— Они сделали то, что должны были сделать. А мы — мы не случайно пришли сюда.

— Мы пришли сюда в поисках спасения.

— Да, но мы пришли сюда. Мы сюда попали.

Теперь не ответила она.

Помолчав, он сказал:

— У меня такое чувство, будто мне следует быть здесь. Даже сейчас. Но ты-то уже сделала, что обещала. А теперь тебе надо уходить, возвращаться вниз, к проходу.

— Одной?

— Я бы все равно не смог тебя защитить, даже если бы пошел с тобой.

— Это не самое главное!

— Но здесь тебе оставаться просто опасно. Мне ты не нужна теперь. Если бы я был один, то смог бы... смог бы действовать более свободно.

— Я уже сказала, что ты за меня не отвечаешь.

— Не могу не отвечать. Двое людей, если они вместе, всегда хоть немного да отвечают друг за друга.

Она сидела молча, обхватив колени руками. А когда снова заговорила, в голосе ее уже не слышалось прежней настойчивости:

— Хью, а что именно ты сможешь сделать лучше в одиночку? Погибнуть?

— Не знаю, — сказал он.

Тогда она сказала:

— Нам бы надо чего-нибудь поесть, — и полезла под кусты рододендронов за своим тучком. Разложила пакеты с едой и сидела, глядя на них.

— Мой рюкзак остался там, у тех скал, — сказал он.

— Я не хочу туда возвращаться!

— Нет. И так достаточно.

— Что ж, этого нам вполне хватит дня на два. Если растянуть.

— Хватит.

Это не имело значения. Ничто не имело значения. Он был побежден. Он убежал, спрятался, он спасен и в безопасности и всегда будет в безопасности, но не на свободе.

— Пойдем, — сказал он. — Я не хочу есть.

— Куда пойдем?

— Вниз, к проходу. И выберемся отсюда.

Он встал на ноги. Она посмотрела на него снизу вверх. Лицо у нее было несчастное, нерешительное. Он снова укрепил перевязь, надел кожаную куртку. Мышцы болели, он чувствовал себя нездоровым и неуклюжим.

— Пошли, — повторил он.

Она скатала свой красный плащ, туго стянула его ремнем, не упаковав только маленький кусочек вяленой баранины, который зажала в зубах. Он двинулся вперед, вверх по крутому, густо заросшему лесом склону, по которому они тогда скатились, и наконец вышел на тропу, ведущую от Верхнего Перевала в лес. На тропе он свернул влево.

Громко шурша опавшими листьями и ломая сухие ветки ногами, Ирена догнала его и спросила:

— Куда ты идешь?

— К проходу. — Он уверенно показал налево. — Он там.

— Да, но эта тропа...

Он понял, что она имеет в виду, о чем не хочет говорить вслух: это была тропа, протоптанная белой тварью с ужасным голосом.

— Она ведет туда, куда надо. А когда тропа кончится, мы просто пойдем сами в нужном направлении до тех пор, пока не пересечем ту дорогу, что совпадает с осью, — Южную.

Она не спорила. И беспокоиться перестала, хотя все еще выглядела испуганной: не имело значения, как они пойдут и куда. Он двинулся вперед, она последовала за ним.

Тропа была довольно узкой, но отчетливой, и ее не пересекали другие тропки, которые могли бы сбить с толку. Оленьих следов видно не было. Тропа полого спускалась к югу, то и дело огибая выпуклости и провалы, похожие на мелкие мышцы в теле Горы. Деревья здесь росли тесно, тонкоствольные, высокие. Часто попадались нагромождения скал и выходы наверх светлой гранитной породы: изредка над тропой вздымался голым каменным лбом склон Горы — чистый камень, лишенный всякой растительности. В тех местах, где земля под деревьями была помягче, опавшую еловую хвою кто-то отгреб в сторону и собрал в кучи. Заметив это, Хью вспомнил о неуклюжих, толстых, бледных, морщинистых ногах или лапах, с трудом несших тяжелое туловище. Оно бежало на задних лапах, как человек. Но было гораздо крупнее человека и бежало тяжело, но очень быстро. С трудом несло собственный вес и кричало, будто от боли. Хью был не в силах отогнать от себя этот образ, лишь однажды перед ним возникший. Он подумал, что возле тропы в воздухе разлит какой-то запах, смутно знакомый, нет, очень знакомый, знакомый очень хорошо, и все же назвать его он не мог. Есть такие цветы, летом они бывают на каком-то кустарнике и пахнут так же противно — отчасти похоже на запах спермы. Он все шел и шел вперед и больше ни о чем не мог думать, кроме увиденной на мгновение белой твари, пробежавшей тогда над ними по этой самой тропе.

Путь пересек маленький ручеек, родившийся от более крупных высоко в горах. Он остановился, чтобы напиться: его постоянно мучила жажда. Девушка тоже подошла и склонилась к воде рядом с ним. Он давно уже забыл, что она здесь, позади него, идет за ним следом. Блеск воды в ручье и лицо девушки заслонили воспоминание о белой твари. Напившись, Ирена вымыла лицо, смыв с него грязь, пот и кровь, плеская водой, вымыла руки до плеч и шею. Он последовал ее примеру, и прикосновение воды немного его ободрило, хотя мысли по-прежнему ворочались еле-еле

и все вокруг казалось равнодушным и непонятным, все как-то утратило смысл.

Она что-то говорила.

— Не знаю, — ответил он наобум.

На мгновение он увидел ее глаза, темные и блестящие, в однообразном сумеречном свете лесной чащи.

— Если мы все еще находимся на восточной стороне Горы, то юг там, — сказала она, показывая пальцем. Он кивнул. — И проход тоже там. Но эта тропа все время петляет. У меня уже голова кругом. Если мы намерены где-то сойти с тропы, то лучше сделать это сейчас, пока я еще не совсем утратила ощущение... пока я представляю себе, где проход.

Она снова посмотрела на него.

— Лучше остаться на тропе, — сказал он.

— Ты уверен в этом? — спросила она с облегчением.

Он кивнул и встал. Перейдя через ручеек, они двинулись дальше. Под близко стоящими темными деревьями сгушалась мгла. Не существовало ни расстояний, ни выбора, ни понятия о времени. Они шли вперед. Теперь тропа спускалась вниз весьма ощутимо. Она все больше уводила их вправо, к западу, огибая огромное тело Горы. «Чем дальше на запад, тем будет становиться темнее», — подумал Хью.

Ирена потянула его за руку; она хотела, чтобы он остановился. Он остановился. Она хотела, чтобы он сел и поел. Он сел. Есть ему не хотелось и не хотелось задерживаться здесь надолго, но немножко отдохнуть оказалось приятно. Потом он встал, и они снова двинулись в путь. Отвесно падавшие вниз ручьи то тут, то там пересекали теперь тропу, журча в темных складках расщелин, и возле каждого из них Хью опускался на колени и пил, потому что жажда продолжала мучить его, а кроме того, вода эта — пусть хоть на минуту! — подбадривала. Тогда он смотрел вверх и видел между темными переплетенными ветвями небо, а рядом с собой — тихое, нежное и одновременно суровое лицо девушки, опустившейся на колени у кромки воды; тогда он слышал вздохи ветра над головой и еще где-то внизу, на склоне Горы. Ощущать это было ему совершенно необходимо, как и чувствовать руками мелкие колючие растения на берегу очередного ручья. А потом становилось легче, он вставал и продолжал идти вперед.

Наконец они добрались до места, где было не так темно и росли деревья со светлыми стволами и круглыми листьями.

Здесь тропа разветвлялась. Одна дорожка вела влево и вниз, вторая — прямо.

— Вот эта, возможно, ведет на Южную дорогу, — сказала Ирена, и он понял, что «вот эта» значит: левая.

— Нам следует остаться на тропе.

— Она все не кончается. Похоже, что теперь уже мы идем точно на запад. Наверно, тропа просто огибает Гору кругом и возвращается к Верхнему Перевалу. Так можно идти до бесконечности...

— Ну и хорошо, — сказал он.

— Я устала, Хью.

Минуты или часы прошли с тех пор, как они прошлый раз останавливались? Он хотел идти дальше, но все же сел и стал ждать там, на развилке под бледноствольными деревьями, пока она поест. Потом снова пошли. Добравшись до ручья, напились и двинулись дальше.

Теперь тропа вела вверх. Здесь были только такие направления: вправо — влево, вверх — вниз. Ощущение оси было давным-давно потеряно, оно теперь и не имело значения. Прохода не было. Тропа пошла вверх очень круто, извиваясь по ущелью, рассекшему тело Горы, все время вверх и вверх.

— Хью!

Ненавистное ему имя прозвучало откуда-то издалека в полной тишине. Ветер улегся. Нигде ни звука. «Спокойно, — подумал он тупо, однако почувствовав трепет волнения, — ты теперь должен быть спокоен». Нехотя он перестал шагать и обернулся. Сперва он вообще не мог разглядеть девушку. Она осталась далеко позади, гораздо ниже, еле видная в неясном свете среди тесно стоящих деревьев; ее лицо казалось бледным пятном. Если бы он еще немного прошел вперед, они наверняка потеряли бы друг друга из виду. Может, и к лучшему. Но он стоял и ждал. Она догоняла очень медленно, подъем давался ей с трудом, она его «преодолевала», как говорят в книжках. Тяжко было идти по этой дороге. Она явно устала. Он же усталости не чувствовал, разве что когда, как сейчас, приходилось останавливаться и стоять. Если бы он мог, не задерживаясь, идти и идти дальше, то шел бы без конца.

— Нельзя же без конца идти и идти вперед, — задыхаясь, прошептала она сердито, когда добралась до того места, где он поджидал ее.

Ему стоило немалых усилий проговорить:

— Теперь уже недалеко.

— Недалеко?

Помолчи, хотелось ему сказать. Он даже прошептал: «Помолчи». И повернулся, чтобы идти дальше.

— Хью, подожди!

Ужас плеснулся в этом ее почти беззвучном крике. Он снова посмотрел на нее, но не знал, чем ее успокоить.

— Ну хорошо, — сказал он. — Ты немного подожди здесь.

— Нет, — сказала она, пристально глядя на него. — Нет, я не останусь, если ты уйдешь.

Она рванулась вперед и прошла мимо него по узенькой тропинке какой-то дергающейся, неестественной походкой. Он последовал за ней. Тропа повернула, пошла вверх, снова повернула под темными елями, под нависшими скалами. За последним поворотом перед ними неожиданно открылись безбрежные дали, громады подернутых дымкой лесов, спускающихся по склонам вниз, — вся вечерняя страна лежала внизу, у их ног, и небо над ней темнело вдаль, на западе. Они не стали задерживаться, а вновь вошли под сень деревьев, в мир листьев и ветвей, в мир Горы, под нависающие скалы. Справа прямо над головой громоздились дикие утесы. Деревья между скалами росли редкие и тщедушные. Под ногами — сплошной камень, тропа шла почти ровно.

Тяжелая, нервная поступь Ирены стала совсем неуверенной. Девушка остановилась. Сделала несколько шагов и снова остановилась. Когда он подошел и встал рядом, она прошептала:

— Там.

Перед ними стеной стоял утес, который тропа огибала и, сужаясь, уходила вдаль. Хью сделал еще несколько шагов и за углом утеса увидел другую его сторону — вогнутую, осыпавшуюся, занавешенную кустарником, наполовину лишенным листьев. Там был вход в пещеру. Да, это было, конечно, здесь, это было то самое место. Он просто стоял и смотрел — без страха, без каких-либо иных эмоций. Наконец он дошел. Снова дошел до цели. Он шел сюда всю жизнь, никогда не забывая и не оставляя задуманного.

Оставалось лишь сделать несколько шагов по ровной каменистой площадке перед пещерой и войти внутрь. В пещере было темно. Нет, это были не сумерки: тьма. Изначальная, вечная тьма.

Он двинулся вперед.

Она обогнала его, эта девушка, оттолкнула, спихнула с узенькой тропинки, бросилась вниз через каменистую пло-

щадку к пещере, ко входу в нее — но не вошла. Резко остановилась, подобрала камень и швырнула его прямо в темную пасть пещеры, крича тонким пронзительным голосом, похожим на птичий:

— Ну давай выходи! Выходи же!

— Назад! — крикнул Хью, настигнув ее в три прыжка. Придерживая ножны левой рукой, он правой выдернул из них шпагу — помощи ждать было неоткуда. Из пещеры дохнуло холодом, из ледяного мрака вылетел голос разбуженного чудовища, его жуткий вой. И появилось ужасное лицо, нет, не лицо, а нечто безглазое, в трещинах морщин, нечто отталкивающе белое и слепое высунулось оттуда и начало вздыматься над ним. Держась за рукоять меча обеими руками, Хью ткнул острием вверх, внутрь белого морщинистого живота и изо всех сил резко потянул лезвие вниз. Свистящий рыдающий крик перерос в непереносимый вопль. Опутанное собственными вывернутыми внутренностями и покрытое бледной кровью, чудовище, взревев, рывком поднялось во весь рост, вырвало шпагу у него из рук, а потом рухнуло прямо на юношу, подминая его под себя, когда он попытался — увы, поздно — отбежать от него подальше.

ОНО все еще шевелилось. Подергивание рук, маленьких, похожих на передние лапки ящерицы и одновременно на руки человека — плечо, ладонь, пальцы, — было ритмичным, но чисто рефлекторным, ненаправленным. Человеческие руки, женские... И еще женскими были груди, расположенные, как сосцы свиноматки, от подмышек и вниз по бокам вдоль всего живота до того места, где в такт предсмертным судорогам то появлялась, то исчезала зияющая рана, из которой торчала рукоять шпаги. Ирена на четвереньках отползла в сторонку и низко пригнулась — ее вырвало на пыльные скалы, вывернуло наизнанку. Когда она наконец почувствовала, что в состоянии приподняться, то поползла прочь, подальше, прочь от умирающей твари с распоротым брюхом. Но под дергающейся тушей лежал Хью, и разве могла она бросить его там? Впрочем, он, наверно, тоже был мертв или умирал, а ей было так страшно, что она ничего не могла поделать, ничем не могла ему помочь. Она даже на ноги встать не могла. Только не переставая дрожала и постанывала, поскуливала, как щенок. Когда ей все же удалось подползти так близко, что подрагивающие ручки оказались над ней и стали отчетливо видны скользкие внутренности в распоротом брюхе и Хью, лежащий на спине, придавленный огромной морщинистой ногой и тушей чудовища, то не осталось даже сил ухватиться за него, не только его высвободить. Надо было как-то сдвинуть мерзкое чудовище, как-то спихнуть его с тела Хью. Но стоило ей

коснуться руками белого морщинистого бока, как она издала пронзительный вопль.

Бок был ледяной, это был холод смерти. Чудовище лежало бессильно и неподвижно, лишь непроизвольно содрогалось, дрожь пробегала по всему его телу. Она попробовала толкнуть тушу, опустив голову, закрыв глаза, обливаясь слезами. Туша немного сдвинулась, потом повернулась, потом перекатилась на спину, высвобождая тело Хью, лежавшее в мерзком месиве из слизи и крови. Тонкие белые передние конечности твари теперь были воздеты к небу. Склонившись над Хью, Ирена краем глаза видела, как их подергивание становится все слабее и судорожнее. Хью лежал на спине, обе ноги неуклюже закинута на сторону, лицо покрыто кровью, как маской. Она попыталась прямо руками стереть кровь с его лица, чтобы очистить хотя бы рот и нос, потому что дышал он с трудом, часто хватая воздух ртом, и продолжал лежать совершенно неподвижно; лицо его на ощупь было холодным. Эта тварь слишком долго была на нем, заморозила, остановила его живую кровь. Хью был повержен. Если бы только ей удалось вытащить его из этого месива, подальше от белой подергивающейся туши, — ах, если бы можно было туда не глядеть! — и оттащить его куда-нибудь подальше, вымыть, развести костер и согреть, согреть его и самой согреться. Но она не в силах была его сдвинуть. Если у него на спине рана, такой попыткой его можно просто убить. Она не решалась даже ноги ему поправить — вдруг переломаны?

— Что же мне делать? — простонала она вслух и почувствовала, что язык распух, пересох и еле ворочается во рту. Жажда давно уже томила ее — в течение всего долгого пути к этой пещере, в течение многих часов, пока Хью шел и шел вперед своей безжалостной размеренной походкой, не останавливаясь, словно рвался к цели, словно его тянуло магнитом; ей оставалось лишь следовать за ним, потому что она прекрасно понимала — в одиночку ни один из них никогда не выберется из этой страны. А путь был все круче и круче, и совсем перестали попадаться ручьи, а потом они дошли до пещеры. Но теперь рот у нее как ссохшийся пластырь. Должна же где-нибудь здесь быть вода! Она откинулась назад и села на пятки, глядя невидящими глазами на каменистую площадку перед входом в пещеру — перед этой темной пастью, — на голые склоны, на утесы наверху, на верхушки деревьев и гребни скал по другую сторону пропасти. Она не желала смотреть на белую тварь, но подрагивание

мерзких передних конечностей все же замечала краем глаза постоянно; подрагивание стало совсем слабым, почти прекратилось. Она попыталась обтереть о камни руки, которые были покрыты коркой слизи и засохшей крови и почти не сгибались. И вдруг услышала, как в горле Хью ожило дыхание. Хью пошевелил руками и кашлянул — слабенько, жалобно, как ребенок. Губы его задвигались, и он медленно открыл глаза. Выражение глаз было совершенно бессмысленным, но когда она присела рядом на корточки и позвала по имени, то он взглянул на нее, и, увидев голубизну его глаз, она поняла, что душа его жива.

— Хью, ты можешь двигаться? Сесть можешь?

Дыхание со свистом вырывалось из его груди.

— Д'шать н'чем, — еле слышно проговорил он.

— Это ничего. Ты просто выбился из сил. Если можешь двигаться, то хорошо бы нам убраться отсюда подальше. Я не могу тебя поднять.

— Толстый, — сказал он. — Погоди.

Он закрыл глаза, потом медленно открыл их, сжал губы и заставил себя приподняться на обоих локтях. Голова бесильно свисала на грудь.

— Держись, — сказал он то ли ей, то ли себе.

— Вот так! — сказала она, поддерживая его за плечи. — Молодец!

Он со стоном встал на колени. Секунду постоял. Похоже, он совсем не сознавал, где находится, не замечал белой твари, дрожащей рядом; дальше собственного тела его мысли в данный момент не распространялись. Когда он попытался встать, Ирена наконец смогла как-то помочь ему — поставила свое плечо как костыль. Он был очень тяжелый, еле держался на ногах, ничего не видел. Пошатываясь, она повела его вокруг туши поверженного чудовища, через площадку перед пещерой, в небольшую рощицу тонкоствольных деревьев, что росли недалеко от скалы, на тропинку, которая почти сразу же резко сворачивала влево и вниз. Спуск был таким крутым, что Хью не мог удержаться на ногах. Но все же они отошли от пещеры достаточно далеко. Теперь надо было уложить его или усадить на тропе и отправиться на поиски воды, потому что она услышала журчание ручья и поняла, что слышала этот звук все время, пока они были на площадке перед пещерой. Она проволокла Хью за следующий поворот. Дорожка сбегала вниз между густыми папоротниками. Сверху падал ручеек — чистая прозрачная лента вилась между валунами, пересекала тро-

пинку и исчезала в зарослях папоротника и трав где-то внизу, на склоне Горы.

— Вот, — сказала Ирена. Как только она перестала поддерживать Хью, он снова опустился на колени, а потом и на четвереньки. — Ложись, — сказала она, и он бессильно опустился на бок и лег меж папоротников.

Она напилась, вымыла руки и лицо в неиссякающих ясных струях, принесла воды Хью — в ладонях, каждый раз по глотку, большего она для него сделать не могла. Она попыталась усадить его, чтобы снять с него рубашку. Он слабо сопротивлялся. «Хью, она же вся в крови и в какой-то гадости, она воняет, Хью...»

— Мне холодно, — упрямылся он.

— У меня есть одеяло, плащ. Он сухой, ты согреешься.

Он сопротивлялся не очень настойчиво, и ей все-таки удалось стащить с него кожаную куртку. Он раза два болезненно вскрикнул, когда она вынимала его руки из рукавов, и она решила, что плечо у него или сломано, или вывихнуто, но он вполне внятно сказал: «Ничего, все в порядке». Весь перед его рубашки задубел и был покрыт коркой бледного красновато-коричневого цвета; рубашку с него она тоже сняла, не обнаружив на теле никаких ран. Его плечи, руки и грудь были крупными, гладкими и сильными, очень белыми в сумрачном полусвете, царившем меж папоротников. Она завернула Хью в красный плащ, а когда как-то отстирала его рубашку, то использовала ее как губку, чтобы отмыть ему лицо, шею и руки; потом снова выполоскала рубашку и отжала, одновременно и сама лечась и отмываясь в воде, наслаждаясь ее холодными, чистыми прикосновениями. Когда она оставила его в покое, он лег и закрыл глаза. Дышал он все еще поверхностно, но спокойно. Она сидела, накрыв его руку своей, успокаивая этим и его и себя.

В ущелье, которое они раньше видели сверху, царила тишина. Вся Гора словно оцепенела, только непрерывно звучала тихая музыка бегущего ручья.

Здесь было хорошо, в этом убежище у тропы: папоротники, валуны, прозрачная сверкающая лента воды, спокойные темные ветви елей. Она посмотрела вверх. Тропа описывала почти полный круг; они, должно быть, находились почти под той каменистой площадкой у входа в пещеру. Этот ручеек зарождался где-то чуть ниже пещеры и здесь выходил на поверхность, к свету. Здесь они были вроде бы рядом с пещерой, но на другом уровне, словно в другой

плоскости. Никогда не думаешь о том, чтобы постараться пройти мимо дракона, думала Ирена. Только и думаешь, как бы до него добраться. А вот что делать потом?

Она снова заплакала, тихо, без надрыва. Слезы, прозрачные, как вода ручейка, омывали ее щеки. Она думала об этих жалостных ужасных ручках, о белых сосцах; она плакала, спрятав лицо в ладонях. Я миновала обитель чудовища и обратно пойти не смогу. Я должна идти дальше. Это когда-то было моим домом — огонек в окне, огонь в очаге, я была там ребенком, я была их дочерью, но это ушло. Теперь я только *дочь дракона, дитя короля*, та, что должна идти одна, и я пойду вперед, потому что позади у меня больше нет дома.

Маленький и бесстрашный, пел ручеек. Она наконец свернулась в клубок на земле и уснула, совершенно измученная. Место было болотистое: прикосновение холодных папоротников вызывало озноб, земля пахла влагой. Никак не удавалось согреться. Рядом не было ничего подходящего для костра, а у нее уже совсем не осталось сил, чтобы снова встать и пойти в лес за дровами, да еще разжигать костер. Хью крепко спал. Он лежал почти на животе, прижав к себе руки, чтобы согреться. Край красного плаща зацепился за папоротники и повис на них. Она заползла под этот краешек, прижалась спиной к спине Хью. Но это не помогло. Тогда она перевернулась на другой бок и под плащом обхватила его сбоку рукой. Так было теплее, так было спокойнее. Она камнем провалилась в сон.

Проснувшись, Ирена еще некоторое время лежала в теплых путах сна, в сонном ритме дыхания Хью и своего собственного, совершенно спокойная. В памяти, как на поверхности воды от брошенного камешка, расходились круги воспоминаний; вот она бежит по крутой узкой тропинке ко входу в пещеру, кричит что-то яростное, бежит и падает, поскользнувшись на камнях... наконец она села, выпутываясь из складок красного плаща. Все еще сонная, посидела, глядя на папоротники вокруг, на ручеек, на деревья, карабкающиеся по склонам ущелья, на голубоватые пропасти и дальние горные хребты, на бесцветное небо. Отползла назад, к ручью, и присела на корточки, чтобы напиться там, где вода у серого валуна образовывала маленький водоворот; тщательно умылась и вымыла шею и плескала водой до тех пор, пока не прояснилось в голове, потом отошла в

сторону от тропы в лес. Когда она вернулась, Хью сидел сгорбившись, укутанный плащом. Его густые, жесткие светлые волосы после ее жалких попыток отмыть их от крови и грязи свалились и торчали в разные стороны; на подбородке выросла густая щетина; он казался очень большим и измученным. Когда она спросила, как он себя чувствует, ему потребовалось довольно много времени, чтобы ответить:

— Ничего. Только холодно.

Она развязала сверток и достала еду. Предложила ему хлеба и мяса, но он даже руки из-под плаща не вынул. Как-то жалобно пожал плечами и сказал:

— Не сейчас.

— Давай, давай. Ты вообще не ешь... вчера да и раньше тоже...

— Не хочется.

— Ну тогда хоть попей.

Он кивнул, но не двинулся с места, чтобы пойти напиться к ручью. Помолчав, сказал:

— Ирена.

— Да? — откликнулась она, жуя вяленую баранину. Она умирала от голода и уже пожирала глазами его нетронутую порцию.

— Это... Где...

— Там, наверху, — сказала она, показав куда-то выше ручья. Он с отвращением посмотрел туда.

— А ОНО...

— ОНО мертво.

Хью содрогнулся: она хорошо видела, как сильная дрожь пробежала по всему его телу. Стало его жаль, но в данный момент ее гораздо больше занимала еда.

— Поешь немножко, — сказала она. — Так вкусно! Нам бы нужно уходить, пока не поздно. Если ты в состоянии, конечно.

— Нужно уходить... — повторил он за ней.

Она набросилась на кусок черствого хлеба.

— Надо уходить. Насовсем. К проходу.

Он ничего не сказал. Взял кусочек вяленого мяса, почти с отвращением пожевал его, потом отложил. Пошел к ручью напиться. Он двигался неуклюже, и прошло довольно много времени, пока ему удалось встать на колени и наклониться к воде. Долго пил, потом наконец поднялся, словно это был тяжкий труд. Красный шерстяной плащ он так и не снимал.

— Мне бы мою рубашку или хоть что-нибудь, — сказал он.

— Сейчас посмотрю, высохла ли она. Ее пришлось выстирать. И куртку твою тоже.

Он посмотрел вниз, на свои джинсы, задубевшие, покрытые черными разводами запекшейся крови, и сглотнул.

— Правильно. А где она? — Он увидел рубашку — девушка разложила ее на листьях огромного папоротника — и стряхнул с плеч плащ, чтобы ее надеть. Ирена наблюдала за ним и видела, как красивы его крупные, блестящие руки и шея. Ее сердце разрывалось от жалости и восхищения.

— Ты убил эту тварь, Хью! — сказала она.

Не без труда покончив с пуговицами на рубашке, он повернулся к ней. Они стояли неподвижно среди веерообразных папоротников и серых валунов и смотрели друг на друга.

— Ты меня опередила, — медленно сказал он, вспоминая миг, когда они вышли из-за поворота тропинки. — Ты побежала вниз... ты звала: «Выходи же!» Как ты решилась?.. Что заставило тебя сделать это?

— Не знаю. Мне уже тошно было бояться вот так. Я просто с ума сходила. А когда пещеру увидела... Когда я увидела пещеру, то знала, что ОНА там, а ты войдешь к НЕЙ в пещеру и никогда не выйдешь оттуда, и этого я вынести не могла. Я должна была вызвать ЕЕ оттуда.

Он заправил рубашку в джинсы, морщась при каждом движении.

— Ты говоришь «она»? — спросил он.

— Да, это была ОНА. — Ей не хотелось рассказывать о сосцах и тоненьких передних конечностях.

Он потряс головой, глядя больными глазами и все больше бледнея.

— Нет, ОНО... Вот почему я должен был убить ЕГО... — и протянул руку, словно ища опоры, и пошатнулся

— Неважно. ОНО мертво.

Он стоял неподвижно, отвернув лицо, глядя на ручей.

— А шпага?..

— Перевяжь и ножны где-то здесь, в папоротниках. А шпага... — Она, наверно, тоже выглядела бледной и жалкой, потому что он вдруг резко сказал:

— Мне она не нужна!

— Хью, я считаю, что нам следует идти дальше. Я хочу идти вперед. Если у тебя хватит сил.

— А между прочим, что все-таки со мной случилось?

— ОНО упало на тебя.

Он глубоко вздохнул; лицо его было совершенно растерянным.

— Тебе не кажется, что у тебя что-нибудь сломано?

— Да нет, я в порядке. Согреться вот не могу.

— Тебе бы надо поесть.

Он помотал головой.

— Тогда, может, пойдем? Здесь сыро. Может, тебя ходьба согреет.

— Верно, — сказал он, опускаясь на папоротники, прямо туда, где они спали.

Ирена начала собираться: увязала пакет с едой и все еще влажную куртку так, что легко могла нести все это, и отдала Хью красный плащ.

— Завернись в него как следует, смотри, он на шее завязывается. А твою куртку я пока понесу, она по дороге высохнет.

Он так неуклюже поднялся на ноги, что она спросила:

— У тебя с плечом все в порядке?

— Да, но бок болит, кажется, я что-то там повредил.

— А идти-то сможешь? — нервно спросила она, пряча испуг.

— Думаю, мне полегчает, когда согреюсь, — сказал он извиняющимся тоном.

— Я не знаю, где мы, — сказала она.

Они стояли на тропе там, где ручей метра в полтора шириной, журча, пересекал тропу, нырял в папоротники, в траву и бежал между корнями деревьев вниз по склону.

— Единственный способ понять, где мы сейчас, — вновь подняться по тропе к пещере, а потом идти назад, к Верхнему Перевалу, и потом к Городу и на Южную дорогу.

— Нет, — сказал Хью.

— Ну что ж, — сказала она с большим облегчением, которого старалась не показывать, — мне тоже неохота. Это ужасно далеко. Но отсюда я никак не могу понять, где находится порог.

— Если мы пойдем вниз, — сказал он, — возможно, чувство оси вернется снова.

— Ладно. Если это южная сторона Горы, то наша тропинка ведет на восток. Если нам удастся более или менее придерживаться восточного или юго-восточного направления, то мы должны будем, видимо, пересечь Третью Речку где-нибудь ниже. А потом надо идти вдоль нее до дороги и —

прямо к проходу. Это будет по крайней мере в два раза короче, чем возвращаться прежним путем.

Он кивнул, и она пошла вперед по тропе под густыми, тесно стоящими елями. Ходьба доставляла ей радость и решение не возвращаться назад — тоже; вообще-то она боялась, что он все-таки захочет пойти назад. *Иди и не оглядывайся назад...*

Белые фигуры, стоящие в молчании на сумеречной дорожке, — так давно это было и теперь неизменным останется в памяти навсегда.

Тропа, узкая, каменистая, шла по склону холма вниз, спускаясь довольно полого. Идти было приятно — словно в конечностях расходились, рассасывались какие-то болезненные узлы, заживали царапины, дыхание становилось свободнее. Весь бесконечный путь от Верхнего Перевала до пещеры, весь тот день — или дни? — страха и непрерывного движения вперед она не могла дышать полной грудью: легкие ее словно были сдавлены чем-то изнутри. Сейчас она получала от нормального дыхания такое же удовольствие, как если бы пила родниковую воду. Я дышу, дышу, я дыхание, вот так, вот так, ну, иди, иди по земле, я земля, я твоё дыхание, и я всему этому рада.

Они шли долго, пока тропа не привела их глубоко в ущелье. Здесь царили густые сумерки, беззвучный родник струился под нависающими над ним травами и папоротниками; скользкие камни, еле видный в сумерках другой берег ручья. Хью медленно переходил ручей вброд. Она видела, что идти ему трудно. Оказалось, что здесь тропа поворачивает обратно и идет на запад.

Если только это был запад.

Вся ее радость как-то незаметно улетучилась в этом темном месте, среди скользких камней. Если они прошли дальше, чем она рассчитывала, а пещера этой твари была на западной стороне Горы, тогда все ее расчеты были неверны. Об этой местности она не знала ничего. *Аниротембре* — Земля За Горой — вот название, которое они иногда произносили, но ничего не рассказывали об этих местах. Если здесь и есть какие-то города, то о них тоже никогда не упоминалось. Хью, кажется, что-то говорил однажды о западном крае? Что-то про море. Это плохо. Она должна решить, что делать дальше. Тропа, на которой они находятся сейчас, возможно, описывает круг. Это та же самая тропа, по которой они шли все время с тех пор, как покинули Верхний Перевал, — драконова тропа. Она может без конца

вот так извиваться в ущельях, ползти то вверх, то вниз по склонам Горы, опоясывать Гору и наконец все же вернуться назад, к Верхнему Перевалу. Дни и дни трудного пути, а Хью уже и так еле держится на ногах и голову опустил — рад передышке. Нет никакого смысла ходить кругами. Они должны сойти с проклятой тропы и во что бы то ни стало выбраться отсюда.

— Мне кажется, нам здесь стоит сойти с тропы, — сказала она. Сказала чуть слышно, потому что в этом глубоком ущелье было страшновато. — Нам надо непременно постараться идти прямо на восток.

Он посмотрел вверх на нависающие над ними темные скалы.

— Без тропы будет трудно сохранить вообще какое-нибудь определенное направление...

— Эта река течет на восток. Я уверена. Мы можем идти вдоль нее.

— Ладно.

— Нет, я не совсем уверена, что она течет на восток, — коротко поправилась Ирена, — но мне так кажется.

— Все равно узнать неоткуда. — Он простил ей самонадеянность без лишних слов. — Сам-то я вообще никуда бы не пришел, один, без тебя, — сказал он, глядя на нее в сумеречном свете.

— На волю снова, Бротиган*, — сказала она. — Может, и на волю. Если только эта река течет туда, куда надо.

— А это вовсе не река. Это родник, — с удовольствием сказал он.

— Я все их называю реками. Хочешь здесь немного отдохнуть?

— Нет. Земля слишком сырая. Пойдем дальше.

Почему-то, сойдя с тропы, они не испытали никакого беспокойства, словно искать путь самостоятельно было самым обычным делом, словно они знали, куда идти. Во всяком случае, сначала двигаться оказалось вовсе не трудно. Деревья на этой стороне, все больше тсуги**, огромные, старые, росли без подлеска прямо по берегу ручья. Склоны были крутые. Ей даже захотелось укоротить свою правую ногу сантиметров на пять. Но шли они неплохо, и здесь было гораздо светлее.

* Джеймс Джойс. «Поминки по Финнегану»

** Тсуга — американское хвойное дерево.

Ручей начал довольно круто спускаться вниз. Ирена старалась держаться подальше от воды и прокладывала путь по сухой гальке, где ступать было легче, а направление указывала сама бегущая вода. Кроме того, ее не оставляла надежда, что отсюда, где чуть повыше, она сумеет увидеть, куда ведет их путь, но перспективу все время закрывали слишком тесно растущие деревья. Не глупо ли они поступили, сойдя с тропы? Возможно, и глупо, но назад поворачивать она не собиралась. Единственное, что им теперь оставалось, это попытаться все же найти выход. Ей хотелось есть. Останавливаться было еще рановато, но она подумала: сколько же они прошли от того места, где спали в папоротниках там, недалеко от пещеры? За эти часы они наверняка оставили позади немало километров. И, обернувшись, она сказала:

— Мне бы хотелось чуточку передохнуть.

Хью тащился следом. Он тут же встал, огляделся и показал на небольшую ровную площадку между корнями двух огромных, косматых деревьев. Туда они и направились. Он все еще кутался в красный плащ, со спины здорово смахивая в нем на чью-то бабушку, зато спереди напоминая короля, одетого в мантию. Они подыскали корни поудобнее и уселись; Ирена развязала сверток с едой.

— Может, нам на этот раз только немножко перекусить, а поплотнее поесть потом? Ты как, сильно проголодался? — спросила она.

— Совсем нет.

— Все же поешь чего-нибудь.

Она приготовила еду — порции, на ее взгляд, были позорно маленькими, — остальное отложила и набросилась на свою долю. Думала, что жует медленно и растягивает удовольствие, но еда исчезла в один миг, исчезла, когда он и половины своей доли не съел, а хлеб еще вообще не тронул. Она смущенно посмотрела на него. Он был бледен, но изнуренный вид ему придавала в основном давно не бритая борода. Выражение лица его больше не казалось таким напряженным. В целом он выглядел спокойным и даже довольным, бездумно смотрел вокруг, на деревья. Очевидно, почувствовав ее взгляд, он обернулся.

— Ты работаешь или учишься? Чем ты занимаешься? — спросил он.

Вопрос показался ей диким, бессмысленным, просто невозможно было отвечать на него здесь, когда они совершенно заблудились на этой Горе. Только потом до нее дошло,

почему Хью его задал, и нечто похожее на благодарность шевельнулось в ее душе. Теперь она не находила в его вопросе ничего странного.

— Я работаю. Фирма «Мотт и Зерминг». Я экспедитор.

— Кто-кто?

— Экспедитор. У них по всему городу раскиданы всякие филиалы и дочерние предприятия и полно корреспонденции, уведомлений, разных там «синек» и прочего — они ведь во многом связаны с производством, и им необходимо, чтобы кто-то развозил все это по различным конторам: выгоднее, чем по почте посылать. Для этого требуется довольно много людей, но компания достаточно тесно локализована, да и господин Зерминг любит вести дела по старинке. Ему нравится использовать для экспедиции людей с машинами. Но бензин мне достается бесплатно.

— Но это же кошмар! — сказал он сочувственно. — Значит, ты весь день мотаешься туда-сюда?

— Некоторые поручения проще выполнить пешком, особенно если конторы расположены в центре. Или съездить на автобусе. А иногда из машины действительно не вылезешь весь день. Это уж как повезет. Мне эта работа нравится, потому что я сама себе хозяйка и делаю все так, как считаю нужным — в какой-то степени, по крайней мере. Я терпеть не могу, когда мне указывают, как именно и что я должна делать.

— К сожалению, почти всякая работа делается именно так.

— Хуже всего то, что моя работа — это что-то ненастоящее. Понимаешь? *Делать*, собственно, ничего и не приходится. Ездишь да ездешь и так никуда и не приезжаешь.

— А что бы ты хотела *делать*?

— Не знаю. Вообще-то против теперешней работы я ничего не имею. Знаешь, она не такая уж плохая. Работа как работа. Но мне кажется, что если по-настоящему что-то *делать*, то сразу почувствуешь себя иначе. Должно быть так. Например, если ты фермер. Или преподаватель. Или воспитатель. Но для этого у меня ничего нет. А надо по крайней мере иметь свой кусок земли и трактор. Или диплом преподавателя, медсестры или еще какой-нибудь.

— Ты могла бы поступить на вечернее отделение государственного колледжа, — сказал он задумчиво. — А днем работать. Во всяком случае, попробовать можно, если...

— Похоже, ты и сам об этом не раз думал. Или тебя какой-то специальный колледж интересует?

— Почему ты решила?

— Ты вроде говорил, что интересуешься библиотечным делом.

Он снова посмотрел на нее. Долго смотрел.

— Верно, — сказал он, и она совершенно инстинктивно, не задавая вопросов, поняла, что узнала о нем нечто сокровенное и сделала это очень хорошо. Не важно, как именно это получилось, но результат ее обрадовал.

— Сумасшедший, — сказала она. — Возиться с кучами книг! И что только ты с ними собираешься делать, а?

— Не знаю, — сказал он. — Читать, наверно?

Улыбка у него была очень добродушная. Она рассмеялась. Глаза их встретились, и оба тут же стали смотреть в разные стороны. Немного помолчали.

— Если бы я только была уверена, что теперь мы идем на восток... Так было бы здорово!.. А ты как себя сейчас чувствуешь? Ничего?

— Хорошо.

Он всегда говорил спокойно, но она слышала в его голосе твердость, молчаливую уверенность. Наверно, он очень хорошо поет — голос у него музыкальный.

— Ужасно жжет вот здесь, — заметил он вдруг с каким-то удивлением, осторожно ощупывая левый бок.

— Дай-ка я посмотрю.

— Да ладно, ничего.

— Нет уж, давай посмотрим. То-то я вижу, что ты, когда идешь, стараешься этим плечом не двигать.

Он попытался задрать рубашку, но не смог даже поднять левую руку. Расстегнул рубашку. Он стеснялся, и она старалась вести себя безразлично-заботливо, как врач. Примерно на уровне локтя на ребрах было зеленовато-черное пятно величиной с крышку большого кофейника.

— Господи! — вырвалось у нее.

— Что там? — спросил он озадаченно, тщетно пытаясь рассмотреть собственный бок.

— Вроде бы синяк. — Она вспомнила о ручке шпаги, торчащей из живота белой твари. Ее собственное тело все напряглось и как-то подобралось при одном воспоминании об этом. — Это, наверно, когда ОНА... когда эта тварь упала на тебя.

Вокруг ужасного пятна кожа была желтоватой, а вокруг грудины были еще странные пятна и настоящие синяки.

— Ничего удивительного, что тебе так больно, — сказала она. Она пальцами ощущала, какое это пятно горячее, практически его не касаясь.

Он перехватил ее руку своей. Она решила, что сделала больно, и заглянула ему прямо в глаза. Так они и застыли — она на коленях возле него, он, сидя с согнутой в колене ногой.

— Ты сказала, чтобы я никогда тебя не касался, — хрипло проговорил он.

— Это было раньше.

Его плотно сжатые губы расслабились, помягчели, но лицо по-прежнему было сосредоточенным, удивительно серьезным, однажды она уже видела его таким. И она не один раз замечала раньше похожее выражение на лицах других мужчин. И отвернулась. Теперь она не боялась, осторожно, но с любопытством наблюдала за ним, дотронулась до его губ и впадины у виска так же нежно, как касалась того пятна, желая знать ту его боль и эти его мысли. Он прижал ее к себе, но как-то неуклюже, застенчиво, тогда она сама обняла его обеими руками, и тело ее стало таким же нежным и быстрым, как вода, и они слились в страстном объятии; и ее сила поддерживала его.

Радость слияния оба испытали одновременно, а потом лежали рядом, тесно сплетаясь телами, грудь к груди, смешав дыхание, и снова слились, растворяясь друг в друге, наполняя друг друга радостью.

Он лежал с закрытыми глазами, голова чуть отвернута в сторону, почти обнаженный. Она провела рукой вдоль его красивого тела от бедра до горла, смотрела на удивительно невинные, совсем светлые шелковистые волосы у него под мышкой.

— Тебе холодно, — сказала она и умудрилась, не вставая, укрыть его и себя красным шерстяным плащом.

— Ты прекрасна, — сказал он, руками пытаясь описать эту красоту, лаская ее, но не настойчиво, а нежно, сонно.

Он лежал, прильнув лицом к ее плечу. В полусне она видела над собой недвижные листья деревьев на фоне тихого неба. Покой, который они обрели друг в друге, был великим даром, но и единственным утешением, которое они могли друг другу дать. Земля под ними была жесткой. Она почувствовала, что его, спящего, пробирает дрожь, и попыталась встать. Он воспротивился было, произнес ее имя и снова погрузился в сон.

Она натянула одежду, слегка дрожа, а когда он проснулся, заставила его надеть кожаную куртку, которая наконец-то высохла, а поверх куртки еще и шерстяной плащ.

— Это шок. Тебе из-за него так холодно, — сказала она.

— Какой шок? — спросил он с идиотской ухмылкой.

— Заткнись. Тебе холодно — потому что ты перенес шок от удара.

— Я думаю, мы уже нашли способ согреться.

— Да, все это, конечно, замечательно, но мы никогда не доберемся до порога, если так и будем лежать здесь и заниматься любовью, Хью.

— Я не знаю, доберемся ли мы туда, если встанем и пойдем, — сказал он. — По крайней мере, будем теперь на стоянках получать удовольствие. — Сказав это, он посмотрел на нее, чтобы убедиться, что не обидел ее, не оскорбил.

Его скромность и уязвимость особенно радовали ее. Сама она гораздо грубее, подумалось ей, и если бы он стал судить ее, то, может, она бы ему и не понравилась; но он не стал ее судить. Он пришел к ней не для того, чтобы судить ее, или как-то оценивать, или просто попользоваться ею. Он пришел к ней, лишь принося ей в дар свою силу и прося у нее защиты.

Он смотрел на нее:

— Ирена, знаешь, это было самым лучшим из всего, что со мной когда-либо происходило.

Она кивнула, не в силах ответить.

— Я думаю, нам следует идти дальше, — сказал он и задумчиво, с отвращением ощупывал свой левый бок. — Хорошо бы это побыстрее прошло.

— Время понадобится. Синяк ужасный.

Он снова посмотрел на нее неуверенно, потом решительно подошел к ней, погладил по голове, по щеке, поцеловал в губы — не очень умело и не очень страстно; но это был их первый поцелуй. И больше, чем поцелуй, ей понравилось прикосновение его огромной руки. Хотелось сказать ему, что он прекрасен, что очень нравится ей, но она как-то не умела говорить подобные вещи.

— Тебе не холодно? — спросил он. — А то я все на себя напялил.

— Я от ходьбы всегда согреваюсь.

Он подождал, пока она первой двинется в путь, даже не пытаясь выяснять, куда они пойдут дальше. С новым чувством полного доверия она пошла вперед, вдоль по берегу

ручья, в том самом направлении, которое решила считать восточным.

Они довольно долго упорно молчали. Складка Горы, по которой пролегал их путь, съехала куда-то влево, то поднималась, то исчезала, но общее направление было все время одним и тем же — вниз по склону Горы. Деревья вокруг были редкими, идти нетрудно, и попадались даже довольно длинные участки открытой местности, где было приятно ступать по короткой сухой коричневатой траве, наконец выбравшись из-под нависающих ветвей. Потом спуск пошел очень круто, превратился почти в обрыв. Пришлось ползти вниз, цепляясь за корни или скатываясь на собственном зад, и вскоре они очутились на дне глубокой расщелины, у ручья, среди поднимавшихся круто вверх и густо поросших лесом стен. И сразу же бросились к воде.

Утолив жажду, Ирена взобралась повыше, туда, где упавшее дерево примяло вокруг себя кусты, и там постояла, решая, куда идти дальше, осматриваясь. Ручей был почти такой же большой, как Третья Речка. Если это действительно Третья Речка, то им остается только идти вдоль нее, пока не доберутся до Южной дороги. Скорее это тот же самый ручей, вдоль которого они шли почти от самых его истоков. Тот же, что бежал меж папоротников ниже драконовой пещеры. Он тек по этому ущелью на восток или юго-запад, вниз по склону. Третья-то Речка точно текла на запад, мимо Горы. Должно быть, это ее приток. Он должен течь справа налево, а Третья Речка, если считать отсюда, течет направо, если только сама Ирена в данный момент стоит лицом к югу...

Она стояла и пыталась решить задачу: каким образом ручьи могут течь в разные стороны и в какую сторону она смотрит сейчас. В горле застрял комок. Названия сторон света, принятые в географии — север, запад, юг, восток, — не имели здесь значения. В какую бы сторону она ни повернулась, все это мог быть юг. Или север.

Хью подошел к ней, встал рядом.

— Хочешь отдохнуть? — спросил он, положив ей на плечо руку, но она отшатнулась.

Он тут же отошел, пересек небольшую полянку и уселся, прислонившись спиной к массивному стволу упавшего дерева и закрыв глаза.

Когда Ирена наконец уселась с ним рядом, он сказал:

— Может быть, мы чего-нибудь поедем?

Она разложила всю оставшуюся еду. Еды оказалось больше, чем она думала: с лихвой хватит, чтобы продержаться еще день. Это придало ей мужества, и она сказала:

— Я не знаю, где мы.

— А мы и так никогда этого не знали, — ответил он равнодушно. Потом, с видимым усилием взяв себя в руки, открыл глаза и начал задавать вопросы и сам же на них отвечать. Они долго решали, продолжать ли двигаться вдоль ручья как раньше, ибо ручей, по всей вероятности, все же сольется с более крупной речкой.

— Или, в противном случае, мы придем к морю, — сказал он нарочито веселым тоном, но тут же осекся.

— Можно попробовать, конечно, прямо здесь свернуть левее, — сказала Ирена, трудясь над вторым ломтиком вяленого мяса и чувствуя, как еда оживляет ее. — Вообще-то я считаю, что мы взяли недостаточно к востоку. И пока мы еще на Горе, значит, не совсем заблудились: по крайней мере, понимаем, где находится сама Гора.

— Но мы совсем не приближаемся к проходу.

— Знаю. Только Гора для нас — действительно единственный ориентир. С тех пор как мы утратили ощущение оси.

— Да. Все крутом одинаковое, похожее. Как в тот раз, когда я прошел мимо порога. Мне кажется... Мне кажется, то, чего я боялся, уже повторилось. Прохода там больше нет. Нечего и искать.

— Со мной такого никогда не случалось, — сказала она уверенно, — и не случится! Я не собираюсь здесь оставаться!

Он выкладывал рисунок из еловых иголок на земле возле упавшего дерева.

— Это твое, — сказала она, стараясь не смотреть на его долю.

— Я как-то не очень проголодался.

Помолчав, она сказала:

— Надеюсь, ты не пытаешься сэкономить побольше для меня или еще что-нибудь такое же жалостное, а?

— Нет, — явно изумившись, сказал он, потом улыбнулся и посмотрел на нее. — Просто есть не хочется. Но если я проголодаюсь, тогда только держись!

— Но ты же не можешь без конца идти и идти и ничего не есть!

— Могу. Буду питаться собственным жиром, как верблюд.

Она прыснула. Ей хотелось придвинуться к нему поближе, коснуться его, погладить жесткие волосы и усталое,

заросшее щетиной лицо, большую, сильную и все же какую-то детскую руку, но мешало то, что сама она всего несколько минут назад увернулась от его прикосновения. Ей хотелось доказать, что он напрасно занимается самоуничтожением, но она не находила нужных слов.

Глаза у него, похоже, снова закрывались сами собой; он откинулся назад, привалился к стволу дерева. Она ничего не сказала, затаилась, настроение у нее все больше и больше портилось. Когда она снова взглянула на него, он спал, лицо его расслабилось, рука безвольно лежала на бедре.

Надо было идти дальше. Обязательно. Они не могут сидеть тут и спать. Так можно никогда не добраться до порога.

— Хью, — позвала она. Он не слышал. И вдруг ее беспокойство полностью растворилось в той немного пугающей ее страстной нежности, из которой, собственно, и родилось. Она подошла к нему и слегка подтолкнула, помогая лечь. Он проснулся. — Спи, — сказала она.

Он послушался. Она немного посидела возле него. Сидела и слушала бормотание ручья. Здесь ручей бежал неспешно; тихонько плыла вода над песчаным, чуть илистым дном и пела свою песенку. Ирена почувствовала усталость. Взяла красный плащ, который он сбросил, согревшись в кожаной куртке, и, накрыв его и себя плащом как одеялом, прижалась к Хью и заснула.

Проснувшись, оба почувствовали, что все у них оцепенело, двигаться было трудно и страшно было подумать о том, чтобы идти дальше. Ирена спустилась к ручью напиться. Умылась. Вода была так приятна, а она чувствовала себя настолько грязной после долгого пути, что нашла ниже по течению неглубокую заводь, стащила с себя одежду и выкупалась. Она стеснялась Хью, который смотрел, как она моется, и поскорее оделась. Он спустился к воде чуть подальше, где берег был ниже, и, с трудом встав на колени, напился.

— Искупайся. Я уже, — предложила Ирена, застегивая рубашку и ощущая приятный озноб.

— Слишком холодно.

— Ты все еще мерзнешь? — спросила она, подходя к нему по болотистому, заросшему папоротниками бережку.

— Все время.

— Это из-за НЕЕ... из-за этой твари... ОНА была ледяная, вспоминать страшно.

— Мне бы снова солнце увидеть... — сказал он. В голосе его звучало такое отчаяние, что она испугалась.

— Мы выберемся отсюда, Хью. Не надо...

— Куда пойдем? — спросил он, вставая на ноги. Ему пришлось цепляться за узловатые ветки кустарника, росшего на берегу, чтобы подняться.

— Мне кажется, лучше по течению ручья.

— Хорошо. Меня что-то больше не тянет лазить по горам, — сказал он, пытаясь казаться веселым.

Она взяла его за руку. Рука была холодная как лед. Это от воды, решила она, но все же ледяное прикосновение потрясло ее необычайно, вызвав в душе былой страх. Она боялась за Хью. Ирена посмотрела на него снизу вверх и произнесла его имя.

Он встретил ее взгляд и смотрел на нее так, словно видел ее насквозь, и с такой страстью, о которой нельзя было даже говорить. Хью положил ей на голову свою правую руку и прижал к себе. Он был стеной, крепостью, опорной башней — и все же был *смертным, хрупким*, его гораздо легче было ранить, чем потом вылечить: *победитель дракона, дитя дракона*; сын короля, бедный, бедная, недолговечная, несведущая душа. Она почувствовала, как в нем проснулось желание, но руки его сжимали ее с куда большей страстью, чем та, что кипела в его теле. Она прильнула к нему, и так они и стояли обнявшись.

Она шла впереди. Он старался не отставать. Она часто оглядывалась и поджидала его. Он старался не отставать, но идти вдоль русла ручья было нелегко: корни, заросли кустарника, сплетающиеся папоротники, да еще подо всем этим неровная поверхность земли, порой — скользкие камни. С тех пор как он неловко повернулся, спускаясь по крутому склону, боль в боку не оставляла его ни на минуту, мешала дышать и идти. Потом он совсем перестал думать о том, как бы не отстать от Ирены, сосредоточившись на одном — как удержаться на ногах. Там, где в ручей, вдоль которого они шли, впадал другой маленький ручеек, берег превратился в настоящее болото, некуда было толком поставить ногу, и они решили перейти на другую сторону. Это оказалось очень трудно. Головокружение, постоянно мучившее его, мешало сохранять равновесие на скользких камнях да еще бороться с напором быстро бегущей воды. Он боялся, что если упадет, то еще что-нибудь повредит у себя в боку. На другой берег ему удалось перебраться успешно, но скоро им почему-то снова потребовалось переходить ручей вброд, он не понял почему; теперь все его внимание было сконцентрировано на предстоящих ему маленьких шажках. Ирена попыталась перевести его через ручей за руку, но в этом было мало толку. Она такая маленькая, что, если он поскользнется, ей его не удержать, слона чертова, думал Хью. Вода была обжигающе-холодной. Потом они оказались уже на другом берегу, и идти стало гораздо легче — по плотному песку между серыми

стволами деревьев. Если бы только не болел так бок, теперь казалось, что это шпага, тогда застрявшая в нем, погружается в его плоть все глубже, и глубже, и глубже. Девушка, похожая на тень, шла впереди легкой, неслышной походкой — единственная тень в этой стране без теней, без солнца, без луны. «Подожди меня, Ирена!» — хотелось ему сказать, но говорить было не нужно: она и так ждала. Она оборачивалась, возвращалась назад. Ее теплая сильная рука касалась его руки. «Хочешь немного отдохнуть, Хью?» Он качал головой. «Я хочу идти дальше», — говорил он. И шпага снова, на этот раз еще немного глубже, погружалась в его тело. Его имя, имя его отца, которое он когда-то ненавидел, звучало как благословение, произносимое ее голосом, как единый выдох и вдох: ты! Ты моя суть. Ты, встреченная против всех ожиданий. Ты моя жизнь. Не смерть, а жизнь. Мы поженились там, у пещеры дракона.

— Немножко отдохну, — сказал он, опустившись на колени. Она подошла к нему — любящая, верная, озабоченная. Он сказал, чтобы она не волновалась: он просто хочет немного посидеть и отдохнуть. Или он собирался ей это сказать?

Она заставила его прилечь, завернула в красный плащ, поддерживала его и пыталась согреть собственным теплом. Это он был тенью, а она — теплом, солнечным светом.

— Спой ту песенку, — сказал он.

Сначала она не расслышала: из-за шпаги, застрявшей у него в боку, он не мог говорить громко. Когда он повторил свою просьбу, она поняла. Оперлась на локоть и немного отвернула лицо, а потом запела своим тоненьким, нежным голоском, голоском жаворонка, не знающего страха:

*Бутон цветка, на дереве лист —
Родимый кров меня хранит.
Но все же жаворонка песнь
В волшебный край манит...*

— Это там, — сказал он.

— Что?

— Дома тот волшебный край. Не здесь. Не этот.

Ее лицо было близко-близко, и она погладила его по волосам. Ее тепло переливалось в него, он закрыл глаза. Когда же проснулся, то боль в боку — торчащая шпага? — больше не беспокоила его. Пока он не встал. Труднее всего оказалось подняться. Он никак не мог опуститься на колени у воды, чтобы попить, он стыдился стонов, вырывав-

шихся из груди, он постанывал и вздыхал и даже стоять не мог, не издавая этих стонов-вздохов.

— Пойдем, — сказала Ирена, — вот сюда.

Она говорила так спокойно и уверенно, что он спросил:

— Ты нашла дорогу?

Она не расслышала.

Он вполне мог идти, но часто спотыкался. Лучше всего получалось, когда она шла рядом, помогая ему. Она так хорошо его вела, что он мог бы идти с закрытыми глазами, и однажды взял и закрыл их, но тут же пошатнулся и свалился с тропы, увлекая за собой и девушку, и с тех пор старался глаза не закрывать. Идти здесь было легко. Деревья сами расступались перед ними. Но оказалось, что снова нужно переходить через ручей. Это было невозможно.

— Ты уже переходил, — сказала она.

Да? Наверно, именно поэтому ему теперь было так холодно: он промок. Тогда ничего страшного, если намочешь снова. Вода обжигала как огонь, темная, быстро бегущая вода, которую он уже никогда больше пить не станет. А вот и плоская скала у знакомого источника, где он — где они оба преклоняли когда-то колени. А вот и кусты бузины, трава без единого цветочка на полянке, место, откуда все тогда начиналось, а теперь пришло к концу: и сосна, и лавровый куст, но между ними не было прохода, не было до тех пор, пока рука Ирены не открыла его. А он все никак не мог переступить порог, и она взяла его за руку и вывела в новый мир.

Она ожидала солнца. Она все время думала, что они выйдут под громадное, горячее солнце, которое все лето стояло в небе. Они переступили порог и попали в ночь, в дождь.

Дождь был частый, крупный. Его звук, звук капель, стучащих по листьям и по земле, был прекрасен, и прекрасен был его аромат. Капли дождя заливали ее лицо как слезы. Но она не могла позволить Хью передохнуть здесь, как рассчитывала раньше, когда они, выбиваясь из сил, стремились к порогу. Нет, на этой промокшей земле отдыхать было никак нельзя, да еще в мокрых джинсах и башмаках, которые они промочили еще тогда, переходя вброд три речки. Надо было идти дальше. Это было невыносимо, он почти ослеп от боли и жара. Но она не отпускала его руку, и он продолжал идти. Они осторожно выбрались из темного

леса, а потом двинулись через заброшенные поля. Слившиеся воедино воздух и земля были пронизаны полосами света от фар автомашин, мчавшихся по шоссе сквозь падающий дождь. Один раз Хью споткнулся, на минуту потерял сознание и, когда пришел в себя, тяжело навалился на нее и застонал от боли. Потом взял себя в руки, и они пошли дальше по направлению к грейдеру, к огням, горящим всю ночь у щита фабрики. На совсем крошечном подъеме у самой дороги он рухнул на колени, а потом без единого слова и жеста скользнул вперед, упал ничком на землю и остался лежать так.

Она опустилась рядом в мокрую траву, на минуту прижалась к нему. Потом встала и вскарабкалась на обочину шоссе, постояла там, глядя в темноту, где лежал он, хотя видеть его не могла. Всхлипывая от жалости, как он всхлипывал от боли, она пошла по дороге к ферме.

Позади нее из ворот фабрики вспыхнули автомобильные фары. Она, как кролик, застыла от ужаса на обочине дороги, заслышав шум мотора и шуршание шин по гравию.

— Эй! Что-нибудь случилось?

Она знала, что это вполне может с ней случиться — то, чего она так боялась, — но все же повернулась и пошла назад к машине. Ее трясло. Перед ней, освещенное сзади горящими фарами, возникло рыжебородое лицо.

— Мой друг ранен, — сказала она.

— Где? Полезай.

Машина оказалась очень маленькой, а от Хью нечего было ждать помощи, но Рыжебородый, очень решительный человек, каким-то образом умудрился запихнуть Хью на откинутое переднее сиденье, потом засунул сложившуюся пополам, как складной нож, Ирену на заднее и погнал на скорости в восемьдесят миль — и весьма этим наслаждаясь! — в морской госпиталь. Он выскочил из машины прямо на ступеньку лестницы, ведущей ко входу экстренной помощи, и опять остался очень доволен собой. Как только Хью внесли в приемный покой, блистательная часть действия завершилась, но Рыжебородый все же остался ждать вместе с ней в приемной, принес кофе, печенье, сделал все, что мог бы сделать в подобной ситуации нормальный молодой мужчина, просто хороший человек. В этом не было ничего необычного, но для Ирены пока еще и это казалось не совсем обычным, пока еще... А ведь это королевская честь — называть друг друга «брат», «сестра».

Доктор, который наконец смог поговорить с ней, задал несколько вопросов. Все время до этого Ирена слушала, как Рыжебородый рассказывает, с каким счетом закончился баскетбольный матч, и не приготовила никакой правдоподобной истории.

— Его избили, — сказала она; это было все, что она могла придумать, поняв, что должно же быть какое-то разумное объяснение происшедшему.

— Итак, вы были в лесу? — уточнил врач.

— Путешествовали автостопом.

— Вы заблудились? Как долго вы пробыли в лесу?

— Точно не знаю.

— Я, пожалуй, вас тоже осмотрю.

— Со мной все в порядке. Просто устала. И переволновалась.

— Вы уверены, что не ранены? — резко спросила врач: это была женщина средних лет, с лицом, казавшимся серым в безжалостном свете люминесцентных ламп; она сидела перед Иреной, хотя было уже десять часов вечера, конец Дня труда.

— Я в порядке. Будет совсем хорошо, когда немного посплю. А Хью...

— Вам есть куда пойти?

— Тот человек, что нас подобрал, отвезет меня к матери. А Хью...

— Я жду результатов рентгена. Он пока останется здесь. Вы подписали?.. да, это. Хорошо. — Она повернулась, чтобы уйти.

Усмиренная властной докторшей и больничной обстановкой, Ирена тоже повернулась и молча направилась к выходу.

Санитар, который принял Хью, выглянул из бокса.

— Он просил, чтобы кто-нибудь, если можно, связался с его матерью, — сказал он, увидев Ирену. — Вы это сделаете?

— Да.

— Он вне опасности, — сказала врач. — Идите и хоть немного поспите.

— Они собираются продержат тебя здесь еще денек.

— Знаю, — сказал он, удобно вытянувшись на жесткой и высокой кровати, предпоследней в ряду. — Я все равно чувствую, что пока не в состоянии встать на ноги.

— Но вообще-то ты как? Ничего?

— Вполне. Посмотри, как они меня всего обвязали. Нет, показать не могу, эта одежда на спине распахивается, как-то неприлично. Но я прямо-таки весь обмотан бинтами, как мумия. И не успеешь проснуться, как тебе тут же дают таблетку.

— Из-за того, что ребро сломано?

— Одно сломано, в другом трещина. А ты-то как?

— Я хорошо. Слушай, Хью, они тебя спрашивали, ну, понимаешь, о том, что случилось?

— Я просто сказал, что ничего не помню.

— Это хорошо. Понимаешь, если бы у нас истории получились разные, они могли бы что-то заподозрить.

— Так что же с нами случилось?

— Мы путешествовали автостопом по лесистой местности, и какие-то сволочные парни избили тебя и убежали.

— А что, так и было?

Он видел ее неуверенность.

— Ирена, я действительно все помню.

Она улыбнулась, но опять неуверенно:

— Я думала, тебе совсем затуманили мозги этими пилулями.

— Это тоже немножко есть. Просто все время спать хочется. Мне кажется, что некоторых вещей... Я не знаю, например, как мы добрались до порога. Мы наконец вышли на нужную тропу?

— Ну да. Но к этому времени ты уже почти ничего не соображал. — Она накрыла его руку своей. Оба стеснялись других людей и беспокойно-озабоченной обстановки больницы — полуодетых, с забинтованными головами, с голыми ступнями, торчащими из-под одеяла, мужчин в постелях, спящих или глядящих на них; приходящих и уходящих посетителей; работающих на трех разных программах телевизоров и радиоприемников; и запаха смерти и дезинфекции.

— Тебе сегодня нужно идти на работу?

— Нет. Сегодня все еще понедельник.

— О Господи!

— Послушай, Хью.

Он улыбнулся, наблюдая за ней.

— Сегодня утром я заходила к твоей матери.

Минутку помолчав, он спросил каким-то рассеянным тоном:

— Она в порядке?

— Когда вчера вечером я позвонила ей, знаешь, она, похоже, не очень хорошо меня поняла. Она все спрашивала, кто я такая, а я сказала, что мы вместе с тобой путешествовали; знаешь, она все спрашивала и спрашивала одно и то же... Она очень расстроилась. Было уже поздно и все такое. Мне не следовало звонить. Поэтому, когда сегодня утром они меня сюда не пустили, я подумала, что мне следует пойти к ней. Похоже, она не поняла, что ты здесь, в госпитале.

Он ничего не говорил.

— Ну и она...

— Она набросилась на тебя, — сказал он с таким невероятным, еле сдерживаемым гневом, что она заторопилась:

— Нет-нет, что ты — только она, похоже, не понимала. Ну я и сказала ей, что тебе нужна кое-какая одежда и что-нибудь еще. Я думала, что она захочет сама отвезти все тебе, понимаешь? Она ушла и вернулась с чемоданом, он у нее был, по-моему, собран заранее, сейчас он лежит в машине, я его тебе оставлю. Я... Ну, она как бы всучила его мне у самой двери и сказала: «После этого ему нет никакой необходимости возвращаться сюда», и она... она захлопнула... Я ничего не могла сделать, мне оставалось только уйти. Что она имела в виду — «после этого»? Я, должно быть, что-то не то сказала, и она не поняла меня, и я не знаю... не знаю, как все это теперь исправить. Прости, Хью.

— Нет, — сказал он и зажмурился. Потом перевернул руку ладонью вверх и сильно сжал пальцы Ирены. — Все нормально, — сказал он, когда наконец смог говорить. — Это значит, живи где хочешь.

— Но разве она не захочет, чтобы ты вернулся домой? — сказала Ирена с отчаянием и тревогой.

— Нет. Да и я этого не хочу. Я хочу быть с тобой. Я хочу жить с тобой. — Он сел и приблизил к ней лицо. — Я хочу найти квартиру или что-нибудь в этом роде, если ты... у меня в банке есть кое-какие деньги, если этот чертов госпиталь их все не сожрет... если ты...

— Да, хорошо, слушай. Я как раз хотела тебе сказать. После того как я побывала у нее, здесь все еще были неприемные часы, поэтому я поехала на Сорок восьмую улицу. В утренней газете было одно объявление. Знаешь, дом в районе Хилсайд. Условия неплохие: двести двадцать пять в месяц со всеми удобствами. И вправду хорошо — ведь там до центра всего минут десять. Я прямо туда и поехала.

Квартира с гаражом. Я так или иначе ее сниму. Уже дала расписку. Я не могу вернуться туда, где жила раньше.

— Ты хочешь, чтобы мы там поселились вместе?

— Если этого хочешь ты. Место очень приятное. И соседи тоже. Они тоже не женаты.

— Мы женаты, — возразил он.

На следующее утро они вышли из больницы вместе. Снова лил дождь, и она была одета в красный потрепанный, покрытый пятнами плащ, а он — в грязную кожаную куртку. Они вместе сели в машину и уехали. По одной из множества дорог, ведущих в город.

Содержание

От издательства	5
Резец небесный, роман, <i>перевод с английского В. Старожильца</i>	9
Порог, роман, <i>перевод с английского И. Тогоевой</i>	205

МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН
Собрание фантастических произведений

РЕЗЕЦ НЕБЕСНЫЙ

Составитель *Д. Смушкович*
Редактор *М. Проворова*
Ответственный за выпуск *Е. Чутов*
Технический редактор *К. Козаченко*
Корректоры *Н. Дундина, А. Хиршфелде*
Операторы компьютерной верстки *В. Рихтер*
Оформление шмуцтитилов: *В. Ковалев*

Качество печати соответствует диапозитивам, предоставленным издательством.

ЛР № 065224 от 17.06.97
Подписано в печать 20.08.97. Формат 84×108¹/₃₂.
Гарнитура Таймс. Печать высокая.
Усл. печ. л. 20,16. Тираж 10 000 экз.
Заказ № 1235.

ООО издательство «Полярис»
101000, Москва, Главпочтамт а/я 900

Отпечатано с готовых диапозитивов
на Тверском ордена Трудового Красного Знамени
полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР
Государственного Комитета Российской Федерации по печати
170040, Тврь, проспект 50-летия Октября, 46.





МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН



РЕЗЕЦ НЕБЕСНЫЙ

Сны Джорджа Орра меняют реальность — непредсказуемо и странно. И его даром стремятся завладеть разные люди — и одержимый властью психолог Хабер, и правительственная чиновница Лелаш, скрывающая слабость под маской жестокости...

ПОРОГ

В банальном и скучном мире порой становится невозможно дышать. Куда легче уйти за порог, в мир покоя и грез. Но мудрость и любовь не позволяют остаться там навсегда...

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯРИС»
1997



РЕЗЕЦ НЕБЕСНЫЙ

МИРЫ УРСУЛЫ ЛЕ ГУИН